П. Н. КРАСНОВЪ

ЛОЖЬ

РОМАНЪ

Изданіе В. Сіяльскаго
ПАРИЖЪ

П. Н. КРАСНОВЪ

ЛОЖЬ

РОМАНЪ

Изданіе В. Сіяльскаго
ПАРИЖЪ

Всѣ права сохранены за авторомъ
Tous droits réservés.
Copyright by the author.

...сказалъ Іисусъ къ Іудеямъ: — «вашъ отецъ діаволъ, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; онъ былъ человѣкоубійца отъ начала и не устоялъ въ истинѣ, ибо нѣтъ въ немъ истины; когда говоритъ онъ ложь, говоритъ свое, ибо онъ лжецъ и отецъ лжи»...

Ев. отъ Іоанна. Гл. 8, ст. 31 и 34.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Рѣкѣ подобна человѣческая жизнь. Въ лѣсной глуши... На высокой горѣ, въ серебряномъ блистаніи вѣчныхъ ледниковъ... въ степной глубокой балкѣ, у крутого пристѣна, подъ нависшимъ камнемъ... изъ зеленой тины болотъ — рождается тонкая струйка текучей воды и идетъ, бѣжитъ, журча и булькая, напѣвая радостную пѣсню жизни по Божьему міру.

Еле примѣтнымъ ручейкомъ — перешагнуть можно — катится она по камушкамъ, какъ нянину сказку, слушаетъ говоръ природы, радуетъ путника манящей свѣжестью хрустальной воды... Такъ въ грезахъ и сказкахъ, въ тихихъ колыбельныхъ пѣсняхъ, въ маминой ласкѣ, въ несказанно прекрасномъ познаваніи окружающаго, проходитъ ясное, свѣтлое, чистое дѣтство...

Иногда — такъ и замретъ ручьемъ, не вылившимся въ рѣку, уйдетъ подъ землю, скроется въ болотѣ, убѣжитъ къ близкому морю... Умретъ человѣкъ ребенкомъ, ничего не свершивъ.

Иной разъ добѣжитъ до края плоскогорья, бурно сорвется внизъ водопадомъ, шумными каскадами пронесется по крутому каменистому скату: — тяжелая юность, обуреваемая страстями, пройдетъ — и вотъ уже вышла рѣка на равнину, ширится притоками, какъ человѣкъ знаніями и опытомъ жизни, течетъ умиротворенная, несетъ на груди своей пароходы и баржи, шумитъ мельницами, трудится, работаетъ, плодотворитъ и, спокойная и плавная, величаво вливается въ море...

Смерть... Кончена рѣка — начинается безпредѣльность морская... Новая жизнь... Вѣчная жизнь океана...

Разныя рѣки — различны и жизни людскія. Всѣ идутъ къ одному концу — къ вѣчности... Къ вѣчно волнующемуся и вѣчно волнующему человѣка морю.

Дѣтство Лизы Акантовой было короткое. Недолго тихо шло оно подъ колыбельную пѣсню и ласки матери, недолго Лиза покоилась въ холѣ, — какъ ручей въ лѣсной глуши, — дальше ломчалась по камнямъ, разбиваясь въ перистыя брызги, покрываясь бѣлой пѣной, крутясь и волнуясь. Тяжелъ и обрывистъ былъ скатъ жизни. Захватилъ юность, ненадолго успокоился ровнымъ потокомъ годовъ ученья и снова оборвался бѣшенымъ водопадомъ.

У Лизы Акантовой счастливаго дѣтства не было. Тѣ первые годы жизни, которые обычно вспоминаются, какъ смутный, но радостный сонъ, кажутся милой сказкой, овѣянной материнской любовью, уютомъ родительскаго дома, колыбельною пѣснью матери, ласкою и заботою семьи, — Лиза вспоминала, какъ страшный, полный кошмаровъ, непробудный сонъ.

Она родилась незадолго до Великой войны, и первыя, полусознательныя ея впечатлѣнія: — тревога матери, ожиданіе писемъ, слезы и тоскливое одиночество въ покинутой отцомъ семьѣ. Когда вспоминала Лиза мать, ей всегда представлялось прекрасное лицо, орошенное слезами, смутное, неясное, неопредѣленное и неутѣшно печальное.

Годы, когда складываются въ человѣкѣ первыя представленія о мірѣ и о людяхъ, когда подыскиваются слова и опредѣленія всему увидѣнному и подмѣченному, и когда начинаетъ, еще робко, но уже достаточно четко, работать память, — были годами смуты и постояннаго бѣгства съ мѣста на мѣсто. Годы ожиданія чего-то невѣроятно ужаснаго... Придутъ... ограбятъ... уведутъ... разлучатъ... убьютъ. Ни мягкой, уютной кроватки: — гдѣ-нибудь въ креслѣ, на диванѣ, въ ногахъ у матери, въ вагонѣ, на пледѣ, на пароходѣ, въ душномъ трюмѣ, переполненномъ несчастными, на смерть напу-

ганными людьми. Ни игрушекъ, ни игръ. Всегда со старшими, всегда съ несчастными, затравленными людьми.

Отца Лиза не знала. Она увидала его первый разъ, когда гдѣ-то въ чужомъ краю, у чужихъ людей, умирала ея мать. Человѣкъ въ русыхъ усахъ, средняго роста, стройный, очень худощавый, въ военной формѣ, стоялъ на кладбищѣ надъ свѣжей могилой и плакалъ. А потомъ Лизу взяла пріѣхавшая нарочно за нею изъ Германіи сестра ея матери, тетя Маша, и увезла Лизу въ Берлинъ.

Этимъ и закончилась первая пора дѣтства Лизы — кошмарный сонъ.

Тетя Маша вышла замужъ до войны за богатаго нѣмецкаго фабриканта Нёринга. Война его обогатила, революція разорила, инфляція пощипала, но Нёрингъ оправился, и, послѣ тревогъ и скитаній, Лиза попала въ благоустроенную, богатую квартиру въ старомъ домѣ центра Берлина.

Тамъ и началось настоящее дѣтство, — не какой-то сумбурный, кромѣшній, страшный сонъ. Берлинъ сталъ ея Родиной. Лиза вырастала въ городѣ, среди городского шума и уличной толпы.

Нёрингъ, когда въ Германію хлынулъ потокъ Русскихъ, безденежныхъ и безработныхъ, и когда сердце его жены разрывалось отъ жалости, и въ немъ крѣпло желаніе помогать имъ, призвалъ жену къ себѣ и тономъ, не допускавшимъ возраженія, сказалъ: «подальше отъ Русскихъ!»...

Лизу Отто Нёрингъ принялъ охотно, сердечно и относился къ ней, какъ къ дочери. Но по натурѣ онъ былъ сухой, разсчетливый человѣкъ. Лиза отъ него особой ласки не видала.

Тетя Маша, по просьбѣ отца Лизы, учила Лизу Русскому языку и Русской грамотѣ, занималась французскимъ языкомъ, которымъ владѣла въ совершенствѣ, и наняла англичанку, чтобы Лиза умѣла говорить по-англійски.

Отто Нёрингъ это одобрилъ:

— Языки теперь все, — говорилъ онъ, посасывая сигару. — Языки, стенографія и спортъ.

Въ виду наказа — подальше отъ Русскихъ — Лиза была

отдана въ среднюю нѣмецкую школу. Стенографіи она не изучила, но научилась хорошо рисовать, живо схватывая натуру, запоминая линіи, и недурно пѣла нѣмецкія пѣсни. Спортомъ Лиза увлекалась. Дядя Отто сказалъ, что этого достаточно.

Такъ прошла вторая половина дѣтства Лизы. Сытно и привольно, что дало Лизѣ возможность хорошо развиться и окрѣпнуть тѣломъ, съ хорошей систематической подготовкой, чтобы развить умъ, но, какъ всякая послѣвоенная школа — сдѣлала её бездушной. Лиза знала, что она православная — «russisch-orthodox», носила на тѣлѣ золотой, съ овальными, какъ бы листочками, сторонами, съ лучами по краямъ, — православный крестикъ, но Закона Божьяго, катехизиса не изучала, въ церковь не ходила. Какъ-то за мірскими заботами и волненіями Марія Петровна объ этомъ не подумала.

Въ школьныхъ играхъ въ залѣ, а въ хорошую погоду на гимназическомъ дворѣ, проходило дѣтство Лизы. Были увлеченія учителями, веселыя прогулки строемъ, съ пѣснями и гитарой, мальчики впереди, дѣвочки сзади. Прошла эта пора безъ особенныхъ радостей, но и безъ большихъ огорченій.

Наступила юность.

Съ дѣтства у Лизы была обязанность каждый мѣсяцъ писать отцу. Не легко давались эти письма Лизѣ. Трудно писать отцу, котораго не знаешь. Лиза описывала свой классъ, писала про учителей, писала, что ей хорошо живется у тети Маши. Письма шли на просмотръ тети. Та тщательно провѣряла, всѣ ли «ѣ» были на мѣстѣ. Тетка гордилась грамотностью племянницы. Такія же, и тоже безцвѣтныя, письма приходили и отъ отца изъ Парижа. Посылалъ Лизинъ отецъ и деньги — маленькія деньги — на баловство, на конфеты, на ленточки, на тѣ маленькія бездѣлушки, которыя любятъ дѣвочки.

По окончаніи гимназіи, Лиза поступила въ высшую школу. Училась она отлично. Ей было поручено вести семинары съ юношами, ея товарищами по курсу. Она блестяще кончала школу. Въ эту пору первый разъ открылось ея сердце.

Лиза защитила диссертацію на званіе доктора филосо-

фіи, и съ этимъ званіемъ, покончивъ съ юностью, взрослой, 22-лѣтней дѣвушкой, вступила въ жизнь.

Тутъ открылось то ужасное, о чемъ Лиза не подозрѣвала и о чемъ не подумали ни ея отецъ, ни тетя Маша.

Отецъ въ письмахъ этого требовалъ, а тетя Маша своимъ Русскимъ нутромъ этому сочувствовала, — Лиза, какъ была, такъ и должна была остаться, Русской. Лиза жила по Нансеновскому паспорту. Въ средней и высшей школѣ Лиза такъ сливалась со своими товарищами и товарками, что забывала, что она не нѣмка.

Но окончилась школа, — нужно было начинать жить, а жить — это значило работать. Докторъ философіи долженъ былъ начать примѣнять свои знанія.

Тысячи препятствій встали передъ Лизой. Къ нимъ прибавилось и еще одно обстоятельство, очень смутившее тетю Машу. Кончились годы ученья, Лиза перестала ходить въ школу, перестала сидѣть часами, запершись въ своей комнатѣ, уставившись въ книгу, перестала зубрить уроки, она стала свободной и стала проводить дни дома. Тетя Маша со страхомъ отмѣтила, что дядя Отто что-то слишкомъ засиживается за кружкой пива и сигарой послѣ обѣда, куритъ вмѣсто одной двѣ и три сигары, вступаетъ въ жаркіе диспуты съ Лизой, и что у дяди краснѣетъ при этомъ лицо и по особому блестятъ глаза. Дядя Отто сталъ приглашать племянницу въ театръ и въ кинематографъ.

Тетя Маша заревновала. Лиза стала очень красива. Совсѣмъ такая, какою была ея мать въ ея годы. Высокая, стройная, въ мѣру полная. Свѣтлые, длинные волосы, заплетенные въ двѣ толстыя косы, спускаются ниже таліи, и, когда споритъ о чемъ-нибудь Лиза съ дядей, безпокойно ерзаютъ по ея спинѣ. Голубые глаза загораются синими, влекущими огнями...

Тетя Маша задумалась. Надо что-то дѣлать съ Лизой. По настоящему — по старинному — замужъ пора... Но гдѣ женихи? У Лизы есть товарищи, — жениховъ не было. Лиза безприданница. Это еще полъ бѣды. Но Лиза — бѣженка... Русская, безъ Отечества... безъ защиты... Съ такою красо-

тою — она легко можетъ стать добычей любого проходимца, если ее оставить одну. Продолжать жить втроемъ?.. «Своя рубашка къ тѣлу ближе». Тетѣ Машѣ не выдержать сравненія ея полнѣющаго, старѣющаго тѣла, ея потухшихъ глазъ, стриженыхъ полусѣдыхъ, сивыхъ волосъ, съ красотою распускающагося юнаго цвѣтка Лизы.

Устроить на службу? Но куда? Брали только своихъ. Только своимъ была дорога. Лиза была чужая. Нѣмка по языку, нѣмка по воспитанію, въ душѣ и чувствахъ — нѣмка, она была Русской и — бѣженкой...

Наниматься въ няни, бонны?... приказчицей въ магазинъ?..

Тетя Маша написала обо всемъ откровенное письмо отцу Лизы, генералу Акантову, въ Парижъ.

Отвѣтъ получился скорый. Егоръ Ивановичъ писалъ, что онъ самъ объ этомъ думалъ и этимъ озабоченъ.

Бисернымъ своимъ почеркомъ — тетя Маша читала письмо черезъ лупу — генералъ писалъ: «...конечно, положеніе мое не очень-то завидное. Какъ пошелъ я шестнадцать лѣтъ тому назадъ простымъ рабочимъ, токаремъ по металлу, на заводъ, такъ и трублю все на томъ же мѣстѣ всѣ шестнадцать годовъ безъ перемѣны. При томъ тутъ пошли намъ притѣсненія. Курсъ тутъ налѣво, и намъ, «бѣлымъ» офицерамъ, не легко. Однако, думаю — Лизу взять къ себѣ. Ужъ очень мнѣ одиноко съ годами. Послѣднее время думы у меня разныя, тяжелыя думы. Не болѣзнь, а просто — старость. Никогда ничего не боялся, ни въ какую мистику не вѣрилъ, а вотъ, послѣ похищенія Кутепова, чувствую и себя какъ бы непрочнымъ. Вѣютъ подлѣ меня темныя силы, ищутъ схватить и устранить. Всю жизнь жилъ по указу совѣсти и по приказу начальства. Нынѣ сталъ — правду искать. Никого эти исканія до добра не доводили. Лиза скраситъ дни моей жизни, да молодой ея разумъ, можетъ быть, еще и стараго поучитъ. Что-нибудь тутъ ей устроить, думаю, можно будетъ. Конечно, — докторъ философіи — pas grande chose *),

*) Не велика штука.

по нынѣшнимъ временамъ; судомойка или кухарка, особенно кухарка, много лучше. Но, ты пишешь: Лиза знаетъ языки; это уже нѣчто существенное. Вообще, — хлопочу о визахъ... Нанимаю квартирку, гдѣ намъ было бы удобно и не стѣснительно, и уповаю на счастье. Подготовь Лизу; въ первыхъ числахъ сентября самъ пріѣду за ней, чтобы лично поблагодарить тебя и Оттона Карловича за все, за все, что вы для Лизы сдѣлали. Я почитаю себя вѣчнымъ Вашимъ должникомъ...».

Лиза приняла извѣстіе о томъ, что она поѣдетъ къ отцу въ Парижъ спокойно и холодно. Черный, густой наметъ рѣсницъ поднялся на мгновеніе, открывъ синее пламя глазъ, но рѣсницы сейчасъ же и притушили это пламя.

— Что-жъ, — сказала Лиза, закуривая небрежнымъ жестомъ длинную папиросу. — Въ Парижъ, такъ въ Парижъ... Если ничего лучшаго не представится до тѣхъ поръ?

— На что ты разсчитываешь, Лиза?

Лиза по-мужски затянулась папиросой, выпустила дымъ въ нѣсколько пріемовъ, проткнула его языкомъ, и, любуясь на колеблющееся въ воздухѣ голубоватое кольцо, сказала:

— На людскую честность... На благородство...

— Ахъ, оставь, Лиза, — сказала съ досадою тетя Маша. — Все это тогда, когда есть Родина... Когда ты своя... Но ты бѣженка... Русская!.. Это ужасно!.. Возможно, что у отца тебѣ будетъ лучше. Тамъ много Русскихъ. Ты войдешь въ Русское общество...

— Въ общество бѣженцевъ, — поднимая брови и тщательно притушивая папиросу въ фарфоровой пепельницѣ, сказала Лиза. — А какъ же — подальше отъ Русскихъ?

Марья Петровна пожала плечами:

— Тамъ это будетъ не нужно. Этого хотѣлъ дядя Отто.

— Допустимъ, не нужно. Ну все-равно: entweder-oder *). Другого выбора нѣтъ.

Лиза бросила папиросу и, быстро и твердо шагая, вышла изъ комнаты тети Маши.

---

*) Или — или.

II.

Парижскій поѣздъ приходилъ въ Берлинъ въ двѣнадцатомъ часу ночи. Какъ было условлено, — Акантовъ долженъ былъ выйти на станціи «Зоологическій садъ», гдѣ Лиза его встрѣтитъ.

Куртъ Бургермейстеръ, товарищъ дѣтства Лизы по школѣ, провожалъ Лизу. Они ѣхали на трамваѣ. На остановкѣ у Gedächtniss Kirche они выходили. Куртъ спрыгнулъ съ площадки и протянулъ руку Лизѣ.

— Danke. *).

Громадное, темное зданіе церкви, съ высокой остроконечной крышей, съ башней колокольни, тяжелое и грузное, стояло посреди площади. Колокольня уходила въ темное небо. Мѣсяцъ блестящимъ дискомъ висѣлъ сбоку, какъ нарисованный на декораціи. Пестрыя, яркія вывѣски кинематографовъ, кафэ и ресторановъ горѣли красными, зелеными, синими и бѣлыми огнями. Особенно бросились въ глаза Лизѣ темно-лиловыя, аметистовыя огромныя окна тяжелаго зданія напротивъ церкви. Вдоль карнизовъ и подоконниковъ, по низкимъ рѣшеткамъ были цвѣты. Сквозь просвѣты улицъ, за высокими арками надземныхъ желѣзнодорожныхъ путей чувствовалась прохладная зелень большихъ, старыхъ деревьевъ и просторы сада. По широкимъ троттуарамъ, мимо пестрыхъ огней, шла нарядная толпа. Только-что кончились представленія въ двухъ громадныхъ кинематографахъ, и публика расходилась по домамъ. Посерединѣ улицы въ два ряда стояли автомобили-такси съ зелеными кузовами, съ чернымъ верхомъ, съ пестрымъ ободкомъ. Площадь была большая, улицы широкія, — а казалось тѣсно, скученно, уютно, какъ въ комнатѣ, — такъ громоздки, велики, аляповато нарядны были зданія.

— Какъ сказка, — сказала Лиза, восторгомъ горящими глазами оглядывая толпу, площадь, огни вывѣсокъ и рекламъ. — Ты любишь, Куртъ, Берлинъ?

---

*) Благодарю.

— Я въ немъ родился.

— Тебѣ не грустно, Куртъ, что я покидаю Берлинъ? Тебѣ безъ меня не будетъ скучно?

— Человѣкъ занятой не имѣетъ времени скучать. Я выхожу на дорогу, гдѣ я могу приносить пользу Родинѣ. Я въ партіи отвѣтственный работникъ. Я просто не имѣю права скучать. И развѣ можно скучать въ такой странѣ, какъ Германія?..

— Да... Это вѣрно.

Молча, шагая въ ногу, прошли къ проходамъ на станцію. У тяжелой, тускло освѣщенной каменной стѣны, гдѣ были широкія лѣстницы наверхъ, Лиза остановилась. Непрерывный потокъ людей стремился на городскую дорогу.

— О, у насъ еще есть время, — сказала Лиза. — Цѣлыхъ десять минутъ.

Мимо, между высокихъ столбовъ, проносились автомобили, проходили желтые трамваи, громыхали тяжелые двухъэтажные автобусы. Надъ головами часто съ оглушительнымъ грохотомъ мчались поѣзда желѣзной дороги.

— Куртъ, ты не думаешь, что нужно, чтобы я представила тебя моему отцу?..

— Зачѣмъ? — раскуривая папиросу, сказалъ Куртъ, и протянулъ свой портсигаръ Лизѣ. — Ты не хочешь?..

— Нѣтъ. Моему отцу будетъ непріятно, если онъ увидитъ, что я курю... Но, Куртъ, ты не находишь, что такъ надо?..

— Не нахожу. Твой отецъ пріѣзжаетъ на три, четыре дня... Для чего это знакомство? Твой отецъ Русскій генералъ, я — нѣмецъ... Что общаго между нами?

— Онъ м о й отецъ...

Лиза съ упрекомъ посмотрѣла въ свѣтло-сѣрые, ясные глаза Курта:

— Мнѣ показалось... — начала она и оборвала. — Какъ хочешь?!. Если не находишь нужнымъ?.. Не надо.

Зрачки ея глазъ расширились, синева потемнѣла. Огни ли такъ отразились въ глазахъ Лизы, или свои внутренніе огни

загорѣлись въ нихъ, — они блеснули мрачнымъ блескомъ и сейчасъ же потухли, прикрытые густыми рѣсницами.

— Какъ хочешь, — повторила Лиза. — Мнѣ, однако, пора. До свиданія, Куртъ.

Она легко поднималась по крутымъ сѣрымъ бетоннымъ ступенямъ. На площадкѣ остановилась. Куртъ еще былъ внизу. Лиза съ любовью посмотрѣла на стройную фигуру высокаго молодого человѣка. Куртъ былъ безъ шляпы. Густые волосы были гладко причесаны. Просторный, легкій, дорогой пиджакъ красиво лежалъ на могучихъ плечахъ. Модные, широкіе штаны со складкою для пыли внизу, свѣтлые башмаки, — все было дорогое, добротное, новое, хорошо сшитое. На русые волосы отъ фонаря легъ золотистый отблескъ. Свѣжее, чистое лицо было поднято. Куртъ слѣдилъ за Лизой.

Лиза остановилась, помахала рукою въ кисти; Куртъ отвѣтилъ тѣмъ же. Лиза вздохнула и бѣгомъ поднялась на слѣдующій пролетъ лѣстницы. Двѣ минуты оставалось до прихода поѣзда. Наверху, у турникета, Лиза оглянулась. Курта не было. Онъ ушелъ.

Со стѣсненнымъ болью сердцемъ отъ отказа Курта подняться съ нею и представиться ея отцу, съ волненіемъ отъ предстоящей встрѣчи, Лиза вошла на перронъ. — Заграничный поѣздъ, съ грознымъ рокотомъ колесъ, подкатывалъ къ станціи...

III.

Въ послѣднемъ письмѣ отцу Лиза описала свой костюмъ и шляпу — соломенную съ широкими полями, и нарисовала себя, чтобы отцу легче было узнать ее. Она еще обѣщала держать въ рукахъ Русскую газету, но, заболтавшись съ Куртомъ, забыла купить ее.

На перронѣ было мало народа и немного пассажировъ вышло изъ поѣзда — главная остановка была на Фридрихъштрассе. Лиза сразу увидала вышедшаго изъ вагона третьяго класса стройнаго, хорошо выправленнаго человѣка, въ черномъ легкомъ пальто, въ мягкой шляпѣ. Человѣкъ этотъ бодро зашагалъ по платформѣ. Она не столько узнала — узнать

она не могла: она не помнила отца, — сколько догадалась, что этотъ человѣкъ и есть ея отецъ. Укрѣпило ее въ догадкѣ еще и то, что человѣкъ этотъ несъ въ рукѣ довольно объемистый, плоскій, видимо, почти пустой, «портъ-плэдъ» изъ шотландской темнозеленой съ черными клѣтками съ желтыми полосками матеріи, стянутый старыми ремнями. Такихъ портъ-плэдовъ никто заграницей не имѣетъ. Отца Лиза не помнила, а этотъ портъ-плэдъ отлично запомнила. Какъ сонъ, ей припомнилось — отецъ и мать возились, напихивая вещи въ этотъ портъ-плэдъ, а она, совсѣмъ маленькая, кулачками упираясь въ шероховатую матерію его, пыталась имъ помогать. Отецъ тогда сказалъ матери:

— Ну, матушка, да сюда, при желаніи, можно слона уложить, только хвостъ да хоботъ торчать будутъ. Петербургскій портъ-плэдъ...

Въ ту пору, Лиза еще не видала слоновъ, и именно потому ей такъ и запомнился портъ-плэдъ, что въ него можно слона уложить.

Быстрыми шагами, она подошла къ отцу:

— Папа!..

— Лиза!.. Узналъ... Ну, конечно, узналъ... Совсѣмъ ты, какъ мать-покойница... Выше ростомъ. И еще красивѣе... Ну, моложе, конечно... Такою я мать твою не зналъ...

Они поцѣловались. Лиза коснулась губами шершавой щеки отца, положила ему руки на плечи:

— Давай портъ-плэдъ... Багажъ есть?..

— Какой тамъ багажъ — все тутъ.

— Дай, папа, я понесу.

— Ну, что ты!.. Зачѣмъ? Я самъ...

Лиза вырвала портъ-плэдъ и внимательно посмотрѣла на отца.

Сѣдые усы были коротко подстрижены, лицо темноватое, но не отъ здороваго загара... Много мелкихъ морщинъ на немъ, но сѣрые, ясные глаза еще совсѣмъ молодые. Походка ровная, смѣлая и твердая. Лѣвой рукою Лиза взяла за руку отца, и ощутила грубую кожу и будто... мозоли. Не генеральская была рука, а рука рабочаго. Высокіе ботинки

на завязкахъ были старые, растоптанные, мѣдные крючки блестѣли изъ-подъ края штановъ. Все было чистое, но бѣдное, — даже и не второго, а третьяго сорта.

— Куда же мы?

— Я сняла для тебя комнату въ пансіонѣ. Тебѣ такъ спокойнѣе будетъ. Сейчасъ туда и поѣдемъ.

Лиза подошла къ такси и сказала адресъ.

— Можетъ, дорого, на такси-то? — смущенно сказалъ отецъ. — Если не очень далеко, и пѣшкомъ бы можно... Или на метро?

— Пустяки, папа. Ты посылалъ мнѣ деньги... Куда мнѣ было ихъ тратить... Тутъ, въ Берлинѣ, ты мой гость.

Пестрые огни блистали по стѣнамъ домовъ, обрамляли окна и порталы дверей. Въ ихъ свѣтѣ несказанно красивы были цвѣты на подоконникахъ. Особенно красивыми показались лиловыя окна, съ зелеными полосками свѣтящихся трубокъ. Лиза съ восторгомъ оглядывала площадь:

— Не правда ли, папа, какъ сказка, мой Берлинъ?.. И какъ тутъ уютно!..

За площадью пошли тихія, темноватыя улицы. Рѣже стали свѣтящіяся вывѣски рекламъ. Стало безлюдно.

На большой площади, гдѣ было тихо, гдѣ былъ скверъ и дома были озарены призрачнымъ свѣтомъ луны, а сама луна висѣла въ небѣ, какъ китайскій фонарь, каретка остановилась. Лиза ключомъ открыла наружную дверь, надавила кнопку свѣта, и они стали подниматься на третій этажъ. Лиза провела отца въ его комнату:

— Вотъ, папа... Спи спокойно... Усталъ, бѣдненькій, съ дороги. Утромъ тебѣ дадутъ чай или кофе, что хочешь, а завтракать и обѣдать ты будешь у тети Маши. Отдыхай хорошенько. Завтра въ одинадцать я приду за тобой...

Комната была большая и глубокая. Чѣмъ-то напомнила она Акантову Петербургскія меблированныя комнаты. Въ незанавѣшенное окно видна была площадь. Мѣсяцъ въ серебристой дымкѣ на темномъ небѣ, большіе дома, зелень кустовъ подъ окномъ.

Акантовъ спустилъ штору и сталъ раздѣваться.

«Славная выросла у меня дочка», — думалъ онъ, — «и, кажется, добрая дѣвушка»...

IV.

Тетя Маша встрѣтила Акантова съ распростертыми объятіями:

— Ну, покажись... Какъ тебя обработала жизнь... Господи, шестнадцать лѣтъ не видались... Да и тогда... Рѣзвѣ это свиданіе было?.. И горя-то, горя сколько!.. Я, Лиза, твоего отца помню еще статнымъ такимъ молодчикомъ... Золотые погоны, фуражка съ малиновымъ кантомъ. Стрѣлокъ... Кѣмъ ты былъ тогда, когда бывалъ у насъ въ домѣ?.. Капитанъ?.. Твой папа, Лиза, зналъ меня еще маленькой дѣвочкой. Пойди, Лиза, достань твои альбомы...

Марья Петровна и Акантовъ остались вдвоемъ. Большія комнаты съ тяжелой роскошью нѣмецкаго убранства смущали Акантова. Отвыкъ онъ отъ простора, отъ мягкой мебели, отъ ковровъ, отъ шелковой обивки, отъ картинъ въ широкихъ лѣпныхъ золотыхъ рамахъ, и хорошихъ мастеровъ картинъ, отъ бронзы и фарфора.

— Ну, что же?.. Сядемъ... Какъ нашелъ ты Лизу?..

— Что могу я сказать?.. Въ ножки тебѣ долженъ поклониться. Красавица дочь.

— Это уже не отъ насъ. Такая уродилась... Сестра моя была много красивѣе меня. Ну, сдѣлали, Егоръ Ивановичъ, все, что могли, чтобы сохранить ее Русской. Какъ видишь — говоритъ безъ акцента... Пишетъ грамотно. Но, каюсь, — это и все.

— Что она?.. Бываетъ она въ церкви?.. Какъ ея душа?.. Внутреннее ея?..

— Чужая душа — потемки, Егоръ Ивановичъ. Какъ заглянешь въ чужую душу, да еще въ душу дѣвушки? А Лиза, при томъ же, скрытная... Ну, да это такъ и понятно. Она гордая и очень самолюбивая дѣвушка. Ей было трудно. Особенно сначала, до прихода къ власти Хитлера... Очень трудно. Школа нѣмецкая. Мальчики и дѣвочки учатся вмѣстѣ.

Люди со всячинкой. Ударовъ, уколовъ по самолюбію сколько угодно. Русскую исторію преподавали такъ, что лучше вовсе не преподавали бы. Понятіе о Россіи она имѣетъ смутное и неважное. Она мнѣ какъ-то дѣвочкой еще сказала: «я, тетя, стараюсь любить Россію, а какъ ее любить, когда я ее не знаю?»...

— Это — драма...

— Да, Егоръ Ивановичъ, страшная драма. Лиза образованная, даже, можетъ быть, слишкомъ образованная, она — докторъ философіи, но спроси ее, что такое н а ш а Волга, — знаетъ только, что рѣка. А, вѣдь, мы-то... Помнишь?.. Волга!.. Да, для насъ — она живая!.. Съ душой!..

— Вѣруетъ ли Лиза въ Бога?..

— Думаю, что она з н а е т ъ Бога... Но церкви она не знаетъ. Сознаю, это большая моя вина. Но прошу и простить меня. Я мужняя жена. Я должна жить, какъ мнѣ укажетъ мужъ. Отто Карловичъ отличный человѣкъ, но онъ человѣкъ новый. Онъ химикъ и купецъ. Видишь — иконъ у насъ нѣтъ... При немъ мы никогда не говоримъ по-Русски... Если бы не Лиза и мой долгъ передъ нею, я и сама, вѣроятно, забыла бы Русскій языкъ.

— Да, —вздыхая, сказалъ Акантовъ. — Больной это вопросъ. Религія... Церковь... Грѣшенъ и я. Блуждаю и заблуждаюсь. Послѣднее время, когда я сталъ задумываться о смерти, — сталъ самъ отыскивать истину... Да, понимаю, трудно... Въ нашемъ бѣженскомъ положеніи трудно. Я беру на себя большую отвѣтственность, что увожу отъ тебя Лизу... Что я ей дамъ?.. Къ какому дѣлу приставлю?..

— Ничего не подѣлаешь, Егоръ Ивановичъ... Выросла Лиза. Ей двадцать два... Замужъ пора. Тутъ жениховъ нѣтъ. То-есть, кое-кто и есть, да Лизѣ не нравится.

— Можетъ быть, Лиза кого-нибудь уже полюбила?

— Повторяю, Егоръ Ивановичъ, Лиза очень скрытная... Если кого полюбила, — развѣ скажетъ? При томъ теперешнее воспитаніе, понятія, мораль. Дѣвушка свободна. Развѣ знаю, что она дѣлаетъ? Молодежь цѣлыми недѣлями странствуетъ по Германіи. Дѣвушки и молодые люди вмѣстѣ. Рань-

ше этого такъ не было. И развѣ могу я помѣшать этому, когда это въ обычаѣ страны?.. Подруги, друзья, въ общемъ — товарищи. Полуголые, а юноши, можно сказать, и совсѣмъ голые, вмѣстѣ купаются и лежатъ, загорая, на пляжахъ... Я ничего не понимаю. Хорошо, — товарищи... А если колыхнется — любовь?..

— Да-а-...

— При томъ, Лиза — бѣженка. Товаръ второго сорта. Сирота. А тутъ Русская — экзотика. Гдѣ видитъ, гдѣ встрѣчаетъ иностранецъ, который тутъ, у себя, дома, Русскихъ дѣвушекъ?.. Служанки въ ресторанѣ, артистки балетной труппы, хорошо, если съ талантомъ, а если только со смазливой мордочкой?.. Манекенши, продавщицы, — все это, самъ понимаешь, не невѣсты, не жены, а такъ... Легкая добыча... Хорошо, попадетъ на честнаго, сердечнаго, вѣрующаго человѣка, съ моралью... А если?..

— Да... Разные люди бываютъ... Ты позволишь мнѣ закурить?..

— Пожалуйста.

Марья Петровна пододвинула Акантову пепельницу, портсигаръ, закурила сама и подала спичку Акантову:

— Привыкла я тутъ курить. Каждому свое счастье. Ну, а чаще-то и иначе бываетъ. Не каждому такъ повезетъ, какъ Галѣ-японкѣ.

— Что это за Галя-японка?..

— Была тутъ милая Русская дѣвушка, маленькая такая, удивительно граціозная, съ немного косыми, узкими, словно монгольскими, черными глазами. Очень хорошенькая и добрая. Ее тутъ и прозвали — «Галя-японка». А тутъ, подлѣ Потсдамскаго вокзала, есть ресторанъ, — Haus-Vaterland *) прозывается. Тамъ каждый можетъ найти свое Отечество... Есть баварская, французская, англійская кухня, есть турецкая; былъ тамъ и японскій ресторанчикъ, гдѣ подавали японки. И, вотъ, ушла оттуда служанка-японка. Хозяинъ помѣстилъ объявленіе, что ищетъ въ ресторанъ японку служан-

*) Домъ-Отечество.

ку. Галя и явилась. Чистосердечно — очень была она милый и хорошій человѣчекъ — объявляетъ хозяниу: «Конечно, я не японка, я Русская, но, какъ видите, могу сойти за японку». Она даже для такого случая и слова какія-то японскія выучила. Хозяину понравилась ея честная откровенность, и онъ взялъ ее въ ресторанъ. Надѣла Галя кимоно, повязалась широкимъ поясомъ «оби», сдѣлала прическу съ гребнемъ, постукиваетъ деревянными башмачками, присѣдаетъ, улыбается, — ну, совсѣмъ и правда — японка! Посѣщавшіе ресторанъ японцы ее въ серьезъ за японку принимали... И повадился туда ходить одинъ шведъ. Ясно: — для Гали-японки ходитъ. Влюбился въ нее. Догадался, что она не японка, объяснился въ чистую, и увезъ Галю-японку въ Швецію и тамъ женился на ней. Богатый, говорятъ, человѣкъ. Не всякой такое счастье...

— Ну, какое же это счастье?.. На чужой землѣ?..

— Да если своей-то нѣтъ... Вышла же я за Отто... Не жалуюсь. Счастливо живемъ...

— Да, конечно... Но времена-то были другія. Ты была дочерью богатаго мѣхопромышленника. А Лиза?.. По паспорту — дочь генерала, на дѣлѣ — дочь рабочаго съ французскаго завода... Пролетарія...

— Въ томъ-то и дѣло. Во Франціи, у тебя, попадетъ Лиза въ Русское, свое общество, можетъ быть, и найдетъ счастье.

— Я такъ и думалъ, когда рѣшился на такой шагъ. Да и мнѣ будетъ радость, скраситъ она мои послѣдніе, можетъ быть, дни...

V.

Лиза принесла альбомы. Въ нихъ были наброски карандашемъ, иногда перомъ, кое-гдѣ тронутые акварелью. Барышни въ вечернихъ костюмахъ, дѣвочки въ платьяхъ ученицъ, съ короткими свѣтлыми косичками, съ голыми ножками, съ книжками въ рукахъ, дѣвушки въ короткихъ юбкахъ, съ цвѣтами въ волосахъ, съ гитарой въ рукѣ, юноши и мальчики въ легкихъ трусикахъ и башмакахъ, голыя руки

и ноги, обнаженная до живота грудь... Сцены на лодкѣ, на пляжѣ, игра въ футболъ, — все вѣрно схвачено, вѣрно нарисовано, полно жизни и движенія.

— Ты это срисовывала съ чего-нибудь?

— Нѣтъ... Съ натуры...

На листѣ плотной бумаги — голый юноша-атлетъ. Высоко поднята гордая голова, хорошо посажена на крѣпкую шею, тѣло загорѣло молодымъ загаромъ, руки мускулисты, стройныя ноги, и только на бедрахъ очень короткіе трусики. Юноша стоитъ на пескѣ, опершись на весло...

— Это кто-же?..

— Такъ... Товарищъ одинъ. Вмѣстѣ учились...

Лиза пунцово, до слезъ, покраснѣла. Бурымъ стало лицо ея отца. Онъ затянулся папиросой, выпустилъ дымъ, закутался имъ, чтобы скрыть смущеніе, закрылъ альбомъ и передалъ его Лизѣ:

— Да-а-... У тебя, однако, не малый талантъ, Лиза. Тебѣ, можетъ быть, этимъ и заниматься бы надо, а не философіей... Почему ты, собственно, избрала этотъ предметъ?

— Такъ... У насъ былъ одинъ профессоръ... Онъ умеръ теперь... Очень умный человѣкъ... Замѣчательный ученый... Ну, вотъ...

Къ счастью для Лизы, въ это время пришелъ дядя Отто. Надо было идти завтракать. Дядя Отто всегда куда-то торопился. Дядя Отто ни слова не говорилъ по-Русски, знанія же у отца Лизы по нѣмецкому языку были такія же, какъ знанія Русскаго у дяди Отто... Говорить по-Русски при Отто Карловичѣ стѣснялись. Разговоръ шелъ урывками, черезъ переводчика. Дядя Отто постоянно называлъ Акантова: «general», или «exellenz», и при этомъ все поглядывалъ на его огрубѣлыя, съ несмываемою машинною грязью, руки, и это еще болѣе вносило холодъ въ разговоръ и стѣсняло всѣхъ.

За завтракомъ установили программу, какъ занимать пріѣзжаго гостя.

— Днемъ поѣзжайте съ Лизой посмотрѣть нашъ Зоологическій садъ и Акваріумъ. Такого Акваріума нигдѣ въ мірѣ

нѣтъ, а на вечеръ я досталъ для васъ и для Лизы билеты на концертъ хора Донскихъ казаковъ Жарова. Вы слышали ихъ когда-нибудь, exellenz?..

Акантовъ очень много слышалъ про хоръ Жарова, но за 16 лѣтъ эмиграціи ему не пришлось быть на концертѣ хора.

— Ja, natürlich... *), — промычалъ дядя Отто, и опять и, какъ показалось Лизѣ, оскорбительно, — посмотрѣлъ на поношенный пиджакъ Акантова и мѣдныя застежки башмаковъ. Лиза вступила въ разговоръ:

— Папѣ некогда было ѣздить на концерты. Хоръ Жарова такъ рѣдко пѣлъ въ Парижѣ, и потомъ, папа всѣ свои деньги посылалъ мнѣ, или отдавалъ своимъ бѣднымъ товарищамъ, — быстро, на безупречномъ нѣмецкомъ языкѣ, говорила Лиза.

— У моего beau-frère'а, — сказала Марья Петровна, — лучшая репутація въ эмиграціи. Когда у кого-нибудь случается въ Русской офицерской средѣ недоразумѣніе, всегда говорятъ: «обратимся къ генералу Акантову, онъ насъ разсудитъ»... Потому его такъ и ненавидятъ большевики.

— Генералу не слѣдуетъ жить во Франціи, гдѣ большевики такъ безцеремонно хозяйничаютъ, и гдѣ они господа положенія, — закуривая сигару, сказалъ дядя Отто.

Онъ ничего не имѣлъ противъ этого скромнаго, полнаго достоинства, генерала. Онъ его жалѣлъ, и не понималъ, какъ это можно такъ долго терпѣть большевиковъ и не возстать противъ нихъ, и потому въ его жалости сквозило презрѣніе.

Акантовъ ни слова не понималъ изъ быстраго обмѣна фразами Лизы и Марьи Петровны, но чувствовалъ, что говорили про него, и это его смущало. Чувствовалъ онъ и легкое пренебреженіе къ себѣ Отто. Онъ спросилъ:

— Въ чемъ дѣло, Марья Петровна?..

— А!.. — съ досадою сказала Марья Петровна. — Они никогда насъ не поймутъ, и не познаютъ до дна нашего горя.

— Какъ? Даже и тутъ, гдѣ, кажется, не мало хлебнули изъ той же чаши...

---

*) Ну, понятно...

— Ну... Можно ли сравнивать то, что было здѣсь, и что было у насъ... Они не могутъ понять, почему мы не возстанемъ и не сбросимъ большевиковъ... Почему у насъ нѣтъ такого человѣка, какъ ихъ Адольфъ Хитлеръ... Они не понимаютъ, что Адольфъ Хитлеръ имъ посланъ Богомъ, и что десять лѣтъ тюрьмы и лишеній онъ готовилъ свое движеніе... Въ эмиграціи это невозможно, а въ самой Россіи, тамъ не тюрьма, а разстрѣлъ... Но Отто тебя любитъ...

Дядя Отто сидѣлъ молча, курилъ сигару и прихлебывалъ изъ маленькой чашки черный кофе.

Высокая, стройная, нарядно одѣтая горничная служила за столомъ. Отъ давно невиданнаго, давно не испытаннаго комфорта, отъ кофе, отъ коньяка, у Акантова кружилась голова. Совсѣмъ въ другой міръ онъ попалъ, міръ сытый, довольный, побѣдно шествующій и торжествующій побѣду...

Въ этомъ мірѣ жила и воспитывалась Лиза. Акантову стало страшно, на что онъ повезетъ изъ этого міра свою дочь?..

VI.

Донской казачій хоръ Жарова былъ извѣстенъ всему міру, но особенно онъ былъ любимъ и цѣнимъ въ Германіи. Необычайная гармонія пѣнія, съ одной стороны, съ другой — лихость, бодрость и мужественность Русской, солдатской и казачьей пѣсни, чувствительность Русскаго романса, нашли откликъ въ нѣмецкой душѣ и удовлетворили ее въ полной мѣрѣ.

Мужественная была пѣсня и нравилась мужественному народу, смѣло выступившему въ борьбу за право жить. Концерты Жаровскаго хора равно расцѣнивались въ Берлинской публикѣ, какъ большое музыкальное явленіе, и какъ явленіе общественное.

Ученые, профессора музыки и пѣнія, маститые меломаны, ученики и ученицы музыкальныхъ школъ и консерваторій, и просто молодежь, любящая Родину, славу, честь, бодрость и побѣду, восторженно привѣтствовали казачій хоръ и искренно любили его. Все въ немъ нравилось: скромная военная

форма, лихая, уже и точно не солдатская, а особенная, «казачья», выправка, чистота почти военнаго построенія, и маленькій ихъ «диригентъ» съ горделиво поднятой головой, съ быстрыми, нервными движеніями, съ умѣніемъ довести дисциплину хора до — чуда.

Когда Акантовъ съ Лизой поднялись изъ «Унтергрунда» — подземной дороги — на Потсдамеръ-плацъ, народъ густою толпою шелъ по площади.

— Постой, — сказалъ Акантовъ, — что-то я задыхаться сталъ. Или это лѣстница такая крутая? Раньше за мною этого, какъ будто, и не замѣчалось.

Городскіе огни блистали кругомъ. Дугами, столбами, нитями до самаго верха домовъ перевивались рекламы, образовывая буквы... «Haus-Vaterland», — «это гдѣ была Галя-японка», — подумалъ Акантовъ. «Kempinsky». Рестораны, варьетэ, кинематографы звали къ себѣ, манили рекламами, вывѣсками, витринами съ фотографіями.

Все не могъ привыкнуть Акантовъ къ большому городу. Шестнадцать лѣтъ прожилъ въ еще болѣе шумномъ городѣ, а словно и не видалъ его. Теперь громады домовъ давили его. Толпа волновала, блескъ огней, вывѣсокъ внизу, наверху, точно висящихъ высоко въ небѣ, ослѣпляли. Иначе все это было въ его время въ Россіи. Городъ въ жизни Акантова не игралъ никакой роли и не занималъ мѣста въ его душѣ.

Акантовъ взглянулъ на небо. Оно показалось ему клочками между крышъ. Одна половина его клубилась густыми, черными, грозовыми тучами. Еще далекій, почти и не слышный за грохотомъ города, громъ тамъ поваркивалъ недовольно. Другая половина была блѣдно-синяя, выцвѣтшая, съ розоватымъ отливомъ. Сентябрьскій день догоралъ тамъ.

На узкой Кётенеръ-штрассе казалось темно. Рѣдкія горѣли вдали вывѣски: «Telschow»... «Bäder»... У темнаго перекрестка толпа сгустилась, и, какъ вода въ воронку, вливалась въ широкія ворота огромнаго дома. Стрѣлка часовъ, висѣвшихъ надъ воротами, показывала восемь.

Въ Берлинской филармоніи, гдѣ былъ концертъ Жарова,

было много разныхъ залъ. Въ однихъ давались концерты, въ другихъ танцовали. Въ широкомъ, смутно освѣщенномъ, дворѣ-проходѣ толпился народъ. Женщины въ бальныхъ платьяхъ, съ обнаженными спинами, съ юбками, узкими въ колѣняхъ и съ широкими шлейфами изъ легкой матеріи у носковъ, съ завитыми блестящими волосами, оправляли прическу около большихъ зеркалъ. Мужчины во фракахъ и смокингахъ ихъ сопровождали.

— Ты любишь танцы, Лиза?

— Да!.. Очень!..

Подхваченные людскою рѣкою, Акантовъ и Лиза подавались по широкому проходу, гдѣ съ одной стороны были вѣшалки для платья, къ высокимъ дверямъ, занавѣшеннымъ тяжелымъ малиновымъ бархатомъ.

Акантовъ давно не былъ въ театрѣ, въ большомъ залѣ, въ нарядной толпѣ. Онъ и до войны рѣдко когда бывалъ въ театрахъ, а съ войной про нихъ и совсѣмъ позабылъ.

Величина залы Филармоніи его поразила. Много тутъ было золота, блеска, аляповатой роскоши. Множество народа, молодыхъ людей, барышень въ вечернихъ туалетахъ, въ дорогихъ мѣхахъ и въ простенькихъ шелковыхъ блузкахъ. У однихъ были завитые локоны на темени, точно неуклюжіе рога, у другихъ длинныя косы, красиво уложенныя на затылкѣ, у третьихъ коротко, по мальчишески, пострижены были волосы, однѣ были накрашены, другія не накрашены, однѣ толстыя, другія тонкія, граціозныя, красивыя и некрасивыя, — Русскія и нѣмки, — у всѣхъ одинаково блестѣли глаза, восторгъ ожиданія большого художественнаго наслажденія былъ на улыбающихся лицахъ.

На эстрадѣ, тѣсно, въ нѣсколько ярусовъ стояли стулья. Тамъ сидѣла молодежь. За нею на стѣнѣ были малиновыя панно въ затѣйливыхъ филиграновыхъ золотыхъ завиткахъ и орнаментахъ. Двѣ статуи музъ, съ лютней и цитрой, желтоватаго алебастра были по сторонамъ панно.

Кресла, два яруса ложъ, галлереи — все было полно. Огромный залъ былъ биткомъ набитъ.

Акантовъ сѣлъ на свое мѣсто. Онъ думалъ, какъ одичалъ

онъ за это время фабричной жизни. Ему жутко было въ нарядной толпѣ.

Лиза въ полголоса переводила отцу программу. Сзади говорили по-Русски.

— Смотрите... Самъ Владыка пожаловалъ.

Осанистый старикъ, съ простымъ Русскимъ лицомъ, въ сѣдой бородѣ, съ длинными волосами, въ черномъ монашескомъ клобукѣ, проходилъ передъ эстрадой къ первому ряду. Два человѣка въ смокингахъ подошли къ нему подъ благословеніе и поцѣловали руку.

Лиза бормотала рядомъ:

— Литургія вѣрующихъ, Гречанинова... Хвалите Имя Господне, Тшеснокова.

Акантову было досадно, что Лиза перевираетъ слова, не справляется съ Русскими именами.

Вдругъ громъ апплодисментовъ бурей налетѣлъ на залъ. Начался наверху и загремѣлъ въ низахъ.

Изъ правой кулисы, бодрымъ военнымъ шагомъ, входилъ на эстраду высокій, выправленный человѣкъ съ длинной русой бородой, со строгими, умными глазами... За нимъ, въ ногу, въ строгомъ порядкѣ, шли хористы хора Жарова.

Акантовъ смотрѣлъ на нихъ, не отрывая глазъ, не слушая больше Лизу. Видѣніе ушедшаго міра было передъ нимъ. Черныя Русскія рубашки были стянуты тонкими казачьими ремешками, широкіе синіе шаровары съ алымъ лампасомъ, высокіе сапоги, — все было очень просто и, вмѣстѣ съ тѣмъ, по военному щеголевато. Одинъ въ затылокъ другому, стройной шеренгой входили они, останавливались, поворачивались по уставному налѣво, на лѣвомъ каблукѣ и на правомъ носкѣ — «ать-два», приставляли ногу и становились въ передней шеренгѣ, заложивъ руки за спину, въ задней — сложивъ руки на груди.

Но, понималъ Акантовъ, сознавалъ, что не въ этомъ было дѣло: — не въ высокихъ, прекрасно начищенныхъ Русскихъ сапогахъ, не въ шароварахъ, не въ выправкѣ, не въ строевомъ чинномъ порядкѣ и ранжирѣ, а въ томъ, что Акантовъ вдругъ увидалъ с в о и х ъ... Онъ, кажется, никого тутъ

не зналъ, никто изъ нихъ съ нимъ не служилъ, а были они ему родными, были его сослуживцами, товарищами по войнѣ. Вотъ этотъ великанъ съ русой бородой, съ сурово глядящими глазами, не онъ, развѣ, велъ на Карпатахъ батарею, сидя на росломъ караковомъ конѣ?.. А тотъ, второй съ лѣваго фланга, молодой, красивый, съ серьезными глазами, не ему давалъ о развѣдкѣ приказаніе Акантовъ, и былъ онъ тогда лихимъ корнетомъ коннаго полка?.. Тотъ командовалъ батальономъ, а этотъ, сѣдой, былъ съ казачьей сотней второй очереди при его полку... Необычайно родныя лица были у нихъ. Какъ сохранили они свое «Русское», пронеся его за годы скитаній черезъ всѣ страны свѣта!..

Акантовъ не зналъ этихъ людей, а все съ тревогой и сладкимъ умиленіемъ, съ замираніемъ сердца, всматривался въ лица ихъ и ощущалъ, какъ давно не испытанное имъ чувство Родины все сильнѣе и сильнѣе охватывало его и какая-то теплая волна заливала его сердце и туманила глаза.

Апплодисменты все нарастали и, наконецъ, достигли страшной силы. Залъ потрясался отъ нихъ.

Быстрыми шагами на эстраду вышелъ дирижеръ. Высоко поднявъ голову, блистая глазами, со строгимъ, серьезнымъ, чуть скрашеннымъ улыбкой лицомъ, онъ легко вскочилъ на подіумъ и поклонился публикѣ.

— Я-роффъ!.. Я-роффъ!!. — неслось сверху.

Чей-то высокій женскій истерическій голосъ покрывалъ всѣ остальные.

— Вотъ онъ, нашъ соловушко, — сказала впереди Акантова дама съ сѣдыми, сѣрыми, коротко остриженными волосами.

Ей отвѣтила худенькая, стройная барышня въ большихъ очкахъ:

— Посмотри, мама, у Василевскаго борода стала еще длиннѣе.

— Очень онъ хорошъ, — сказала сѣдая дама.

Жаровъ по военному повернулся кругомъ на подіумѣ и сталъ лицомъ къ хору. Апплодисменты мгновенно смолкли. Наступила строжайшая, молитвенная тишина.

Въ эту тишину вошелъ рокочущей октавой, будто и не громкій, но далеко несущійся голосъ.

Василевскій читалъ ектенію. Изъ-подъ нависшихъ, густыхъ бровей сурово сверкали его глаза. Едва замѣтно было шевеленіе большой бороды. Мощный басъ рокоталъ по залу:

— Вся святыя помянувше, паки и паки, міромъ Господу помолимся...

Будто не люди, но подлинно Ликъ небесный, Ангельскій Ликъ, вздохнулъ чистымъ, прозрачнымъ вздохомъ:

— Господи помилуй...

— О принесенныхъ Честныхъ Дарѣхъ...

Акантовъ уже не видѣлъ зала, не чувствовалъ толпы зрителей кругомъ. Кровавые годы войны, голодные годы тяжелаго физическаго труда, нищеты и никчемнаго существованія куда-то умчались. Изъ далекой, незабываемой глубины появились и поплыли передъ глазами картины Родины... дома... того, что было. Исаакіевскій Соборъ и торжественная службы въ немъ. Зимній холодъ и сумракъ огромнаго храма, мягкій ароматъ ладана и воска, малахитъ и ляпись лазурь золотого иконостаса, металлъ, отражающій огоньки свѣчекъ, и вотъ такое же совершенное пѣніе митрополичьяго хора. Истовое православное богослуженіе.

«Боже, Боже мой», — думалъ Акантовъ, всею душой, всѣмъ сердцемъ уходя въ слухъ, — «что мы потеряли! Какъ могли мы все это такъ легко оставить и сдать? Какъ не отстояли мы свою Россію отъ вражеской силы!.. Какъ смѣли мы не побѣдить и остаться живыми?..».

Раздавшіяся послѣ ектеніи рукоплесканія были сдержанны. Молитвенное настроеніе охватило залъ.

— Glänzend!.. Prachtvoll!.. Unglaublich!.. — раздавалось кругомъ Акантова. *).

— Какъ это достигнуто!.. Это органъ, а не живые люди!..

Уже колебались, колыхались въ воздухѣ осторожные, почтительныя, воздушныя, точно и правда въ облакахъ кадиль-

*) Блестяще!.. Великолѣпно... Невѣроятно...

наго дыма несущіяся, порхающія около Царскихъ вратъ «Заповѣди блаженства». Акантовъ видѣлъ, какъ медленно и торжественно идетъ «малый выходъ». Огромное, золотое Евангеліе лежитъ на плечѣ рослаго, красиваго діакона. Акантовъ слышалъ и воспринималъ всѣмъ сердцемъ слова:

— Блаженни есте, егда поносятъ вамъ, и ижденутъ, и рекутъ всякъ золъ глаголъ на вы лжуще Мене ради...

«О, сколько, сколько поносили насъ за эти жуткіе послѣреволюціонные годы», — думалъ Акантовъ, — «сколько лгали про насъ. Точно ложь воцарилась въ мірѣ».

А съ эстрады, успокаивая его, неслось радостно:

— Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесѣхъ...

Акантовъ не концертъ слушалъ, а истаевалъ въ горячей молитвѣ, такой, какой въ храмѣ не испытывалъ. Онъ переживалъ свое старое, когда горячо вѣрилъ, когда еще ходилъ въ церковь, вѣруя, что въ ней, въ Христѣ, истина, когда не искалъ ее, какъ ищетъ теперь, разувѣрившись въ Церкви.

Въ антрактѣ всѣ задвигались, встали, пошли размять ноги, покурить, поболтать со знакомыми. У входа въ кулисы толпилась молодежь, несла карточки Жарова, чтобы получить его автографъ. Акантовъ сталъ въ проходѣ, смотрѣлъ на идущихъ мимо людей, стараясь, среди нѣмецкой рѣчи, уловить ухомъ Русскую рѣчь.

Высокій, худощавый человѣкъ съ сѣдѣющими русыми волосами, нервно говорилъ маленькому сѣдому старичку:

— Не понимаю этихъ восторговъ Жаровскимъ хоромъ. Модернизировано... Подъ иностранца сдѣлано. Надо послушать нашъ Московскій синодальный хоръ, или хоръ Московской оперы; тамъ, батенька мой, чистое искусство, подлинная народная душа, а выше нашего народа въ искусствѣ никого нѣтъ.

— Да гдѣ вы это, Александръ Ивановичъ, услышите, когда все это отняли отъ насъ?

— Выдумано...

— Да что вы, профессоръ, выдумано, да гдѣ же выду-

мано? Не свое они поютъ, а Гречанинова, Чеснокова, Кастальскаго, старые напѣвы Кіевскихъ церквей, — возразилъ старикъ.

— Можетъ быть... Очень можетъ быть... Мнѣ не нравится. Вы понимаете, меня это не удовлетворяетъ!..

Они пошли въ проходъ.

— Лиза, — сказалъ Акантовъ, оборачиваясь къ дочери. — А какъ ты? Тебѣ понравилось?.. Почувствовала ты силу православнаго пѣснопѣнія?..

Спокойные синіе глаза прямо въ глаза посмотрѣли Акантову. Они сейчасъ же и прикрылись рѣсницами. Тихо сказала Лиза:

— Мнѣ трудно судить объ этомъ, папа. Кажется, — да... Очень хорошо. Нѣмцы-то въ какомъ восторгѣ!.. Но я?.. Я этого не понимаю...

VII.

Лиза, пока выходилъ и выстраивался на эстрадѣ хоръ, объясняла по программѣ отцу, что сейчасъ будутъ пѣть ораторію, сочиненную Жаровымъ и положенную на музыку композиторомъ Шведовымъ:

— Это — исторія послѣднихъ лѣтъ Россіи, — торопилась Лиза своими словами разсказать. — Тутъ, значитъ, Донъ, мобилизація, тревога, война, революція, молитва за павшихъ...

Чуть слышно, въ хорѣ на губахъ проиграли тревожный сигналъ, и разомъ, громко, дружно и плавно грянулъ такъ хорошо знакомый Акантову Донской казачій гимнъ:

— Всколыхнулся, взволновался
Православный Тихій Донъ,
И послушно отозвался
На призывъ Монарха онъ...

«Да, да», — кивая въ тактъ пѣнію, думалъ Акантовъ. — «Да, такъ оно и было. По Государеву слову, весь Донъ поднялся на защиту Родины. Такъ и въ 1812-мъ году не поднимались казаки: поголовно встало войско Донское по Госу-

дареву приказу. Всѣ казачьи войска выставили много больше, чѣмъ то было положено по плану»...

Акантовъ слушалъ дальше: — два Государства, которымъ самъ Господь указалъ жить въ дружбѣ и мирѣ, поднялись одно противъ другого и пошли истреблять другъ друга.. Грянулъ хоръ нѣмецкій гимнъ:

— Deutschland, Deutschland über Alles, über Alles in der Welt!.. *).

И, будто навстрѣчу гордымъ словамъ, полились, поплыли, заливая душу восторгомъ, великія, святыя, каждому Русскому драгоцѣнныя, слова:

— Боже царя храни...
Сильный, Державный,
Царствуй на славу,
На славу намъ!..

«Трр-дамъ... Трр-дамъ... Тррр-дамъ», — все ускоряя темпъ, отстукиваютъ по рельсамъ красныя коробки вагоновъ воинскихъ поѣздовъ. Идутъ, несутся на войну солдаты...

Хоръ пѣлъ:

— Мы смѣло двинемся впередъ!..
Мы — Русскіе солдаты!..

Пошли стрѣлки Акантова...

Что это за страшные выкрики въ хорѣ? Почему бодрую пѣсню вдругъ смѣнило погребальное, панихидное пѣніе?.. Съ праваго фланга изъ задней шеренги кто-то сказалъ страшнымъ, за душу хватающимъ, печальнымъ, глубокимъ, изъ самаго сердца идущимъ голосомъ:

— Прощайте, всѣ друзья!..

— Прощай, моя Родина!..

— Прощай, мой домъ!.. И ты, Тихій Донъ!..

Кто это сказалъ?.. Акантовъ знаетъ этого широкоплечаго, загорѣлаго, съ темнымъ румянцемъ на щекахъ, человѣка. Какъ скорбны его темные глаза, какъ страшно смотрятъ они изъ-подъ нахмуренныхъ бровей, и сколько въ нихъ

*) Германія, Германія надъ всѣмъ, надъ всѣмъ на свѣтѣ...

неизжитой печали и скорби?.. Это Бажановъ-Корниловецъ!.. Корниловецъ Бажановъ!.. Сколько разъ вмѣстѣ дрались Акантовъ и Бажановъ съ большевиками. Сколькихъ своихъ друзей, соратниковъ схоронили они въ глухихъ степныхъ могилахъ... И, угадывая мысли Акантова, со страшнымъ горемъ возглашаетъ Бажановъ:

— Вѣчный миръ и покой пошли, Господи... Всѣмъ павшимъ на полѣ брани...

Гудитъ, густымъ органомъ поетъ подъ сурдинку, хоръ: «Вѣчная память!.. Вѣчная память!..».

— Всѣмъ погибшимъ отъ ранъ и болѣзней...

Слезы застилаютъ глаза Акантову. Сквозь нахлынувшія печальныя мысли, онъ слышитъ, какъ гремитъ торжественно хоръ:

— Слава намъ, войску Донскому,
Слава нашимъ казакамъ,
Войсковому атаману,
И станицамъ, и полкамъ!..

Поднялся Донъ...

Бѣгутъ слезы изъ глазъ Акантова, текутъ по щекамъ, падаютъ на усы, капаютъ на черный пиджакъ. Мѣшаютъ глядѣть, не даютъ слушать думы и воспоминанія... Что это?.. Старость?..

Уже не въ силахъ владѣть собою, Акантовъ плакалъ крупными слезами. Лиза дергала отца за рукавъ:

— Папа!.. Папочка!.. Не надо!.. Не надо такъ!.. Люди тутъ!.. Увидятъ!.. Посмѣются!.. Нехорошо, папочка!

Акантовъ не слышалъ дочери.

VIII.

Въ антрактѣ къ Акантову подошелъ средняго роста плотный черноволосый человѣкъ неопредѣленнаго возраста:

— Ваше превосходительство, — развязно сказалъ онъ, протягивая руку Акантову. — Егоръ Ивановичъ!.. Не признаете?.. Какими судьбами?.. Какимъ вѣтромъ васъ занесло въ наши края?..

Акантовъ вглядывался въ говорившаго. Большая круглая голова, со щеками, хорошо проложенными саломъ, безъ морщинъ, съ толстыми, чувственными губами, небольшіе узкіе глаза съ искоркой, — не разберешь: дружеской или хитренькой. Говорившему можно было дать и двадцать пять лѣтъ, и всѣ сорокъ пять. Неопредѣленное было лицо, международное. Пусти въ любомъ городѣ въ толпу — такъ сольется съ ней, такъ растворится, что никакой сыщикъ не найдетъ его и не узнаетъ. Русскій?.. Нѣмецъ?.. Кто хотите. Густые черные волосы продернуты легкой сѣдиной, острижены по модѣ — у ушей и на затылкѣ наголо; синяя кожа сквозитъ, на макушкѣ волосы торчатъ вихромъ. Крошечные, стриженые усики, очень гладко, до блеска бритыя щеки, хорошій костюмъ, пестрый, вульгарный галстухъ съ брилліантовой булавкой... Такихъ людей механизированный двадцатый вѣкъ стандартомъ производитъ тысячами, — пойди, узнай, кто онъ?..

— Простите, — началъ Акантовъ, но незнакомецъ, теплой пухлой ладонью сжимая руку Акантова, прервалъ:

— Э, полноте, гдѣ же вамъ всѣхъ упомнить?.. Я — капитанъ Лапинъ. При васъ еще и капитаномъ не былъ. А вы не измѣнились нисколько... Все та же блестящая стрѣлковая выправка. Мы обожали васъ за нее. Стрѣлки говорили: «Нашъ стрѣлокъ Акантовъ»... Только, вотъ, усы чуть побѣлѣли и короче вы ихъ носите теперь. Да, не повѣришь, а годы, годы пронеслись, промчались, какъ мгновеніе, какъ мигъ..

Этотъ человѣкъ бралъ нахрапомъ, напористостью, наскокомъ. Онъ колдовалъ словами, завораживалъ, какъ змѣя, пристальнымъ глазомъ усыплялъ свою жертву своими маленькими глазами съ искоркой. Онъ говорилъ непрерывно, словно боялся дать Акантову сказать слово. Какъ пули изъ пулемета, летѣли у него слова. Онъ говорилъ по-Русски съ тѣми полу-иностранными оборотами и не то мѣстечковыми, южнорусскими, не то взятыми изъ заграницы словами, какъ говорятъ Русскіе, мало говорящіе по-Русски. И не могъ опредѣлить Акантовъ, точно ли этотъ капитанъ Лапинъ зналъ его стрѣлкомъ въ полку, или былъ откуда-то взявшійся, не-

вѣдомый человѣкъ торговли, денегъ, широкой совѣсти, коммивояжеръ или адвокатъ изъ мелкихъ.

Лиза увидала знакомаго въ толпѣ, и сошла со своего кресла. Лапинъ сейчасъ же пробрался на ея мѣсто и сѣлъ рядомъ съ Акантовымъ:

— Вы не пойдете курить?.. Не стоитъ, право. Тамъ — толчея. И накурено!.. Дымъ, какъ коромысло. Я видѣлъ ваши слезы, ваше превосходительство. Святыя, великія слезы Русскаго человѣка. У меня самого подъ глазами щипало и за сердце брало. Какъ поютъ! И все это наше, Русское, великимъ народомъ Русскимъ созданное! А видѣли, какой восторгъ... Это новое казацкое завоеваніе Германіи. Помните, въ 1807-мъ году атаманъ Платовъ на рѣкѣ Пассаргѣ въ Пруссіи, и въ 1813-мъ году казаки, какъ желанные гости, освободители Берлина?..

Онъ зналъ исторію. Онъ подкупалъ Акантова сердечностью голоса и искренностью глубокаго восторга и патріотизма:

— Поди-ка, тогда тоже такъ обвораживали казаки нѣмокъ своими залихватскими пѣснями со звонкимъ подголоскомъ. Скрипка. Флейта. Я всѣхъ ихъ знаю. Услышите, какъ поетъ Болотинъ! Не повѣрите, что это голосъ, а не инструментъ. Я ни одного ихъ концерта никогда не пропущу. Я обожаю все Русское. Я жить не могу безъ Россіи..

Тутъ Акантовъ хотѣлъ сказать, что онъ такъ же любитъ Россію, но прервать потокъ словъ Лапина не было возможности. Лапинъ положилъ горячую руку на колѣно Акантову, какъ бы останавливая его, и продолжалъ:

— Вотъ, говорятъ и пишутъ... Въ эмигрантскихъ газетахъ пишутъ. Россіи нѣтъ... Сплошной Эсесесеръ и жидъ въ немъ. Э!.. Нѣтъ!.. Россія живетъ, несмотря ни на какого тамъ жида. Подъ сѣрымъ пепломъ коммунизма, какими горячими угольями пылаетъ Россія! Только раздуть, батюшка, этотъ уголь надо!.. Ваше превосходительство, добрѣйшій Егоръ Ивановичъ, прошу васъ... Если хотите еще разъ и еще сильнѣе, глубже и ближе почувствовать Россію, на пару часовъ очутиться въ Москвѣ, это же волшебно какъ будетъ!..

Услышите тамошній говоръ, тамошнія пѣсни... Вы надолго здѣсь?..

— Я послѣзавтра уѣзжаю, я здѣсь... — только успѣлъ сказать Акантовъ, какъ Лапинъ перебилъ его:

— Голубчикъ!.. Дорогой мой!.. Окажите честь, не побрезгайте старымъ соратникомъ. Пожалуйте завтра къ восьми ко мнѣ... Послушаемъ Москву! У меня радіо — нѣчто сверхъестественное. Послушаемъ, и вы увидите, что наши эмигрантскіе страхи — ужасы: трень-брень, ерунда-балалайка!.. Россія живетъ! И мы съ вами, какъ на коврѣ-самолетѣ, спустимся въ самоё Москву, только что не увидимъ ее. Это же будетъ великолѣпно. Я покажу вамъ, батенька, столько Русскаго, что ваше сердце умилится. Вы гдѣ же остановились?..

Акантовъ не успѣлъ отвѣтить. Лиза пробиралась къ своему мѣсту. Ея красивое лицо было оживлено, голубые на выкатъ глаза сіяли счастьемъ, улыбка играла на щекахъ.

Лапинъ всталъ, уступая ей мѣсто:

— Послѣ этого отдѣленія, я подойду къ вамъ, ваше превосходительство, — сказалъ онъ, — мы сговоримся съ вами на завтра...

Лиза сѣла рядомъ съ отцомъ. Ея глаза были опущены. Холодъ скрытности смылъ со щекъ улыбку счастья и оживленія.

Лиза спокойно спросила отца:

— Ты нашелъ здѣсь знакомаго?..

— Да.. То-есть?.. Я, собственно, совсѣмъ не помню этого человѣка. Но онъ увѣряетъ, что мы служили вмѣстѣ. Можетъ быть, былъ вольноопредѣляющимся въ полку? Хотя?.. Я всѣхъ своихъ вольноперовъ помню. Зоветъ завтра вечеромъ къ себѣ...

— Ты пойдешь? — спросила Лиза, и на мгновеніе ея глаза снова вспыхнули синимъ огнемъ.

— Не знаю... Зачѣмъ я къ нему пойду?.. Совсѣмъ чужой человѣкъ...

— Отчего бы тебѣ, папа, и не пойти къ нему, а я тѣмъ временемъ спокойно уложилась бы...

Акантовъ не отвѣтилъ. Онъ снова напряженно смотрѣлъ на эстраду. Парадным военнымъ шагомъ выходили на нее Жаровскіе казаки. Громъ апплодисментовъ не смолкалъ.

IX.

Русская народная и солдатская пѣсни вызвали бѣшеные восторги:

Какъ на горѣ — калина,
А подъ горою — малина...
Ну, что-жъ, кому дѣло калина?
И кому какое дѣло — малина?..

Каждый звукъ, каждое слово этой старой, старой пѣсни сильно и нѣжно толкали въ самое сердце Акантова, и сердце пѣло вмѣстѣ съ пѣсней, улыбалось тонкой усмѣшкой, вызывало далекіе юношескіе образы. Точно снова видѣлъ себя бравымъ юнкеромъ Александровцемъ, видѣлъ большія подмосковныя села, и на горѣ, въ садахъ, калину, а по взгорью, на высокихъ шестахъ, какъ виноградъ, малину...

— Тамъ дѣвицы — гуляли,
Да, тамъ, красныя, гуляли...

Русскихъ дѣвушекъ, крестьянокъ видѣлъ Акантовъ, въ легкихъ рубашкахъ, въ монисто и бусахъ на бѣлыхъ шейкахъ, въ просторныхъ, въ сборку, пунцовыхъ юбкахъ, яркозубыхъ, смѣшливыхъ, веселыхъ, острыхъ и мѣткихъ на языкъ. О, какъ хотѣлъ теперь Акантовъ хотя бы на мигъ, увидѣть все это, — увидѣть Россію!.. Какъ захотѣлось ощутить запахъ Русской деревни: соломеннаго дымка, ладанный ароматъ хворостовой растопки, крѣпкій запахъ коровника, вкусный вяжущій духъ горячаго хлѣба, только-что вынутаго изъ печи, и махорочный запахъ мужика и овчины. Хоть на часокъ попасть въ Россію...

Уже была выполнена хоромъ вся обѣщанная программа, а публика не расходилась. Гремѣли апплодисменты по залу:

— Я-роффъ!.. Я-рофффъ!.. — неслось съ боковой верхней галлереи. По залу стучали ножками стульевъ.

Барышня, нѣмка, студентка или консерваторка, со свѣт-

лыми стриженымъ волосами, копной торчащими на головѣ, перегибаясь совсѣмъ черезъ барьеръ галлереи, неистово аплодировала, и, блистая восторженными глазами и оборачиваясь къ стоявшимъ сзади нея студентамъ и дѣвушкамъ, командовала:

— Eins, zwei, drei, Jaróff! *).

Вся галерка, по ея командѣ, орала въ голосъ:

— Я-роффъ!.. Я-роффъ!..

— Eins, zwei, drei!..

— Я-роффъ!.. Я-роффъ!..

Жаровъ безъ конца выходилъ. Лицо его сіяло благодарнымъ восторгомъ. Залъ потрясался громомъ рукоплесканій, криками и стукомъ ножекъ стульевъ.

Снова показалась русая борода, бодрой походкой выходили пѣвцы и выстраивались. Служитель Филармоніи, въ черномъ широкомъ фракѣ, согнувшись, утянулъ съ эстрады подіумъ. Весь залъ повскакалъ съ мѣстъ, публика придвинулась, стѣснилась толпою у эстрады. Сидѣвшіе сзади хора на эстрадѣ сошли съ мѣстъ, забѣгали впередъ, чтобы видѣть, что будетъ...

Мѣрно, дружно и весело, вызывающе на пляску, началъ хоръ:

Посѣю лебеду на берегу,
Посѣю лебеду на берегу!..

— Ну, вотъ и Лазаревъ выходитъ плясать, — сказала сѣдая дама, сидѣвшая впереди Акантова.

Она пошла впередъ, за нею пошелъ и Акантовъ; ему тоже хотѣлось, какъ и всѣмъ, поближе и получше видѣть пляску казаковъ. Акантовъ очутился подлѣ молодой, хорошенькой женщины, такими веселыми, радостными, счастливыми глазами смотрѣвшей на эстраду, что радость и счастье ея, казалось, разливались вокругъ.

Изъ-за лѣваго края пѣвцовъ, свободной походкой, въ раскачку, широко размахивая руками, вышелъ молодой красавецъ-казакъ. Едва держалась на темныхъ кудряхъ его ар-

*) Разъ... два... три...

мейская фуражка съ краснымъ околышемъ, шаравары были широкія, «какъ Черное море», видъ лихой и увѣренный.. Онъ вышелъ, улыбаясь, взмахнувъ руками и пустился въ плясъ:

— Мою крупную разсадушку,
Мою крупную, зеленую...

Все лише, скорѣе и чаще пѣлъ хоръ. Пронзительно свистѣлъ казакъ съ веселыми глазами. Его сосѣдъ закрывалъ рукою ухо отъ оглушающаго неистоваго свиста...

— Погорѣла лебеда безъ воды,
Погорѣла лебеда безъ воды...

Танцоръ прыгалъ выше своего роста, переворачивался въ воздухѣ, крутился, то лицомъ, то затылкомъ къ публикѣ, шаравары раздувались пузырями; странно было, что не спадала съ головы фуражка. Вдругъ присѣдалъ, каблуки отбивали дробь, вскакивалъ, и снова поднимался на воздухъ...

— Вотъ, чор-р-ртъ!.. Чисто чор-р-ртъ!. — восторженно говорила хорошенькая дама, вся расплываясь въ радостной дѣтски чистой улыбкѣ.

Танцоръ сдѣлалъ послѣднее движеніе и отошелъ за хоръ; ему на смѣну вылетѣлъ дикимъ страшнымъ прыжкомъ другой, такой же молодой. Голубая, атаманская фуражка была заломлена на бокъ. Онъ началъ съ невѣроятныхъ прыжковъ, съ удалой присядки, и ему сейчасъ на подмогу выскочилъ и первый. Они летали по воздуху, точно для нихъ не существовало закона притяженія...

— Молодчина, Пискуновъ, — сказала дама. — Не знаешь, кто изъ нихъ лучше?..

Теплая, мягкая рука схватила Акантова за руку. Голосъ Лапина говорилъ за нимъ:

— Я къ вамъ, ваше превосходительство. Условимся. Гдѣ вы остановились?

— Въ пансіонѣ, на Байеришеръ-плацъ.

— Такъ это же буквально пара шаговъ отъ меня. Я приду за вами завтра ровно въ восемь. Вы увидите, вы услышите, и вы поймете, что Россія жива... А эти, — показы-

вая на танцоровъ, сказалъ Лапинъ, — чисто дервиши... Вы видѣли, ваше превосходительство, вертящихся дервишей?.. Нѣтъ... Ну, такъ эти же лише!.. Много лише!.. До чего, знаете, талантливъ Русскій народъ... Такъ ровно въ восемь я зайду за вами. У меня вы и поужинаете... На пару часовъ въ Москву!..

Акантовъ не успѣлъ отвѣтить. Толпа зашевелилась, подаваясь къ выходу. Лапинъ исчезъ въ толпѣ. Въ концѣ зала гасили огни. Впереди, у эстрады, все стояла, не расходясь, толпа. Рукоплесканія и вызовы не прекращались...

— Я-роффъ!.. Я-роффъ!.. — вопили съ галерки.

На самой эстрадѣ барышня, въ короткомъ платьѣ и съ дыбомъ стоящими волосами, въ какомъ-то экстазѣ хлопала въ ладоши, ногами выстукивала чечотку и визжала отъ восторга...

Хоръ вышелъ и построился:

— Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ,
Не можетъ изъяснить языкъ...

Весь залъ примолкъ и притихъ. Священная стала тишина. Этотъ мотивъ гимна одинаково хорошо знали, какъ Русскіе, такъ и нѣмцы. Слова Хераскова, музыка Бортнянскаго, онъ пришелъ въ Германію изъ Россіи, и тутъ привился и окрѣпъ.

Акантову казалось, что не пѣніе онъ слышитъ, но играетъ гдѣ-то молитвенно стройно и тихо прекрасный военный оркестръ. Спазма сжала горло Акантова. Сколькихъ друзей-товарищей проводилъ онъ подъ звуки этой молитвы къ мѣсту послѣдняго упокоеія... Играли его и въ городѣ, гдѣ онъ служилъ, и на полѣ брани, гдѣ еще не остыла земля отъ разрывовъ гранатъ и горячей человѣческой крови. Каждый переливъ пѣнія вызывалъ въ памяти Акантова величественно печальную картину.

... Изъ церковныхъ дверей, колышась на рукахъ офицеровъ въ парадной формѣ, показался гробъ... Киверъ и шашка на немъ... Вѣнки... Артиллерійскія лошади натянули постромки лафета... Музыканты играютъ «Коль славенъ»...

— Великъ Онъ въ небесахъ на тронѣ,
Въ былинкахъ на землѣ великъ...

Всякій разъ тогда Акантовъ думалъ: «Будетъ день, когда и мое тѣло понесутъ изъ церкви мои товарищи, а стрѣлковый оркестръ, плавно и медленно, будетъ играть «Коль славенъ»... Услышу ли я т о г д а изъ гроба эти молитвенно прекрасные звуки?..

— Тебѣ въ сердцахъ алтарь поставимъ,
Тебя, Господь, поемъ и славимъ...

Теперь понялъ: — н и к о г д а этого не будетъ!..

Въ толпѣ, у выхода, нѣмцы, цѣнители музыки, говорили:

— Musikfanatisch!.. aber ja beschwörerisch geführte Russenchor!

— Welche urtiefe mächtige Bässe und knabenhafthelle Tenöre!

— Ganz wie eine Vision die verlorene, doch treugeliebte Heimat.

— Melancholie... Kraft östlicher Volksart!

— Orgel aus Menschenstimmen!..

Лиза переводила отцу: «Фанатичная музыка... Изумительно ведомый Русскій хоръ!.. Какіе глубокіе, мощные басы и дѣтски чистые тенора... Будто видѣніе потерянной, но вѣрно любимой Родины... Меланхолія... Сила восточнаго, народнаго искусства... Органъ изъ человѣческихъ голосовъ...».

— Много они понимаютъ!.. Ты то, Лиза, поняла все?.. Тебѣ понравилось?..

— Конечно, папа. Я въ восторгѣ...

На улицѣ было свѣжо. Осенняя ночь спустилась надъ городомъ. Гроза за время концерта пронеслась и пролилъ ливень. Черные асфальты блестѣли, какъ рѣка, отражая огни. У панелей шумѣла вода, стекая въ сточныя трубы и крутясь воронками. Омытый грозой, молодой мѣсяцъ висѣлъ надъ домами. Черныя тучи ушли за городъ. Вдали частыми и долгими ударами рокоталъ громъ. Гроза стихала, уходя за городъ.

Въ темной улицѣ толпа все не расходилась. Русская рѣчь

мѣшалась съ нѣмецкой. Вдругъ какой-то, словно призывный, свистъ раздался за спиной Акантова. Лиза вздрогнула и пріотстала.

Акантову показалось, что это она сказала кому-то:

— Morgen... Abend!.. *).

X.

На другой день, ровно въ восемь, въ комнату Акантова постучали. Лапинъ пришелъ за Акантовымъ. Хотѣлъ, было, Акантовъ отговориться отъ ненужнаго посѣщенія, но отговориться отъ Лапина оказалось невозможнымъ.

Это и правда было «два шага» отъ пансіона, гдѣ остановился Акантовъ.

Они поднялись на лифтѣ на пятый этажъ. Лапинъ своимъ ключомъ, не звоня, открылъ дверь:

— Я не буду зажигать огня. Такъ будетъ лучше. Больше настроенія, — говорилъ Лапинъ, пропуская Акантова въ длинную переднюю, похожую на корридоръ. Въ глубинѣ чуть показывалась мутными стеклянными просвѣтами большая дверь. Акантовъ ощупью пробирался къ ней.

— Вотъ сюда, ваше превосходительство... Здѣсь вѣшалка.. Какъ пѣли вчера эти казаки!.. Съума можно сойти. По душамъ хватали... Сердце кошками скребли... И танцоры!.. Изумительно!.. Это былъ уголокъ Россіи. Я вамъ покажу саму Россію... Москву!.. Пожалуйте за мной...

Они вошли въ комнату, съ дверью, открытой на балконъ. Въ густыхъ сумеркахъ были видны дома тяжелой, старой, готической архитектуры. Было тихо въ этомъ уединенномъ кварталѣ.

Въ полутемной комнатѣ Акантовъ разглядѣлъ иконы. Подъ ними была угольникомъ полочка, съ полочки свѣшивалось расшитое пѣтушками Русское полотенце. На полочкѣ — темно-синяя, какъ чаша, лампада. Въ ней теплилось неподвижное пламя. Среди чуть видимой, намѣчавшейся тем-

*) Завтра... Вечеромъ...

ными контурами, тяжелой нѣмецкой мебели, — диванъ съ высокими спинками, съ полками на нихъ, установленными бронзовыми блюдами, раскрашенными гипсовыми статуэтками гномовъ и баварскихъ крестьянокъ, съ картинами на стѣнахъ въ широкихъ рамахъ, — божница и лампада казались нарочитыми и бутафорскими. Иконы были старыя, въ золотыхъ и серебряныхъ окладахъ, — не то свои фамильныя («врядъ ли», — подумалъ Акантовъ), не то купленныя въ антикварномъ магазинѣ. Акантовъ зналъ, что въ Русской эмиграціи была «мода» на старыя иконы, и люди, часто вовсе не вѣрующіе, скупали чужія родовыя иконы, проданныя отъ нищеты и голода.

— Сюда, дорогой Егоръ Ивановичъ, вотъ въ это кресло. Здѣсь вамъ будетъ хорошо. Вамъ не дуетъ съ балкона?.. Да, вечеръ такой теплый. Глядите на улицу. Знаете, какъ въ Москвѣ, гдѣ-нибудь тамъ, подальше, въ какомъ-нибудь Спасопесковскомъ переулкѣ. И, видите, въ темнѣющемъ небѣ крестъ на колокольнѣ. Не Русскій, восьмиконечный крестъ, а все-таки — крестъ...

Мягкія бока кресла охватили Акантова. Подлѣ него узкимъ длиннымъ шкафомъ стоялъ, должно быть, очень дорогой, аппаратъ радіо. На немъ засвѣтилась пестрая табличка, испещренная цифрами и названіями.

— Подождемъ моментъ. Сейчасъ девятый часъ. По ихнему одинадцатый. Концертъ у нихъ. Сосредоточьтесь... Знаете что? Еще лучше — закройте глаза... Полнѣе будетъ иллюзія...

Чуть зашипѣло и щелкнуло въ аппаратѣ, и сразу и такъ громко, что, казалось, что голосъ шелъ изъ самой комнаты, пріятный, красивый баритонъ запѣлъ:

— Хороша страна наша родная,
Тамъ есть степи, горы, рѣки и лѣса.
Я другой такой страны не знаю, —
Жить хотѣлъ бы въ ней я безъ конца...

Такъ пѣвали, бывало, у самого Акантова лихіе пѣсельники въ его полку. Такой же былъ у запѣвалы чистый, молодой

голосъ, и такъ же замиралъ, понижаясь, онъ, къ концу запѣвка.

Хоръ подхватилъ пѣсню. Онъ не понравился, не удовлетворилъ Акантова. Куда же ему было до Жаровцевъ! Точно пѣли старики въ большихъ кустистыхъ бородахъ. Что-то угрюмое, дремучее было въ пѣніи. Акантовъ думалъ: «Рабство подъ еврейскимъ кнутомъ должно было сказаться. Иначе и быть не можетъ. Нѣтъ тутъ по настоящему лихого пѣнія... Будто и не смѣютъ широко открыть рты. И вѣетъ отъ этого пѣнія чѣмъ-то необъяснимо жуткимъ»...

Акантовъ хотѣлъ сказать это Лапину, но тотъ зашепталъ, сжимая горячею рукою руку Акантова:

— Москва... Слышите, милый, — Москва!.. А какой голосъ-то!.. Голосина-то какой!.. Я знаю, — это концертъ красно-армейской пѣсни... Какая прелесть!..

Звонкій, наигранно высокій, форсированный, какъ поютъ въ деревнѣ парни, подъ гармонику теноръ хватилъ съ залихватскимъ переборомъ гармонныхъ ладовъ:

— Всю вселенную объѣхалъ, —
Нигдѣ милой не нашелъ,
А въ Москву возворотился, —
Вотъ, гдѣ милую нашелъ...

— Чувствуете, милый, любовь къ Родинѣ?.. Ахъ, чортъ его подери совсѣмъ!.. Вотъ едрёна Матрена!.. Всю вселенную объѣхалъ, а милёнка-то его въ Москвѣ оказалась!... Да, такъ, батюшка, оно и есть. Такъ и есть, ваше превосходительство, дорогой Егоръ Ивановичъ. Мыкаемся, мыкаемся мы по бѣлу свѣту, а развѣ забудемъ мы когда-нибудь Россію?.. Все клевещемъ мы на совѣтскую власть. Э!.. Что она?.. Подробность... И при царяхъ то же самое было... Жандармы... По этапу высылали... Каторга... Вездѣ одно и то же. Рая на землѣ нѣтъ нигдѣ. И гдѣ оно лучше-то? Вездѣ расправляются съ врагами режима. Такъ намъ и политическая экономія указываетъ. Нельзя, значитъ, безъ этого... И никакихъ!.. А Россія?.. Россія — она, матушка, стоитъ, какъ гранитный монолитъ, какъ скала въ бурю... И, знаете что, вотъ поставлю

я вечеромъ, въ шесть часовъ, Москву, станцію Коминтерна, и слушаю... Оперу, батенька мой, слушаю... Да какую!.. Ахъ, чортъ возьми!.. «Евгеній Онѣгинъ», «Снѣгурочка», «Чародѣйка», сколько романтики, сентиментализма, дворянскихъ пережитковъ, какія рукоплесканія!.. Сижу въ креслѣ, и думаю, да почему, въ самоъ дѣлѣ, и я самъ не могу тамъ сидѣть, и тоже хлопать въ ладоши и кричать со всѣми — бисъ!.. бисъ!?. Вѣдь, это все наше. Это столько же ихъ, сколько и мое. Почему мы съ вами не можемъ тамъ быть?..

— Тамъ — большевики... Насъ съ вами разстрѣляютъ, — глухимъ голосомъ сказалъ Акантовъ.

— Васъ-то за что?..

— Ну, мало ли... За прошлое — генераломъ былъ... «Кровушку народную пилъ»... За настоящее... Пока мы держимъ эмиграцію въ любви къ Родинѣ, къ Россіи, и возбуждаемъ ненависть къ большевикамъ — жутко совѣтской власти... Понимаете, не устоитъ она, пока мы живы... Мы открываемъ глаза иностранцамъ на сущность большевизма, мы показываемъ всю ея мерзость. Мы говоримъ ту правду про совѣтскую власть, какую безъ насъ заграница никогда не узнала бы... Мы раскрываемъ большевицкую ложь... Наконецъ, мы...

Акантовъ замолчалъ. Онъ вдругъ замѣтилъ, что Лапинъ прикрылъ радіо, что онъ забылъ обычную свою болтливость, и, напротивъ, напряженно, ловя каждое слово Акантова, слушаетъ его рѣчь и точно записываетъ въ своей памяти...

Будто нѣчто жуткое вошло въ комнату и леденящимъ холодомъ охватило Акантова. «Да что это я?.. Да гдѣ я?.. Почему такъ разболтался?..», подумалъ Акантовъ, и оборвалъ рѣчь на полусловѣ.

Лапинъ мгновенно повернулъ колесико аппарата.

— Вниманіе, товарищи, вниманіе!..

Ясно, четко, выговаривая каждую букву, тѣмъ Русскимъ говоромъ, какой уже стала утрачивать эмиграція, говорила женщина, и Акантовъ старался представить ее себѣ, какая она — молодая или старая, какъ одѣта, сытое и довольное у нея лицо, или лицо измученное и запуганное.

— ... Концертъ красноармейской пѣсни законченъ. Черезъ двѣ минуты слушайте передачу концерта изъ Клуба красной арміи. Народная артистка, орденоносецъ Нежданова, исполнитъ нѣсколько романсовъ...

Лапинъ замѣтилъ смущеніе гостя. Онъ оказался болѣе чуткимъ, чѣмъ то можно было отъ него ожидать. Онъ заговорилъ о другомъ, будто и не былъ затронутъ острый и больной эмигрантскій вопросъ.

— Нежданова, — съ обычной своей бойкостью заговорилъ онъ. — Вы помните, ваше превосходительство, Нежданову?.. Большая артистка и съ хорошимъ классическимъ репертуаромъ. Говорятъ, теперь жена лучшаго, тамошняго, композитора и дирижера Голованова. Зналъ я когда-то и его. Съ ученической скамьи, — онъ у Кастальскаго учился, — въ профессора!.. Самонадѣянный, гордый... «Зеленая жаба», звали его. Пошелъ къ большевикамъ... Другіе, какъ Жаровъ, ушли въ бѣлое движеніе, сражались на Дону, скитаются теперь съ Русской пѣсней по свѣту, чаруя уроками Московской консерваторіи иностранцевъ. Ушелъ и Шаляпинъ, уходилъ Собиновъ; Головановъ и Нежданова остались... Вы помните, какъ она пѣла? Чайковскій, Рубинштейнъ, Даргомыжскій, Кюи, Гречаниновъ, Бородинъ.. Бывало, запоетъ Алябьевскаго «Соловья», всю душу на изнанку вывернетъ... Слезы выжметъ... Была на большой дорогѣ... — для береговъ отчизны осталась на этой самой отчизнѣ... Теперь услышите — не узнаете... Новые люди, новыя пѣсни... Клубъ красной арміи... Тутъ другія пѣсни нужны...

— Вниманіе, товарищи, вниманіе, — раздалось по радіо, — народная артистка, орденоносецъ Нежданова, исполнитъ «Пѣсню о летчикѣ»...

Пріятный, Русскій, густой — и годы не брали Нежданову, — голосъ, съ какимъ-то печальнымъ надрывомъ, запѣлъ въ аппаратѣ:

— Милый летчикъ,
Красный летчикъ...

Лапинъ зашепталъ на ухо Акантову. Не могъ онъ помолчать ни полъ-минуты:

— Какая первобытная простота мелодіи... До чего тамъ снизилось искусство, чтобы стать общедоступнымъ... Это не Варламовъ, не Гурилевъ, или Алябьевъ; это пастораль XVIII вѣка... И это поетъ Нежданова!..

— Милый летчикъ,
Красный летчикъ, —
Незабудка голубая...

— Вотъ, ваше превосходительство, гдѣ собака-то зарыта... Да было ли въ нашей старой-то Русской арміи такъ, чтобы съ эстрады, въ концертѣ, гдѣ тысячи народа, — вы слышите, какая буря апплодисментовъ, — заслуженная артистка, орденоноска... и этакому «милому летчику» въ голубыхъ петличкахъ, незабудкѣ голубой, такую пѣсенку споетъ... Вѣдь, для него это мармеладная конфетка, а не пѣсня. Вотъ она, гдѣ Россія, а не въ большевизмѣ, не въ совѣтской власти!.. Россіи нѣтъ... Слыхалъ я это, а милый летчикъ-то, а Нежданова, — не Русскіе, что ли, люди?.. Нѣтъ, батенька мой, Россія еще поборется. Рано вы, эмигранты, ее угробили... Дышетъ она. Коммунизмъ... Э! Чорта съ два!.. Едрёна Матрена... Никакого тамъ нѣтъ коммунизма, а есть тамъ Россія, и мы должны быть съ нею, а не противъ нея... «Милый летчикъ, красный летчикъ», — поди, у летчика-то этого отъ такой пѣсни, отъ такого голоса, кровь подъ голубыми петлицами хлещетъ. Незабудка голубая... Что мудренаго, что послѣ такой пѣсни, завтра, этотъ самый милый летчикъ станетъ на крыло аэроплана и чебурахнетъ съ высоты трехъ тысячъ метровъ съ парашютомъ внизъ, — знай нашихъ... А въ ушахъ-то, когда будетъ летѣть и ждать, раскроется, или нѣтъ, — вѣдь и такъ бываетъ, что не раскроется совѣтская продукція, — все будетъ звучать, звенѣть, ласкать пѣсенка-то эта самая, незабудка голубая...

— Да, эти люди... Артисты... Ученые... профессора... академики... писатели, поэты, не знаю, сознательно, или безсознательно, добровольно, или по принужденію, за деньги, или, можетъ быть, изъ страха пытокъ и смерти, поддерживаютъ власть большевиковъ и тѣмъ самымъ удлиняютъ муки Русскаго народа и разрушаютъ Россію, — сказалъ Акантовъ.

— Вы думаете?

Акантову показалось, что круглое, полное, сальное лицо Лапина скривилось въ презрительной усмѣшкѣ. Но было все-таки темно въ комнатѣ.

— Вы думаете? А не полагаете ли вы, что, если бы не было нашего бѣлаго движенія, если бы мы всѣ остались тамъ и работали, будя Русскія чувства, какъ это дѣлаютъ артисты, большевиковъ уже не было бы?..

— То-есть?..

— Служили бы въ Россіи при большевикахъ... Какъ Тухачевскій, напримѣръ... Вы знали Тухачевскаго?..

— Да... Я зналъ его...

— Вотъ, видите...

И опять всѣмъ своимъ духовнымъ существомъ ощутилъ Акантовъ, какъ нѣчто нестерпимо жуткое, будто даже осязаемое, вошло въ сумракъ глубокой комнаты. Пламя лампадки вдругъ вспыхнуло длиннымъ, коптящимъ, яркимъ краснымъ языкомъ и съ легкимъ трескомъ погасло.

— Вы знаете, что Тухачевскій сейчасъ здѣсь, въ Берлинѣ?..

— Я не знаю этого...

— Хотѣли бы вы его видѣть?

— Я думаю, что, если бы я даже и хотѣлъ его видѣть, это было бы невозможно. Для Тухачевскаго такое свиданіе было бы равносильно смертному приговору...

— Не думаю... Но, давайте, будемъ слушать дальше... И, вотъ, теперь, на пару минутъ, совсѣмъ и окончательно закройте глаза. Мы въ Москвѣ... Мы на Красной площади...

— Закройте, закройте глаза, — прошепталъ въ страшномъ возбужденіи Лапинъ. — Это прямо-таки необходимо...

Глухой шумъ большого города, сильнаго движенія, шелъ изъ аппарата. Раздадутся рожки автомобилей, и рожки эти не здѣшніе, не Берлинскіе, или Парижскіе, а какіе-то особенные... Прогудитъ трамвай, и снова мѣрный шумъ большого движенія...

— Мы въ Москвѣ... На Красной площади, — снова прошепталъ Лапинъ. — Такъ уйдемъ совсѣмъ отсюда, окончательно закроемъ глаза...

Изъ необъятной, туманной дали, изъ запретной, но безконечно дорогой и милой страны, донесся звонъ колоколовъ. Сколько безконечной грусти было въ этихъ далекихъ ударахъ ночного колокола...

— Динъ-донъ... Динь-донъ-донъ... Динь-донъ...

— На Спасской башнѣ, — чуть слышно продохнулъ Лапинъ.

— Даннъ... даннъ... даннъ... даннъ...

Послѣ двѣнадцатаго удара глухо и невнятно, — видно, поистерлась грамофонная пластинка, — заигралъ оркестръ. Печально и уныло въ ночной тиши звучали переливы мятежной, къ крови и убійству зовущей пѣсни революціоннаго, бунтующаго народа. «Интернаціоналъ», казалось, звучалъ на Красной площади, и тамъ, стихая, замиралъ вмѣстѣ съ замирающимъ гуломъ города.

Душевныя струны Акантова напряглись до предѣла. Акантовъ всталъ. Лапинъ понялъ его движеніе, и закрылъ радіо. Глухая пѣсня совѣтскаго гимна оборвалась на полутонѣ. Въ тотъ же мигъ въ корридорѣ послышались стукъ двери и шаги.

— Одинъ моментъ, — сказалъ, вставая, Лапинъ. — Это моя жена вернулась. Сейчасъ мы поужинаемъ...

И быстро, такъ, что Акантовъ не успѣлъ ничего возразить, Лапинъ покинулъ комнату.

Акантовъ вышелъ на балконъ. Глубоко подъ нимъ, въ мягкомъ свѣтѣ луны и фонарей, спала улица. Огни двойной гирляндой уходили вдаль и сливались вмѣстѣ... Вдоль панелей стояло нѣсколько собственныхъ машинъ. Высоко надъ домами, на темномъ шпилѣ колокольни, сіялъ въ лунномъ блескѣ четырехъ-конечный бронзовый крестъ. Серебряныя, тонкія, полупрозрачныя облака медленно наплывали на него,

и, казалось, что они стоятъ на мѣстѣ, а крестъ несется имъ навстрѣчу...

Колдовская, дивно красивая ночь парила надъ городомъ и будто сжимала его въ ласковыхъ объятіяхъ. На углу, гдѣ сходились три улицы, былъ низкій палисадникъ. Несказанно красивы были при свѣтѣ фонарей кусты и пестрые цвѣты на узорчатомъ коврѣ клумбъ. Городъ гудѣлъ въ отдаленіи; въ этомъ кварталѣ стыла ночная тишина.

Вдругъ, напротивъ, въ темномъ домѣ, сверху до низу, отъ пятаго этажа до подъѣзда, освѣтились окна. Кто-нибудь спускался по лѣстницѣ.

Акантову почему-то жутко было думать, что въ этихъ громадныхъ домахъ, съ тяжелыми каменными балконами, съ десятками оконъ, — вездѣ притаилась жизнь.

На пятомъ этажѣ, противъ Акантова, горѣла лампа подъ зеленымъ абажуромъ, и зеленое пятно неподвижно лежало на бѣлой занавѣси. Кто-нибудь сидѣлъ тамъ, читалъ, училъ уроки, думалъ, мечталъ... Пониже — настежъ было раскрыто широкое окно, сквозь бѣлый узорный тюль была видна просторная спальня. Двѣ кровати стояли рядомъ, горничная въ бѣломъ передникѣ и бѣлой кокетливой косынкѣ надъ лбомъ, раскрывала постели. Были несказанно мягки и красивы движенія ея обнаженныхъ по локоть рукъ, гибко сгибался тонкій ея станъ. Она подошла къ окну, закрыла его, спустила тяжелыя занавѣси. Сквозь тюль, показалась она Акантову плѣнительно влекущей, красивой и заманчивой.. Свѣтъ погасъ за окномъ. Тамъ шла спокойная, семейная жизнь, тамъ былъ д о м ъ.

Акантовъ давно не зналъ дома, давно, давно не испытывалъ онъ этого чувства семьи и уюта...

Горько защемило сердце...

Наискосокъ два окна были ярко освѣщены. Смутно было видно, что тамъ, за большимъ столомъ, сидѣло много молодежи — барышень и юношей. На скатертью накрытомъ столѣ стояли бутылки и тарелки. Растворилось окно, и звуки нѣмецкой пѣсни донеслись до Акантова и поплыли, неясные, смутные и смущающіе, волнующіе, по тихой улицѣ. У тѣхъ,

кто тамъ пѣлъ, была Родина. Родина Акантова осталась далеко позади и стала недоступной. Не отстоялъ Акантовъ ее отъ «проклятьемъ заклеймленныхъ рабовъ». Тамъ теперь дремуче и угрюмо играютъ чуждый Русскому народному сердцу интернаціоналъ...

Сливаясь со звуками нѣмецкой пѣсни, доносившейся черезъ улицу, зазвучали въ ушахъ Акантова слова только-что слышанной пѣсенки:

— Широка страна моя родная,
Много въ ней лѣсовъ, полей и рѣкъ.
Я другой такой страны не знаю,
Гдѣ такъ вольно дышетъ человѣкъ...

«Все это ложь!.. Вольно дышетъ человѣкъ... Сюда пріѣхалъ Тухачевскій... Зачѣмъ онъ сюда пріѣхалъ? . Вотъ, кого о всемъ разспросить?.. Вотъ, кто можетъ намъ всѣмъ открыть правду...».

Мысли путались. Взоръ бродилъ вдоль улицы, искалъ освѣщенныя окна, хотѣлъ заглянуть въ чужую жизнь и познать ее.

На углу улицы, на самомъ верху, одиноко свѣтится раскрытое окно. Странный въ немъ свѣтъ. Три высокія свѣчи горятъ надъ чернымъ возвышеніемъ. На немъ, какъ будто, — гробъ. Никого подлѣ...

Что это?.. Предсказаніе?..

Послѣднее время Акантовъ былъ мистически настроенъ. Въ одинокомъ покойникѣ онъ увидѣлъ предупрежденіе. Окно влекло къ себѣ Акантова. Онъ хотѣлъ вглядѣться, не ошибается ли онъ? Кто, этотъ одинокій покойникъ въ угловомъ домѣ? Не кажется ли это ему?.. Но мягкій, пѣвучій, чарующій, низкій, грудной женскій голосъ оторвалъ его отъ окна, и Акантовъ обернулся.

— Пожалуйте, генералъ, милости просимъ, во святой часъ со молитовкой ..

Висячая лампа вспыхнула всѣми пятью грушами въ ма-

товыхъ стеклахъ. Ярко освѣтилась тяжелая, аляповатая мебель, картина, изображающая нѣмецкое море, съ бурыми волнами и рыбацкой лодкой, круглый столъ съ альбомами и курительнымъ приборомъ.

Въ дверяхъ комнаты стояла высокая, стройная женщина, въ мѣру полная. На ея голову, по крестьянски, былъ накинутъ большой черный шелковый платокъ, расшитый Кіевскимъ швомъ желтыми, зелеными и красными цвѣтами и травами. Платокъ покрывалъ плечи и спускался концами и тонкими мохрами ниже пояса. Отъ чернаго платка, еще бѣлѣе казался лобъ съ красивымъ размахомъ тонкихъ, пушистыхъ черныхъ бровей, и подъ ними глубокіе, темные, пристально смотрящіе, въ орѣховаго цвѣта вѣкахъ, томные, большіе глаза. Чуть скуластое, Русское было лицо. Свѣже-румяными щеками оно спускалось къ длинному, съ ямочкой, подбородку. Рядъ бѣлыхъ зубовъ, открытыхъ въ улыбкѣ алыхъ губъ, освѣщалъ лицо привѣтливымъ свѣтомъ. Женщина поклонилась Акантову пояснымъ Русскимъ крестьянскимъ поклономъ и сказала еще разъ, распѣвно:

— Уже такъ-то ради мы гостю дорогому!..

Лапинъ появился позади женщины и сказалъ:

— Жена моя, Дуся Королева.. Можетъ быть, когда и слыхали ее въ концертахъ. Извѣстная наша декламаторша и пѣвица...

Акантовъ поцѣловалъ крупную, бѣлую, очень красивую руку. Отъ руки пахло, какъ будто, кипарисомъ, и сложными, восточными духами.

— Ну, по-олно, Рома!.. Гдѣ же было милому генералу меня слышать?.. Пожалуйте, генералъ ..

Въ столовой, на широкомъ столѣ, накрытомъ бѣлою скатертью, стояли блюда съ бутербродами и закусками не бѣженскаго масштаба. Были тутъ и бутылки Русской водки, и вина, и, на концѣ стола, кипѣлъ, бурля и пуская клубы бѣлаго пара изо всѣхъ канфорокъ, большой, пузатый томпаковый самоваръ.

Акантовъ заглядѣлся на него. Дуся поймала его взглядъ и сказала:

— Это, генералъ, гордость наша. Что-что потеряли въ этомъ разгромѣ, а самоваръ вывезли. Знаете, и чай не въ чай, если нѣтъ самовара; не люблю я эти модныя послѣднее время у насъ бульотки...

— Да, самоваръ даетъ настроеніе, — сказалъ Лапинъ. — А какъ можно жить безъ настроенія? Вся моя жизнь одно настроеніе..

Казалось Акантову, что все тутъ было и точно, какъ въ Россіи, въ довоенныя времена. И лучше всего была хозяйка, съ ея низкимъ пріятнымъ голосомъ, съ пѣвучими переливами, съ елейною, успокаивающей ласковостью словъ и медленными, плавными движеніями.

Дуся налила водку.

— Водка здѣшняя, — сказала она, вздыхая, — гдѣ ее, Русскую-то, настоящую войду достанешь?.. А, вотъ, икорку прошу, — настоящая осетровая. Нигдѣ тутъ такой не достанете, кромѣ, какъ у насъ.

Лапинъ поднялъ рюмку:

— Ваше превосходительство, ваше здоровье!.. За Россію!..

Дуся пила водку, какъ пьютъ крестьянскія дѣвушки, застѣнчиво, мило гримасничая, маленькими глоточками. Она не «хлопала» по мужски, какъ видалъ это Акантовъ, хлопаютъ молодыя барышни и дамы въ эмиграціи, опрокидывая рюмку въ глотку. Дуся пригубила и, морщась, отставила рюмку:

— Не привычна я къ водкѣ-то, — сказала она. — Прошу, генералъ, икорки.

Она налила по второй.

— Отказаться бы надо, милая хозяюшка, какъ васъ звать величать не знаю, да ужъ закуска-то больно, какъ хороша...

— Да вы просто... Просто зовите меня Дусей... Меня всѣ такъ и зовутъ .. Правда... Не люблю я никакихъ чиновъ, церемоній. А имя у меня простецкое. Авдотьей — зовутъ меня. А по батюшкѣ — Помпеевной... Вотъ, возьмите огурчика свѣже-просольнаго. Сама и солила, настоящій Нѣжинскій...

Тутъ Русскій одинъ, верстъ сорокъ отъ Берлина, огороды разводитъ. И укропъ у него есть, и кабачки, ну и огурчики, конечно, родные, маленькіе, крѣпенькіе..

Налили и по третьей, подъ грузди. Очень ужъ были хороши грузди въ тягучей соленой прозрачной влагѣ, холодные и хрупкіе.

Чай Акантову налили въ хрустальный, граненый большой стаканъ, и Дуся, уже и не спрашивая, плеснула въ него, — «душа мѣру знаетъ», — ароматнаго, крѣпкаго рома...

Уютное тепло побѣжало по жиламъ Акантова. Оно растворило память, пріятной дымкой заволокло настоящее. Все стало просто и мило, какъ было нѣкогда въ Москвѣ и на Волгѣ. Полился ночной, задушевный, не считающій часовъ, разговоръ, полный томной женской ласки и участія, за стаканами — безъ счета ихъ пилъ Акантовъ — чая съ ромомъ..

— Вотъ, жалко, калачика вамъ дать не могу. Господи, какъ хотѣлось мнѣ самой иной часъ калачика спечь настоящаго, да тутъ муки нѣтъ такой, мѣшаютъ они что ли чего въ нее... Помните, какіе калачи были у насъ въ Питерѣ и Москвѣ у Филиппова... И на Волгѣ, на Самолетскихъ пароходахъ, — во рту таяли тѣ калачи.. Теперь молодежь-то наша и слово такое не знаетъ — калачъ!.. А много вамъ перетерпѣть пришлось, генералъ, да и сейчасъ, видать, терпите... Не легко достается на чужбинѣ-то жесткая корка хлѣба... Ротъ, поди-ка, деретъ она...

Сомкнулся кругъ жизни около Акантова. Будто все прошлое исчезло. Ушли заботы и тревоги о дочери, о своемъ будущемъ, о судьбахъ Родины. Стоялъ только столъ съ угасающимъ самоваромъ, уже не пыхтящимъ торжественно, но жалобно поющимъ печальную пѣсню прошлаго, съ порушенными закусками и бутылками, наполовину пустыми, — а за столомъ ничего не было. Ни прошлаго, ни будущаго. Тамъ была темнота, и изъ этой темноты красивыми, самоцвѣтными камнями сверкали прекрасные глаза, и медленно и плавно лилась красивая Русская рѣчь, точно разворачивавшая страницы жуткаго прошлаго...

XI.

— Вы помните, генералъ, какъ среди непрерывныхъ, физическихъ и нравственныхъ мученій, потери близкихъ и друзей, уже не только убитыхъ, но замученныхъ и растерзанныхъ озвѣрѣлыми большевиками, постоянной близости смерти, — въ ранцѣ ее носили за собой, — это, когда отступленіе Добровольческой арміи было, когда все казалось потеряннымъ, и смерть съ ея муками была неизбѣжна, — заколебались слабые... Помните вы это время?

— Вы развѣ его знали?.. Развѣ вы были въ Добровольческой арміи?..

Дуся не отвѣтила. Она продолжала, точно читала чей-то разсказъ. Акантовъ не видѣлъ ея лица, и только глаза ея сіяли, точно звѣзды въ темную, темную осеннюю ночь:

— Вы помните — кокаинъ?.. Кто доставлялъ его офицерамъ?.. Откуда?..

— Да, я помню, — сказалъ Акантовъ. Глухо звучалъ его голосъ. — Да, я помню это страшное время. Главнокомандующій отдалъ тогда строгій приказъ, карающій за употребленіе наркотиковъ.

— Да развѣ остановишь?.. — сказала тихимъ голосомъ Дуся. — Развѣ можно что-нибудь приказомъ остановить... Нужно было вернуть бодрость... Побѣдами... Какъ же иначе-то?.. Въ ту пору былъ въ арміи большой поэтъ, патріотъ, князь Ѳедоръ Николаевичъ Касаткинъ-Ростовскій... Вы его знавали?

— Нѣтъ.

— Я прочту вамъ его стихи... Рома, погаси свѣтъ. Создай настроеніе...

Сумрачно стало въ столовой. Лампада, горѣвшая подъ большимъ образомъ, кидала мягкій, ровный свѣтъ на ставшую подъ нею Дусю:

— Воспаленныя очи...
Голосъ — жуткій, какъ стонъ...
Мгла туманная ночи...
Грязный, темный вагонъ...

Дуся декламировала, какъ настоящая, опытная артистка. Передъ Акантовымъ поплыли картины далекаго прошлаго...

— На скамьяхъ деревянныхъ
Тѣни двѣ у окна...
О желаніяхъ странныхъ
Рѣчь ихъ жутью полна...

Страшнымъ стономъ печали и неизбывной тоски зазвучалъ голосъ Дуси:

— Я усталъ отъ печали...
На распутьи дорогъ
Всѣ мнѣ кажутся дали
Полны мукъ и тревогъ...
Мать убили... Разстрѣлянъ
И отецъ мой, и братъ...
Домъ родной нашъ подѣленъ,
Срубленъ дѣдовскій садъ.
Отъ печали и муки
Заболѣла жена,
Опускаются руки...
Даль темна и мрачна...
Уменьшаются силы...
Всюду — ужасъ одинъ...
— «На!.. Понюхай, мой милый...

Ужасъ былъ въ голосѣ Дуси:

— Это что?..

Волосы зашевелились на головѣ у Акатова. Онъ все это видѣлъ, онъ самъ все это пережилъ.

Ледяное спокойствіе было въ голосѣ Дуси, когда она тихо сказала:

— Кокаинъ!..».

Отъ водки-ли, отъ неумѣренно-ли подлитаго въ чай крѣпкаго рома, да еще пили какое-то полынное итальянское вино, отзывающее зубнымъ элексиромъ, и въ бутылкѣ вина этого осталось на донышкѣ, въ головѣ у Акантова шумѣло. Бурно заходили воспоминанія, обступили его, и онъ не столько слу-

шалъ красивое чтеніе Дуси, сколько видѣлъ и переживалъ все то, что передавала она прекрасными стихами:

— Когда горькая чаша,
Въ нищетѣ, иль въ тюрьмѣ
Мнѣ и многимъ грозила,
Мы пошли на Кубань.
Русь насъ снова сплотила
На великую брань...

Дуся разсказывала о великихъ трудахъ, о безчисленныхъ потеряхъ, о страданіяхъ, о холодѣ, голодѣ, мукахъ отъ ранъ, о тифозномъ бреду умирающихъ...

— Но слабы были силы.
Я былъ раненъ... Одинъ...
Какъ-то... въ вечеръ унылый...
Дали мнѣ... Кокаинъ...

Наклонясь къ изголовью,
Словно Ангелъ Добра,
Въ часъ страданій... Съ любовью...
Протянула «сестра»

Пузырекъ мнѣ открытый...
Я понюхалъ его...
И — отъ жизни прожитой —
Ничего... Ничего...

Голосъ Дуси окрѣпъ. Безумная улыбка скривила ея накрашенныя губы, смѣшокъ помѣшаннаго прервалъ декламацію:

Смерти жуть и тревога,
Ужасъ смерти въ плѣну, —
Все — смѣшно, коль немного
Передъ боемъ «вдохну»...

Акантовъ, самъ того не замѣчая, кивалъ головою въ ритмъ стихамъ. Черная печаль заволакивала его сердце.

— Ужасно... ужасно... — шепталъ онъ про себя. — Вѣрно, дошли тогда до края человѣческихъ силъ, заглянули въ непроглядную тьму человѣческихъ страданій.

Чуть слышнымъ голосомъ, продолжала говорить стихи Дуся:

— Воспаленныя очи,
Голосъ, смутный, какъ сонъ...
Мгла туманная ночи...
Грязный, темный вагонъ...

На скамьяхъ деревянныхъ
Тѣни двѣ у окна...
О желаніяхъ странныхъ
Рѣчь ихъ жутью полна...

О стремленьяхъ, манящихъ
Въ радость горнихъ вершинъ...
И въ рукахъ ихъ — дрожащихъ —
Въ пузырькѣ — кокаинъ... *).

Долгое легло молчаніе. Дуся неслышными шагами прошла въ столовую и сѣла за самоваромъ. Черезъ открытую гостиную дверь былъ виденъ балконъ и за нимъ дома улицы. Ни одно окно не свѣтилось въ нихъ. Вечерней, пріятной прохладой и тонкимъ, терпкимъ запахомъ густо цвѣтущихъ петуній тянуло черезъ дверь. И тамъ была тишина. Точно весь громадный, міровой городъ прислушивался и затаился передъ страшной повѣстью о людскихъ страданіяхъ.

Низкимъ грудным голосомъ, тихо сказала Дуся:

— Да развѣ можно было кого обвинять? Вѣдь, это же дѣти были... Со школьной скамьи — и въ муки и страданія, въ ужасъ боя! Въ жуть большевицкихъ пытокъ!.. Какъ было не пошатнуться? Если бы еще была побѣда!..

Никто ничего не возразилъ. Такъ еще нѣсколько минутъ просидѣли всѣ трое, молча, въ темной комнатѣ. Потомъ Лапинъ всталъ и повернулъ выключатель. Мягкій свѣтъ низко висящей, задернутой малиновымъ шелковымъ абажуромъ лампы освѣтилъ столъ и лица сидящихъ за нимъ людей.

Пора было уходить. Акантовъ поднялся:

— Спасибо, дорогая хозяюшка, за хлѣбъ, за соль, а больше того, спасибо за милую ласку, за то, что напомнили такъ много, хотя и мучительнаго, но родного.

---

*) Стихотвореніе князя Ѳ. Н. Касаткина-Ростовскаго.

— Не на чемъ, дорогой генералъ. Милости просимъ, приходите къ намъ, когда еще разъ во святой часъ со молитовкой. Мы всегда рады дорогому гостю.

— Я завтра вечеромъ уѣзжаю, дорогая Евдокія Помпеевна. Возвращаюсь въ Парижъ. Наврядъ ли придется намъ еще когда съ вами свидѣться? Вы уже простите, не смогу, вѣроятно, нанести вамъ визита...

— И, полноте, генералъ. Что за церемоніи. Вотъ еще визитами считаться... Пришли — радость намъ доставили, и все... А въ Парижѣ, ежели Господь попуститъ, свидимся... Я и сама туда собираюсь.

Лапинъ провожалъ гостя.

Они вышли на Байеришеръ-плацъ, перешли черезъ уснувшій садикъ, поднялись на двѣ ступеньки, къ улицѣ, и подошли къ дому, гдѣ былъ пансіонъ, гдѣ остановился Акантовъ. А Акантова отъ волненія и усталости дрожали руки, и онъ не могъ вложить ключъ въ дверь. Лапинъ помогъ ему и зажегъ свѣтъ на лѣстницѣ.

— Ваше превосходительство, — сказалъ онъ, входя въ домъ вмѣстѣ съ Акантовымъ. — Вы завтра вечеромъ уѣзжаете въ Парижъ?

— Да.

— Ваше превосходительство, — внушительно заговорилъ Лапинъ. — Здѣсь маршалъ Тухачевскій... Понимаете?.. Онъ остановился въ Кайзергофѣ... Я завтра въ одинадцать часовъ зайду за вами... Мы поѣдемъ завтракать въ Кайзергофъ, и тамъ вы поговорите съ маршаломъ... Онъ вамъ разскажетъ много интереснаго. Вамъ ничто не грозитъ и вы ничѣмъ не рискуете...

— Я-то, милый капитанъ, и подлинно ничѣмъ не рискую, а вотъ Тухачевскому такой разговоръ можетъ «стѣнкой» окончиться...

— Однимъ большевицкимъ прихвостнемъ меньше станетъ...

Лапинъ исчезъ на площади, точно и не было его. Со свѣта лѣстницы плохо было видно на площадь. Акантовъ сталъ

подниматься къ себѣ. Снова мутная жуть охватила его сердце, точно прикоснулся къ чему-то гадкому и противному... И, когда внезапно погасъ свѣтъ на лѣстницѣ, Акантову и вовсе стало страшно. Онъ съ трудомъ отыскалъ воздушную кнопку освѣщенія и засвѣтилъ огонь. Долго вставлялъ ключъ въ пансіонскую дверь, и не сразу нашелъ свой номеръ...

XII.

Акантову казалось: онъ такъ усталъ, такъ хорошо поѣлъ и выпилъ, — вотъ, ляжетъ спать, и сразу все позабудетъ и заснетъ крѣпкимъ солдатскимъ сномъ. Но, только коснулся головой свѣжей подушки, какъ понялъ, что вовсе не заснетъ.

И водка, и вино, и главное, — впечатлѣнія этихъ двухъ дней! Послѣ монотонныхъ шестнадцати лѣтъ заводской работы по гудку, послѣ бѣдныхъ впечатлѣній одинокой жизни въ Парижѣ, когда онъ общался съ такими же рабочими, какъ и онъ, — онъ вдругъ сталъ снова генераломъ, и его ожидаетъ нѣчто страшное, но, можетъ быть, нужное и великое... Нужно было привести мысли въ порядокъ и продумать все.

Въ теплыхъ туфляхъ и въ пальто поверхъ бѣлья, Акантовъ подошелъ къ открытому окну, поднялъ занавѣску и сѣлъ въ старомъ просиженномъ, пансіонскомъ креслѣ.

Вотъ такъ на войнѣ онъ часто проводилъ ночи безъ сна, въ блиндажѣ наблюдательнаго пункта, когда всматривался онъ въ сумракъ ночи, прорѣзанный временами лучами прожектора или порхающими ракетами, прислушиваясь къ тому, что дѣлается впереди, у непріятеля. Тамъ, въ синей дали, таинственнымъ и печально-зловѣщимъ казался свѣтъ ракетъ, то разгоравшійся, то потухавшій. Тьма тогда казалась гуще, двоили выстрѣлы австрійскихъ винтовокъ и посвистывали пули подлѣ щели блиндажа. Непрерывная была тогда тревога и страхъ, не за себя лично, но за свою часть, выдержитъ ли она, устоитъ ли, и что дѣлается у сосѣдей. Тамъ въ блиндажѣ было холодно и сыро, въ углу, у сруба, висѣлъ телефонъ, и телефонистъ, свернувшись въ шинели, сѣрымъ

клубкомъ дремалъ, прикурнувъ около чернаго ящика аппарата. Тогда тамъ была война.

Теперь здѣсь былъ миръ... Тихая ночь застыла надъ городомъ-гигантомъ и распростерла сонную дрему надъ его громадными домами. На площади не было ни души. Ни сторожей, ни полиціи. Богомъ хранимъ былъ городъ, тонувшій въ сизомъ сумракѣ. Луна, на закатѣ, большая, красная, съ буроватыми тѣнями, декоративной маской висѣла въ пролетѣ улицы. Ни одинъ листокъ въ саду не шелохнется, не зашелеститъ. Беззвучно шествуетъ ночь.

Въ этомъ мирѣ и покоѣ, въ этомъ Богомъ хранимомъ городѣ, Лиза провела свое дѣтство и юность. Всѣ ея воспоминанія, всѣ ощущенія связаны съ этими тихими, широкими улицами, тяжелыми домами, уютными садами по площадямъ, гдѣ дремотно шумятъ фонтаны, гдѣ стоятъ громадные памятники. Ничего другого Лиза не знала. Она не знаетъ, что такое война. Она не знаетъ Россіи. Она не знаетъ, какъ осенью на Волгѣ пахнетъ хлѣбнымъ зерномъ, какъ въ такую вотъ ночь въ ночной рѣчной тишинѣ далеко, далеко слышно, какъ хлопаетъ плицами колесъ волжскій пароходъ, и сколько думъ пробудитъ его приближеніе къ пристани, когда, вдругъ, къ шуму колесъ, присоединится появленіе изъ-за поворота рѣки зеленаго и краснаго бортовыхъ огней, а въ небѣ, какъ звѣздочка, покажется бѣлый огонекъ на клотикѣ мачты... Лиза не знаетъ, что такое безпредѣльность южной степи и горькій запахъ полыни, черноземной пыли, чеберя, мяты, богородичной травки, и вдругъ откуда-то налетающій терпкій духъ соломеннаго кизечнаго дыма и станицы... Лиза не знаетъ, что такое скокъ по степи лошадей, шелестъ колесъ тарантаса, покряхтываніе его на выбоинахъ, пѣсня ямщика, и что значитъ долгое ожиданіе отдыха, когда вдругъ раздастся вдали дружный лай деревенскихъ собакъ... Она — дитя желѣзныхъ дорогъ, быстро несущихся автомобилей, и ей дико и смѣшно слушать разсказы о Россіи...

«Что я пережилъ и что повидалъ за послѣднія тридцать лѣтъ, и что видѣла Лиза? Между мной и моей дочерью лежитъ пропасть. Поймемъ ли когда-нибудь мы другъ друга?

Она не знаетъ Россіи; я слишкомъ ее знаю... Сейчасъ — эта встрѣча съ Лапинымъ. Радіо изъ Москвы и стихи Дуси Королевой...».

Лапинъ плотнѣе закутался въ пальто. Затрепетала въ немъ душа. Какое-то подсознаніе проснулось въ немъ и заговорило голосомъ разсудка:

«Въ сущности, какъ глупо мнѣ было идти къ этому, совсѣмъ незнакомому, человѣку. Поступилъ, какъ мальчишка. Мы встрѣчались съ нимъ. Однако, гдѣ? Не помню... Лапинъ?.. Нѣтъ, нигдѣ не было такого... Лицо?.. Но за шестнадцать лѣтъ, какъ мы всѣ измѣнились. И онъ такъ еще молодъ. Во время войны, кто былъ онъ? Мальчишка. Вѣрно, гимназистомъ поступилъ въ полкъ... Манеры?.. Странныя манеры... Наскокъ неутомимой, безудержной болтовни... А впрочемъ?.. И женщина была, похожая на Дусю... Стихи декламировала, когда еще не остыла кровь убитыхъ... Но... тѣмъ?.. тѣмъ теперь было бы подъ пятьдесятъ лѣтъ... И это не можетъ быть...».

И вдругъ, вызванные подсознаніемъ, а, вѣрнѣе, — встрепенулась въ Акантовѣ испуганная чѣмъ-то душа, — поплыли образы, сцены, встали страшныя, кровавыя воспоминанія, уже далекаго прошлаго, которое, кажется, было только-что, потому-что нельзя вынуть всего этого ужаса изъ прошлаго, нельзя успокоить потревоженную душу...

XIII.

Это было самое страшное, невѣроятное время жизни Акантова. Кое-кому изъ молодежи оно нравилось. Совсѣмъ недавно, передъ отъѣздомъ въ Берлинъ, въ Галлиполійскомъ собраніи, разговорился Акантовъ съ однимъ изъ участниковъ гражданской войны, восемь разъ раненымъ, произведеннымъ за храбрость въ генералы, и совсѣмъ еще молодымъ:

— Ничего такъ не хотѣлъ бы, какъ снова пережить это время гражданской войны, — сказалъ тотъ.

— Ну, что вы, — сказалъ Акантовъ. — Да, вѣдь, это

былъ сплошной, невыразимый ужасъ. Драться со своими.. Братъ на брата!.. Послѣднее дѣло!

— И, полноте, Егоръ Ивановичъ... Братъ на брата?.. Китайцы, накурившіеся опіумомъ, пьяные латыши, интернаціональная рабочая сволочь, мнѣ, честному Русскому человѣку, — не братья... Ни-икакъ не братья. Они шли разрушать Россію, разорять Русскую культуру, грабить населеніе, насиловать женщинъ, надругаться надъ вѣрой во Христа... Я все это защищалъ и отстаивалъ. И, если для этого нужно было убивать — надо было и убить... безъ сожалѣнія, безъ содроганія. Братъ или не братъ, вооруженный или безоружный, — они были врагами моей Родины, и кончено... Вѣдь, и меня они могли убить сколько разъ... Тутъ сентиментализма быть не должно.

Акантовъ смотрѣлъ на большое, круглое лицо собесѣдника, на его могучія, широкія плечи, на всю его приземистую фигуру, и вспоминалъ его прошлое, всю его необыкновенную добровольческую карьеру. Мальчикомъ-гимназистомъ, неумѣющимъ зарядить винтовку, пристaлъ онъ къ добровольцамъ Кутепова, еще въ Ростовскіе начальные дни, а кончилъ карьеру у Врангеля, въ Крыму, начальникомъ боевой дивизіи, прославленнымъ за свою храбрость и непобѣдимость. Одно время Акантовъ, — старый, кадровый полковникъ, георгіевскій кавалеръ, отличный боевой офицеръ, — былъ подъ его начальствомъ. Только въ Наполеоновскія времена возможны были такія головокружительныя карьеры.

— Но, кромѣ этихъ, — сказалъ Акантовъ, — были и обманутые Русскіе мужики и солдаты...

— Не жаль мнѣ и ихъ... Обманутые?.. Нѣтъ, Егоръ Ивановичъ, съ хитрецой мужички и солдатики стремились туда, гдѣ бы больше получить, и шли на насъ, какъ огромное стадо барановъ, какъ сѣрая вошь. Шли съ бѣлыми лицами, съ безумiемъ горящими глазами, и, если побѣждали, то, простите, самыя гнусныя вещи выдѣлывала съ нами эта сѣрая вошь, а когда попадала она въ плѣнъ — козыряла намъ, низкопоклонничала, подхалимствовала передъ нами, до перваго слу-

чая измѣнить и предать... Я научился здѣсь презирать Русскій народъ богоносецъ...

— Не всѣ же были такіе?..

— Да, не всѣ!.. Тѣ, кто не былъ такимъ, шелъ къ намъ... И съ нами шла слава... Слава!.. Какая это была слава!!. Помните, Егоръ Ивановичъ, дивное, знойное лѣто 1919-го года. Шли на Москву... Города съ налета брали... Женщины, дѣвушки, всѣ въ бѣломъ... Ажурные зонтики — бѣлые... Бѣлыя шапочки гимназистокъ, точно ландыши лѣсные, и... цвѣты... Откуда брали столько цвѣтовъ?.. И все бѣлое. Подлинно — бѣлое было движеніе... Вотъ и теперь, какъ вспомню эти времена, точно чувствую, обоняю запахъ чайныхъ розъ. Огромный ихъ букетъ стоитъ въ бѣломъ фаянсовомъ кувшинѣ. Тишина спальни, спущена занавѣска и колышется на утреннемъ вѣтру. Тѣло, послѣ похода, точно избито, ноетъ отъ усталости; кожа пластами сходитъ съ лица отъ солнечнаго загара... Передъ этимъ — недѣлями ночевали въ полѣ, въ степи, на голой жесткой землѣ, провоняли потомъ и кровью, и вдругъ подъ тобою мягкая постель... А какъ насъ, прожженныхъ солнцемъ, залитыхъ потомъ и кровью, любили женщины! Я думаю, такой любви никогда раньше не было, и не будетъ... Въ каждомъ городѣ, гдѣ мы останавливались хотя на десять дней, сколько браковъ заключалось... Дѣвушки, едва со школьной скамьи, вѣнчались съ нашей молодежью... Какъ прекрасны и трогательно нѣжны были онѣ въ подвѣнечномъ платьѣ, покрытомъ флеръ-д-оранжами, свѣжія, чистыя, невинныя, — а, глядишь, не пройдетъ и мѣсяца, уже идетъ эта самая барышня въ черномъ платьѣ вдовы, съ длинной креповой вуалью на шляпѣ, за телѣгой съ дощатымъ гробомъ, привезеннымъ вѣрнымъ солдатомъ, а отъ гроба тянетъ сладкой вонью трупа и крови... Какая неповторимая романтика была въ этомъ, Егоръ Ивановичъ!.. Мы ходили въ атаки, не ложась, не стрѣляя и не сгибаясь, неся винтовки на ремень. Мы побѣждали однимъ видомъ своей непобѣдимости! Насъ боялись, потому-что мы не боялись... Э!.. Что, смерть?.. Смерть краситъ подвигъ!.. Не было бы убитыхъ и раненыхъ, и подвига не было бы!.. Смерть боялась насъ, и от-

ступала передъ нами... Мы, юноши, шли съ вами, стариками. Мы, юноши, вели за собою, увлекали васъ, стариковъ... Какіе геройскіе подвиги были... Какіе герои!.. Убиты?.. Что же? Таковъ ихъ удѣлъ!.. Полкъ сто разъ мѣнялъ свой составъ, а духъ полка оставался... Мы перевернули всѣ ваши понятія объ опасности. У насъ тотъ не командиръ полка, кто не идетъ впереди цѣпей. Иные и верхомъ ѣздили... По Скобелевски!.. У артиллеріи не было закрытыхъ позицій и ложементовъ для прислуги. Наши батарейцы шли съ нашими цѣпями... Что?.. Пулеметный огонь?.. Пачки?.. Картечь бывала отвѣтомъ!.. Смерть?.. Ерунда! Смерти нѣтъ, есть побѣда!.. Вы помните, Егоръ Ивановичъ, полковника Бѣлоцерковскаго? Нашего командира батареи?.. И съ нимъ — Магду Могилевскую. Вотъ еще подлая баба оказалась... Нѣчто сверхъ-естественное... Кажется, встрѣть я ее, — задушу своими руками...

Вотъ это почему-то вспомнилось теперь Акантову, это подсказало его подсознаніе, и понеслись воспоминанія объ этомъ, пожалуй, самомъ страшномъ изъ всего пережитого въ эти ужасные годы гражданской войны...

XIV.

Наступали на Курскъ. Проходили черезъ Русскія деревни. Мягкій малороссійскій говоръ смѣнился распѣвнымъ Русскимъ языкомъ. Пошли большія села съ каменными церквами. Кое-гдѣ остались еще не пожженными помѣщичьи дома, окруженные тѣнистыми березовыми и липовыми старыми садами. Гуще стала сѣть желѣзныхъ дорогъ. Еще сильнѣе стала романтика необычной войны.

Уборка хлѣба приходила къ концу. Уже навивали золотыя скирды. Лазоревыми стаями вспархивали съ нихъ голуби. Скрипѣли колесами тяжелыя телѣги, запряженныя лошадьми, и ярки были красныя юбки и бѣлые платки крестьянокъ на возахъ съ хлѣбомъ... Подлѣ селъ стрекотали молотилки. Дымила высокая черная труба локомобиля и издали доносился угарный дымъ угля.

И, рядомъ, шла жестокая, непримиримая война.

Земля дышала зноемъ. На широкомъ шляхѣ черноземная пыль часами стояла послѣ прохода войскъ. Ѣхали на тачанкахъ, на телѣгахъ, стремясь догнать опрокинутаго, отступающаго непріятеля. На деревенскихъ площадяхъ вѣтеръ завѣвалъ пыльные смерчи, гналъ пучки соломы, клоки сѣна, листки газетной бумаги. У колодцевъ толпились люди. Бабы и дѣвки спѣшили услужить «солдатикамъ», съ тоской и надеждою заглядывая въ темныя, загорѣлыя лица юношей.

Въ эти дни наступилъ переломъ боевъ. Счастье измѣнило добровольцамъ. Подлинно, какъ несмѣтная полоса сѣрой ползучей, кишащей вши, появлялись на горизонтѣ густыя цѣпи мобилизованныхъ крестьянъ, гонимыя пулеметами политическихъ комиссаровъ, красныхъ курсантовъ и отрядами интернаціональной сволочи. Красныя части были густо прослоены коммунистическимъ быдломъ изъ городскихъ хулигановъ, по мѣстному— «ракла», которымъ нечего было терять. Въ занимаемыхъ городахъ смердѣло трупной вонью. Въ помѣщеніи чрезвычаекъ находили изуродованныя тѣла замученныхъ невинныхъ людей. Жители встрѣчали въ пустыми отъ ужаса глазами. Женщины хватали за руки добровольцевъ и разсказывали объ изнасилованныхъ толпами красноармейцевъ дѣвушкахъ, сошедшихъ съума, покончившихъ съ собой самоубійствомъ. Онѣ шептали сухими губами, и страшенъ былъ ихъ шопотъ:

— Вы уйдете?.. Уйдете?.. Покинете насъ?.. Скажите?.. Если вы уйдете, и мы уйдемъ... Что же намъ дѣлать? Намъ нѣтъ спасенья...

Въ эти жуткіе дни Акантовъ отправилъ свою жену съ маленькой Лизой въ Крымъ... Лиза этого не помнитъ...

Полкъ Акантова въ эти дни пробивался къ желѣзной дорогѣ...

Бой начался съ утра. Въ утреннемъ туманѣ, шесть разъ поднимались на золотистомъ жнивьѣ сѣрыя густыя цѣпи красной арміи, маячили вдали, качаясь, какъ марево. Угрюмый, нескладный вой «интернаціонала» доносился съ теплѣющимъ вѣтромъ. Красноармейцы подходили на тысячу ша-

говъ, и здѣсь, встрѣченные огнемъ винтовокъ и пулеметовъ, разрывами шрапнелей, залегали. Потомъ откатывались назадъ, за хребтину длиннаго холма, и отлеживались въ оврагѣ, готовя новое наступленіе.

Когда наступали въ шестой разъ, къ Акантову подошелъ командиръ восьмой роты, высокій, стройный капитанъ, съ георгіевскимъ крестомъ, въ Великую войну заслуженнымъ. Его глаза горѣли огнемъ безумія:

— Это Русскіе, — сказалъ онъ хриплымъ, усталымъ голосомъ. — Вы же видите, господинъ полковникъ, что это Русскіе! У нихъ скатки черезъ плечо!

Встрѣтивъ недоумѣнно вопросительный взглядъ Акантова, онъ дико закричалъ, точно залаялъ:

— Не нѣмцы, не австрійцы... не венгерцы!.. Не турки!.. Русскіе!.. Русскіе!.. Я не могу по нимъ стрѣлять...

Онъ рѣзкимъ движеніемъ выхватилъ револьверъ изъ кобуры, приложилъ къ виску и раздробилъ себѣ черепъ...

Не всѣ могли вынести ужасы гражданской войны.

Подъ вечеръ, противъ лѣваго фланга полка Акантова, гдѣ была двѣнадцатая рота, самая мелкорослая и слабая, составленная изъ дѣтей, гимназистовъ и кадетъ, показалась красная кавалерія.

Она появилась изъ-за недальняго селенія, гдѣ днемъ крестьяне молотили хлѣбъ, и гдѣ, по донесеніямъ дозоровъ, все было мирно и покойно.

Акантовъ услышалъ отчаянные дѣтскіе крики:

— Кавалерія!.. Кавалерія!.. Слѣва кавалерія!..

«Червонные» казаки, съ дикимъ, леденящимъ душу гикомъ, низко нагнувшись къ шеямъ лошадей, неслись на двѣнадцатую роту. Они были освѣщены заходящимъ солнцемъ сзади, и ихъ длинныя тѣни неслись впереди ихъ, и казались, потому, они огромными и не похожими на людей. Не дѣтской, не закаленной въ бояхъ душѣ, было выдержать ихъ появленіе. Ротный командиръ, старый полковникъ, успѣлъ загнуть роту, и Акантовъ, спѣшившій туда, слышалъ, какъ отчаянно громкимъ голосомъ, тотъ командовалъ:

— Прямо по кавалеріи... Постоянный... Пальба ротою!.. Р-рот-та пли!

Вмѣсто залпа, раздалось два-три выстрѣла, и несчастныя дѣти кинулись бѣжать вразсыпную. Красные казаки ихъ сейчасъ же и настигали. Съ лютой бранью, съ улюлюканіемъ, съ дикими криками, еще болѣе устрашающими бѣгущихъ, они рубились на отмашь. Краснымъ огнемъ взблескивали лезвія шашекъ, и послѣ каждаго удара на поле падала маленькая сѣрая фигурка, какъ падаетъ трава подъ косою въ сѣнокосъ...

Полку Акантова грозила катастрофа.

Но уже мчалась галопомъ батарея Бѣлоцерковскаго. Добровольческая артиллерія всегда умѣла жертвовать собою въ критическія минуты боя.

Звонъ орудій, снимаемыхъ съ передковъ, топотъ коней, прислуга на рукахъ катитъ пушки въ цѣпи, ежесекундно падаютъ люди — и... безъ команды: все офицеры, каждый знаетъ, что дѣлать, — три очереди по красной кавалеріи «на разрывъ». Дымъ низко рвущихся шрапнелей, проклятія, дикій ревъ, угрозы... И видно, какъ въ дыму падаютъ лошади и люди... Когда вечерній вѣтеръ прогналъ пороховые дымы, стали видны, уже у самой деревни, скачущіе туда казаки... Грознымъ громомъ орудійныхъ залповъ ихъ проводила батарея. Потомъ все стихло. Наступилъ теплый, лѣтній вечеръ. Сбитый съ позиціи полкъ Акантова отошелъ въ оврагъ. Офицеры приводили его въ порядокъ. Противникъ, какъ говорится, «не проявлялъ активности». Напряженно нѣмая тишина стала кругомъ. Акантовъ послалъ развѣдчиковъ къ станціи желѣзной дороги и самъ пошелъ за ними.

Солнце сѣло. Зловѣщая красная полоса заката протянулась надъ полями. На ней черными тѣнями стали обрисовываться далекія постройки желѣзнодорожной станціи и поселка при ней.

На сжатомъ полѣ, въ безпорядкѣ, среди соломенныхъ сноповъ, лежали порубленныя дѣти. Ни одинъ стонъ, ни одинъ крикъ о помощи не раздавался на полѣ. Дѣти были поражены на смерть. Отъ плеча до поясницы — развороченныя люд-

скія тѣла, съ вывалившимися внутренностями, со снесенными черепами, съ лицами, залитыми кровью и мозгами, и, среди нихъ, мальчикъ со снѣжно бѣлымъ, чистымъ, ничѣмъ не замараннымъ лицомъ, съ тонкими чертами, съ закрытыми глазами, точно уснувшій среди страшнаго хаоса боя. Онъ умеръ отъ одного испуга... Онъ показался Акантову страшнѣе всѣхъ...

Полковнику, командиру роты, красные успѣли засунуть въ ротъ сорванные съ плечъ погоны, и, разорвавъ мундиръ, жестоко надругаться надъ тѣломъ. Подлѣ лежало пять убитыхъ казаковъ. Какъ видно, не дешево продалъ свою жизнь старый полковникъ...

Молча проходили по полю развѣдчики. Многіе сняли фуражки и, боязливо косясь на тѣла, крестились. У командира роты вынули изо рта погоны и, снявъ мундиръ, прикрыли имъ тѣло.

Лѣтняя ночь спускалась на землю. Тишина вдругъ нарушилась грохотомъ и лязгомъ подходящаго поѣзда. Со станціи стали доноситься крики и звуки музыки. Красные праздновали побѣду.

XV.

Въ отсутствіе Акантова, къ его полку пріѣхало начальство.

Начальство было лѣтъ на двадцать моложе Акантова. Въ Германскую войну, когда Акантовъ былъ полковникомъ и командовалъ полкомъ, его теперешній начальникъ окончилъ ускоренные курсы, и прапорщикомъ явился на войну. Въ Добровольческую армію онъ пришелъ однимъ изъ первыхъ, уже въ чинѣ штабсъ-капитана, не колеблясь, вступилъ въ ряды, заразился ея наступательнымъ духомъ, а тамъ — храбрость, безудержное стремленіе всегда впередъ, везеніе: сто разъ смерть прошла мимо и ни разу не зацѣпила. Быстрое продвиженіе по ступенямъ военной іерархіи.

Акантовъ этимъ не возмущался. Они, «старики», искушенные большимъ опытомъ Великой войны, здѣсь не горди-

лись. Они наступали, окапываясь. У нихъ лопата была родною сестрою винтовки, они стремились къ охватамъ и обходамъ, они хотѣли побѣждать по Петровскому завѣту, «малой кровью», и, занявъ позицію непріятеля, они окапывались, застывали на мѣстѣ, ожидая подвоза снарядовъ и патроновъ, организуя тылъ. Имъ нужно было интендантство, артиллерійское и инженерное имущество, вся трудная и сложная система снабженія.

Здѣсь все было по новому, по молодому... Охваты и обходы, «малая кровь», почитались трусостью. Лобовая атака проще, короче и скорѣе... Нѣтъ патроновъ и снарядовъ — возьми ихъ у непріятеля... И брали — цѣлыми вагонами, артиллерійскими парками снабжались за счетъ большевиковъ. Нѣтъ обмундированія, не хватаетъ продовольствія и фуража — бери у населенія: война должна питать войну. Населеніе должно кормить и одѣвать армію...

Акантовъ считалъ объектомъ войны — живую силу противника, его армію, и, основываясь на этомъ, разсчитывалъ свои операціи, считаясь съ желѣзными дорогами, какъ средствомъ подвоза и передвиженія. Здѣсь — брали города... Сегодня Воронежъ, тамъ Харьковъ, Полтаву, Кіевъ, Черниговъ, Курскъ, Орелъ... Шли на Москву. Москва, а не красная армія, была задачей войны.

Новая стратегія и новая тактика, созданныя этими смѣлыми людьми, были уже не подъ силу Акантову, и ему пришлось смириться и не считаться ни годами службы, ни боевымъ опытомъ, ни чинами...

Начальство стояло въ группѣ офицеровъ, и, когда Акантовъ спускался къ оврагу, онъ услышалъ громкій голосъ начальника и дружный смѣхъ. Начальникъ былъ большой балагуръ, умѣлъ въ критическія минуты, когда казалось, что все пропало, во-время пошутить и отмочить соленый солдатскій анекдотъ. Умѣлъ онъ и распушить, не стѣсняясь ни годами, ни чинами виновнаго.

Небольшого роста, приземистый, плотный, сытый, гладкій, крѣпкій, съ большой круглой головой на короткой шеѣ, съ фуражкой на затылкѣ, красивый лицомъ, онъ издали увидалъ

сухощавую фигуру Акантова, узналъ его по походкѣ, и рѣзкимъ начальническимъ тономъ крикнулъ:

— Полковникъ Акантовъ, гдѣ вы изволили пропадать?.. Отчего васъ нѣтъ при полку, когда я пріѣхалъ?..

И въ тонѣ голоса начальника, и по тому, что безмолвно вытянулись офицеры, Акантовъ понялъ, что за этими словами скрывался упрекъ въ трусости, незнаніи своихъ обязанностей, въ томъ, что въ отвѣтственную минуту командиръ покинулъ свой постъ.

—Я ходилъ на мѣсто конной атаки противника и посылалъ развѣдку къ станціи. Мнѣ нужно было отдать распоряженіе объ уборкѣ убитыхъ.

— Могли для этого послать офицера-съ!.. Ваше мѣсто всегда при полку-съ. Тѣмъ болѣе, при такихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ. Небывалая вещь, чтобы добровольцы повернули передъ этой сволочью... Что у васъ произошло съ вашею двѣнадцатой ротой? Гдѣ она, полковникъ Акантовъ?

— Рота, какъ вамъ извѣстно, состояла изъ дѣтей. На нее внезапно выскочила конница...

— Х-ха!.. Внезапно! Великолѣпно!.. Откуда это — внезапно?..

— Изъ того селенія. Оно намъ казалось мирнымъ.

— А гдѣ была ваша развѣдка-съ? Гдѣ-съ?.. Почему не обшарили селенія-съ?..

Акантовъ зналъ, что это была вина самого начальника дивизіи. У Акантова не было при полку ни конныхъ развѣдчиковъ, ни велосипедистовъ. Но Акантовъ былъ стараго закала офицеръ. Онъ промолчалъ.

— Куда же дѣвалась ваша двѣнадцатая?.. Гдѣ она-съ?..

— Она тамъ... — махнувъ рукой въ сторону поля, съ большой печалью въ голосѣ, сказалъ Акантовъ.

— То-есть, гдѣ это тамъ?.. Выражайтесь, полковникъ, яснѣе.

— Она, ваше превосходительство, вся до одного полегла, ибо, поддавшись паникѣ, она побѣжала, а убѣжать отъ карьеромъ несущейся конницы не могла. Всѣ шестьдесятъ

восемь человѣкъ, вмѣстѣ съ командиромъ роты полковникомъ Тесаковымъ, изрублены.

— Хор-р-рошій, говорятъ, офицеръ былъ!..

— Отличнѣйшій, ваше превосходительство. Георгіевскій кавалеръ за Великую войну...

— Жаль...

— Всѣхъ жаль. Дѣтей, особенно, жаль... Чѣмъ они виноваты...

— Какъ это, чѣмъ виноваты?.. Зачѣмъ бѣжали?.. Трусость всегда бываетъ наказана. Я даже и представить себѣ не могу, какъ это конница можетъ изрубить пѣхоту?.. Хорошая пѣхота...

— Хорошая, ваше превосходительство...

Въ оврагъ спускался развѣдчикъ. Онъ шелъ усталой походкой, запыхавшись, торопился, шелъ изъ послѣднихъ силъ, чтобы сообщить что-то важное... Замѣтивъ и узнавъ начальство, онъ направился къ нему:

— Ваше превосходительство...

— Ну-те-съ?..

— Къ желѣзнодорожной станціи, съ часъ тому назадъ, подошли два поѣзда. Одинъ — броневой, другой — агитаціонный, онъ весь въ красныхъ плакатахъ и флагахъ.

— Сами видѣли-съ?..

— Я былъ на станціи, ваше превосходительство. Повидимому, пріѣхалъ какой-то театръ. Тамъ такой тарарамъ пошелъ, гармоника, пѣсни, шумъ, смѣхъ, галдежъ... Часовыхъ нѣтъ. Сторожевое охраненіе не выставлено. Я думаю, тамъ будетъ ночью большое пьянство, и ихъ можно будетъ захватить безнаказанно...

— Что вы думаете, поручикъ, мнѣ то мало интересно, а за вашу развѣдку спасибо большое вамъ.

— Радъ стараться, ваше превосходительство.

— Пожалуйте, господа, за мной, — сказало начальство, и стало подниматься изъ оврага.

Артиллерійскія, замученныя, лошади, опустивъ до земли головы, хрустѣли сѣномъ, подкинутымъ къ ихъ ногамъ. Пахло разжеванной полынью, дегтемъ постромокъ, кожей,

сладкимъ запахомъ конскаго пота. Ѣздовые лежали на землѣ и спали крѣпкимъ сномъ. Фейерверкеръ сидѣлъ послѣ своей осѣдланной лошади. Папироса попыхивала въ его зубахъ. Махорочный душокъ свивался съ запахомъ лошадей и сѣна.

Изъ темноты несся голосъ начальства:

— Во всемъ, господа, люблю пулеватость и смѣлость. Мы — добровольцы, у насъ нѣтъ отступленія. Мы боремся за великое и святое дѣло. Мы не считаемъ врага. Грустно, конечно, что побили двѣнадцатую роту, но унывать не станемъ. На то и война... Бодрость, бодрость прежде всего... Атаковать будемъ молча. Окружая станцію подковой... И безъ выстрѣла... И безъ всякаго тамъ — ура... Не нужно-съ... Излишняя музыка-съ... И попрошу не курить и не кашлять... За нашихъ убитыхъ они заплатятъ вдесятеро... Полковникъ Акантовъ...

— Я здѣсь, ваше превосходительство.

Когда вышли изъ оврага, темнота окружила. Сильно, по осеннему вызвѣздило. Вдали краснымъ дымомъ курилась станція, съ ея станціонными огнями, семафорными фонарями и множествомъ костровъ. Оттуда чуть доносился гомонъ многихъ людей, и чудилось, что тамъ раздается грубый, неистовый смѣхъ...

Наступали длинною цѣпью, окружая станцію, какъ на облавѣ. Шли неслышно. Люди скользили по жнивью, обходя снопы, убитыхъ лошадей и красныхъ казаковъ, минуя селеніе. Шли такъ сторожко, что ни одна собака не залаяла...

Пять верстъ шли, не останавливаясь.

Когда въ мутномъ красномъ свѣтѣ костровъ стали видны вагоны товарныхъ поѣздовъ, сѣрыя громады броневого поѣзда и толпа на станціонномъ дворѣ подъ высокими тополями, когда слышна стала гармоника и женскій голосъ, пѣвшій задорную частушку, часовой-красноармеецъ, вдругъ появившійся въ полѣ, испуганно окликнулъ:

— Кто идетъ?.. Товарищъ, это вы?..

Никто не отвѣтилъ. Глухо ударилъ прикладъ по черепу, и, какъ тяжелый куль, мягко свалился на землю часовой.

Цѣпь побѣжала, все скорѣе и скорѣе, съ разныхъ сторонъ врываясь на станцію.

Тогда раздались первые безпорядочные выстрѣлы, имъ отвѣтилъ грозный трескъ ручныхъ гранатъ. Въ пустую, лишь на минуту оглушивъ, грохнуло орудіе съ броневого поѣзда, снарядъ полетѣлъ далеко въ степь и тамъ разорвался. Паровозъ зашипѣлъ, пуская пары, пытаясь тронуться, но добровольцы уже вскочили на него и метали гранаты по вагонамъ. Нѣсколько мгновеній было шумно, гамно, грохотали гранаты, стрѣляли изъ ружей, раздавались крики, трудно было разобрать, что происходило. Сзади, позванивая орудіями, на рысяхъ подъѣзжала батарея Бѣлоцерковскаго, — впереди была площадь, ярко освѣщенная керосино-калильными фонарями, и на ней толпа въ сѣрыхъ рубахахъ. Люди стояли съ бѣлыми лицами, съ поднятыми кверху руками...

На путяхъ были вагоны съ открытыми боками, обращенные съ сцену: красный кумачъ флаговъ, ярко освѣщенный сзади, полыхалъ, какъ огненные языки.

Нѣсколько добровольцевъ вели на площадь высокую женщину въ костюмѣ Русской боярышни. Бѣлая шапка-колпакъ, расшитая стекляннымъ жемчугомъ, была надвинута на брови. Набѣленная, нарумяненная женщина безпокойно оглядывалась большими черными глазами. Она показалась Акантову привидѣніемъ. Она искала кого-нибудь, къ кому обратиться за помощью. Молодежь была настроена къ ней явно недоброжелательно.

— Артистка! — раздавались голоса. — Артистка! Тѣмъ хуже!.. Поднимали настроеніе этой сволочи, чтобы лучше дралась она противъ насъ!..

— Образованная!.. Понимать могли бы, что дѣлаете?..

— Такихъ безъ пощады вѣшать надо на фонарныхъ столбахъ!..

— Позоръ Русской женщины!..

— Тѣмъ что?.. Тѣхъ гонятъ, они не понимаютъ, что дѣлаютъ, а вы понимать должны, съ кѣмъ вы связались...

— Стерва!..

— Дрянь собачья!..

Акантовъ поспѣшилъ на выручку. Каждую минуту могъ совершиться самосудъ. Акантова обогналъ полковникъ Бѣлоцерковскій. Онъ взглядѣлся въ лицо женщины, и, протягивая ей обѣ руки, быстро пошелъ ей навстрѣчу:

— Магда!.. — воскликнулъ онъ.

Былъ необычайно мягокъ и тепелъ его голосъ:

— Магда!.. Но, какими же судьбами?.. Оставьте ее, господа. Я знаю, кто она. Это же наша гордость: артистка Магдалина Георгіевна Могилевская. Ее слушалъ и цѣнилъ самъ Государь.

— Спасибо, Николай Ивановичъ, — сказала, освобождаясь изъ рукъ молодежи, женщина. — А то ваши юнцы совсѣмъ, было, собрались меня вѣшать... Какъ же мнѣ было пробраться къ вамъ, моимъ милымъ и роднымъ «бѣлымъ», какъ не примкнувъ къ труппѣ агитаціоннаго поѣзда? И какъ это прямо-таки чудесно вышло, что именно вы, Николай Ивановичъ, меня освободили...

— Господа, — сказалъ Бѣлоцерковскій, — прошу на меня не обижаться. Я беру Магдалину Георгіевну на поруки. И, по праву войны, прошу считать ее моей добычей. Я вамъ ручаюсь головою, что Магда Могилевская не могла быть большевичкой, и что все такъ и произошло, какъ она говоритъ...

Бѣлоцерковскій подалъ руку Могилевской и повелъ ее къ батареѣ. Никто ему не препятствовалъ. Слишкомъ любили въ отрядѣ Бѣлоцерковскаго и его батарею, слишкомъ все было необычно, и такъ много дѣла было еще впереди...

XVI.

Ночь сползала. Медленно линяли краски. Небо розовѣло на востокѣ. Свѣтъ керосинокалильныхъ фонарей былъ больше не нуженъ.

На первомъ пути стоялъ большой восьми-осьный вагонъ, ярко размалеванный картинами и плакатами. Наверху было изображено красное восходящее солнце съ пестро накрашенными лучами. Надъ нимъ по дугѣ шла надпись: «Пролетарии

всех стран соединяйтесь». Подъ солнцемъ, болѣе мелко, было написано: «Агитационный вагон политотдела армии южфронта». Посерединѣ вагона, въ пестрой рамѣ, былъ намаленъ земной шаръ, перевитый алой лентой съ той же гордой надписью о соединяющихся пролетаріяхъ всего міра... Тамъ были намалеваны и огромныя буквы: «РСФСР» — «Россійская, совѣтская, федеративная, соціалистичская республика», — горделивый гербъ совѣтскаго союза, охватывающаго весь земной шаръ. По сторонамъ сцены, устроенной въ вагонѣ, были изображены избы и въ нихъ — счастливая жизнь крестьянъ подъ властью совѣтовъ. Часть этихъ картинъ была ободрана, вѣроятно, въ пору захвата станціи, и висѣла жалкими обрывками. Все это напоминало плохой ярмарочный балаганъ.

На площади лежали тѣла убитыхъ красноармейцевъ и стонали, еще не перевязанные раненые «красные». Нѣсколько подальше, въ сторонѣ отъ станціонной постройки, подъ высокими тополями и акаціями, окружавшими станціонный дворъ, сѣрой толпой стояли и сидѣли плѣнные красноармейцы. Жидкая цѣпь часовыхъ добровольцевъ ихъ окружала. Отдѣльно отъ нихъ, въ углу у пакгауза, были собраны матросы броневого поѣзда. Ихъ охранялъ болѣе сильный караулъ. Все это были крѣпкіе, рослые ребята, въ пестрыхъ голландкахъ и широкихъ штанахъ, съ лихо заломленными на затылокъ матросскими фуражками съ алыми лентами. Это былъ народъ прожженный, прошедшій огонь, воду, мѣдныя трубы и чортовы зубы, лохматый, курчавый, наглый и самоувѣренный. Видно было по всей ихъ повадкѣ, что имъ и самая смерть не страшна.

У шляха, выходившаго со станціи въ степь, сбоку, на стернѣ сжатаго поля, въ колоннѣ поорудійно стояла батарея Бѣлоцерковскаго. Прислуга спала подлѣ на полѣ, на землѣ, крѣпкимъ утреннимъ сномъ. На самомъ шляхѣ были собраны подводы, и люди Акантовскаго полка сносили на нихъ винтовки и пулеметы, взятые у плѣнныхъ. Характерный трескъ небрежно кидаемыхъ на подводы ружей доносился оттуда на дворъ.

Разсвѣтъ надвигался. Еще не было тѣней, но предметы яснѣли и ширилась даль.

Съ тыла на площадь прискакалъ комендантъ корпуса, полковникъ Арчаковъ. Онъ спрыгнулъ съ лошади, бросилъ поводья сопровождавшему его Кубанскому казаку, и пошелъ къ полковнику Акантову. Арчакова сопровождалъ на тачанкѣ его адъютантъ, поручикъ Гайдукъ. Объ Арчаковѣ Акантовъ зналъ, что онъ безъ ошибки угадывалъ коммунистовъ, а про поручика Гайдука только слышалъ, что тотъ является исполнителемъ смертныхъ приговоровъ надъ коммунистами и предателями. Онъ его еще никогда не видалъ. И теперь Акантовъ всматривался въ лицо этого человѣка, взявшаго на себя самую трудную и тяжелую обязанность — казнить коммунистовъ. Это былъ небольшого роста, крѣпко сбитый, офицеръ, съ опухшими щеками и глазами въ краснымъ бровяхъ, бритый, въ чистомъ кителѣ и шараварахъ «галиффэ» пузырями, въ обмоткахъ на толстыхъ и тугихъ икрахъ. Что-то не офицерское было въ немъ.

Арчаковъ подошелъ къ Акантову и сказалъ ему:

— Пойдемте, полковникъ, посмотримъ на эту сволочь.

Онъ пошелъ легкой походкой, похлопывая себя по голенищамъ запыленныхъ сапогъ дорогимъ стикомъ.

Пахло землею, пылью, сухимъ, погорѣлымъ на солнцѣ, листомъ акацій, и нудно воняло людскими отбросами и порохомъ ручныхъ гранатъ.

Пахло войною.

Офицеръ, бывшій при плѣнныхъ, скомандовалъ:

— Смирно!.. Встать!.. Ну, вы, тамъ, красная армія, поворачивайся... Вставай. Нечего буржуевъ изображать...

— Становись!.. Равняйсь!..

Пестрые ряды подравнялись, разбились на неровные взводы, стали подобіемъ колонны.

Сѣрыя отъ безсонной ночи, отъ испуга, отъ усталости, землистыя, голодныя лица мобилизованныхъ крестьянъ и бывшихъ солдатъ повернулись къ подходившимъ къ нимъ офицерамъ. Рѣзко между ними выдѣлялись фигуры въ кожаныхъ курткахъ, въ штатской одеждѣ, съ блѣдными, жестки-

ми лицами, съ прямымъ, смѣлымъ взглядомъ. Знакомое Акантову было смѣшеніе людей въ толпѣ, захваченной тисками гражданской войны.

— Смир-рна!..

Арчаковъ, высокій, тонкій, щеголевато одѣтый, выправленный, надменный старый баринъ, въ цвѣтной фуражкѣ, аккуратно надѣтой на лобъ, въ пенсне, безъ оправы, крѣпко сидѣвшемъ на его тонкомъ породистомъ носу, со свѣже побритыми блестящими щеками, морщась отъ дурного запаха, шедшаго отъ красноармейской толпы, медленно подходилъ къ плѣннымъ. Въ немъ была подтянутость и напряженность охотничьей собаки, почуявшей дичь и готовой сдѣлать стойку.

Солнце брызнуло первыми, золотыми, слѣпящими лучами. Оно освѣтило лица плѣнныхъ, ихъ сѣрыя, рваныя рубахи, плохіе штаны, пеструю обувь. Щурясь отъ солнца, красноармейцы смотрѣли на подходившихъ офицеровъ, «золотопогонниковъ», съ тупымъ подобострастіемъ; они были готовы исполнить любое приказаніе. Лишь на нѣкоторыхъ лицахъ была угрюмая злоба, погасившая страхъ и полная презрѣнія ненависть.

Комендантъ остановился въ десяти шагахъ отъ колонны плѣнныхъ. Солнце отбросило отъ него и сопровождавшихъ его людей длинныя тѣни. Играя стикомъ, комендантъ смѣло и рѣшительно приказалъ:

— Коммунисты, выходи!

Никто не шевельнулся. Напряженное молчаніе и тишина были на площади. Лица однихъ стали еще подобострастнѣе, у другихъ еще страшнѣе стала злоба и ненависть въ глазахъ и темные желваки заходили надъ скулами.

— Ну, какъ хотите, — негромко, но далеко слышнымъ голосомъ, сказалъ комендантъ и съ легкой усмѣшкой пошелъ къ правому флангу колонны.

Онъ остановился противъ худощаваго парня съ темнымъ лицомъ, покрытымъ щетиной небритой бороды и съ узкими глазами, изъ подлобья глядѣвшими на офицеровъ, и сказалъ увѣренно и твердо:

—Съ какого года въ партіи?..

Угрюмый человѣкъ повелъ плечами, тяжело вздохнулъ и молчалъ.

— Да ты, товарищъ, не стѣсняйся. Я тебя насквозь вижу. Луганскій?..

Злые глаза опустились къ землѣ.

— Съ какого года?..

— Съ 1914-го, — рывкомъ, со злобой, выплюнулъ тотъ.

— Выходи!

Конвой, слѣдовавшій за комендантомъ, схватилъ вышедшаго и толкнулъ его въ сторону. Арчаковъ пошелъ дальше.

— Коммунистъ?..

— Ваше благородіе, — кричали сзади, — это-жъ Файнштейнъ... самой онъ коммунистъ. Онъ насъ и мутилъ супротивъ васъ идти, и Ягодка съ нимъ, вотъ онъ, Ягодка, третій съ флангу стоитъ — обои коммунисты. Выходи, братъ, Ягодка, чего тамъ бузу разводить, братву подводить. Онъ, Ягодка-то, ишшо когда, въ Царское время, при Государѣ Императорѣ, этимъ самымъ на заводѣ займался...

Быстро и легко шелъ отборъ. Ловкая, хорошо пригнанная одежда, кожаныя куртки, добротные сапоги, злыя лица, угрюмо сосредоточенныя, безнадежныя, выдавали коммунистовъ.

Комендантъ остановился противъ невысокаго, длиннорукаго парня, неуклюже одѣтаго въ солдатскую шинель. У него были курчавые черные волосы, и блѣдное, смертною блѣдностью покрытое лицо, съ большими, умными черными глазами. Глаза эти то загорались мрачнымъ огнемъ, то погасали, и тогда лютая тоска была въ нихъ.

— Съ какого года? — касаясь стикомъ груди задрожавшаго мелкою дрожью человѣка, спросилъ Арчаковъ.

— Ни съ какого, — послѣдовалъ быстрый отвѣтъ. — Никогда въ партіи не былъ, и всею душою сочувствую добровольцамъ.

— Вы его, братцы, знаете?..

Красноармейцы загудѣли:

— Вовсе мы его не знаемъ...

— Никогда такого не видали...

— Откеля взялся, приблудился, не знамо, не вѣдомо...

— Онъ и на человѣка не похожъ...

— Чистый жидъ...

— Какой-сь то, кубыть, изъ скубентовъ...

— Ночью къ намъ откуда-то втиснулся...

— Наша рота пестрая, всего третій день изъ деревни... Мы билизованы вовсе недавно...

— Ты кто такой?

— Артистъ.

— И коммунистъ, конечно?..

Спрашиваемый пожалъ плечами. По его опухшему, бѣлому лицу текли крупныя капли пота:

— Ну, когда вы лучше моего знаете...

— Фамилія?..

— Бродскій.

— Громкая фамилія!.. Выходи!

— Бож-жа мой!.. Да зачѣмъ я буду выходить, когда я вовсе ни въ чемъ не виноватый? Ну, они тоже забираютъ. Они съ ружьями, съ наганами, развѣ я могу какое сопротивленіе оказывать?.. Какой я коммунистъ? Я даже, можетъ быть, такой же коммунистъ, какъ и вы...

— Выходи!..

— Господинъ полковникъ! Да зачѣмъ такъ?.. Такъ,вѣдь, вы же бѣлые?.. Должна же у васъ быть справедливость? Вы не большевики какіе-нибудь?.. Вы спросите госпожу Могилевскую, такъ она вамъ скажетъ, чи я коммунистъ, чи нѣтъ?

Арчаковъ еще разъ внимательно, съ головы до ногъ, осмотрѣлъ Бродскаго. Онъ колебался. Въ этомъ некрасивомъ, нескладномъ евреѣ не было той трусливой наглости, по которой онъ угадывалъ, всегда безъ ошибки, коммунистовъ... Большіе, черные, съ поволокой, глаза, южные, томные, смотрѣли съ мучительной мольбой, и была въ нихъ какая-то увѣренность въ своей правотѣ. Эта увѣренность подкупала, располагала Арчакова къ Бродскому.

— Хор-рр-шо, посмотримъ!.. Отведите этого субъекта въ сторону, а вы, поручикъ, попросите сюда эту артистку, она находится въ крайней хатѣ, гдѣ командиръ батареи...

Уже оконченъ былъ отборъ коммунистовъ, когда на площадь, сопровождаемая Бѣлоцерковскимъ, пришла Магдалина Георгіевна. Она успѣла переодѣться въ дорожное платье и, вмѣсто шляпки, была по крестьянски повязана бѣлымъ платкомъ. Акантовъ невольно залюбовался ею, и замѣтилъ, что, какъ только Могилевская увидѣла отдѣльно стоявшаго подлѣ часового Бродскаго, она поблѣднѣла сквозь румяна, и безпокойные огни загорѣлись въ ея прекраснымъ глазахъ.

— Простите, милостивая государыня, — оффиціально-сухо обратился Арчаковъ къ Могилевской. — Вы изволите знать этого индивидуума?..

Онъ подвелъ Могилевскую къ арестанту. Они стояли въ углу двора, въ длинной тѣни отъ пестраго вагона съ плакатами.

Прекрасное лѣтнее утро наступило. За станціей раздавались веселые голоса добровольцевъ. Воробьи чирикали въ кустахъ жимолости станціоннаго палисадника. Со шляха доносился желѣзо-деревянный трескъ кидаемыхъ ружей, и кто-то молодымъ, мальчишескимъ голосомъ, кричалъ:

— Девятьсотъ семнадцать... Здорово!.. Мальчишечка!.. Девятьсотъ восемнадцать... Безъ штыка... Ей-Богу, Артемъ Ивановичъ, до тысячи наскребемъ...

Сильнѣе становился запахъ горѣлой соломы, каменнаго угля и нечистотъ.

Бродскій пронзительно смотрѣлъ въ глаза Магдалинѣ Георгіевнѣ. Та не опустила своихъ. Лютая ненависть и презрѣніе были въ ея прекрасныхъ глазахъ. Такъ продолжалось нѣсколько мгновеній, показавшихся Акантову безконечно долгими...

— Что-жъ?.. — наконецъ, задыхаясь отъ негодованія, сказала Могилевская. — Называетъ себя бѣлымъ!.. Х-ха!.. Я этого человѣка знаю... От-тлично знаю... Вы его будете судить?.. Напрасно... Такихъ людей не допрашиваютъ...

— Онъ — коммунистъ?

— Господинъ полковникъ... Ну, что онѣ говорятъ такого. Ну, чего онѣ могутъ про меня знать?.. Онѣ же знаютъ, что я пьянистъ, имъ на пьянино аккомпанировалъ. Онѣ

же меня видали, какой я коммунистъ? Я же бѣлый, какъ чистый снѣгъ...

Магдалина Георгіевна быстро повернулась отъ Бродскаго и широкими, быстрыми шагами пошла съ площади. Отойдя шаговъ на тридцать, она остановилась и сказала низкимъ, густымъ, контральтовымъ голосомъ:

— Да... Полковникъ, этотъ человѣкъ — коммунистъ.

Бродскій стоялъ, низко опустивъ голову. Было что-то безконечно жалкое въ его фигурѣ. Арчаковъ посмотрѣлъ на Бродскаго, потомъ на Могилевскую, и строго сказалъ:

— Вы увѣрены въ этомъ, сударыня?..

Магдалина Георгіевна снова пошла, сопровождаемая Бѣлоцерковскимъ. Она шла съ высоко поднятой головой:

— Онъ предатель, — кинула она на ходу, и взяла Бѣлоцерковскаго подъ руку.

Страшнымъ видѣніемъ показалась тогда Акантову эта женщина, быстро шагавшая мимо сѣрой толпы красноармейцевъ, мимо труповъ и арестованныхъ...

И почему-то, вспоминая все это теперь, въ тихую Берлинскую ночь, Акантовъ подумалъ: «А, вѣдь, что-то есть общее между Могилевской и только-что видѣнной мною Дусей Королевой...».

XVII.

Днемъ былъ судъ. Акантовъ въ немъ не участвовалъ. Триста китайцевъ, часть матросовъ бронепоѣзда и двадцать коммунистовъ, отобранныхъ комендантомъ Арчаковымъ, подлежали уничтоженію. Дѣло Бродскаго было выдѣлено. Оно запуталось.

За завтракомъ, въ помѣщеніи пристанціоннаго трактира, комендантъ говорилъ Акантову:

— У меня, знаете, Егоръ Ивановичъ, странное впечатлѣніе отъ этого жиденыша... По приказанію комиссара въ Москвѣ собиралъ труппу артистовъ для агитаціоннаго поѣзда южнаго фронта. Такъ, вѣдь, его заставили это дѣлать... Я отнюдь не юдофилъ, но мнѣ все говоритъ, что онъ не комму-

нистъ, а вотъ артисточка-то наша, отъ которой тутъ всѣ наши безъ ума, наводитъ меня на размышленія... И что-то жиденышъ этотъ про нее знаетъ, да пока не говоритъ, то ли боится, то ли жалѣетъ ее. И, если я кого поставилъ бы къ стѣнкѣ, такъ это многоуважаемую Магдалину Георгіевну, а того жиденыша отпустилъ бы съ миромъ. Иди и больше не грѣши...

— Что же постановили?.. — спросилъ Акантовъ.

— Да приказалъ пока посадить въ подвалъ, до выясненія личности. И часового не приставлю. Никуда онъ не убѣжитъ... А показанія можетъ дать прямо аховыя... Ключъ поручику Гайдуку передалъ. Мы не красные, мы должны быть, прежде всего, справедливы. Мы должны искать правду...

Разстрѣливали приговоренныхъ подъ вечеръ. Завѣдывалъ этимъ поручикъ Гайдукъ, и въ его распоряженіе былъ назначенъ взводъ изъ люто ненавидящихъ коммунистовъ людей. Это были убѣжденные, считавшіе, что, въ условіяхъ гражданской войны, иного выхода нѣтъ. Куда же дѣвать эту заразу?

Комендантъ Арчаковъ уѣхалъ въ штабъ. Отрядъ, занявшій станцію, отдыхалъ, расположившись по квартирамъ въ поселкѣ. О красныхъ не было слышно, и, съ обычнымъ презрѣніемъ къ опасности, а, отчасти, и потому, что при отрядѣ не было кавалеріи, развѣдки не было выслано и охраненія не выставляли. Все было тихо кругомъ. Занятіе станціи казалось отдѣльнымъ, случайнымъ эпизодомъ; вокругъ была ровная степь, на много верстъ было видно кругомъ, и вездѣ было пусто, и тишина могилы стояла на желѣзнодорожныхъ путяхъ...

Въ большой залѣ трактира собрались офицеры отпраздновать блестящую побѣду. Изъ вагона агитаціоннаго поѣзда притащили пьянино. Бѣлоцерковскій обѣщалъ придти съ Магдалиной Георгіевной. Въ поселкѣ нашелся самогонъ, а въ броневомъ поѣздѣ оказались и бутылки не плохого вина; ужинъ готовили на славу.

Акантову волей неволей пришлось быть на этомъ ужинѣ. Его помѣщеніе было въ этомъ самомъ залѣ. Онъ сидѣлъ въ

углу стола, на почетномъ мѣстѣ, рядомъ со своимъ другомъ, докторомъ Баклагинымъ. Онъ пилъ мало.

Шумная бесѣда шла кругомъ него. Этотъ ужинъ былъ оазисомъ среди пустыни непрерывнаго холода смерти постоянныхъ боевъ. Каждому хотѣлось забыться, хотя на часъ одурманить себя и уйти отъ пережитыхъ волненій и ужасовъ.

Давно не видѣли женщинъ. Артистка, появившаяся снова въ Русскомъ сарафанѣ, въ кокошникѣ, расшитомъ стекляшками, съ подмазанными щеками и подведенными глазами, нарумяненная и набѣленная, показалась изумительно красивой. Все было къ ея услугамъ. Каждый старался ей угодить.

Но уже ходили среди офицеровъ слушки, что артистка-то она артистка, и, говорятъ, первоклассная, но зачѣмъ же была она у красныхъ? И сосѣдъ тихо шепталъ на ухо сосѣду: «а что, какъ эта прелестная Магда и точно коммунистка?».

И, возможно, что слушки эти дошли до самой Магдалины Георгіевны. Она вдругъ встала и сказала прекраснымъ, звучнымъ и задушевнымъ голосомъ:

— Господа!.. Все-таки... чувствую... Странно вамъ... Вчера вечеромъ сидѣла съ красноармейцами... съ комиссарами... съ лютыми врагами вашими... — Магдалина Георгіевна обвела томными глазами офицеровъ, тяжело вздохнула, и сказала съ видимымъ отвращеніемъ: — съ чекистами!.. Сегодня сижу съ вами... Артистка... Много этимъ сказано... Я пѣла и декламировала передъ Государемъ Императоромъ... Я обожала Государя... молилась на него...

Несказанно тепелъ, чистъ, ясенъ и красивъ сталъ ея прозрачный, низкій голосъ. Онъ шелъ къ сердцу. Осоловѣлые отъ усталости и отъ вина, добровольцы подняли головы и глаза ихъ прояснѣли.

— Магда, — влюбленнымъ вздохомъ прошепталъ Бѣлоцерковскій.

— Государь отрекся... Государя арестовали... Государя истязали и убили... Моя, господа, была обязанность не допустить до этого?..

Магдалина Георгіевна опять сдѣлала длинную паузу, и съ силой сказала:

— Это была в а ш а обязанность, господа!.. Я служила искусству. Мое искусство — будить чувства, заглядывать въ глухіе, на замокъ замкнутые, тайники человѣческой души... Я заглянула въ эти страшные дни въ ваши, офицерскія души, и поняла... Вы ничего уже не могли сдѣлать...

И снова было молчаніе и тишина, но тишина стала напряженной и страшной. Кое-кто тяжело вздохнулъ.

Было душно въ низкой бревенчатой столовой деревенскаго трактира. Отъ нѣсколькихъ керосиновыхъ лампъ, висѣвшихъ подъ потолкомъ, было яркое, нелѣпое освѣщеніе. Въ немъ высокая женщина, стоявшая въ головѣ стола, казалась по неземному красивой и, вмѣстѣ съ тѣмъ, зловѣщей.

Магдалина Георгіевна продолжала тихимъ голосомъ:

— Это, господа, я не тостъ говорю... Я вспоминаю... И стараюсь объяснить... Не вамъ, но себѣ объяснить... И вотъ, я вспоминаю самое, самое ужасное. Ужаснѣе теперешняго, ибо то была начало... До жути ужасное...

Магдалина Георгіевна перевела дыханіе. Точно трудно ей было говорить: задыхалась она.

— Это было при временномъ правительствѣ... Когда была б е з к р о в н а я революція... Когда наша интеллигенція взяла у Государя и его министровъ бразды правленія... Тогда... Солдаты убивали своихъ офицеровъ и уходили съ фронта... Тогда былъ Калущъ и Тарнопольскій небывалый погромъ... Помню... Лѣтомъ ужаснаго этого года, 1917-го года, ѣхала я, какъ сестра милосердія, на фронтъ. Глухая вѣтка гдѣ-то между Минскомъ и Овручемъ. Въ пустомъ вагонѣ, въ отдѣленіи второго класса, — я и какой-то армейскій штабсъ-капитанъ. Лицо совсѣмъ молодое — волосы сѣдые. Мы разговорились. Время было такое, каждый искалъ сочувствующую душу. Офицеръ вынулъ бумажку и прочелъ мнѣ стихи: — «Молитва офицера»... Я сказала, что я артистка и читаю стихи съ эстрады. — «Возьмите ихъ», — сказалъ офицеръ. — «Это ваши стихи?». — «Нѣтъ». — «Чьи же они?». — «Не

знаю»... — «Они вамъ нужны?». — «Нѣтъ, меня все-равно убьютъ солдаты»... — Я нигдѣ потомъ не видала этихъ стиховъ въ печати... Я читала эти стихи вездѣ, гдѣ то было можно. Публика плакала... Мнѣ часто были непріятности изъ-за нихъ... Хотите, я прочту ихъ вамъ?

— Просимъ!.. Просимъ!.. — раздались дружные голоса.

Стало еще тише въ трактирной столовой. Изъ поселка, издалека, доносилась солдатская пѣсня. Но она не портила настроенія молитвенной тишины, наступившей въ столовой.

Магдалина Георгіевна подняла кверху глаза:

— Молитва офицера, — сказала она и, послѣ секундного молчанія, начала читать стихи:

— Христосъ Всеблагій, Всесвятой, Милосердный,
Услыши молитву мою...
Услыши меня, мой Заступникъ Усердный:
Пошли мнѣ погибель въ бою!..

— Смертельную пулю пошли мнѣ навстрѣчу,
Вѣдь, благость безмѣрна Твоя...
Скорѣе пошли мнѣ кровавую сѣчу,
Чтобъ въ ней успокоился я...

— На Родину нашу намъ нѣту дороги,
Народъ нашъ на насъ же возсталъ,
Для насъ онъ воздвигъ погребальныя дроги,
И грязью насъ всѣхъ закидалъ...

— Три года мы тяжко, безмѣрно страдали,
Святые завѣты Россіи храня.
Мы бились съ врагами, но мы не считали
Часами рабочими нашего дня...

— Въ глубокихъ могилахъ, безъ счета и мѣры,
Въ своемъ и враждебныхъ краяхъ,
Сномъ вѣчнымъ уснули бойцы-офицеры,
Погибшіе въ славныхъ бояхъ...

— Но мало того показалось народу,
И вотъ... Чтобъ прибавить могилъ,
Онъ — нашей же честью — купившій свободу,
Своихъ офицеровъ убилъ...

— Правительство юное, люди науки,
И много сословій и лицъ,
Пожали убійцамъ кровавыя руки,
Прославили нашихъ убійцъ...

— Егоръ Ивановичъ, вы помните унтеръ-офицера Кирпичникова? — прошепталъ на ухо Акантову докторъ Баклагинъ.

— Того, кому навѣсили Георгіевскій крестъ за убійство своего начальника?..

— Того самаго.

— Ага, помню... Да, было... Было... Какая это была подлость!..

Магдалина Георгіевна продолжала:

— Терпѣнью исполнилась нашему мѣра...
Народъ съ насъ погоны срывалъ,
И званье святое бойца-офицера
Безсовѣстно въ грязь затопталъ...

— Мнѣ комендантъ, полковникъ Арчаковъ, говорилъ, что онъ думаетъ, что она коммунистка, а Арчаковъ никогда еще не ошибался. Какъ вы думаете, Иванъ Алексѣевичъ?..

Чуть слышно отвѣтилъ Баклагинъ:

— Она — женщина.

— Ну?..

— Этимъ все сказано.

— Я васъ не понимаю.

— Погодите, дайте ей кончить...

Голосъ Магдалины Георгіевны окрѣпъ. Она выкликала слова, какъ пророчица. Всѣ глаза были устремлены на нее. Прислуга-солдаты, тихо собиравшіе со стола посуду, остановились и внимательно слушали артистку. На лицѣ Бѣлоцерковскаго застыло такое восторженное, влюбленное выраженіе, что на него было совѣстно смотрѣть.

— Промчатся столѣтья, пройдутъ поколѣнья,
Увидятъ всѣ новые сны,
И будутъ потомки читать безъ волненья
Исторію страшной войны...

А въ ней сохранится такъ много примѣровъ,
Какъ Русскій народъ воевалъ,
И какъ онъ своихъ боевыхъ офицеровъ
Своей же рукой убивалъ... *).

Магдалина Георгіевна низко опустила голову и замолчала. Не сразу раздались апплодисменты. Огромно и потрясающе было впечатлѣніе отъ прочтеннаго. Потомъ понесли на тарелкѣ бокалъ вина, адъютантъ Акантовскаго полка съ листомъ бумаги кинулся просить диктовать ему стихи. Къ нему присоединились и другіе. Раздавались голоса:

— Записать!.. Записать!.. Господа, надо непремѣнно записать, пока не забылось...

Въ эту самую минуту, — это отлично запомнилъ Акантовъ, — въ столовую вошелъ поручикъ Гайдукъ...

Онъ вошелъ, возбужденныгй, взволнованный, съ блестящими глазами, точно пьяный. Будто не провелъ онъ эти вечерніе часы за самымъ непріятнымъ и тяжкимъ дѣломъ кроваваго уничтоженія коммунистовъ, а неумѣренно гдѣ-то пилъ...

— Ну, какъ? — спросилъ кто-то изъ офицеровъ.

— Отлично. Всѣхъ триста сорокъ девять покончили. Не проснутся. Уже закапываютъ. Отлично умирали китайцы. Какъ скотъ. Похоже было на то, что они не понимали, что ихъ убиваютъ. Матросы бронепоѣзда — слизь... На колѣняхъ ползали, руки цѣловали... Гадость!.. Коммунисты — ничего. Шестеро бѣжали...

— Какъ?..

— Какъ!.. Очень даже просто. Ты услѣди-ка за ними, когда ихъ почти четыреста, а мнѣ всего двадцать человѣкъ назначили, и тѣ мальчики. Удивляюсь, что они всѣ-то не разбѣжались...

— Посмотрите на Магдалину Георгіевну, — тихо сказалъ Баклагинъ Акантову. — Видите, какъ она преобразилась...

Магдалина Георгіевна остро и внимательно смотрѣла на

*) Стихотвореніе неизвѣстнаго автора.

Гайдука. Ея глаза расширились, тонкія ноздри раздулись и трепетали, чувственный, алый ротъ былъ полуоткрытъ, и въ его кровавомъ разрѣзѣ хищно блестѣли бѣлые крупные зубы. Страсть, обожаніе, преклоненіе горѣли въ напряженномъ взорѣ...

— Я вамъ сказалъ — женщина... Первобытная женщина! Да, впрочемъ, пожалуй, всякая женщиная. Женщина, она любитъ убійцъ... Это еще изъ животнаго міра идетъ. Тамъ самки смотрятъ, какъ въ бояхъ другъ съ другомъ самцы убиваютъ одинъ другого. Да, что говорить, а у людей?.. Римскіе цирки и любовь къ гладіаторамъ, рыцарскіе турниры.. Пронзи копьемъ соперника и получай любовь прекрасной дамы. Тутъ, батенька мой, просто напросто — патологія... И, вотъ, если въ настоящей, правильной войнѣ мы наблюдаемъ, а послѣднее время и изучаемъ, военную психологію, то въ гражданской войнѣ, гдѣ все обнажено, гдѣ все наружу, — это уже будетъ не психологія, но патологія войны...

Принесли новые запасы вина. Тѣснѣе сдвинулись за столомъ. Бѣлоцерковскаго вызвалъ фельдфебель, и тотъ ушелъ. Акантовъ и Баклагинъ перебрались въ темный уголъ и сѣли на старый трактирный диванъ. Магдалина Георгіевна диктовала стихи молодымъ офицерамъ и все поглядывала затуманенными страстью глазами на жадно ѣвшаго и пившаго вино Гайдука.

— Да, батенька мой, — низкимъ басомъ говорилъ Акантову Баклагинъ, — ни что другое, какъ патологія. Бѣлоцерковскій — красавецъ мужчина, высокій, стройный, черные кудри, при томъ — сама доблесть, рыцарь, храбрецъ, но убиваетъ изъ пушекъ, издали. Онъ сражается, воюетъ, но не убиваетъ, какъ мясникъ... А этотъ, поглядите на Гайдука, — слизнякъ. Уродъ, кривыя ноги... Молоко на губахъ не обсохло. Вѣроятно, развратникъ... И при томъ же, слюнявый развратникъ. Убивалъ, возможно, что подъ кокаиномъ, — да за то с а м ъ ! . . «Цокалъ» изъ револьвера по затылкамъ, командовалъ залпы, добивалъ недострѣленныхъ, обыскивалъ трупы, снималъ кольца, вынималъ изъ кармановъ портсигары, деньги... Бррр!.. Гадость какая!.. Палачъ... А ей — нра-

вится. Она Бѣлоцерковскому и намъ стихи хорошіе говорить будетъ, молитву читать, благословлять будетъ и серафическіе взгляды намъ посылать будетъ, а, простите за грубое слово, — спать пойдетъ вотъ съ этимъ... палачомъ!.. убійцей!..

— Ну, что вы, Иванъ Алексѣевичъ...

— Помяните мое слово... Тѣмъ и страшна гражданская война, что на ея почвѣ родится не уваженіе къ противнику, какъ въ настоящей войнѣ, а ненависть и презрѣніе. Не рыцарство, а тупая жажда убійства. Не доблесть и честность, а жажда наживы... Ограбить, достать, добыть... Обыскать убитаго, добить раненаго — все равно, изъ-за хорошихъ ли сапогъ, или кожаной какой куртки, или изъ-за бумажника съ «керенками»... Изнасиловать дѣвушку — все, милый, позволено. Вы, батюшка, обратили вниманіе: вчера Бѣлоцерковскій забираетъ Магдалину Георгіевну п о п р а в у д о б ы ч и! Голубчикъ, въ настоящей-то войнѣ, за это — разстрѣлъ!..

— Ну?.. Вѣдь, она — сама... Они, видимо, хорошо знали другъ друга...

— Она... На смерть напуганная женщина... Да что ей!.. Подумайте, могла ли она вчера сопротивляться? Какъ собаку, взялъ и повелъ къ себѣ на своркѣ... Вмѣстѣ спать... Тьфу!.. Мнѣ такіе нравы противны. Знаете, хорошая проститутка, и то такъ не пойдетъ. Вотъ вамъ, что родится въ гражданской войнѣ. Они такъ съ нами, — и мы будемъ такъ же съ ними. Раньше: герой — рыцарь!.. Какъ это въ стихахъ-то сказано: «бѣдный и простой»... Честь, цѣломудріе... А тутъ?.. О, Господи!.. Тутъ о чести говорить не приходится, а цѣломудріе сохранять просто глупо. Вы говорите: коммунистка, — Арчаковъ сказалъ... Какая тамъ коммунистка!.. Просто матеріалистка въ высшей степени. И знаетъ себѣ цѣну, умѣетъ себя продать...

— По существу, одно и то же.

— Жутко, милый Егоръ Ивановичъ. Какъ потомъ привьете вы новому поколѣнію старые взгляды порядочности. Невинность дѣвушки-невѣсты покажется смѣшнымъ предразсудкомъ. Отвращеніе къ палачу, къ предателю, къ измѣнни-

ку, шпіону — глупостью. Деньги!.. Вытекающія изъ нихъ блага, — вотъ и все!..

За офицерскимъ столомъ становилось шумнѣе и пьянѣе. Магдалина Георгіевна сидѣла рядомъ съ Гайдукомъ и тихо шепталась съ нимъ. Молодой кавказецъ, въ черкескѣ, при шашкѣ, горячій, сильно охмелѣвшій, что-то кричалъ на другомъ концѣ стола. Присутствіе красивой и, по всѣмъ ея повадкамъ, какъ будто доступной, женщины пьянило крѣпче самаго крѣпкаго вина. Всѣ распалились, забыли обо всемъ. Голоса стали громки, жесты — вызывающи. Спорящіе поглядывали на артистку, ожидали ея одобренія.

— Эхъ, спать не дадутъ, — сказалъ Акантовъ.

— А вы почему не пойдете къ себѣ — сказалъ Баклагинъ.

— Да куда же я пойду, когда въ этомъ залѣ мнѣ и отведена квартира...

— Да... Разгулялись, видать, до утра...

Кавказецъ, всѣ его по-просту звали Сандро, кричалъ что-то о рубкѣ. Сильно посоловѣвшій пожилой, тучный пѣхотный капитанъ, сидѣвшій верхомъ на стулѣ по серединѣ столовой, сказалъ съ пьяной убѣдительностью:

— Ну, полно хвастать, Сандро. Гдѣ тебѣ перерубить человѣческую шею? Тамъ эти чортовы мускулы... Кости, позвонки, жилы, сухожилія... Это, братъ, тебѣ не курица...

— Давай твоя шея, чисто срублю!

Сандро выхватилъ изъ ножонъ шашку. Въ пламени ламповыхъ огней золотой молніей блеснуло лезвее кавказскаго «волчка»...

— Ну, что ты, Сандро, — поворачиваясь къ нему, сказалъ юноша-доброволецъ, — съума, что ли, спятилъ, нашему славному капитушѣ голову рубить? Ты что же, большевикъ, или кто?..

— Давай мнѣ балшевика... Давай коммуниста... Станови на колѣни... Голова буду чисто рубить!..

— Экъ, его развезло, — проговорилъ, зѣвая, Акантовъ. — Потѣснитесь немного, я на диванѣ прикурну... Вторая ночь безъ сна...

Акантовъ прилегъ, согнувъ ноги въ колѣняхъ, положилъ голову на ручку дивана и закрылъ глаза. Онъ продолжалъ слышать шумъ и крики, но шумъ и крики точно удалялись, уходили отъ него. Потомъ все стихло и ушло въ небытіе. Все исчезло... Акантовъ крѣпко заснулъ. Онъ спалъ въ неудобной позѣ, одѣтый, съ головой на жесткой сальной ручкѣ, но спалъ не долго. Его разбудилъ дикій крикъ:

— Давай!.. вай... вай... вай!..

Акантовъ открылъ глаза и нѣсколько мгновеній ничего не могъ сообразить. Все показалось ему дикимъ, кошмарнымъ сномъ. Подлѣ него стоялъ докторъ и говорилъ, торопливо и растерянно:

— Полковникъ Акантовъ... Егоръ Ивановичъ, что же это такое? Ихъ остановить надо...

За столомъ, напротивъ Акантова, крѣпко схвативъ за руку выше локтя Гайдука, стояла Магдалина Георгіевна и безумными, огненными глазами смотрѣла вглубь столовой.

Столъ былъ отодвинутъ. На образовавшемся пустомъ мѣстѣ стоялъ на колѣняхъ Бродскій. Онъ вытянулъ шею и со странною, глупою, ничего не понимающей, улыбкой оглядывалъ столпившихся вдоль стѣнъ офицеровъ. Въ углу, за печкой, стоялъ, хищно нагнувшись, напруживъ согнутыя въ колѣняхъ ноги, Сандро. Онъ подоткнулъ полы черкески за ременный поясокъ, вытянулъ шею и смотрѣлъ безумными, жадными глазами на Бродскаго. Въ правой рукѣ его дрожала крѣпко зажатая въ кисти руки обнаженная шашка.

Все это казалось или сномъ, или дикой какой-то игрой.

Вдругъ, съ пронзительнымъ крикомъ:

— Давай-вай-вай-вай!.. — Сандро вылетѣлъ, какъ вихрь, изъ-за печки, шашка визгнула въ воздухѣ, и никто и охнуть не успѣлъ, какъ начисто отсѣченная голова Бродскаго, съ глухимъ стукомъ, точно упавшій со стола кочанъ капусты, покатилась къ ногамъ Магдалины Георгіевны. Обезглавленное тѣло покачнулось, и медленно, струя фонтаномъ кровь, повалилось на полъ.

Какъ новая Саломея, блѣдная до синевы въ лицѣ, съ го-

рящими глазами, прижавъ обѣ руки къ груди, стояла Магдалина Георгіевна.

Томящая, гулкая до звона въ ушахъ, кругомъ стала тишина...

Вскочившій съ дивана. Акантовъ услышалъ, какъ металлическимъ, звенящимъ голосомъ сказала Магдалина Георгіевна:

— Какой вы молодецъ, Сандро!..

Она пошла, покачиваясь, изъ столовой. Гайдукъ подбѣжалъ къ ней и взялъ ее подъ руку.

Въ ту же минуту, совсѣмъ близко, казалось, что въ самомъ поселкѣ, раздались выстрѣлы, и вбѣжавшій въ трактиръ доброволецъ крикнулъ:

— Господа!.. Красные насъ атакуютъ!..

XVIII.

Съ этой тяжелой, кровавой ночи счастье побѣды покинуло Добровольческую армію. Точно присутствіе женщины, артистки Магдалины Георгіевны Могилевской, принесло несчастье, сглазило былые успѣхи.

Въ ту страшную ночь выскочили съ трудомъ. Денщикъ Бѣлоцерковскаго на батарейной тачанкѣ умчалъ полковницкую барыню въ тылъ. Батарея стала на позицію у самой станціи, на площади, подлѣ трактира, и безпорядочными, частыми выстрѣлами остановила наступленіе красныхъ и дала возможность кое-какъ собраться пѣхотѣ. Сандро, во главѣ ординарцевъ и конныхъ офицеровъ, съ безумной отвагой кинулся навстрѣчу краснымъ казакамъ, и былъ убитъ, но красныхъ опрокинулъ, несмотря на то, что красныхъ было въ десять разъ больше.

Утренній густой туманъ прикрылъ отступленіе полка Акантова.

А тамъ и пошло...

Осенній вѣтеръ срывалъ послѣднее золото листвы съ бѣлыхъ березъ, темнѣли и набухали влагою высокіе тополя и узкими метлами торчали у въѣзда въ селенія. Черноземная

грязь широкихъ степныхъ шляховъ губила людскія и конскія силы. По желѣзнодорожнымъ путямъ тянулись безконечно длинные составы товарныхъ поѣздовъ. Увозили добычу, бѣженцевъ изъ покидаемыхъ городовъ, офицерскихъ женъ и дѣтей, всѣхъ тѣхъ, кто, въ той или иной мѣрѣ, помогалъ добровольцамъ. Судьба тѣхъ, кто, по легкомыслію, или потому, что повѣрилъ обѣщаніямъ красныхъ, или просто не пожелалъ разстаться съ насиженнымъ гнѣздомъ и имуществомъ, и остался, была ужасна.

За Добровольческой арміей ползли слухи о невѣроятныхъ пыткахъ и насиліяхъ, которымъ подвергали всѣхъ тѣхъ, кто когда-то радовался побѣдамъ «бѣлыхъ» и встрѣчалъ ихъ, какъ тріумфаторовъ. Заживо сожженные монахи и священники, посаженные на колья люди, офицеры, съ кого съ живыхъ снимали кожу, выкалывали и выжигали глаза, изнасилованныя толпою пьяныхъ красноармейцевъ дѣвушки, — страшными призраками шли по слѣдамъ отступающихъ. Они стояли надъ ними жестокимъ, омрачающимъ совѣсть, упрекомъ...

Арьергардъ добровольцевъ, лучшіе ихъ полки, кидались въ контръ-атаки, жертвуя собой, чтобы задерживать настигавшую армію красную нечисть. Главныя силы отступали неудержимо, почти не останавливаясь. Сыпной тифъ косилъ армію. Силы людей были надорваны, духъ утерянъ...

Наступила зима.

Полкъ Акантова, съ батареей Бѣлоцерковскаго, остановился на дневку въ большомъ селеніи. По случаю дня рожденія Магдалины Георгіевны, Акантовъ получилъ приглашеніе къ Бѣлоцерковскому на обѣдъ.

Обѣдъ устраивался въ домѣ волостного правленія. Самъ Бѣлоцерковскій жилъ неподалеку, на краю селенія.

Акантовъ пошелъ на обѣдъ съ докторомъ Баклагинымъ.

Въ серебряной оправѣ инея были нарядные высокіе тополя. Раскидистыя яблони и груши, съ налипшимъ на черныя ихъ вѣтви снѣгомъ, стояли недвижно, какъ зачарованныя. Закатное солнце позолотило ихъ бѣлый, снѣжный уборъ.

Акантовъ шелъ рядомъ съ докторомъ, и тотъ говорилъ ему ворчливымъ баскомъ:

— Помните, осенью, въ тотъ ужасный день, когда былъ у насъ бой на станціи, я разсказывалъ вамъ про патологію гражданской войны... Подтвержденія кое-какія уже имѣются. Гайдукъ при Могилевской въ роли «кавалье серванъ», то-есть, по нашему, — хахалемъ околачивается... А благороднѣйшій рыцарь нашъ, Николай Ивановичъ, туча тучей... Ревнуетъ... По писаному идетъ и къ нехорошему приведетъ...

Гулко стучали сапоги по обмороженнымъ, покрытымъ льдомъ и посыпаннымъ пескомъ, ступенямъ крыльца. На перилахъ, на подоконникѣ, на ставняхъ, на пологой желѣзной крышѣ пуховыми подушками лежалъ толстый слой снѣга. Предзакатное небо казалось зеленымъ, розовые лучи солнца клали нѣжныя, переливающіяся краски на снѣжную бѣлизну. Мягокъ и душистъ былъ морозъ.

Акантовъ пріостановился на крыльцѣ и посмотрѣлъ вдоль улицы на сѣверъ. За селеніемъ, въ ровной, далеко идущей степи, курились голубые туманы. И почти на горизонтѣ, въ безлюдномъ просторѣ, лиловымъ островомъ стояло селеніе: тамъ былъ непріятель, — большевики...

Потоптавшись на доскахъ ступеней, чтобы стряхнуть налипшій на сапоги снѣгъ, Акантовъ и Баклагинъ вошли въ избу...

Въ просторномъ помѣщеніи, съ бѣленными извѣсткой стѣнами, густо пахло капустой и горячимъ тѣстомъ. Большіе, длинные пироги, только-что вынутые изъ печи, стояли на столѣ и точно дышали золотистой масляной, хрусткой корочкой.

Батарея постаралась угодить любимому командиру. Деревянный стулъ въ головѣ стола былъ увитъ еловыми вѣтвями. Шарообразные кусты блѣдно-зеленой омелы съ прозрачными бѣлыми ягодками были подвѣшены надъ праздничнымъ столомъ. Но хозяина и хозяйки еще не было. Старшій офицеръ батареи, капитанъ Бондаревъ, встрѣтилъ гостей:

— Николай Ивановичъ просилъ извинить его, — сказалъ онъ Акантову, — онъ чуть-чуть припоздаетъ. Съ часъ тому

назадъ, онъ съ поручикомъ поѣхали попробовать въ санкахъ новаго рысака, котораго увели изъ-подъ Курска. Вы не видали его?.. Темно-сѣрый, совсѣмъ стальной... Побѣжка изумительная.

— Бѣговой, навѣрно, — сказалъ другой офицеръ-артиллеристъ, Навагинъ. — Имъ уже и вернуться время, — добавилъ онъ. — Темнѣть начинаетъ...

Солнце, заливъ румянымъ свѣтомъ бѣлыя стѣны, и, поигравъ перламутровыми красками на расписныхъ морозомъ стеклахъ, скрылось, и темнота, по зимнему, уютно вошла въ теплую комнату.

Солдаты-артиллеристы зажгли лампы. Офицеры батареи, ихъ было шесть, Акантовъ, Баклагинъ и два пѣхотныхъ офицера, толпились около стола, поджидая хозяевъ. Кое-кто закурилъ папиросу. Создавалась нѣкоторая неловкость. Разговоръ не вязался. Посматривали въ окно, закрываясь отъ свѣта ладонями, выходили на крыльцо...

Кто-то сказалъ:

— Ѣдутъ...

На дворѣ подъ окнами раздался топотъ конскихъ ногъ и шелестъ санныхъ полозьевъ. Изъ освѣщенной комнаты въ сумракъ наступившаго вечера не было видно. Акантовъ вышелъ на крыльцо посмотрѣть рысака.

Сани остановились у крыльца. Въ нихъ неподвижно лежалъ человѣкъ въ свѣтлой длинной шубѣ. Другой, — Гайдукъ, — соскочилъ съ саней, и, обмотавъ вожжи около вереи крыльца и отталкивая Акантова, вбѣжалъ по ступенямъ въ залъ:

— Полковникъ Бѣлоцерковскій сейчасъ завстрѣлился! — взволнованнымъ голосомъ сказалъ Гайдукъ.

— Гдѣ онъ?..

— Я привезъ его. Онъ въ саняхъ...

Всѣ бросились въ двери...

Быстро убрали со стола ароматные пироги, сняли бутылки, столовые приборы, составили все по скамьямъ и на полу.

Поручикъ Навагинъ размоталъ со стула еловыя вѣтки и разбросалъ ихъ по полу. Къ запаху капустныхъ пироговъ и

лука примѣшался смолистый ароматъ ели, напоминающій о праздникѣ Рождества Христова и о покойникѣ...

Тяжело топоча ногами, впуская морозный паръ въ теплую хату, офицеры и солдаты внесли тѣло полковника Бѣлоцерковскаго, и, по указанію доктора Баклагина, положили его на длинный столъ, на бѣлую, холщевую скатерть.

Мертвая, скорбная тишина стала въ залѣ. Всѣ растерянно жались вдоль стѣнъ. Докторъ Баклагинъ приступилъ къ осмотру тѣла самоубійцы:

— Такъ... такъ, — бормоталъ онъ, осторожно приподнимая голову Бѣлоцерковскаго, съ бѣлымъ, точно восковымъ лицомъ и сѣдѣющими, залитыми кровью волосами. Темно-красное пятно расплылось по чистой скатерти, слышнѣе сталъ противный, прѣсный, металлическій запахъ свѣжей человѣческой крови.

— Господа, — сказалъ Баклагинъ, оглядывая взглядомъ офицеровъ, — если бы кто-нибудь изъ васъ, не приведи Богъ, вздумалъ бы стрѣляться, куда и какъ стрѣлялся бы онъ?..

— Въ ротъ..

— Въ сердце...

— Въ високъ, — раздавались несмѣлые голоса.

— Хорошо... Въ високъ?.. Съ какой стороны?

Навагинъ потянулъ руку къ своему виску:

— Съ правой, Иванъ Алексѣевичъ.

— Конечно, съ правой, — подтвердилъ и юный юнкеръ.

— Господа, вы не примѣчали, Николай Ивановичъ не былъ лѣвшой?..

— Ну, что вы, докторъ!.. Да когда же?.. Самый нормальный человѣкъ...

— Ну, такъ... такъ... Поручикъ Гайдукъ, съ какой стороны отъ васъ сидѣлъ полковникъ?..

Но поручика Гайдука въ комнатѣ не было. Кинулись къ крыльцу, гдѣ была привязана лошадь, но тамъ не было ни лошади, ни саней... Всѣ, кто въ чемъ былъ, въ рубашкахъ и кителяхъ, безъ шапокъ, побѣжали на квартиру Бѣлоцерковскаго...

Тамъ никого не было... Денщикъ Бѣлоцерковскаго съ утра ушелъ въ волостное правленіе готовить обѣдъ. Хозяинъ хаты довольно безтолково объяснилъ, что барыня съ ночи уложила всѣ свои вещи по сундукамъ и увязкамъ, и вотъ: «заразъ пріѣхалъ офицеръ за нею, съ санями и со всѣми вещами, увезъ ее въ саняхъ. Да шибко такъ погнали»...

— А куда?..

— Кто-жъ ихъ знаетъ-вѣдаетъ.. Вотъ, Сенька видалъ, сказывалъ: къ краснюкамъ подались. Кнутомъ такъ и нашпаривалъ онъ коня-то... Вскачь пустилъ лошадь-то, вихромъ умчались...

Вышли на улицу.

Ночь. По черному небу загораются звѣзды... Ничего не видно въ мягко сверкающей, какъ темная парча отливающей, снѣжной степной дали...

Какая тутъ могла быть погоня?..

Когда Акантовъ вернулся въ волостное правленіе, онъ засталъ доктора Баклагина надъ тѣломъ Бѣлоцерковскаго. Докторъ сказалъ ему:

— Вотъ вамъ и патологія!.. Какое тамъ къ чорту самоубійство?.. Самое настоящее, и при томъ же чекистское, убійство...

Съ врачебной безцеремонностью, Баклагинъ приподнялъ голову мертвеца:

— Изволите видѣть: въ затылокъ съ лѣвой стороны и на разстояніи не менѣе шести вершковъ. И волосы не обожжены... Какой самоубійца такъ далеко дотянетъ?.. Какой тамъ, къ чорту, самоубійца станетъ стрѣляться, имѣя рядомъ съ собой другого человѣка?.. Все у нихъ было обдумано и сговорено. А такіе люди, какъ Гайдукъ?.. Имъ что?.. Имъ все одно, кого пристрѣливать: краснаго или бѣлаго, — одинъ чортъ!.. Да, я слышалъ, мнѣ сейчасъ кто-то изъ офицеровъ сказалъ, будто родной братъ Гайдука въ Петроградской чека служилъ... Только теперь додумались понять это!.. А она?.. Выходитъ, полковникъ Арчаковъ не прошибется. Нюхъ у него, какъ у хорошаго пойнтера... «Молитву офицера» чи-

тала, плакала слезами жалости и благоговѣнія, а душа-то ея была съ ними, съ красными... Тамъ и платятъ щедрѣе, и чувственность тамъ острѣе... Звѣриная чувственность... Такова-то, батенька мой, патологія гражданской войны!.. Не дай Богъ никому ее испытать...

Акантовъ больше никогда ничего не слыхалъ ни про Магдалину Георгіевну, ни про Гайдука. Ушли, словно въ другой міръ...

И, конечно, Дуся и капитанъ Лапинъ — не Магдалина Георгіевна и Гайдукъ: года не выходятъ... Но похожи... Странно какъ-то — повадкой всею похожи...

XIX.

Подобно длительному, мучительному, кошмарному бреду разворачивалось далекое прошлое въ памяти Акантова:

«Да, вотъ, какъ оно было... Вотъ какая была моя жизнь, жизнь нашего поколѣнія. Тяжелые бои, рукопашныя схватки... Разстрѣлы плѣнныхъ коммунистовъ... Кровь и ужасъ... Непревзойденная храбрость, мужество, и тутъ же — гнусная подлость и предательство... Патологія гражданской войны... Началось-то это когда?.. Эге, вотъ оно, когда началось-то... Когда мы... Да, мы... Не коммунисты... Не какіе-то тамъ Ленины и Троцкіе, нѣтъ, именно мы, Русскіе офицеры и солдаты, жидовской лжи повѣрили и Государю измѣнили и предали его толпѣ... Вотъ за то и пришли заграницу безславные, пришибленные, не смѣющіе громко слова сказать, и разбрелись по мелкимъ, не нашимъ, работамъ... Да, вотъ какъ!.. Помню: пришелъ ко мнѣ какъ-то товарищъ, видный когда-то, блестящій офицеръ, голодный, отрепанный, на «шомажномъ» пособіи изъ милости прозябающій, пришелъ и говоритъ: «Мнѣ бы хотя какую-нибудь тамъ р а б о т и ш к у достать!.. Съ голода жена пухнетъ!..». Что у насъ? Въ прошломъ — кровь и ужасъ неповторимый гражданской войны, худшей изъ войнъ, въ настоящемъ — бѣдность и «работишка»... А, вѣдь, въ эти годы складывалась и формировалась душа моей Лизы...».

Незамѣтно стало свѣтать... Ни души не было на площади, въ скверѣ и на улицахъ, звѣздою разбѣгавшихся по городу. Никого. Ни шороха шаговъ, ни шума колесъ. Спалъ городъ. Блаженнымъ, тихимъ, мирнымъ сномъ спалъ, и въ немъ столько лѣтъ спала Лиза. Ей не снились, ей не вспоминались кровавые кошмары, видѣнія замученной, истерзанной Родины...

Вдругъ, какъ-то сразу, ожилъ городъ. За скверомъ черезъ площадь потянулись длинной вереницей желтые вагоны трамваевъ. Съ гулкимъ грохотомъ промчался большой, двухъэтажный желтый автобусъ, совсѣмъ пустой. Газетчикъ въ красной шапкѣ появился на углу у сквера. Проѣхалъ грузовикъ, груженый капустой и еще какою-то зеленью, и появились первые прохожіе. Пошли хозяйки съ веревочными сѣточками на рынокъ за провизіей. Все сильнѣе и оживленнѣе становился грохотъ и шумъ вдругъ проснувшагося города...

Акантовъ закрылъ окно.

Шесть часовъ. Новый день наступилъ. День отъѣзда въ Парижъ, на новую жизнь, съ Лизой. Въ десять часовъ милая дѣвочка обѣщала зайти за Акантовымъ, чтобы вмѣстѣ идти по магазинамъ. Ей такъ хотѣлось показать отцу, что, вопреки всему тому, что тотъ слышалъ во Франціи, — въ Германіи «все есть»... И вдругъ назойливая мысль встала въ головѣ: «въ одиннадцать... въ одиннадцать, онъ, какъ будто, обѣщалъ ждать Лапина, этого страшнаго капитана, совсѣмъ не похожаго на капитана, чтобы ѣхать съ нимъ въ Кайзергофъ завтракать и знакомиться съ Тухачевскимъ»... Все это страшно интересно, но именно — страшно. Почему-то отъ всего вчерашняго вечера, отъ радіо, отъ стиховъ, прочтенныхъ Дусей, осталось нѣчто смутное и зловѣщее. И сейчасъ стало страшно идти съ Лапинымъ. Заскребло на сердцѣ. Снова поднялись видѣнія гражданской войны, Гайдукъ и Магда Могилевская, но это продолжалось лишь одно мгновеніе. Вдругъ навалился на Акантова сонъ, завладѣлъ имъ, повалилъ на постель, и не успѣлъ Акантовъ сообразить что-нибудь, какъ уже спалъ крѣпчайшимъ своимъ обычнымъ, сол-

датскимъ сномъ. Все исчезло. Точно сразу кто-то отпустилъ колки туго натянутыхъ душевныхъ струнъ, и струны ослабѣли, повисли безжизненно и беззвучно, и легкій шумъ въ ушахъ заглушилъ всѣ думы и воспоминанія...

Акантовъ проснулся въ десятомъ часу. Все было ясно въ головѣ. Никакихъ Лапиныхъ, никакихъ Тухачевскихъ!.. Не мальчикъ онъ, чтобы поддаваться, быть можетъ, на провокацію. День онъ проведетъ съ Лизой, какъ и было уговорено, а вечеромъ, въ вагонѣ третьяго класса, они уѣдутъ въ Парижъ, и все будетъ съ Лапинымъ и Дусей покончено... А какъ же быть съ капитаномъ?.. Если онъ и правда обѣщалъ?.. Чортъ съ нимъ совсѣмъ... Ну, попросить Лизу передать черезъ хозяйку, что онъ извиняется, что неотложныя дѣла заставили его уйти раньше, вотъ и все... Стоитъ ли морочить голову изъ-за этого...

И, совсѣмъ готовый, чтобы идти въ городъ, Акантовъ сталъ ожидать Лизу.

XX.

У Лизы въ тотъ вечеръ, который ея отецъ провелъ у знакомаго-незнакомца, случайно встрѣченнаго въ концертѣ, были назначены ея проводы. И Лиза была очень рада, что кто-то пригласилъ ея отца и она могла освободиться. Она проводила отца въ его пансіонъ, вернулась къ тетѣ Машѣ и сейчасъ же стала одѣваться, какъ на балъ.

— Куда это ты? — спросила ее Марья Петровна.

— Къ Верховцевымъ, — притушивая блескъ глазъ рѣсницами, сказала Лиза привычную и неизбѣжную ложь. — Меня хотѣли проводить мои подруги.

Молодежь въ такихъ случаяхъ собиралась у стараго и богатаго холостяка, барона Эриха фонъ Альвенберга. Но говорить объ этомъ «предкамъ» ни Лиза, ни ея подруга Соня Верховцева, никогда не рѣшались. «Предки» не могутъ понять, что гораздо веселѣе проводить время въ богатомъ и радушномъ домѣ барона, гдѣ большія комнаты и есть лакеи, гдѣ можно сколько угодно ѣсть и пить, гдѣ не надо

думать, что хозяевамъ потомъ придется мыть посуду, что хозяева должны готовить для нихъ ужинъ, гдѣ достаточно мѣста, чтобы потанцовать подъ рояль или подъ радіо, гдѣ къ услугамъ молодежи есть моторныя лодки и автомобили, чѣмъ сидѣть въ маленькихъ и тѣсныхъ комнаткахъ Верховцевыхъ и мучиться, что бѣдной Аглаѣ Васильевнѣ приходится въ это время для нихъ торчать у плиты на кухнѣ...

Но «предки», даже и пріученная къ свободѣ Марія Петровна, не могутъ этого понять. У «предковъ» обо всемъ грязныя мысли, и они не могутъ уяснить настоящихъ товарищескихъ, простыхъ отношеній...

Лиза надѣвала на себя бальное платье, съ длиннымъ, обнажающимъ спину до самаго крестца, вырѣзомъ, и, поворачиваясь около тройного зеркала въ комнатѣ Маріи Петровны, осматривала свою красивую, съ желобкомъ, хорошо загорѣвшую спину.

Марья Петровна залюбовалась на племянницу:

— Отчего ты, Лиза, не одѣлась еще при отцѣ? Ему доставило бы удовольствіе посмотрѣть на тебя въ такомъ нарядѣ...

— Ну!.. Что ты, тетя!.. Да развѣ можно?.. Папа такой старомодный. Онъ и то увидалъ мою завивку, и говоритъ: «Что это ты за рога нацѣпила на темя?». Онъ былъ такъ радъ, что я не накрашена и губы безъ подмазки, что сказалъ: «какъ я радъ, что ты не мажешься, какъ наши Парижскія дуры»... А я сегодня и краску немножко положу, не хочется быть блѣднѣе подругъ.

Марья Петровна не спрашивала, кто будетъ провожать Лизу. Напрасный былъ бы вопросъ. Отвѣтъ получился бы неопредѣленный: «кто?.. Подруги... ихъ братья... Кое-кто изъ товарищей по школѣ... Ты ихъ не знаешь, тетя...».

И еще — знала Марья Петровна, что вернется Лиза съ разсвѣтомъ, — свои ключи у нея, — и спрашивать, гдѣ провела она ночь, тоже безполезно... Такой ужъ вѣкъ. Молодежь завоевала себѣ свободу, и не любитъ, чтобы вмѣшивались въ ея дѣла. Старикамъ позволено жить, дышать позволено. А заглядывать въ молодую душу? Зачѣмъ? Можно

получить не любезный отвѣтъ, который, въ переводѣ, будетъ обозначать: «а вамъ-то какое дѣло?»...

Мы, молодежь, свободны и независимы. Это мы строимъ государство. У насъ есть свои наставники и руководители. Мы маршируемъ и дѣлаемъ гимнастику, мы участвуемъ на праздникахъ, вы можете смотрѣть на насъ, любоваться нами, а провѣрять насъ — не совѣтуемъ.. .Мы строимъ, мы движемся впередъ; вы, въ свое время, разрушали и едва не погубили прекрасной нашей Родины, такъ ужъ сидите молча и не безпокойтесь понапрасну...

— Я хорошо загорѣла въ этомъ году, — говорила Лиза, поворачиваясь передъ зеркаломъ и щуря глаза, — ровно... Только не очень темно. А Соня вернулась съ моря совсѣмъ негритянкой. Темная, темная...

Золотисто-смуглая, загорѣлая спина блестѣла молодымъ блескомъ тонкой кожи. Очень красива была она, стройная, гибкая, соблазнительно уходящая въ стянутую юбку. Завитые въ темени волосы отблескивали червоннымъ золотомъ. Ясные голубые глаза сіяли счастьемъ и волненіемъ ожиданія...

Лиза думала: — «Сегодня все должно и рѣшиться»... «Entweder - oder»... *).

Лизѣ не очень было пріятно ѣхать въ бальномъ платьѣ, съ длиннымъ, узкимъ шлейфомъ, по подземной дорогѣ, но всѣ такъ ѣздили, и Лиза съ этимъ примирилась...

У Альвенберга ее ожидали. Всѣ были въ столовой, но за столъ не садились. Лиза сразу увидѣла подлѣ баронскаго предсѣдательскаго мѣста, въ вазѣ, большой букетъ прекрасныхъ розовыхъ гвоздикъ, перевитый голубой лентой. Кто-то подумалъ о ней. Неужели, Куртъ? Нѣтъ, конечно, милый баловникъ баронъ.

Едва Лиза вошла, какъ всѣ встали:

— Achtung! **)

Баронъ, высокій, лысый человѣкъ, безупречно одѣтый, съ

*) Или-или.

**) Вниманіе! (Смирно!).

круглымъ, полнымъ, веселымъ и добрымъ лицомъ, прекрасно выбритымъ и румянымъ, вставилъ въ глазъ монокль и пошелъ навстрѣчу Лизѣ.

Большая люстра блистала множествомъ лампочекъ, отражалась пестрыми радужными сіяніями въ хрустальныхъ рюмкахъ и бокалахъ, въ темныхъ разноцвѣтныхъ бутылкахъ и фарфоровыхъ блюдахъ, и бросала яркій свѣтъ на бѣлую скатерть, усыпанную цвѣтами.

Лиза сразу погрузилась въ міръ богатства, довольства, красоты и дружескаго, товарищескаго нѣмецкаго непринужденнаго веселья. Она любила этотъ міръ. Она сейчасъ же позабыла объ отцѣ и о томъ, что ее ожидаетъ завтра. Ей стало казаться, что этого не можетъ быть, и то «entweder-oder», о которомъ она говорила тетѣ Машѣ, вотъ-вотъ рѣшится въ ея пользу.

— Achtung! — баронъ подалъ Лизѣ букетъ. — Фрейленъ Лизе... Представлять вамъ никого не надо, вы всѣхъ знаете, но позвольте мнѣ въ этотъ нашъ прощальный вечеръ напомнить вамъ членовъ нашей дружеской компаніи, такъ опечаленной тѣмъ, что вы принуждены покинуть Германію, такъ гостепріимно васъ принявшую, и гдѣ, я надѣюсь, вы чувствовали себя, какъ дома... Я хочу, чтобы они всѣ запечатлѣлись въ вашей памяти навсегда... Если только въ нашемъ мірѣ есть такое понятіе — «навсегда»?..

— О, баронъ, — сказала смущенная Лиза. — Могу ли я когда-нибудь и гдѣ-нибудь васъ позабыть!..

— Вотъ этотъ, здоровый парень, — вы его знаете, — Куртъ Бургермейстеръ... О, я вижу, вы его очень хорошо знаете... Вы, какъ будто, даже немного покраснѣли... Славный парень, инженеръ, изобрѣтатель и преданнѣйшій сынъ Германіи. Немножко узковатъ въ своихъ воззрѣніяхъ. И, пожалуй, — шляпа!.. Идетъ по цвѣтнику, и не видитъ цвѣтовъ, — удѣлъ ученыхъ и, особенно, математиковъ...

Куртъ протянулъ Лизѣ большую, сильную руку. Какой-то токъ промчался по жиламъ Лизы. Она посмотрѣла въ глаза Курту. Она ждала, что скажетъ ей Куртъ. Можетъ быть, это будетъ даже сейчасъ!.. Куртъ ясными, спокойны-

ми, увѣренными въ себѣ глазами посмотрѣлъ въ синеву глазъ Лизы, и, ничего не сказавъ, отошелъ въ сторону, уступивъ мѣсто высокой темной шатенкѣ, со стрижеными на затылкѣ волосами, съ локонами на темени, и почти черною обнаженною спиною... Ея круглое, съ выдающимися скулами, лицо сіяло. Она едва удерживалась отъ того, чтобы не прыснуть радостнымъ смѣхомъ въ лицо Лизѣ.

— Und das ist die slavische Seele *), Софихенъ Верховцева. Вашъ вѣрный и неизмѣнный другъ. Преданный вамъ со всѣмъ пыломъ славянской души.

Темная, загорѣлая рука въ нѣжномъ золотистомъ пуху обняла Лизу за шею, и Соня горячо поцѣловала подругу. Лиза почувствовала запахъ водки.

— Вы уже пили, — съ возмущеніемъ сказала она.

— O! Ja!.. — отвѣтила, смѣясь, Соня.

— Позвольте, фрейлейнъ... это Фредъ Ленфельдъ... Покажи ладони, Фредъ... А?.. Какія мозоли!.. Только изъ лагеря, гдѣ отбывалъ повинность на рабочемъ фронтѣ... Видите, какъ трудился Фредъ на пользу Государству... А самъ — бѣлокуръ, синеглазъ, настоящій Гессенецъ... Чистая раса...

— Zu Befehl!.. **), — ломающимся, полудѣтскимъ голосомъ сказалъ юноша, одѣтый въ коричневую рубашку съ воротникомъ и галстухомъ, вобранную въ шаравары.

— Его сестра, Эльза... Докторъ медицины.

Высокая, худощавая дѣвушка въ большихъ круглыхъ очкахъ радостно пожала руку Лизы.

— Теперь пойдутъ все ученыя... Кэтъ Бланкенъ... Не смотрите, Лиза, на легкомысленный видъ этой дѣвицы, на ея столь развитую грудь и прочее и прочее; все въ порядкѣ; не смотрите, что она уже до васъ порядочно выпила водки, Русской водки, — она, тѣмъ не менѣе, докторъ политической экономіи!.. Она даже любитъ, чтобы на письмахъ ей писали: Fräulein Doktor... ***)... Ну, что скажу я вамъ о нашей ма-

---

*) А это — славянская душа.

**) Слушаюсь.

***) Барышнѣ доктору.

ленькой Марихенъ Гутштабе?.. Вы посмотрите, можно ли довести свою плоть до такого полнаго отсутствія плоти?.. Одинъ скелетъ... Статуэтка Хутшенрейтерскаго фарфора. Ни живота, ни груди, ни, словомъ, ничего того, что можетъ волновать такого стараго циника, какъ я... А волосы?.. Если не водородъ, та такого цвѣта ржаной соломы вы не найдете и у дѣвъ Гессенскаго Герцогства, гдѣ жили отважныя Амазонки, прогнавшія римлянъ съ высотъ Таунуса... Теперь... Кажется, мы всѣ вмѣстѣ смотрѣли Зудермановскую «Родину», съ Зарой Леандеръ, въ киношкѣ. Отъ Зудермана, какъ это всегда бываетъ въ фильмахъ, ничего не осталось, за то Зара Леандеръ тамъ сверхъ великолѣпна, и вы помните это?..

Баронъ прекраснымъ, будто и точно женскимъ, низкимъ, грудным контральто, пропѣлъ весьма выразительно:

— Voll Verlangen nach der Liebe,
Und er wünscht, dass es ewig so bliebe,
Denn die Liebe macht so schön. *)

Монокль выскочилъ изъ его глаза. Круглое, полное лицо барона широко улыбалось, а молодой человѣкъ въ синей матросской курткѣ съ золотыми пуговицами съ якорями, матросъ нѣмецкаго торговаго флота, высокій, темноволосый, съ блестящимъ проборомъ на головѣ, припомаженный и очень красивый, вспыхнулъ яркимъ молодымъ румянцемъ, и большіе, каріе, влюбленые глаза его устремились на Лизу съ такимъ обожаніемъ, что Лиза смутилась...

— Игорь Верховцевъ!.. Германскій подданный, — онъ нѣмецъ! Но онъ въ полной неприкосновенности сохранилъ свою Русскую душу и несетъ ее, какъ чашу, переполненную драгоцѣннымъ виномъ, полную горячей любви къ Родинѣ и ея олицетворенію въ вашемъ лицѣ... Онъ хочетъ донести ее до счастливаго часа освобожденія Россіи отъ жидовской власти большевиковъ... И я уважаю его, я цѣню его, я люблю его, хотя и знаю, что, кликнетъ его Россія, на-

*) Полонъ жаждой любви,
И желаетъ, чтобы вѣчно такъ было,
Потому что любовь дѣлаетъ такою красивою.

стоящая, не большевицкая Россія, не серпъ и молотъ, а двуглавный императорскій орелъ, не красный флагъ насилія, рабства и крови, но золотой Императорскій штандартъ, — и онъ забудетъ свое Германское подданство и побѣжитъ служить Россіи... Я не осужу его тогда, я пойму его и прощу, потому-что знаю, что нѣтъ ничего выше Родины... А сейчасъ Родина нашего Игоря — Германія... Не правда ли, мой милый?

— Zu Befehl, Herr Baron! *), — ясно, четко, по солдатски отчеканилъ Верховцевъ.

— А вотъ, Лизе, если будетъ у васъ тяжелая минута тоски, если заговоритъ въ васъ ваша славянская душа, и захочется вамъ поплакать въ жилетъ... Рекомендую вамъ — жилетъ этого нѣмецкаго философа изъ лучшей непромокаемой матеріи сдѣланъ... Если понадобится вамъ разумное слово человѣка, по-нѣмецки, сентиментально влюбленнаго въ васъ тихой и преданной платонической любовью, — то приходите къ этому верблюду въ очкахъ... Милый Ральфъ, откуда вы достали такія огромныя и страшныя очки? Такія носятъ только алхимики, американскіе студенты да еще... — баронъ выбросилъ монокль изъ глаза и добавилъ съ необычайной серьезностью, — да еще очковыя змѣи... Ральфъ Секендорфъ, милая Лиза, спеціалистъ по ядовитымъ газамъ. Онъ хочетъ изобрѣсти такой газъ, чтобы онъ дѣйствовалъ по всему земному шару, но только на не-арійцевъ, — пустить такой газъ, и въ одно мгновеніе всѣ жиды подохнутъ. Но, будучи такимъ кровожаднымъ, самъ Ральфъ, если случится, поползетъ по нему букашка, онъ бережно сниметъ ее и пуститъ на волю, за окно... Ральфъ Секендорфъ, Лизе, влюбленъ въ васъ самою чистою, кристальною любовью, и вы можете ему вполнѣ вѣрить. Онъ философъ... Нѣтъ, не подумайте, онъ не шляпа, какъ Куртъ, который до того заучился, что не можетъ отличить брилліанта чистѣйшей воды отъ мусора... Но Ральфъ философъ, и знаетъ, что верблюды питаются не розами и фіалками, но колючими мимозами и сухою

*) Слушаюсь, господинъ баронъ.

травою пустыни... Вотъ, кажется, и всѣ... Ахъ, виноватъ, — еще лихой драгунъ Клаусъ Баумъ... Онъ и сабли не хотѣлъ снимать до вашего прихода... А, вѣдь, и тебя, мой милый Клаусъ, въ одинъ прекрасный день моторизуютъ, и ты съ лихого коня пересядешь на вонючую мотоциклетку... Вотъ, Лизе, тутъ всѣ ваши друзья. Они пришли сегодня ко мнѣ, чтобы проводить васъ, пожелать вамъ счастливаго пути, и, не буду скрывать, — скораго благополучнаго возвращенія... А теперь, meine Damen und Herren, meine Volksgenossen und Volksgenossinnen... *)... тра-та-ти-та-та-ра-та-та-та!.. Къ водкѣ!..

— Но, безобразники... Я вижу, что вы уже пили, — сказала Лиза, принимая изъ рукъ барона хрустальную рюмку, до верха полную водкой. — У Софихенъ щеки бурыя и глаза совсѣмъ масляные... Фредъ, ты напоилъ свою невѣсту... Она стала совсѣмъ, какъ калмычка...

Не узнать было теперь Лизы. Длинныя, загнутыя кверху, рѣсницы не гасили синяго пламени блестящихъ глазъ. Душа была на распашку. Эти нѣмцы и нѣмки ей были, какъ самые близкіе и родные, не нужно было здѣсь ни притворяться, ни лгать.

Лиза съ шикомъ, по мужски, такъ, какъ того не выносилъ ея отецъ, «хлопнула» рюмку, не поморщилась, и, не закусывая, протянула рюмку Курту:

— Куртъ, налей еще. Мнѣ надо съ вами подравняться...

Она «хлопнула» и вторую, и потянулась къ омару:

— Обожаю омара... Гдѣ достали?.. Совсѣмъ свѣжій... На Тауенціенъ-штрассе!.. О, баронъ!.. Какъ вы насъ балуете!..

— Какъ вы нашли вашего отца? — спросилъ, наливая третью рюмку, баронъ.

— Я думаю, — глубокомысленно, вытягивая тонкую шею и точно становясь похожимъ на верблюда, тянущагося къ вѣткѣ колючей мимозы, сказалъ Секендорфъ, — я думаю, это такъ странно, столько лѣтъ не видѣть своего отца, и вдругъ встрѣтиться съ нимъ... Какъ же вы узнали его?..

---

*) Дамы и господа, мои товарищи и подруги.

— Узнала сразу... Что-то толкнуло меня къ этому человѣку съ короткими сѣдыми усами. Его образъ, смутно сохранившійся у меня въ памяти съ дѣтства, не измѣнился, что-то неуловимо милое и родное было въ немъ...

— Онъ генералъ? — спросилъ Баумъ.

— Да, милый Клаусхенъ. И потому потрудись называть меня теперь — экселленцъ...

— Zu Befehl, Exellenz!

— А, главное, помогли мнѣ признать его — усы... Въ стрѣлку закрученные. Такіе теперь можно видѣть только на экранѣ, въ драмѣ прошлаго вѣка.

— Твой папа носитъ усы! — воскликнула Гутштабе, — это, должно быть, ужасно.

— Представь, Марихенъ, потрясающе... Сѣдые, тонкіе... Да вѣдь такъ и должно быть... Предокъ... Человѣкъ прошлаго вѣка. Выправка военная. Получше, чѣмъ у Клауса, который все переламывается въ поясницѣ... ну и еще... Въ рукахъ портъ-пледъ...

— Что такое портъ-пледъ?..

— А?.. Не знаете! Это свертокъ такой, изъ шотландской матеріи. Въ него можно положить и одинъ носовой платокъ, и, при желаніи, можно увязать въ него цѣлаго... слона...

— Слона?.. Ну, ужъ и скажешь!..

— Ну, да, Марихенъ, цѣлаго слона, или гиппопотама... Свертокъ, затягивается ремнями. Если бы моего папу снять тогда, — прямо ставь въ фильмъ Зудермановской «Родины».

— Твой папа, по-нѣмецки?..

— Ни бумъ-бумъ!.. И потому я и должна была быть неотлучно при немъ. Онъ, вмѣсто «guten Tag», или «guten Morgen», *), говоритъ «gesund»...

— Что же это должно обозначать?..

— Онъ просто переводитъ, и такъ неумѣло, Русское «здравствуй», «здоровы»... Это единственное слово, которое онъ выучилъ, онъ такъ и привѣтствовалъ моего дядю Отто:

---

*) Добрый день... доброе утро...

«gesund!»... Тетка въ хохотъ, а дядя глаза вылупилъ, какъ быкъ и мычитъ, какъ корова...

— А какъ ты заговорила съ нимъ, — спросила Верховцева, — на ты, или на вы?..

— На ты... Такъ вышло, и потомъ, мы переписывались всегда на ты... И, правда, я сама даже удивилась, такъ все сразу просто и по родственному у насъ пошло... Хорошо и сердечно...

— Ты ему понравилась? — спросила Эльза.

— Ну, еще бы! — воскликнулъ Игорь и покраснѣлъ.

— Молчи, ужъ, — сказала брату Соня Верховцева.

— Почему, Лизе, отецъ вдругъ такъ и рѣшилъ увозить васъ? — спросилъ баронъ.

— Работать надо, — вздыхая, кроткимъ голосомъ сказала Лиза... — Ну, и еще... Или замужъ... или?..

— Но вы могли бы работать здѣсь...

— Здѣсь?.. Сложно очень... Докторъ философіи!.. Не знаю, баронъ... Но мнѣ и самой стало казаться: лучше, и правда, мнѣ уѣхать. И куда же, какъ не къ отцу?..

Голосъ Лизы прозвучалъ грустно, грустно. На нѣсколько мгновеній въ столовой всѣ примолкли. Игорь внимательно, не скрывая влюбленности въ глазахъ, смотрѣлъ на Лизу. Та не видѣла его взгляда. Она опустила глаза. Всѣ молча и сосредоточенно ѣли.

— Ну, — сказала Лиза, встряхиваясь, — «Лейтенантъ платитъ долги»... Стоитъ говорить объ этомъ. Нужно, и нужно... Отецъ нашелъ, что я стала нѣмкой, совсѣмъ нѣмкой. Онъ мнѣ сказалъ даже, что ему непріятно, что я такъ хорошо и красиво говорю по-нѣмецки. Онъ хочетъ снова сдѣлать меня Русской.

— Ты, Лиза, Русская, — сказалъ Игорь, — и ты должна быть Русской...

Лиза пронзительно посмотрѣла въ глаза Игорю. Злой огонекъ горѣлъ въ ея глазахъ:

— Это говоритъ мнѣ нѣмецкій подданный, матросъ германскаго флота, и говоритъ... по-нѣмецки...

— Что это значитъ, Лиза?..

Лиза пожала плечами:

— Подумай... Можетъ быть, поймешь...

Баронъ розлилъ по свѣтло-зеленымъ высокимъ, на тонкихъ ножкахъ, рюмкамъ блѣдно-золотистый Мозель.

Костеръ разговоровъ угасалъ. Точно водой на него плеснули. Всѣ знали драму любви Лизы; никто не хотѣлъ говорить о ней. Надо было подбросить сухихъ сучьевъ въ костеръ, заглушить сердечную тоску молодыхъ душъ. Баронъ постучалъ вилкой по хрусталю, и запѣлъ своимъ почти женскимъ контральто:

— Trink, trink, Brüderlein, trink!...

Дружно приняли отъ него всѣ гости:

— Lasset die Sorgen zu Haus,
Meidet den Kummer und meidet den Schmerz,
Dann ist das Leben ein Scherz!...! *)

— Ни тоски, ни заботъ, ни печали, — сіяя блестящими, темными, увлажненными, хмельными глазами, воскликнула Соня Верховцева и протянула Лизѣ свою рюмку.

— Клингъ... клингъ... клингъ... — мелодично звонко зачокались, сталкиваясь, рюмки. Жидкое золото взблескивало въ нихъ, отражая огни люстры.

— Наполните ваши бокалы...

— Prost!..

— Prost!..

Секендорфъ разливалъ вино. Его некрасивое лицо было красно, волосы на темени стали дыбомъ. За толстыми стеклами круглыхъ очковъ счастьемъ сіяли добрые, хмельные глаза.

---

*) Пей, пей, братецъ мой, пей...
Дома заботу оставь,
Горю не внемли и боль прогони, —
Шуткой всю жизнь живи!..
Переводъ А. Ѳ. фонъ Шлиппе.

— Баронъ, — сказалъ онъ, — споемте нашу обычную, нашу любимую... Начинаемъ...

— О, только не ты, милый Ральфъ, — воскликнулъ Клаусъ, — у тебя слухъ, какъ у крокодила...

— И голосъ, какъ у дикой кошки, — сказала Эльза.

— А чувство ритма, какъ у пьянаго велосипеда, — сказала Кэтъ Бланкенъ.

— Э, полноте, meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, дѣло не въ крокодилѣ и дикой кошкѣ, и даже не пьяномъ велосипедѣ, хотя я и позволю себѣ усомниться, чтобы велосипеды пьянствовали. Дѣло въ душѣ, въ душевномъ настроеніи, въ переживаніи пѣсни, а этого всего я дамъ въ пѣснѣ въ изобиліи...

Секендорфъ всталъ, взмахнулъ вилкой, какъ дирижерской палочкой, и всѣ запѣли въ унисонъ, молитвенно строго и стройно. Велъ пѣсню баронъ, ему вторила Лиза. Секендорфъ гудѣлъ низкой октавой, и не портилъ хора:

— Verschleucht die Sorgen, trinkt, liebet und singt,
Wen kümmert, was morgen das Schicksal bringt,
Die Stunden verinnen, kommt keine zurück,
Rasch flieht von hinnen mit ihnen das Glück...

Летѣло, уносилось безвозвратное время. Лизѣ, — пьяненькая она была послѣ водки и вина, — казалось: ощущаетъ она неудержимый полетъ въ вѣчность... Не остановить времени!.. Нельзя управлять событіями. Къ отцу, такъ къ отцу!.. Въ Парижъ, такъ въ Парижъ!.. Стряпать на кухнѣ, чинить бѣлье старѣющему отцу, ходить за нимъ...

Звонкимъ, чистымъ голосомъ пѣла Лиза, смотрѣла на Курта блестящими пьяными глазами, въ нихъ дрожала слеза, и, сквозь пѣсню, думала: «Неужели онъ не понимаетъ, что, если не теперь, не сегодня, то уже никогда!.. И, если сегодня, сейчасъ, этого не случится, то что остается ей дѣлать, какъ не уѣхать отъ своей любви, отъ счастья, которое все равно прошло мимо, лишь поманивъ за собою?...».

Она взглянула на золото вина въ бокалѣ, и, почти не ду-

мая о томъ, что поетъ, продолжала пѣть, покрывая сильнымъ голосомъ весь хоръ:

— Ich kenne eine Blüte mit goldenen Schein
Dass Gott sie hüte, sie heisst der Wein,
Er funkelt im Becher, er perlet und schäumt,
Nun trinket den Becher, nun trinkt und träumt...
— Die Träume, sie steigen und schweben empor,
Sie tanzen den Reigen der Elfen uns vor,
Sie bringen die Tage des Frühlings zurück...
Da schweigt jede Klage, da jauchzet das Glück. *)

Лиза пѣла, мечтала, надѣялась, ждала, и быстро, быстро билось ея юное сердце...

XXI.

Молчаливый лакей барона, безшумно ступая, собралъ со стола опустошенныя блюда съ закусками и бутербродами и пустыя тарелки. Остались большіе сладкіе пироги: зеленый, уложенный виноградомъ и покрытый прозрачнымъ желе, и нѣжно-розовый, земляничный. Лакей принесъ тяжелыя сѣрыя, съ синими узорами, каменныя кружки и громадные зеленые пузатые кувшины съ пивомъ.

— Неужели, господа, еще будемъ пить? — сказалъ Игорь Верховцевъ.

---

*) — Гони заботы, пей, пой и люби,
Намъ завтра нѣтъ дѣла до нашей судьбы.
Минуты летятъ всѣ одна за другой,
И счастье берутъ безвозвратно съ собой...

Есть цвѣтъ золотистый, — я знаю его,
Самъ Богъ на радость намъ далъ вино,
Шипитъ и играетъ въ бокалѣ на днѣ.
Ты пей, — и горе пройдетъ, какъ во снѣ...

Волшебные сны будутъ сниться тебѣ,
Всѣ сказки и тайны увидишь въ винѣ...
Весну тебѣ даритъ волшебный тотъ сонъ,
И горе замолкнетъ... И счастье кругомъ...
Переводъ А. Ѳ. фонъ Шлиппе.

— А ты не можешь, — насмѣшливо сказала Лиза. — А еще матросъ Германскаго флота!

— Мочь-то я могу... Да только куда все это лѣзетъ...

— Можно немного погодя, — примирительно сказала Эльза. — Для здоровья пиво не вредно.

Лиза и Соня отошли отъ стола и развалились на широкомъ диванѣ съ высокою прямою спинкой. Нервы Лизы были напряжены до крайности. Одно грубое прикосновеніе, и они лопнутъ, какъ слишкомъ натянутыя струны скрипки, и она разрыдается или станетъ безумно хохотать.

Но... Кругомъ нѣмцы... Не станетъ она показывать передъ нимъ свою «slawische Seele» *)... Она — нѣмка. Она будетъ тверда, спокойна и разумна, какъ нѣмка.

Но все ждала, изъ-подъ завѣсы густыхъ прелестныхъ рѣсницъ блестящими темно-синими глазами поглядывая на Курта, ждала, и сама не знала, чего.

Куртъ, въ дорогомъ свѣтломъ костюмѣ, самый стильный, самый красивый, сильный, среди юношей, свѣтловолосый, голубоглазый, настоящій молодой нѣмецъ, сидѣлъ, задумавшись, въ углу стола.

«О чемъ онъ думаетъ?.. Высчитываетъ какую-нибудь кривую, рѣшаетъ въ умѣ трудную задачу, устремленъ въ безконечность, чтобы оттуда, изъ этой темной, таинственной, математической дали извлечь то, что ему надо для новаго аэропланнаго приспособленія, которое прославитъ Германское имя... А, вотъ, возьму и внесу въ него смятеніе, загипнотизирую его»...

Лиза пронзительно смотрѣла на Курта и мысленно говорила ему со всею силою нѣжности своей любви: «Ну, оглянись!.. Ну, милый, дорогой Куртъ!.. Куртъ!.. Оглянись, посмотри на меня своими ясными глазыньками... Вспомни пережитое нами этимъ лѣтомъ, какъ загорали мы съ тобою на берегу Сѣвернаго моря, когда часами лежали на пескѣ... Куртъ, вспомни, какъ чертилъ ты на пескѣ свои кривыя, какъ рисовалъ свои сложныя машины, и когда твоя умная голо-

*) Славянскую душу.

вушка запутывалась въ формулахъ, кто яснымъ, свѣтлымъ, вдохновеннымъ Русскимъ умомъ подсказывалъ тебѣ нужное рѣшеніе? Куртъ, вспомни наши поцѣлуи, и тотъ огонь, что бѣжалъ отъ нихъ по жиламъ, пьяня, какъ самое сухое шампанское... Знаю... Я — русская, ты — нѣмецъ... Я бѣдная, ты — богатый... Куртъ, есть нѣчто высшее, чѣмъ сухой матеріалистическій міръ... О чемъ мы пѣли... Есть — любовь... Voll Verlangen nach der Liebe, und sie wünscht, dass es ewig so bliebe, denn die Liebe macht so schön... *).

Она была такъ прекрасна въ эти мгновенія своего таинственнаго колдовства, что всѣ притихшіе, было, за столомъ молодые люди и дѣвушки, мочившія губы въ холодномъ душистомъ пивѣ, любовались ею.

«Ну, оглянись, Куртъ!.. Куртъ!!. К у р т ъ!!. К У Р Т Ъ!!.

Куртъ не оглянулся.

Клаусъ принесъ гитару и сѣлъ рядомъ съ Лизой. Звякнули струны, перебрали лады... Сначала невнятно, неопредѣленно, звуками, стонами, звонами заговорила гитара. Потомъ голосъ ея сталъ опредѣленнѣе, яснѣе, громче, перезвоны словно подсказывали слова, слова вызывали картины...

Время шло. Уходило невозвратное время. Золотые часы передъ разлукой таяли.

Отдернули тяжелыя портьеры. Душно было въ комнатѣ, сильно накурено, пахло ѣдою и пивомъ. Раскрыли настежъ окно... Убывала, уходила, истаевала сентябрьская ночь, меркли въ густой синевѣ неба угасающія звѣзды... Истаевала въ тоскѣ ожиданія душа Лизы, меркли ея надежды...

Гитара играла бодрый маршъ. Въ тактъ съ нею, за столомъ постукивали кружками. Кто-нибудь подыметъ свою, протянетъ къ сосѣду или сосѣдкѣ:

— Prost!

— Prost!

---

*) Полна жаждой любви, и желаетъ, чтобы вѣчно такъ было, потому что любовь дѣлаетъ такою красивою.

Плыли, уплывали въ памяти Лизы картины недавняго прошлаго. На ней тогда была желто-коричневая куртка, бѣлая блузка и черная юбка. Тяжелый ранецъ оттягивалъ дѣвичьи плечи. Въ колоннѣ по три шагала она съ другими дѣвочками за колонной юношей. Вонъ — впереди — Куртъ! Онъ выше всѣхъ, онъ ладнѣе всѣхъ. Его голова, какъ спѣлый колосъ, блеститъ золотомъ волосъ на солнцѣ. Чуть покачивается въ тактъ шагу его ранецъ... Она его только и видитъ, точно въ его ранцѣ лежитъ ея счастье... Подлѣ Курта — Клаусъ. Широкая красная лента у Клауса черезъ плечо; на ней гитара... Вотъ такъ же заигралъ онъ тогда, — совсѣмъ недавно — и Лиза тогда запѣла...

Кругомъ, какъ колонны огромнаго Божьяго храма, стояли высокія сосны, задумчиво шумѣли широкими кронами вершинъ, кругомъ были песчаныя осыпи, холмы, луга, и, впереди, за лѣсомъ, въ зеленой аркѣ выхода, блеститъ, блеститъ, блеститъ, извиваясь въ изумрудной рамѣ кустовъ, садовъ и плакучихъ ивъ, Гавель, съ его озерами, разливами, камышами, съ бѣлыми, косыми парусами чистенькихъ яхтъ... Развѣ тамъ не было счастья?..

«Куртъ!.. Ты слышишь?.. Сча-стья?.. Сча-стья!.. Куртъ, оглянись!..».

Лиза выждала, когда Клаусъ вернулся къ началу пѣсни, и на всю столовую запѣла звучнымъ, отъ природы хорошо поставленнымъ голосомъ ту пѣсню, что пѣли т о г д а...

— Märkische Heide, märkischer Sand,
Sind des Märkers Freuden,
Sind sein Heimatland...

Со всѣхъ концовъ столовой, по которой разбрелись гости, отъ открытаго окна, изъ-за стола, отъ угла у портьеры двери, отозвались дружнымъ хоромъ на Лизинъ запѣвокъ:

— Sind des Märkers Freuden,
Sind sein Heimatland!

Въ тактъ марша, застучали башмачки дѣвушекъ. Худенькая Гутштабе взяла подъ руку Игоря, и они зашагали во-

кругъ стола, отбивая ногами тактъ. Баронъ широко улыбался круглымъ лицомъ и стучалъ въ ритмъ пѣснѣ тяжелой пивной кружкой...

— Steige hoch, du roter Adler,
Hoch über Sumpf und Sand,
Ueber dunkle Kieferwälder,
Heil dir, mein Brandenburger Land!... *)

Въ два голоса — баронъ мягкимъ баритономъ, и Лиза звонкимъ меццо-сопрано — продолжали пѣсню...

За окномъ небо посвѣтлѣло, стали видны дали широкихъ улицъ, аллеи боярышниковъ, изъ окна пахнуло свѣжестью осенняго утра, запахомъ орошенной росою густой листвы палисадниковъ...

XXII.

Когда молодежь расходилась по домамъ, было совсѣмъ свѣтло.

Баронъ фонъ Альвенбергъ приказалъ подать свой большой «Бенцъ», и забралъ съ собою Верховцевыхъ, Кэтъ и Марихенъ.

— Обязуюсь въ цѣлости и сохранности развезти всѣхъ по домамъ...

— Баронъ, — слабо протестовали барышни, — вы же устали!..

— Старый нѣмецкій студентъ никогда не устаетъ послѣ

---

*) Рощи и поле, ровный песокъ,
Меркера радость,
Родной его кусокъ.
Меркера радость —
Родной его кусокъ.

Подымись, орелъ ты красный,
Надъ лѣсомъ и пескомъ,
Лети все выше, намъ на славу...
Да здравствуй Бранденбургъ кругомъ...

Переводъ А. Ѳ. фонъ Шлиппе.

безсонной ночи. И такъ пріятно теперь прокатиться по пустому городу...

Химикъ Секендорфъ и молодцеватый, лихой драгунъ Баумъ подняли руки съ привѣтливымъ жестомъ:

— Heil Hitler!

— Heil Hitler!.. — въ пять голосовъ отозвались изъ сѣро-зеленой кареты барона.

Секендорфъ и Клаусъ зашагали по широкой улицѣ къ скверу, у входа въ который горѣла въ яркихъ солнечныхъ лучахъ огромная буква «U» — «Untergrund» — подземная дорога.

Куртъ Бургермейстеръ подалъ свой маленькій, изящный «Адлеръ» Лизѣ. Онъ всегда отвозилъ Лизу послѣ ночныхъ пирушекъ.

«Вотъ... вотъ оно», — думала Лиза, ловкимъ, гибкимъ движеніемъ красиваго, молодого тѣла забираясь подъ низкую крышу на мягкое, глубокое сидѣніе подлѣ руля. — «Вотъ, сейчасъ все и рѣшится... И, можетъ быть, мнѣ завтра вовсе не нужно будетъ ѣхать въ Парижъ, или, если и ѣхать, то на самое короткое время»...

Бурно колотилось ея сердце. Легкое, поношенное пальто шелковой подкладкой холодило обнаженную спину. Маленькія ножки въ простыхъ башмачкахъ уперлись въ переднюю планку. Лиза, въ сознаніи своей молодости и красоты, не ощущала разницы между своимъ бѣднымъ, потертымъ костюмомъ и элегантной, очень дорогой одеждой Курта, хозяиномъ усѣвшагося на шоферское мѣсто и по хозяйски большою рукой въ свѣжей кожаной перчаткѣ трогавшаго винтики и выключатели прекрасной машины.

Машина мягко зашумѣла и понеслась по сырому, темному асфальту улицы. Куртъ молча правилъ.

Можетъ быть, нужно было самой заговорить объ этомъ? Самомъ главномъ, что рѣшало ея судьбу, ея жизнь?... Лиза молчала. Гордость мѣшала ей сказать то, что неистовымъ крикомъ кричало ея на смерть раненое сердце.

Улица смѣняла улицу... Сейчасъ пересѣкутъ, объѣхавъ

садъ съ безобразной постройкой станціи надземной дороги, площадь, и будетъ тихій, темный, старый домъ ея тетки...

— Куртъ, — тихо сказала Лиза, — тебѣ не было скучно у барона?.. Ты здоровъ?.. Ты былъ такъ задумчивъ... Ты вполнѣ хорошо себя чувствуешь?..

— О!.. Да!.. Я выпилъ немного лишняго... Но это проясняетъ мозги... Когда вы съ барономъ пѣли, я думалъ, что, если на одинъ миллиметръ передвинуть тотъ волосокъ, о которомъ, помнишь, я говорилъ тебѣ на морѣ, и если придать крылу изгибъ по формулѣ... Вотъ именно, та формула, всѣ дни не выходившая у меня, встала теперь, какъ живая, — можно будетъ устроить такой аэропланъ, который будетъ подниматься съ мѣста, безъ разбѣга, и который будетъ мягко, парящимъ движеніемъ, опускаться на любую точку земной поверхности... Ты понимаешь, Лиза, какая это будетъ новая побѣда авіаціи!.. Побѣда нѣмецкаго генія!.. Ты понимаешь, тогда не нужно будетъ ни аэродромовъ, ни посадочныхъ площадокъ. Ты это понимаешь, Лизе?..

— Да. Я понимаю.

Вдругъ сразу все натянутое, напряженное въ ней, дающее силу, энергію, гибкость ея тѣлу, ослабѣло и опустилось. Жалкой, бѣдной, безпомощной и ненужной увидѣла себя Лиза. Всѣмъ существомъ ощутила и растоптанные башмаки, и бѣдность бальнаго, полнаго претензій, платья...

— Куртъ, зачѣмъ ты отвозишь меня? Я могла бы прекрасно доѣхать до дома на Унтергрундѣ...

Куртъ точно не слышалъ ея словъ:

— Я все думаю, если только я не ошибся опять, я окажу громадную услугу Германіи. Такого изобрѣтенія не было здѣсь со временъ Лиліенталя...

— Да...

Автомобиль быстро приближался къ дому тетки Лизы.

— Куртъ... Скажи... Ты иногда все-таки думаешь обо мнѣ?.. Завтра я уѣду. Можетъ быть, навсегда...

— Мой разумъ, мое сердце, все мое я принадлежитъ Родинѣ... Германіи... Я богатъ этимъ, и ничего другого мнѣ не надо...

Лиза поняла. Ей больше ничего не нужно было. Скорѣе, скорѣе бы доѣхать, не показать ему своихъ слезъ, которыя вотъ-вотъ брызнутъ изъ ея глазъ... Но... Плакать и рыдать здѣсь, подлѣ Курта, въ низкой, душной кабинкѣ его автомобиля?.. Ни за что!..

Машина круто, подъ косымъ угломъ, свернула въ тихую, узкую улицу и остановилась у спящаго дома. Куртъ вылѣзъ изъ кабины и помогъ выйти Лизѣ. Обыкновенно, онъ останавливалъ моторъ и, въ тишинѣ утра, входилъ въ сумракъ спящаго дома на лѣстницу. Тамъ они не зажигали огня, и Лиза истаевала въ сильныхъ рукахъ Курта, подъ его жгучими, ищущими губъ, поцѣлуями. Огневыя струи бѣжали тогда по тѣлу. Тихіе вздохи перемежались отрывистыми ненужными словами. Въ эти краткіе миги закрѣплялось все то, что было недосказаннымъ во время длиннаго вечера, или большой прогулки, на людяхъ...

Лиза подошла къ двери. Куртъ залѣзъ въ машину. Мягко застучалъ моторъ. Будто и тамъ билось чье-то нетерпѣливое сердце.

— Прощай, Куртъ... Завтра я уѣзжаю въ Парижъ...

— До свиданія, Лизе. Счастливаго пути!..

Куртъ вылѣзъ наполовину изъ кабины и помахалъ рукою. Что-то неладилось въ моторѣ, и Куртъ все копался въ какихъ-то винтахъ, регулируя ходъ.

Лиза медленно открыла тяжелую дверь, вошла и остановилась на темномъ фонѣ лѣстницы. Ея пальто сползло съ ея плечъ, показывая обнаженную спину въ плѣнительномъ поворотѣ. Несказанно красива была Лиза съ повернутой къ Курту головой:

— Куртъ!..

— Что, милая?..

Куртъ все возился въ кабинѣ.

— Куртъ!!.

Онъ посмотрѣлъ на Лизу и нерѣшительно сталъ вылѣзать изъ машины. Моторъ продолжалъ тихо шумѣть. Отъ этого шума, казалось Лизѣ, можно было съума сойти...

— Ш-шля-п-па!.. — по-Русски сказала Лиза, и уже не въ силахъ была сдерживать себя, — залилась слезами.

Куртъ бросился къ ней съ протянутыми руками, чтобы обнять ее:

— Лиза, что это?..

— Поздно... Zu spät!.. — злобно крикнула Лиза, и, передъ самымъ носомъ Курта захлопнувъ дверь, не зажигая огня, съ громкими рыданіями, бросились бѣжать вверхъ по лѣстницѣ...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I.

Узкая улица, съ чахлыми садами, на окраинѣ Парижа. Странной постройки домъ. Точно двѣ большія бѣлыя коробки поставили одну подъ угломъ къ другой и связали нелѣпымъ стекляннымъ переходомъ. Домики двухъэтажные съ плоской крышей. Входъ со двора, сбоку. За открытою дверью застекленная галлерея, за нею садъ. Направо и налѣво узкія, деревянныя лѣстницы во вторые этажи...

Егоръ Ивановичъ засуетился, заволновался, пошелъ впереди Лизы по лѣстницѣ, не сразу могъ открыть узкую дверь, безъ таблички, безъ имени:

— Вотъ, какъ тебѣ, Лиза, понравится?.. Я еще тутъ не жилъ. Раньше-то я въ 15-мъ аррондисманѣ, въ рабочемъ кварталѣ, въ отелѣ комнатушку снималъ, крохотную... Такъ въ томъ отелѣ тебѣ неудобно было бы... Тамъ всякіе постояльцы бываютъ... Не хорошо... А мнѣ что же?... Мнѣ, право, ничего и не надо, только бы ночку переспать... Ну, а тутъ ты уже все устроишь по своему, по дѣвичьему, — свое гнѣздышко совьешь... Кое-что я купилъ для тебя... Конечно, это не Берлинскіе хоромы тети Маши... Тутъ намъ это не по карману... Но мѣсто, посмотри, какое хорошее... Тихое мѣсто... И ремонтъ мнѣ одинъ Терскій казакъ сдѣлалъ... Комнатку твою свѣжими обями оклеили, полы покрасили... Вышло, какъ будто, и не дурно...

Входная дверь была тонкая, дощатая; ударь въ нее хорошенько ногой, всю въ щепки можно разбить. За нею была узкая прихожая, въ одно небольшое окно во дворъ.

— Это будетъ моя комната, — сказалъ Акантовъ.

У стѣны — низкая и узкая походная постель, накрытая жидкимъ и старымъ суконнымъ одѣяломъ. Надъ постелью, на веревкахъ, полка съ книгами. Въ противоположной стѣнѣ глубокая ниша и въ ней небольшая газовая плита, столъ и табуретка. Кое-какая кухонная, новая, не бывшая ни разу въ употребленіи, посуда на полкѣ и на столѣ...

— Тутъ тебѣ будетъ кухонька... Кое-что я купилъ; если чего не хватаетъ, со временемъ прикупишь. Я дома-то раньше не столовался... Но, кажется, все, что надо, купилъ для тебя...

За прихожей — нѣсколько большая комната, упиравшаяся въ широкое до полу окно. Эта комната и составляла то, что называлось квартирой. Акантовъ обставилъ ее, какъ могъ. Все это были вещи, купленныя на «блошиномъ рынкѣ», Marché aux puçes, подержанная, подозрительная дешевка. Егору Ивановичу, за шестнадцать лѣтъ рабочей полунищенской жизни, по грязнымъ отелямъ, вся эта мебелишка казалась не такъ ужъ плохой.

Лиза тихо вздохнула.

Она ожидала, что будетъ бѣдно. Она знала, что, хотя въ Берлинѣ ея отца и называли General и Excellenz, на дѣлѣ-то онъ былъ фабричнымъ рабочимъ, Парижскимъ пролетаріемъ, — значитъ, — и обстановка должна была быть соотвѣтствующей. Но т а к о й бѣдности Лиза все-таки не ожидала...

Комната была очень мала. На полу лежалъ — гордость Егора Ивановича — очень старый, очень потертый, выцвѣтшій, но настоящій Марокканскій коверъ. У стѣны было «сомье», разворачивавшееся на ночь въ постель, у окна — старое кресло, показавшееся Лизѣ подозрительно грязнымъ. Рядомъ съ дверью изъ прихожей была еще узкая дверь. Тамъ была уборная, съ бѣлой эмалированной сидячей ванной, съ блестящими кранами холодной и горячей воды.

— Конечно, — не дворецъ, но все очень чистое... Домъ новый... Тутъ еще и не жили...

— Ахъ, милый, милый папа! — обнимая отца, сказала Лиза. — Ну, конечно, все прекрасно... Все такъ трогательно

прекрасно. И мы тутъ съ тобою отлично заживемъ. Тебѣ легче будетъ со мною...

Шоффер, привезшій ихъ со станціи, въ прошломъ — офицеръ, втащилъ сундукъ Лизинъ и портъ-пледъ Акантова:

— Вотъ, ваше превосходительство, кажется, и все ваше имущество...

— Спасибо вамъ, Николай Семеновичъ... Да что же, вы сами-то, я помогъ бы вамъ...

За нимъ въ комнату вошла толстая, неопрятная женщина.

— Это наша консьержка, — успѣлъ сказать Акантовъ дочери. — Прошу любить и жаловать..

Консьержка протянула Акантову грязноватый листокъ бумаги и сказала:

— Мосье... Pardon, monsieur, я забыла вамъ сказать... Тутъ вчера приходила одна дама... Une russe. *). Очень сожалѣла, что не застала васъ, и просила, чтобы я, какъ только вы пріѣдете, дала эту вотъ записку...

Акантовъ пробѣжалъ написанныя карандашемъ строчки.

— Ахъ, Боже мой!.. Боже мой, — воскликнулъ онъ. — Какой ужасъ!..

— Что случилось, папа?

— Да вотъ что... Жаль, Николай Семеновичъ уѣхалъ... Мнѣ, вѣдь, ѣхать сейчасъ надо. Тебя одну оставить придется... Вотъ, прочти, — Акантовъ подалъ дочери записку, и та прочла: «У Леонтія третій ударъ... Лежитъ безъ движенія двѣнадцатыя сутки. Я съ Татой сбились съ ногъ. Зайдите, посовѣтуйте что-нибудь. Н. Февралева».

— Можетъ быть, папа, я могу помочь, — поднимая на отца глаза, сказала Лиза.

— Ну, что ты?.. Это такой ужасъ... Такая бѣдность!.. Февралевъ, подполковникъ, бывшій подполковникъ... Онъ мой товарищъ по корпусу и училищу... Страшный неудачникъ... У него жена и дочь твоихъ лѣтъ... Да, придется, придется мнѣ ѣхать сейчасъ, надо что-нибудь придумать, помочь имъ надо...

---

*) Простите, сударь... Русская.

— Хочешь, поѣдемъ вмѣстѣ... Можетъ быть, я могу быть полезной тебѣ и имъ...

— Ну, зачѣмъ?.. Только ты ихъ стѣснишь, въ ихъ бѣдности и горѣ... Да и тебѣ нужно отдохнуть послѣ дороги, ишь, какая ты блѣдненькая стала...

— Ты, папа, хотя кофе напейся...

— Послѣ... Послѣ... Вотъ тебѣ пятьдесятъ франковъ... Консьержка тебѣ покажетъ... Тутъ, совсѣмъ подлѣ нашего дома, есть лавки... Купи себѣ что-нибудь на завтракъ, чаю купи, хлѣба... Отъ Февралевыхъ я поѣду на заводъ... Къ вечеру буду дома, вотъ тогда чайку вмѣстѣ и напьемся...

Акантовъ торопливо вдѣвалъ руки въ рукава пальто; онъ очень торопился. Лизѣ было жаль отца:

— Право, напейся раньше и закуси, я живо сбѣгаю въ лавки. Куда ты такъ торопишься?..

— Ѣхать далеко. Это въ Латинскомъ кварталѣ, въ центрѣ Парижа. Хотѣлось бы къ обѣденному перерыву попасть на заводъ, заявиться надо, чтобы завтра съ утра и на работу. Дорогой я гдѣ-нибудь перехвачу чего-нибудь... Ты обо мнѣ не безпокойся, вѣдь, я здѣсь свой человѣкъ...

Акантовъ быстро сбѣжалъ внизъ и скрылся въ стеклянномъ проходѣ. Хлопнула выходная дверь. Лиза вошла обратно въ квартиру, заперла на ключъ дверь, подошла къ окну и опустилась въ старое, просиженное кресло...

За окномъ — пустыри. Утренній туманъ скрадываетъ дали. Скупо свѣтитъ осеннее солнце. Подъ окномъ небольшой садъ. Старая липа, два тополя, кусты боярышника и бузины, съ почернѣвшими отъ городской копоти листьями. За садомъ — небольшой опрятный домикъ-дача, съ черепичной крышей, за нимъ — просторы «пустопорожнихъ» мѣстъ... Сѣрый заборъ изъ тонкихъ бетонныхъ плитокъ окружаетъ большую площадь, заваленную досками, бревнами и кучами каменнаго угля. Еще дальше — низкія и широкія постройки гаражей, сараи, навѣсы; подъ ними лежатъ черныя водопроводныя чугунныя трубы. Потомъ, до высокой желѣзно-

дорожной насыпи, пустыри, поросшіе бурьяномъ, бурой косматой травой, крапивой, лопухами и чертополохомъ.

За желѣзной дорогой, подъ серебристымъ покровомъ тумана, голубѣетъ даль полей, съ пестрою розсыпью маленькихъ домиковъ съ красными крышами, — окраина...

Шумы города несутся въ окно... На дворѣ грузятъ автомобили, и рѣзко раздаются удары падающихъ досокъ. По насыпи, сверкая окнами, промчался чистенькій поѣздъ электрической дороги и гулкимъ грохотомъ наполнилъ комнату. Въ роскошной квартирѣ тети Маши, на пирушкахъ у барона, на его яхтѣ, въ его машинѣ Лиза носилась по Германіи... Она отдыхала... Отъ чего ей было отдыхать на серебристомъ пляжѣ Балтійскаго моря?.. Она ходила съ молодежью въ длинныя экскурсіи по окрестностямъ Берлина... Тамъ она... любила... Что будетъ дѣлать она здѣсь?.. Она будетъ, конечно, будетъ вѣрна своей любви, вѣрна — до гроба... Она никогда и нигдѣ не забудетъ Курта...

Солнце поднималось надъ пустырями. Пыльной скучной дымкой покрывались низкія постройки и поля. Снова гудѣлъ и мчался алый, блестящій поѣздъ.

«Куда онъ мчится?.. Какія тамъ поля, лѣса, какіе живутъ тамъ люди?.. Кого я встрѣчу здѣсь?.. Съ кѣмъ буду работать?.. Что значитъ — работать?..».

Съ улицы доносились гудки автомобилей и шумъ проносящихся машинъ.

Въ самой комнатѣ — могильная, глухая тишина.

Что будетъ тутъ дѣлать Лиза?.. Работать?.. Лиза еще не работала: она училась. Она добывала право на работу, добывала знанія... Докторъ философіи!.. Она читала доклады передъ профессорами и на блестящемъ нѣмецкомъ языкѣ говорила о самыхъ сложныхъ вещахъ... Никто и вѣрить не хотѣлъ, что она не нѣмка... Она жила полною, кипучею жизнью.

Лиза опустила голову и закрыла глаза. Въ комнатѣ и въ домѣ была будничная тишина, за окномъ — городъ, новый и чуждый, пѣлъ свою пѣсню труда. Лизѣ сквозь шумы города слышалась старая милая пѣсня ея Родины.

— Blauende Seen, Wiesen und Mohr,
Liebliche Täler, schwankendes Rohr...
Steige hoch, du, roter Adler,
Hoch über Sumpf und Sand
Ueber dunkle Kieferwälder,
Heil dir, mein Brandenburger Land! *)

Красный орелъ Бранденбурга высоко парилъ въ небѣ... Подъ нимъ стройныя, бронзовыя сосны, озера въ зелени кустовъ и плакучихъ ивъ, извивы Гавеля, вся прелесть Лизина дѣтства, дѣвичества и первой любви...

Все это ушло... Ушло!.. Навсегда!..

II.

Всякій разъ, какъ Акантовъ бывалъ у Февралевыхъ, онъ думалъ, какъ могутъ въ Парижѣ, въ центрѣ города, въ Латинскомъ кварталѣ, рядомъ съ аристократическимъ Сэнъ-Жермэнскимъ предмѣстьемъ, у самой Сены, съ ея островами, вблизи отъ богатыхъ особняковъ, быть такіе совсѣмъ средневѣковые кварталы, съ грязными, тѣсными улочками, кривыми и темными, жалкіе домишки и такая ужасная бѣднота... Вкрапились эти тѣсные кварталы, какъ лишаи въ благородный дубъ, и стоятъ вѣчнымъ напоминаніемъ неравенства, рабства и людской злобы. Пятая часть Парижа — cinquième arrondissement — почти рядомъ, за Сеной, громады магазиновъ «Самаритэна» и нарядный «Hôtel de ville» — дворецъ Парижскаго муниципалитета, статуи, бронза, просторъ площади, деревья бульвара, громадные театры. Здѣсь — грубая, гранитными плитами мощеная уличка, еще не въ

*) Старые буки, темный, древній дубъ,
Стройныя березы, ровный, мирный лугъ...
Сонныя воды, сочные луга,
Мягкія долины, легкая трава...
Подымись, орелъ ты красный,
Надъ лѣсомъ и пескомъ,
Лети все выше, намъ на славу,
Да здравствуй Бранденбургъ кругомъ...
Переводъ А. Ѳ. фонъ Шлиппе.

Римскія ли времена мощеная? Облупленный, узкій, высокій домъ въ два окна по фасаду, и надъ дверьми съ каменной тяжелой аркой, прямо на стѣнѣ, полинявшая надпись черными громадными буквами: «Hôtel»... Ни имени владѣльца, ни названія гостинницы. Надъ дверью — квадратное окно, кривыя, наружныя, темныя, поломанныя, щербатыя ставни. За мутными стеклами старая, пыльная, тюлевая занавѣска. За дверью узкій, сырой проходъ, съ рѣзкими, сложными и странными запахами, и деревянная лѣстница, темная и въ свѣтлый день.

Узкіе корридоры въ каждомъ этажѣ и комнаты.

Въ такихъ отеляхъ ютятся дешевыя проститутки, не гнушающіяся самымъ грязнымъ развратцемъ, живутъ карманные воры, здѣсь совершаются самыя ужасныя самоубійства людей, дошедшихъ до дна человѣческаго существованія, здѣсь же совершаются и самыя нелѣпыя убійства озвѣрѣлой бѣдноты. Здѣсь пахнетъ нищетой, грязнымъ развратомъ, болѣзнями и злобой.

На верху, подлѣ комнаты, занятой Февралевыми, давно сломалась оконная рама, и номеръ стоитъ не обитаемый. Тамъ складъ мусора. По ночамъ въ немъ возятся крысы. Днемъ ихъ можно видѣть, черныхъ и большихъ, отвратительныхъ, притаившихся подъ старыми бочками, кадками, досками, измазанными известкой, старыми сломанными печами и оконными рамами съ разбитыми стеклами, затянутыми густой сѣрой паутиной.

Кромѣ Февралевыхъ, въ верхнемъ этажѣ никто не живетъ. Шаги Акантова, поднимавшагося по лѣстницѣ, были услышаны, и Наталья Петровна встрѣтила Егора Ивановича въ дверяхъ.

Крошечная узкая комната, упиравшаяся въ квадратное окно, вмѣщала много вещей, и въ ней жили трое. Четвертому даже и трудно было войти въ нее. На широкой кровати лежалъ человѣкъ богатырскаго сложенія. Онъ былъ по грудь покрытъ солдатскимъ сѣрымъ американскимъ одѣяломъ, со тщательно заплатанными дырами. На высоко поднятой подушкѣ съ грязной наволочкой тяжело утонула большая го-

лова, густо поросшая сѣдѣющими волосами, съ давно не бритыми усами и со щеками, покрытыми неопрятной щетиной. Красное, налитое кровью, лицо было одутловато. Изъ полуопущенныхъ вѣкъ тупо и неподвижно, въ одну точку, на окно съ розовой занавѣской, смотрѣли тусклые, сѣрые глаза. Грудь лежащаго часто вздымалась и опускалась, и хриплое дыханіе тяжело вырывалось изъ перекошеннаго рта съ толстыми, сухими губами.

Въ комнатѣ былъ спертый, душный запахъ лѣкарствъ, пищи и тяжело больного.

Наталья Петровна пропустила Акантова въ комнату. Ея коротко остриженные сѣдѣющіе волосы были растрепаны, пожелтѣвшее лицо въ мелкихъ морщинахъ хранило слѣды былой красоты. Сидѣвшая у окна, за швейной машинкой, дѣвушка съ густыми темно-золотистыми волосами, красиво уложенными на длинномъ затылкѣ, осталась сидѣть. Ея блѣдное, точно фарфоровое, лицо было устало. Она не могла встать навстрѣчу гостю: ея колѣни и полъ подлѣ нея были завалены полотномъ.

Февралева заговорила, не обращая вниманія на больного:

— Какъ это мило, генералъ, что вы сейчасъ же отозвались на мою записку. Я вчера заходила къ вамъ. Консьержка сказала мнѣ, что ожидаетъ васъ сегодня утромъ... Вы прямо съ поѣзда?..

— Да.

— Благодарю васъ.

— Простите, Егоръ Ивановичъ, — съ блѣдной улыбкой сказала дѣвушка, протягивая руку Акантову. — встать никакъ не могу. Видите...

— Татуша моя все пытается и тутъ шить. А ужъ какая теперь работа! Иголка изъ рукъ валится. Только глаза понапрасну портитъ.

Голоса матери и дочери были глухи и усталы.

— Ну, какъ Леонтій?..

— Сами видите.

Акантовъ потрогалъ горячую, неподвижную тяжелую руку, выпростанную поверхъ одѣяла. Больной не шевельнулся.

— Двѣнадцатыя сутки... Кормимъ насильно, бульонъ вливаемъ... Лимонное желе... Глотаетъ... И такъ... все исправно.,, Убирать приходится... Докторъ Баклагинъ заходилъ... Говоритъ: надежды на поправку мало, но всякое бываетъ... Пилъ онъ раньше много, и вотъ, не надѣется докторъ, что организмъ справится. Лежать долженъ на спинѣ. На бокъ повернется, голова свѣсится внизъ, и тогда задыхается. Докторъ приказалъ непремѣнно переворачивать на спину, а то совсѣмъ задохнется и тогда — конецъ. Вотъ, мы обѣ и дежуримъ. Онъ тяжелый, страшно тяжелый. Вдвоемъ едва можемъ перевернуть. Потому и отлучаться намъ страшно. Я еще какъ-нибудь одна поверну, а Татушѣ гдѣ же поднять его. А пролежни пошли — нудится очень. Постель-то, вѣдь, не слишкомъ мягкая. Ну, еще и перекладывать приходится, прибирать за нимъ... Съ ногъ сбились...

— Онъ слышитъ васъ?.. Понимаетъ что-нибудь?..

— Кто же его знаетъ... Видите — лежитъ... Мычитъ иногда, когда что надо...

Болѣзнь и грозно надвигающаяся смерть стерли стыдливость.

— Вы сидѣлку взяли бы, — сказалъ Акантовъ, и сейчасъ же понялъ всю нелѣпость своего предложенія, — знаете, — поправлялся онъ, — есть же такія милосердныя сестры, или монахини, что ради Христа дѣлаютъ...

— Ходила... Просила... Да развѣ къ намъ сюда кто пойдетъ?.. Приходила одна, посмотрѣла, сказала: «Умретъ — похоронимъ, а ходить за нимъ не могу»... Монахини? Такъ, вѣдь, онъ не францувъ, не католикъ, да и какая монахиня въ такую дыру и вонищу полѣзетъ...

— Д-да-а, — сказалъ Акантовъ, присаживаясь на «сомье» подлѣ Февралевой. — Какъ же, все-таки, все это вышло? Отчего вы мнѣ раньше не сказали...

— Просить не хотѣла... Мы съ Татушей работали. Платья, бѣлье тонкое шили. Татуша всѣ свои глаза на этой работѣ испортила. Ну, а онъ, какой же онъ débrouillard?.. *).

*) Человѣкъ, умѣющій выпутаться, выйти изъ положенія. Ловкачъ.

Ничто ему не удавалось. Окна ходилъ мыть въ магазинахъ — то самъ съ лѣстницы упадетъ, то стекло продавитъ... Сапоги пробовалъ чинить... Онъ, вѣдь, и всегда былъ неудачникъ. Вы, вотъ, товарищъ его были, одного съ нимъ выпуска, — вы генерала заслужили, а онъ подполковникъ. Въ Добровольческую армію поздно пріѣхалъ: все колебался, все не зналъ, куда ему идти?.. Сначала большевикамъ повѣрилъ, потомъ у Гетмана служилъ, — такъ все и прогулялъ мимо, нигдѣ ничего не наслужилъ. Все я, да Татуша, вдвоемъ работали. Татушу я изъ школы должна была взять, чтобы помогала мнѣ. Да на что теперь и образованіе-то?.. А прошлый годъ, значитъ, — вотъ ужъ четырнадцатый мѣсяцъ пошелъ, — и случился ударъ, и какъ-то сразу и второй... Лѣчить... Мы сначала въ госпиталь положили. Платить надо... Видимъ, не осилить намъ. Вотъ и докатились до этой дыры. По второму-то удару онъ все еще полу-человѣкъ былъ, даже вставать могъ... Конечно, не работникъ.. А какъ хватилъ третій, — что дѣлать?.. Кормить, питать его надо, ходить за нимъ; что и было, то все прожили... И работать... Да какая тутъ работа... Ночи не спимъ. Караулимъ, чтобы, не дай Богъ, не завалился... Вчера...

Слезы показались на глазахъ Натальи Петровны. Татуша вскинула на мать большіе суровые глаза и сказала:

— Ну, зачѣмъ это, мама!.. Не нужно, мама!..

Наталья Петровна сквозь слезы прошептала:

— Вчера послѣдніе франки за квартиру отдала, и со вчерашняго дня ни его покормить, ни самимъ пожевать нечего...

— Ни къ чему это, мама, — хмуря прекрасныя брови и блистая глазами, сказала дѣвушка. — Вотъ, работу кончу, снесу, вотъ и деньги будутъ...

— Работу кончишь, — уже плача, сказала Февралева, — работу кончишь,.. Работу снесешь... А сама-то... сама... шьетъ и падаетъ, глаза закрываются.., И темно здѣсь... Свѣтъ его безпокоитъ, и душно. Окно открыть нельзя, сейчасъ замычитъ...

Акантовъ завозился на сомье. Досталъ свой старенькій,

еще въ Крыму купленный, сафьяновый бумажникъ, и подалъ Февралевей сто франковъ.

— Вотъ, Наталья Петровна, пожалуйста, возьмите, нисколько не стѣсняясь. Меня только этимъ премного обяжете.

— Да, вѣдь, сами-то... сами... Я, вѣдь, знаю... Видала палаты-то ваши новыя... Мнѣ консьержка показала, открыла... И дочь еще къ вамъ пріѣхала. Стыдно мнѣ брать отъ васъ...

— Я обойдусь... Я на мѣстѣ. У меня работа есть. Очень прошу васъ...

Февралева нерѣшительно взяла деньги:

— Татуша, сходи... Купи чего надо, — сказала она, отдавая деньги дочери. — Ужъ такъ я вамъ, генералъ, благодарна...

— Помилуйте, Наталья Петровна, вѣдь, это только мой долгъ передъ старымъ товарищемъ... И, ради Бога, если что еще нужно будетъ, безъ церемоній скажите, или напишите мнѣ...

Акантовъ заторопился. Теперь, когда то, что нужно было сдѣлать, было сдѣлано, стало неловко и стыдно оставаться у Февралевыхъ. И очень ужъ душно и смрадно было въ комнатѣ, и тяготилъ ко всему безучастный, неподвижно лежавшій старикъ на постели. Его непрерывное тяжелое дыханіе было страшно.

Акантовъ всталъ, поцѣловалъ руку Натальи Петровны, пожалъ узкую длинную красивую руку Татуши и повернулся къ больному:

— Ну, до свиданья, старина... Поправляйся...

Онъ потрогалъ тяжелую, горячую руку. Ничто не шевельнулось на лицѣ Леонтія. Все такъ же, съ мѣрнымъ хрипомъ, вылетало дыханіе и неподвиженъ былъ взглядъ темныхъ глазъ изъ-за полуопущенныхъ вѣкъ.

Акантовъ бокомъ вышелъ изъ комнаты и бѣгомъ бросился внизъ по лѣстницѣ... Воздуха... воздуха, хотя горячаго, знойнаго воздуха маленькой Парижской улочки, хотѣлось ему глотнуть. Ему казалось, что весь онъ пропахъ терпкимъ запахомъ больного.

III.

Длинный, жаркій день тянется безъ конца. На керосиновой плитѣ, отъ чего еще жарче стало въ душной комнатѣ, Наталья Петровна приготовила бульонъ и надавила въ стаканъ лимоннаго сока. Вдвоемъ съ Татушей, — та держала тяжелую, лохматую голову отца, — Наталья Петровна, съ ложечки, пріоткрывъ пальцемъ ротъ, кормила больного. Тотъ благодарно мычалъ. Наголодался. Потомъ сами, безъ аппетита, безъ удовольствія, поѣли, и долго и медленно, точно въ полуснѣ, жевали длинный, хрустящій «батонъ» бѣлаго, пшеничнаго, французскаго хлѣба. Перекидывались тихими, страшными словами:

— Мама, когда т о случится, мы все по иному устроимъ.

— Не нужно говорить, Татуша, грѣхъ..

— А это не грѣхъ?.. Такъ мучить... И самому..

— Господь знаетъ, что дѣлаетъ...

— Господь... Мама, я часто думаю... Ужели Господь видитъ все это и не... приберетъ?..

— У Господа все разсчитано... И жизнь, и смерть... И онъ не виноватъ... Нашъ долгъ...

— А?!. Долгъ!..

Татуша отдернула занавѣску и пріоткрыла окно. Черезъ окно видны высокіе дома, черепичныя, сѣрыя крыши, шеренга черныхъ желѣзныхъ трубъ съ колѣнчатыми изгибами, съ покрышками надъ выходомъ. Онѣ бросали сизую тѣнь на бѣлую стѣну огромнаго, новаго бетоннаго дома, съ рѣдкими, узкими, небольшими окнами уборныхъ. Въ окно тянетъ запахомъ дыма и керосиновой копоти, — городскими духами. Немолчный шумъ города несется въ окно, поетъ сложную, дикую мелодію, такъ напоминающую симфоніи молодыхъ композиторовъ.

Отъ окна несется грустный голосъ Татуши:

— Мама... Мы переѣдемъ отсюда... Мы начнемъ новую жизнь. Ты говорила, какая хорошенькая квартира у Акантова. Его дочь пріѣхала. Мы познакомимся съ нею, она, навѣрно, хорошо умѣетъ шить, и мы втроемъ устроимъ свою ма-

стерскую. Будемъ шить на большіе магазины... Можетъ быть, удастся своихъ кліентовъ завести... Господи, какъ хорошо будетъ... Можно будетъ, хоть разъ въ недѣлю, пойти погулять... Въ синема́ заглянуть... Есть, вѣдь, и дешевые... Господи... Такъ хочется жить, какъ люди живутъ... Какъ самые бѣдные люди...

— Грѣхъ, Татуша, такъ думать...

— Можетъ быть, и грѣхъ... Да, вѣдь, жить, мамочка, хочется... Такъ хочется... Развѣ я объ автомобилѣ мечтаю, о цвѣтахъ и шампанскомъ?.. О музыкѣ и танцахъ?.. Я хочу только, вотъ, лѣтомъ выйти въ скверъ, сѣсть подъ деревомъ... Цвѣты въ клумбѣ напротивъ... Прилетятъ птички... крошки имъ бросать... Только и всего... Такъ неужели же это грѣхъ передъ Богомъ?..

Наталья Петровна прилегла на сомье, и лежала неподвижно и тихо, съ закрытыми глазами.

— Мама, ты спишь?..

— Нѣтъ... А что?..

— Нѣтъ... Я такъ, мамочка... Грѣшу...

Въ окно было видно, какъ тянутся по бѣлой стѣнѣ огромнаго дома уродливыя тѣни отъ тонкихъ трубъ, поднимаются выше и блѣднѣютъ...

«Это идетъ время», — думаетъ Татуша, — «солнце опускается за Парижъ. Быстро летитъ время, я вижу, какъ уходитъ день. Когда я говорила съ мамой, тѣнь той, самой высокой трубы едва касалась нижняго обрѣза перваго оконца, теперь она переросла окно. И какъ поблѣднѣла... Вотъ и исчезла... Солнце зашло... Длинный день кончился, а я такъ ничего и не нашила... Все мечты... О чемъ, когда...».

Татуша со злобой и ненавистью взглянула на отца.

Дыханіе больного, бывшее все время ровнымъ, вдругъ стало хриплымъ и прерывистымъ. Больной мучительно замычалъ. Татуша оторвалась отъ окна. Со свѣта, въ комнатѣ казалось темно. Больной свернулся на бокъ, голова свѣсилась къ полу, глаза были выпучены, страшные стоны неслись изъ открытаго рта съ выпавшимъ языкомъ...

Наталья Петровна крѣпко спала.

— Мама!.. Мама!.. Скорѣе, скорѣе, мама!..

— А? что?.. Опять?.. — приподнимаясь съ сомье, сказала Наталья Петровна. Ея глаза дико блуждали. — Зажги свѣтъ, Татуша, темно, я ничего не вижу...

Закоптѣлая лампочка, приспущенная сверху къ машинкѣ, освѣтила блѣднымъ, красноватымъ, печальнымъ свѣтомъ большую постель и больного. Обѣ женщины бросились къ нему. Съ трудомъ, онѣ приподняли распухшее, дурно пахнущее, давно не мытое тѣло и уложили больного на спину. Наталья Петровна пальцами всунула ему языкъ въ ротъ, поправила подушку, дала лимоннаго питья. Но больной не могъ пить. Наталья Петровна мочила палецъ въ лимонадѣ, и больной, благодарно мыча, сосалъ его... Татуша сидѣла въ креслѣ подлѣ машинки. Она закрыла глаза, и дрожь отвращенія пробѣгала по ея тѣлу. Отъ усталости, отъ тяжелаго воздуха, у нея кружилась голова. Она была въ полуобморочномъ состояніи. Она вытянула ноги и положила ихъ на соломенный стулъ. Устроившись удобнѣе, она стала дремать. Сквозь дремоту, она все невольно прислушивалась къ тому, что дѣлалось въ комнатѣ. Больной пересталъ мычать. Ровное дыханіе съ легкимъ хрипомъ вырывалось изъ горла. Отъ методичной ровности этого дыханія можно было сойти съума. Казалось, что такъ будетъ всю ея жизнь...

Лампочка горѣла тускло. Покраснѣвшая угольная дужка была ясно видна. Вотъ-вотъ совсѣмъ перегоритъ, и въ комнатѣ станетъ послѣдняя, кромѣшная темнота. И этого Татуша уже не сможетъ вынести, — она сойдетъ съума отъ тоски и страха...

Ночь стояла надъ городомъ.

IV.

— Татуша!.. Татуша!.. Господи!.. Что я буду дѣлать?.. Та-ту-ша!..

Въ комнатѣ — мракъ. Лампочка перегорѣла. Съ постели несется страшное мычаніе и хрипъ...

— Скорѣе, Татуша...

Дѣвушка встаетъ. Въ темнотѣ видно, какъ сверкаютъ ея широко раскрытые глаза. Въ нихъ безуміе...

— Пойдемъ, мама...

— Что ты?.. Куда?.. Повернуть его надо... Повернуть... Помоги мнѣ... Господи!.. Отецъ задыхается...

— Пойдемъ, мама...

Въ темнотѣ Татуша находитъ руку матери и беретъ ее повыше кисти. Крѣпко обжимаетъ ее, охватываетъ, какъ желѣзными тисками. Смотритъ на мать странно сіяющими глазами. Въ нихъ такая страшная воля, что Наталья Петровна начинаетъ дрожать. Ея ноги обмякаютъ, и она бездумно, точно это и не она, выходитъ, вслѣдъ за дочерью, въ темный корридоръ. Татуша притворяетъ дверь. Въ корридорѣ — крысиный скокъ. Легкій лязгъ задѣтаго крысой желѣзнаго ведра. Татуша ведетъ мать къ лѣстницѣ, и онѣ спускаются...

Должно быть, очень поздно, и скоро будетъ разсвѣтъ... Сквозь небольшія окна на лѣстницу ложится мутный предутренній свѣтъ, и призрачною кажется въ немъ лѣстница. Обѣ женщины идутъ по ней, какъ во снѣ.

На узкой улицѣ горитъ фонарь. Онъ не нуженъ. Уже свѣтло. И — тихо... Въ Парижѣ тѣ короткіе предутренніе часы, когда жизнь замираетъ въ городѣ. Ночная жизнь кабаковъ и баровъ, ночныхъ притоновъ, кончилась; дневная — торговли и труда — не началась.

Обѣ женщины идутъ тихими, крадущимися шагами вдоль маленькой улички. Все такъ же крѣпко держитъ Татуша мать за запястье. Точно боится, что та убѣжитъ.

Онѣ выходятъ на Сену.

На рѣкѣ чистъ, прозраченъ и свѣжъ воздухъ. Полною грудью вдыхаетъ его Татуша, пьетъ горломъ, ловитъ губами. Воздухъ пьянитъ ее. По разгоряченному лбу, по покраснѣвшимъ отъ неудобнаго сна щекамъ бьются бронзовые локоны. Щекочутъ Татушу.

Противоположный берегъ Сены — островъ Cité — тонетъ въ прозрачномъ туманѣ. Въ домахъ повсюду спущены сѣрыя ставни. Нигдѣ ни одно окно не свѣтится. Уличные фонари погасли.

Сена несется, покойная, ничѣмъ не волнуемая. Вода прозрачно-сѣрая, темная — ночная. Внизу, подъ деревомъ, на разостланныхъ листахъ газетъ, спитъ оборванецъ. Смятая шляпа надвинута на лицо, лѣвая рука засунута глубоко въ карманъ, правая лежитъ на животѣ. Еще дальше, на камняхъ низкаго парапета, надъ самой водой, полулежа, полусидя, устроились двое, должно быть, пьяныхъ. Какъ шли, какъ сѣли, — такъ и заснули.

Наталья Петровна съ ужасомъ смотритъ на нихъ:

— Они упадутъ въ воду, — говоритъ она, и эти первыя слова, сказанныя ею съ того времени, какъ онѣ вышли изъ комнаты, пробуждаютъ ее изъ ея, какъ бы сна. Она вырываетъ руку изъ руки дочери, и схватываетъ Татушу за плечи:

— Татуша! — дико кричитъ она. — Да что же мы дѣлаемъ?.. Да ты знаешь... Онъ, можетъ быть, уже умеръ!..

Холодными, безумными глазами Татуша смотритъ на мать. Она говоритъ спокойно и медленно, будто это и не Татуша говоритъ, а какая-то странная дѣвушка, что снится Натальѣ Петровнѣ въ этомъ кошмарномъ снѣ:

— Что же, мама... Ты хотѣла бы, чтобы онъ и мы такъ вотъ спали бы на камняхъ, на берегу Сены?.. Чтобы это онъ упалъ съ парапета въ воду?..

— Татуша!.. Что ты говоришь?.. Я не пойму тебя... Христосъ съ тобою... О, Боже!.. Боже мой!..

Наталья Петровна бѣжитъ по улицѣ. Татуша едва поспѣваетъ за нею.

Въ корридорѣ онѣ задерживаютъ шаги и затаиваютъ дыханіе. Наталья Петровна — съ надеждой, Татуша — съ ужасомъ прислушиваются, что тамъ... за дверью...

Тамъ... тишина...

Наталья Петровна вбѣгаетъ въ комнату и настежъ распахиваетъ окно. Мутный утренній свѣтъ точно нехотя входитъ въ комнатушку. Леонтій лежитъ, свѣсивъ голову внизъ. Рука тяжело упала и концами пальцевъ касается пола. Онъ не дышетъ. Татуша забилась въ уголъ и стоитъ, закрывъ руками лицо.

— Да помоги мнѣ, Татуша, — говоритъ, задыхаясь, Наталья Петровна.

Татуша не двигается съ мѣста:

— Не могу, мама... Мнѣ страшно...

Наталья Петровна, напрягая всѣ силы, поднимаетъ тяжелое тѣло мужа. Ее поражаетъ мраморный холодъ странно побѣлѣвшей руки. Она кладетъ растрепанную сѣдую голову мужа на подушку. Стеклянные, мертвые глаза выпучены. Наталья Петровна въ нихъ читаетъ страшную правду. Она закрываетъ глаза восковыми вѣками, и тѣ упорно приподнимаются. Тогда ужасъ охватываетъ ее. Она кидается на колѣни передъ тѣломъ и, зарывъ лицо въ грязныя, вонючія простыни, дико кричитъ:

— Леня!.. Прости!.. Прости!.. Ей-Богу, не хотѣла!..

Потомъ плачетъ. Татуша стоитъ тихо, недвижно въ углу, все такъ же закрывъ лицо руками. Ея тѣло вытянуто въ струну, и все въ ней дрожитъ жуткою, холодною дрожью...

Такъ проходятъ — часы...

Косой, утренній лучъ солнца заглядываетъ въ ихъ каморку. Шумъ города несется въ нее, а въ ней застыла такая страшная, неподвижная тишина, что, кажется, продлись она немного еще, и Татуша умретъ отъ ужаса.

Наталья Петровна встаетъ съ колѣнъ. Ея лицо блѣдно, подъ глазами съ опухшими, красными вѣками легли лиловыя тѣни. Она говоритъ спокойно и твердо:

— Татуша, пойди къ консьержкѣ... Скажи ей.. Потомъ бѣги къ доктору Баклагину... Попроси пріѣхать... Отъ него поѣзжай къ генералу Акантову, попроси похлопотать въ Сестричествѣ о похоронахъ. Я останусь при немъ... Надо обмыть... Приготовить...

Наталья Петровна опускается опять на колѣни и кричитъ:

— Прости!.. Прости!..

Татуша бокомъ проскальзываетъ мимо страшнаго тѣла и

матери, и быстро спускается съ лѣстницы. Вслѣдъ ей несутся рыданія матери и дикіе крики:

— Прости!.. Прости!..

V.

Хоронило подполковника Февралева Сестричество. Отпѣвали раннимъ утромъ, въ нижней церкви, на улицѣ Дарю На отпѣваніе пріѣхалъ генералъ Акантовъ съ Лизой, и собралось человѣкъ десять бывшихъ офицеровъ, знавшихъ Февралева по великой войнѣ. Кто-то изъ нихъ привезъ шашку и помятую сѣрую фуражку съ кокардой и положилъ на гробъ. Было два вѣнка: одинъ — изъ лавровъ, другой — изъ бѣлыхъ астръ и георгинъ. Въ углу церкви стояла дежурная сестра въ черномъ платьѣ, со значкомъ на груди.

Служилъ очередной, молодой священникъ. Пѣвчихъ не полагалось. Но пришедшіе офицеры пошли пѣть на клиросъ.

Пѣли, какъ умѣли — ни хорошо, ни худо.

Лиза стояла рядомъ съ отцомъ. Она держала въ рукѣ свѣчу. Широко раскрытыми, печальными глазами смотрѣла она на закрытый, черный, дешевый гробъ, на казавшуюся ей такой нелѣпой смятую фуражку и обнаженную шашку, положенную крестъ-на-крестъ съ ножнами, на розовую подушку, къ которой было приколото три ордена покойнаго. Лиза прислушивалась къ пѣнію на непонятномъ ей славянскомъ языкѣ, таращила глаза на вдову и дочь, стоявшихъ подлѣ гроба, одѣтыхъ въ дешевый трауръ, съ длинными креповыми вуалями, на свѣчи въ ихъ рукахъ... Грустныя мысли неслись въ головѣ Лизы...

Все шло быстро. «Морбусы» — могильщики изъ бюро похоронныхъ процессій — торопили. За восемьдесятъ франковъ за всѣ похороны, — имъ казалось лишнимъ такое долгое пѣніе...

Еще не кончили «Вѣчную память», — очень тутъ старались офицеры не ударить лицомъ въ грязь, — какъ вошли «морбусы», въ черныхъ фуражкахъ на головахъ, и подошли

къ гробу. Офицеры хотѣли сами вынести покойника, но «морбусы» не дали имъ:

— Будьте спокойны... Мы лучше сдѣлаемъ...

Они быстро продернули черные ремни въ кольца гроба, подхватили гробъ, какъ-то — такъ показалось Акантову — слишкомъ ужъ непочтительно потащили по узкой лѣстницѣ въ двери сбоку алтаря, потащили, какъ вещь, какъ тяжелый ящикъ, или какъ мебель...

Офицеры пошептались, собрали между собою денегъ, и передали Акантову для вдовы. Они не могли провожать тѣло на кладбище. У каждаго было свое дѣло, своя служба. Акантовъ, освободившійся съ завода до обѣденнаго перерыва, Лиза, докторъ Баклагинъ, вдова и ея дочь сѣли въ автобиль, въ передней половинѣ котораго, въ особомъ углубленіи, поставили гробъ. «Морбусы» побросали вѣнки, сѣли къ шоферу, и автомобиль помчался на окраину Парижа, на кладбище бѣдняковъ...

Погребали безъ священника. Часто крестился Акантовъ, плакала Наталья Петровна, недвижно, опустивъ глаза, стояла Татуша.

Могильщики быстро набрасывали землю на гробъ. Все было кончено. Акантовъ шепталъ на ухо дочери:

— Это ужасно... Не даютъ покойнику покоя. Черезъ три года его выкопаютъ...

— Зачѣмъ? — поднимая на отца спокойные глаза, сказала Лиза.

— Чтобы дать мѣсто другому. Мѣста въ Парижѣ очень дороги.

Лиза вздохнула:

— Въ сущности, папа... Не все ли равно... Мертвому?.. По моему, лучше, гигіеничнѣе — сжигать.

— Помилуй, Лиза... А роднымъ, близкимъ?.. На могилку придти?.. Посидѣть, вспомнить, помолиться... Цвѣты посадить...

Лиза хотѣла сказать: «Вѣчнаго ничего нѣтъ, такъ не все ли равно?», но удержалась.

— Я, папа, пойду. Позову къ намъ Февралевыхъ...

— Да, да, конечно...

— Ты, папа, съ нами?

— Нѣтъ, куда же мнѣ... Мнѣ надо на заводъ. Я тутъ, въ бистрошкѣ, съ докторомъ перекушу чего-нибудь...

Февралевы охотно приняли приглашеніе Лизы позавтракать вмѣстѣ въ Бійянкурѣ. Ужъ очень тяжело имъ было сейчасъ возвращаться въ свой «hôtel», на улицу Saint-Julien-le-pauvre...

VI.

— Теперь, Егоръ Ивановичъ, самое бы лучшее — самоваръ, — говорилъ, усаживаясь подъ зеленымъ навѣсомъ вьющихся растеній, на желѣзномъ стулѣ, докторъ Баклагинъ. — Жарко-то какъ!.. По ихнему — сентябрь, по нашему — конецъ августа. Самоваръ, пускай, хотя и плохо чищеный, деревенскій, но большой, полуведерный, Тульскій. Въ Петербургѣ такіе на Большой Садовой продавали. Помните, можетъ быть, уже тамъ, за Сѣнною площадью, напротивъ Юсупова сада, былъ такой спеціальный магазинъ Тульскихъ издѣлій. Во второмъ этажѣ окна — и все самовары разныхъ величинъ выставлены. Отъ маленькихъ игрушекъ, куда и стаканъ не войдетъ, до громадныхъ, на ведро. Ну, и ружья тамъ стояли охотничьи: дробовики Тульскихъ нашихъ мастеровъ-оружейниковъ, что ухитрились англійскую блоху, пляшущую съ варіаціями, — помните, въ разсказѣ Лѣскова — подковать на всѣ шесть ножекъ... Березовыя и орѣховыя ложа полированныя были у тѣхъ ружей; я, гимназистомъ, часами не могъ оторвать глазъ отъ нихъ... На станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, помните, раньше какіе самоварища были, золотомъ сіяли, какъ въ кривомъ зеркалѣ, коверкали ваше лицо, ажъ страшно было посмотрѣть на свою рожу. Подойдешь, заглянешь, а лицо длинное-предлинное, какъ огурецъ, и глаза узко поставлены. Рожа, а не лицо. Потомъ уже все кипятильники пошли никкелированные, на керосинѣ или газѣ, — не тотъ вкусъ и стиль, и чай, какъ будто, сталъ керосиномъ попа-

хивать. Да и видъ уже не тотъ... Deux café crême... *), — небрежно кинулъ Баклагинъ подошедшему къ нимъ гарсону съ зеленымъ передникомъ. — Чаекъ не рискую тутъ спросить, и возиться будутъ долго, и бурду дадутъ, а не чай... Придется по заграничному, кофейкомъ помянуть покойника... Да... Вотъ, жилъ человѣкъ, и умеръ, и нѣтъ ничего. Развязалъ вдову съ дочерью. Вы, Егоръ Ивановичъ, обстоятельства-то его кончины знаете?

— Да, мнѣ вдова говорила. Плакалась... Напрасно она это разсказываетъ. Я посовѣтовалъ ей молчать. А то, сами знаете, люди-то нынче — э-ехъ!.. — хмуро сказалъ Акантовъ.

— Вѣдь, это, Егоръ Ивановичъ, по старому-то, по довоенному, — уголовное преступленіе. У насъ, конечно, присяжные въ полной мѣрѣ оправдали бы. Кони тамъ какой-нибудь Плевако, или князь Урусовъ, Карабчевскій, какую рѣчь сказали бы, сколько апплодисментовъ у толпы сорвали бы! Ну, и то, вѣдь, вдова-то еще и сейчасъ интересная, а дочь — прямо бутонъ... А тутъ... Тутъ какимъ буржуямъ попадетъ?.. Для дочери это гильотиной могло обернуться, а для матери Гвіанской каторгой... А теперь? Я по чистой совѣсти французскому врачу діагнозъ поставилъ, не путая никого, и совѣсть нисколько даже и не мучитъ.

Баклагинъ хлебнулъ изъ поданной ему чашки и сказалъ:

— И кофе не важнецъ... Кладбищенскій какой-то, покойникомъ отзываетъ. А, вѣдь, поди, раньше и совѣсть мучила бы... Пособникомъ преступленія назвала бы. Вотъ, что значитъ въ пролетарской-то шкурѣ побывать и познать настоящее страданіе. Бѣдность жестока, Егоръ Ивановичъ...

— Я думаю, Иванъ Алексѣевичъ, тутъ не столько воспитаніе бѣдностью и деклассированіемъ, сколько уроки войны и, особенно, гражданской войны. Ожесточились очень наши сердца. Раньше, убилъ человѣка, — да, вѣдь, это отщепенецъ!.. Проклятый. Съ ужасомъ смотрятъ на него. А те-

*) Два кофе со сливками.

перь?.. Кого убилъ?.. Если кого надо, то вотъ вамъ и герой. Ну, убилъ и убилъ, значитъ, такъ и надо. Велика важность... Или, скажемъ, палачъ. Убиваетъ безоружнаго, «несчастненькаго». Средневѣковьемъ, темнымъ ужасомъ, овѣяна вся его фигура. Правительство какія деньги платитъ палачамъ, и то найти, у насъ, по крайней мѣрѣ, не могло палача. И палачи у насъ, помните, водкой заправлялись на свою работу. Спивались потомъ, совѣсть замучивала...

— Нынче совѣсти нѣтъ, — вздыхая, сказалъ Баклагинъ.

— Въ этомъ и дѣло... Помните, въ такіе же сентябрьскіе знойные дни, 17 лѣтъ тому назадъ, когда мы взяли ночью желѣзнодорожную станцію, уже не помню и названія, на Курскомъ направленіи. Тамъ казнили китайцевъ и коммунистовъ, и, помните, какъ тамъ пьяный сотникъ-кавказецъ рубилъ голову плѣнному?..

— Какъ такое не помнить? Умирать буду, и тогда буду помнить... Какъ голова-то стукнула о полъ... Кочанъ капустный. Помню и артисточку эту, Магду Могилевскую... Большевичкой потомъ оказалась...

— Представьте, пять дней тому назадъ, въ Берлинѣ, случайная встрѣча: на концертѣ Донского казачьяго хора подходитъ ко мнѣ капитанъ Лапинъ. Затащилъ къ себѣ, съ женой познакомилъ. И тоже декламація, какъ тогда Магда. Обстановка, конечно, не такая, но странно, чѣмъ-то она мнѣ Магду напомнила. А онъ, ну, точно тотъ палачъ нашъ, комендантскій адъютантъ Гайдукъ...

— Вы мнѣ про Дусю Королеву разсказываете, навѣрное?

— А вы развѣ знаете?

— Кого я здѣсь, батенька мой, не знаю... Такъ и мнѣ показалось: Магда, да и только. Ну, только — года не выходятъ... Обманываетъ насъ эмиграція съ годами...

— Гдѣ же вы ее видѣли? Развѣ Дуся въ Парижѣ? Когда она пріѣхала?..

— Да, вѣрно, тогда же, когда и вы. Былъ я въ Дамскомъ комитетѣ по устройству вечера въ пользу бывшихъ воспитанниковъ Х-скаго училища. И тамъ, у генеральши Кусачевой, познакомили меня съ этой обворожительной Дусей

Королевой. Такая Русская бабенція, насквозь Русская. Все съ молитвою, съ именемъ Божіимъ, съ поклонами, и на все сейчасъ же и согласилась. И декламировать, и пѣть, и продавать шампанское, все, что хотите... Всѣхъ знаетъ, кого и какъ пригласить...

— Да, вотъ какъ!.. Странно...

— Что странно?

— Да, вотъ, такъ странно. Зовутъ пѣть, играть, а кто такая она, не спросятъ...

— Такъ, вѣдь, не паспортъ же ея спрашивать?

— Вотъ именно, Иванъ Алексѣевичъ: паспортъ. Помните, какъ наша передовая интеллигенція возмущалась на дворниковъ и паспорта... Выходитъ, паспорта-то какъ еще нужны.

— И собака, Егоръ Ивановичъ, свой жетонъ съ именемъ носить обязана...

— Собака, Иванъ Алексѣевичъ, имени своего не поддѣлаетъ. Какое имя написано, на то и отзовется, а человѣкъ? Сегодня — Валлахъ-Финкельштейнъ, — воръ и грабитель, а завтра — Литвиновъ, всѣми уважаемый Максимъ Максимовичъ, кумиръ жидовокъ изъ Лиги Націй. Сегодня — Бронштейнъ, паршивенькій газетный еврейчикъ, а завтра — Троцкій, главковерхъ Россійскихъ армій... И одураченный офицеръ и солдатъ ему повинуются и идутъ за нимъ... Сегодня — Джугашвили, полужидъ, полугрузинъ-бомбометатель и воръ, а завтра — Сталинъ, некоронованный монархъ обманутаго, дикаго, жидами порабощеннаго народа, и такъ далѣе, до безконечности... Мы живемъ въ вѣкъ какихъ-то псевдонимовъ... Такъ и Лапинъ... Кто онъ такой?.. Онъ и паспортъ покажетъ, а поди, узнай, кто онъ на дѣлѣ... Мнѣ, однако, пора, Иванъ Алексѣевичъ. На заводъ пора. Пока доберусь...

— Гарсонъ, — крикнулъ докторъ проходившему вдоль столиковъ лакею, — l'addition s'il vous plait!.. *).

Акантовъ потянулся къ карману. Баклагинъ полной, бѣлой рукой удержалъ его за локоть:

---

*) Счетъ, пожалуйста.

— Полноте, батюшка... Позвольте мнѣ угостить васъ скромнымъ кофе съ круассанами.

Акантовъ не возражалъ. Въ его кошелькѣ была только мелочь: нѣсколько мѣдныхъ су...

VII.

Только теперь, когда Лиза водворилась на маленькой Бійянкурской квартирѣ, понялъ Акантовъ, какое отвѣтственное и непосильное бремя онъ на себя взялъ. И собаку, или кошку завести, и то сколько хлопотъ и заботъ. А тутъ поселилась у него взрослая барышня, съ печальными глазами, грустная, задумчивая, съ неровнымъ характеромъ, — его дочь...

Надо было заниматься съ нею, разговаривать, учить ее. А когда? Акантовъ вставалъ по будильнику въ шесть часовъ утра и уходилъ на заводъ. Возвращался онъ въ восемь часовъ вечера, усталый и измученный. Дочь ожидала его съ ужиномъ. Вечерняя бесѣда не клеилась, сводилась къ пустому разговору. Разсчетъ Акантова былъ на воскресенье. Думалъ, по старинкѣ, по семейному, проводить этотъ день. Напиться утромъ вмѣстѣ уютно чаю и поѣхать по подземной дорогѣ въ церковь, къ обѣднѣ. Не очень-то и самъ Акантовъ былъ богомоленъ, но думалъ, что все придетъ само собою. А потомъ — позавтракать скромненько, и — тихая бесѣда.

Не вышло... Лиза, какъ оказалось, не знала ни церкви, ни православнаго богослуженія:

— Душно, папа... И толкаютъ. Трудно стоять... Почему не устроютъ, какъ вездѣ заграницей, чтобы сидѣть? И слушать легче, и не устаешь. И порядка больше. Ходятъ, толкаютъ, свѣчи ставятъ. Смѣшно какъ-то... И суетно...

Не вышла и бесѣда. Лиза оказалась образованнѣе отца, а когда тотъ попытался, по воспоминаніямъ юношескихъ лѣтъ, разсказывать Лизѣ Русскую исторію, про древлянъ и кривичей, про рѣчные пути и варяговъ, Лиза сразу увяла.

На второе воскресенье Лиза не пошла въ церковь. Она

уговорилась съ Февралевыми ѣхать куда-то искать работу, устраивать свою мастерскую.

Акантовъ остался одинъ. Онъ сѣлъ въ Лизиной комнатѣ у открытаго окна. Въ комнатѣ было аккуратно и чисто прибрано, черезчуръ, какъ показалось Акантову, аккуратно, слишкомъ все было чисто, такъ, что Акантовъ боялся накрошить гдѣ-нибудь сѣдымъ пепломъ папиросы.

Въ раскрытое окно поздняя осень дышала лѣтнимъ теплomъ. Липа тихо роняла на землю золотой уборъ увядшей листвы. Тополя еще сохранили зелень, но была она блѣдная и прозрачная, точно больная, умирающая отъ чахотки. Прѣлымъ листомъ, густымъ, терпкимъ, виннымъ запахомъ осени несло въ окно. Безъ облака было синее небо. По воскресному, тихо было въ Парижѣ.

Дымокъ папиросы сизой лентой стоялъ передъ глазами Акантова. Тѣло въ креслѣ наслаждалось давно не испытаннымъ покоемъ. Акантовъ очень былъ счастливъ быть на своей квартирѣ и сидѣть въ своемъ креслѣ. Ноги отдыхали. Голова ушла въ воспоминанія, въ думы, въ соображенія.

«Лизѣ нужно общество. Она дѣвушка на выданьи. Значитъ, по нашему, надо ее вывозить, надо, чтобы она гдѣ-то бывала, видѣла людей, надо, чтобы и ее видѣли... Кто же этимъ всѣмъ займется? У его покойной жены, когда онъ былъ женихомъ, была семья, были сестры, были тетки, была дряхлая бабушка, кузины, подруги, словомъ, былъ семейный домъ... У Лизы?.. Напрасно, однако, онъ такъ понадѣялся на себя, и взялъ Лизу... Съ кѣмъ она?.. Февралевы?.. Онъ зналъ Леонтія только кадетомъ и юнкеромъ, потомъ ихъ дороги разошлись. Они такъ, до самой эмиграціи, и не встрѣчались и даже не переписывались. Встрѣтились въ Парижѣ, на корпусномъ обѣдѣ, узнали другъ друга, сразу заговорили на «ты», какъ старые товарищи, но опять видѣлись рѣдко... Некогда было... Кто такое была Наталья Петровна, Акантовъ не зналъ... Леонтія Наталья Петровна называла неудачникомъ. Работала она за троихъ, билась изо всѣхъ силъ, шила, готовила, стирала бѣлье, бѣгала за матеріаломъ и работой,

она была достойна самаго большого уваженія, но какого была она происхожденія, какого круга, какихъ понятій? Она бойко и грубо говорила по-французски, по самоучителю научилась говорить по-англійски, съ ужаснымъ произношеніемъ, научила и Татушу двумъ этимъ языкамъ. Узнавъ, что Лиза владѣетъ, и очень хорошо, тремя языками, Февралевы ухватились за Лизу и воспылали какими-то необычайными надеждами: устроить салонъ.... Одѣвать богатыхъ американокъ и жидовокъ... Можетъ быть, дѣлать имъ маникюръ, поступить въ Institut de beauté... И дочь, и мать очень скоро оправились послѣ смерти Леонтія, и черное вдовье платье шло къ похорошѣвшей Натальѣ Петровнѣ. Онѣ теперь — и Лиза съ ними — носились по Парижу въ поискахъ большого заработка, хорошей добычи... Но хорошо ли это для Лизы?..».

«Вчера Наталья Петровна сказала мнѣ: «Парижъ намъ тѣсенъ. Съ талантами вашей дочери и съ нашимъ умѣньемъ, мы настоящій размахъ получимъ только въ Америкѣ. Мы созданы для большого... Мы милліоны заработаемъ...«.

Очень это не понравилось Акантову.

«Нѣтъ», — думалъ онъ, — «лучше какъ-то обойтись безъ Февралевыхъ и ихъ широкаго размаха... Но тогда кто-же?..».

Разбуженная память листала страницы прошлаго.

Въ далекомъ, довоенномъ прошломъ, были друзья, родственники, товарищи по полку, ихъ семьи, былъ уютъ маленькаго гарнизона... На Кавказѣ были кунаки-горцы, — славный, сердечный народъ, отзывчивый и прямой. На Волгѣ и вовсе было хорошо. Были вечера, балы, театры, церковныя службы, гдѣ встрѣчалась молодежь, и гдѣ завязывались романы. Тамъ просто, на гуляньи, на бульварѣ можно было показать Лизу... И, вѣдь, есть что показать!.. Прелестна Лиза... Но гдѣ все это?.. Гдѣ Родина?.. Гдѣ друзья, товарищи?..

Глядя вдаль, и не видя пустырей окраины Парижа, Акантовъ велъ мысленно перекличку своимъ друзьямъ. И всякій разъ, какъ вставалъ передъ нимъ образъ лихого офицера-стрѣлка, сердце тяжело, болѣзненно стукало и память отзванивала похороннымъ звономъ: «Убитъ... убитъ... убитъ...

Умеръ отъ ранъ... Разстрѣлянъ большевиками... замученъ въ совѣтской тюрьмѣ... Убитъ въ Крыму... На Перекопѣ; умерь отъ тифа въ Галлиполи...».

Никого... никого...

Заграничная, парижская жизнь стала передъ нимъ, какъ ровный степной шляхъ зимой. Блеститъ, блеститъ накатанными колеями, нигдѣ ни столба, ни куста, ни хутора, ни слободы, ни церкви, ни креста, ни часовни. Далеко за горизонтомъ, гдѣ пылаетъ закатное небо и краснымъ, морознымъ, громаднымъ шаромъ, налитымъ кровью пузыремъ, садится солнце — цѣль пути... Дойду ли до нея, пока не сядетъ солнце, или закатится солнце жизни раньше, чѣмъ достигну я цѣли пути — Россіи... Ничего на зимней дорогѣ. Нечѣмъ отмѣтить уже пройденный путь. Маячитъ замерзшій, почернѣвшій, колючій, будто сахаромъ посыпанный, объиндѣвѣвшій чертополохъ-могильникъ, ничего онъ не отмѣчаетъ, и опять снѣжная, ровная пустыня пути-жизни...

Гудокъ... будильникъ, заводъ... и опять гудокъ, будильникъ и заводъ... заводъ... заводъ...

Быстро пронеслись эти шестнадцать лѣтъ трудовой фабричной жизни въ Парижѣ, ничѣмъ не отмѣченныя для Акантова. И лѣто, какъ зима, и зима, какъ лѣто...

Кругомъ толпа... Народъ... У фабричныхъ воротъ, на заводѣ, въ мастерскихъ, въ вагонѣ подземной дороги, въ бистро, въ Русскомъ ресторанчикѣ, — вездѣ давка, людская толпа... а людей-то и нѣтъ. Все чужіе, незнакомые, иностранцы. Свои, какъ чужіе, чужіе, какъ свои...

Былъ кое-кто, появился и въ этой каторжной, рабской жизни, но годился ли онъ для Лизы?..

Послѣ военной формы, даже той скромной, походной, сѣрой, поношенной формы, съ потертыми погонами, которую носили на войнѣ и въ Добровольческой арміи, само штатское платье, очень плохое, бѣдное, на рынкѣ купленное, съ рыжей англійской шинелью на плечахъ, показалось униженіемъ.

Толпа у желѣзныхъ заводскихъ воротъ. Пріемная контора. Грубые, на «ты», вопросы. Tu, toi, comprends tu!..

Et alors!.. Rien à faire!.. *). Отъ воспоминанія объ этихъ часахъ и теперь становилось тошно...

Въ старые годы, съ негибкими пальцами, непривычными къ работѣ, трудно усовершенствоваться, выбиться изъ сѣрой рабочей массы... Тутъ не спрашивали, кто ты: генералъ, или солдатъ?.. Wrangeliste, бѣлый Русскій, по жидовскому приказу, большевицкими штыками выгнанный изъ Россіи, голодный и отрепанный, бѣлый рабъ, заводское мясо... Становись къ станку, работай, получай номерокъ...

Особенно мучительны были Акантову тѣ минуты, когда, снявъ рабочій «комбинезонъ», надѣвъ городское платье, онъ, въ толпѣ рабочихъ, подавался къ выходному турникету, и нужно было поднять руки и дать ощупать себя контромэтру: не уносишь ли съ завода какой-нибудь гайки, не укралъ ли чего-нибудь.

Акантовъ въ дѣтствѣ никогда не укралъ яблока изъ чужого сада, не взялъ у матери изъ шкафа пирожнаго... Мысль, что вообще м о ж н о украсть, никогда не приходила ему въ голову. Поднять руки?.. Позоръ!.. Вѣдь — это сдача труса!..

Лицо Акантова побурѣло отъ возмущенія. Внутренняя дрожь потрясала все тѣло, когда ловкіе, привычные пальцы контромэтра ощупывали его карманы. Акантовъ пошатнулся отъ отвращенія къ самому себѣ, когда выходилъ изъ пропускного турникета.

За его спиной раздался могучій, ядреный, громкій, смѣлый, вызывающій голосъ:

— Да вы, ваше превосходительство, чего ихъ стѣсняетесь... Вы глядите на ихъ просто, какъ на собакъ. Ну, собака васъ обнюхаетъ, такъ что вамъ съ того?.. Какая же это обида?.. Рази они понимаютъ въ насъ чего, аль нѣтъ?..

— Wrangeliste... Wrangeliste... — заворчали въ толпѣ.

И тотъ же голосъ обратился къ рабочимъ:

— Ну, ты, espèce de nouilles, ты того, полегче, а то кубыть я на твоей поганой рожѣ Вранжелиста не прописалъ... М.....е!

---

*) Ты... Понимаешь ты... И потомъ!.. Ничего не подѣлаешь!..

Грубое французское слово сорвалось съ устъ говорившаго, и въ толпѣ примолкли.

Пройдя узкій проходъ у турникета, Акантовъ остановился, чтобы посмотрѣть на того, кто ему говорилъ. Онъ его сразу и узналъ въ толпѣ рабочихъ. Рослый, широкоплечій, могучій, какъ Донской выкормленный маштакъ, и спрашивать не нужно было, кто онъ, — казакъ — вышелъ на улицу. Рукава его рабочей блузы были засучены по локоть, и сжатые, крѣпкіе кулаки были, какъ кузнечные молоты. Загорѣлое, бурое лицо, съ русыми усами, освѣщалось блескомъ смѣлыхъ, дерзкихъ, голубыхъ глазъ.

Акантовъ подошелъ къ казаку и спросилъ:

— Вы почему же узнали, кто я?..

Казакъ снялъ фуражку, молодцевато, по строевому, подтянулся, и тѣмъ же самымъ, громкимъ голосомъ, какимъ только-что говорилъ рабочимъ, ничѣмъ и никѣмъ не стѣсняясь, отвѣтилъ:

— Угадалъ-то почему?.. По обличію вашему, больше ни по чему. Попа, говорится, и въ рогожѣ угадаешь. Ить, мы съ вами, ваше превосходительство, встрѣвались. Только идѣже вамъ меня упомнить?

— Простите, не припомню...

— Разрѣшите, я провожу васъ, погутаримъ дорогой.

Казакъ зашелъ съ лѣвой стороны Акантова и пошелъ съ генераломъ въ ногу.

— Вы въ Херманскую войну стрѣлковымъ полкомъ командовали, а я къ вамъ со взводомъ для связи отъ нашей дивизіи пріѣзжалъ. Съ недѣлю при вашемъ штабѣ, на рѣкѣ Стоходѣ, прожилъ. Ну, извѣстно, моложе тады былъ, бороду опять же носилъ... Измѣнила меня теперешняя жизня... А вы никакъ не перемѣнились... Какъ были, такъ и остались...

— Вы тутъ на заводѣ работаете?

— Уже съ полгода будетъ, какъ по контракту сюда изъ Сербіи прибылъ... Меня здѣшніе товарищи хорошо знаютъ... Вран-же-листъ!.. Сволочи они всѣ, ваше превосходительство... Богъ имъ судья... Дозвольте, однако, представиться: Боковской станицы, Всевеликаго Войска Донского, хутора

Дальняго, есаулъ Чукаринъ... Пошелъ я въ Херманскую войну урядникомъ во второй очереди полку, всѣ четыре креста Егорьевскихъ заслужилъ, аглицкій король мнѣ ишшо медаль свою пожаловалъ... Въ пятнадцатомъ году окончилъ я у полковника, теперь генерала, Секретева, антомобильную школу въ Петроградѣ, а въ гражданскую войну воевалъ съ большаками и дослужился до есаульскаго чина.

— Какъ ваше имя и отчество?

— Авдѣй Гавриловичъ я... Дозвольте и мнѣ, ваше превосходительство, поспрошать васъ, кто вы такой будете?.. Ихфизономію вашу упомнилъ хорошо, а хфамилію вашу запамятовалъ...

— Акантовъ... Егоръ Ивановичъ... Бывшій генералъ, а теперь рабочій въ 14-ой мастерской, — сказалъ Акантовъ, протягивая руку казаку и останавливаясь.

— На станкѣ, значитъ, тачаете... Вотъ она, какъ жизня-то ваша обернулась!.. — сокрушенно сказалъ Чукаринъ.

Они дошли до скромнаго отеля, гдѣ жилъ въ ту пору Акантовъ.

— Заходите ко мнѣ, Авдѣй Гавриловичъ, покалякаемъ съ вами. Я тутъ совсѣмъ одинъ...

— Холостые, али какъ?.. Можетъ, не дай Богъ, жену тамъ оставили...

— Вдовый я... Жену въ Югославіи потерялъ. Дочь у меня маленькая, въ Германіи учится...

— Скажи, какая оказія!.. У меня тоже жана въ Бѣлой Церкви померла отъ тифа, а дочка тутъ, при мнѣ... Пять годковъ ей... Вотъ, въ школу французскую отдалъ ее...

И то, что оба они вдовцы, недавно потерявшіе женъ, что у обоихъ остались дочери-сиротки, почти однолѣтки, словно толкнуло одного къ другому, и Акантовъ протянулъ руку Чукарину, и, крѣпко пожимая ее, еще разъ повторилъ:

— Такъ будемъ знакомы... Приходите ко мнѣ когда въ воскресенье и дочку приводите съ собою... Легче будетъ намъ вмѣстѣ на чужбинѣ...

— Покорно благодарю, ваше превосходительство, на ла-

сковомъ словѣ, — скидывая фуражку и вытягиваясь по военному, сказалъ Чукаринъ.

Акантовъ еще посмотрѣлъ, какъ бодро, смѣлымъ шагомъ, помахивая руками, пошелъ казакъ вдоль по узкой улочкѣ и сталъ подниматься къ себѣ въ комнату.

VIII.

Каждый годъ, осенью, въ Парижѣ, въ «Grand Palais», возлѣ Елисейскихъ Полей, устраивался автомобильный салонъ, — выставка автомобилей. Это бывало событіемъ въ жизни не только автомобильнаго міра Парижа, но и всей Франціи. Да и со всего свѣта пріѣзжали знатоки и любители посмотрѣть новинки, новыя изобрѣтенія и усовершенствованія.

Къ этому «салону» готовились цѣлый годъ, и одинъ автомобильный заводъ щеголялъ передъ другимъ красотою, легкостью на ходу, быстротою, изяществомъ формъ, экономностью на горючее своихъ машинъ.

Какъ разъ въ эту пору готовился къ выставкѣ и тотъ заводъ, на которомъ работали Акантовъ и Чукаринъ.

Директоръ и главный инженеръ завода въ сборочной мастерской съ тревогой слѣдили, какъ, не спѣша, лѣниво и медлительно, будто даже нарочно медлительно, копошились рабочіе французы подлѣ машины. Рослый, могучаго сложенія, Русскій «Вранжелистъ» имъ помогалъ, былъ у нихъ на побѣгушкахъ, на черной работѣ: «Поди, подай то, принеси это...».

Была суббота, надвигался вечеръ. Ярко загорѣлись въ мастерской большіе фонари, освѣтили наполовину собраннную машину, принесенный изъ мастерской, не вполнѣ готовый, моторъ въ ящикѣ, коробки съ мелкими частями управленія, нервами машины, разложенные на столахъ, по листамъ бумаги, и лежавшіе и на полу манометры, показатели количества бензина, часы, указатели скорости, свитки тонкихъ трубокъ, проволокъ, свертки съ винтами и гайками. Въ яркомъ свѣтѣ фонарей стало ясно, что работа далеко не окончена,

что она мало подвинулась за день, и что необходимо еще день работать, чтобы закончить сборку машины.

Въ обычное время прогудѣлъ фабричный гудокъ, рабочіе побросали инструменты и, съ веселымъ говоромъ, отошли отъ машины.

— Постойте, товарищи, — кинулся къ нимъ инженеръ. — А какъ же машина? Завтра вы придете?..

— Завтра воскресенье, мы не работаемъ, — отвѣтили изъ группы рабочихъ.

— Подумайте... Что же вы это дѣлаете?.. Машина, вѣдь, выставочная... Въ понедѣльникъ она должна стоять на стандѣ.

— Выставка ваша, а время наше, — грубо отвѣтилъ молодой рабочій, бойкій, развязный французъ.

— Вы, мосье, сами понимаете, что, и пожелай мы работать, мы не можемъ этого, — сказалъ старый, сѣдой и лысый, контромэтръ.

Въ тысячи паръ глазъ рабочіе слѣдили другъ за другомъ, чтобы никто не посмѣлъ нарушить завоеванныхъ долгою борьбою, голодовками во время забастовокъ, рабочихъ правъ и свободъ и тогдашней 48-часовой недѣли. Директоръ и инженеръ знали, что ни сверхъ-урочная плата, ни угроза разсчета не могли заставить рабочихъ нарушить сдѣланныя ими постановленія. Время было такое, когда рабочіе постепенно овладѣвали предпріятіями и, руководимые коммунистической партіей, упорно старались устранить администрацію завода отъ управленія... Коммунизмъ входилъ въ жизнь французскихъ рабочихъ... «Rien à faire...». *)

Мастерская быстро опустѣла. Въ яркомъ, нагломъ, точно смѣющемся надъ директоромъ, свѣтѣ фонарей стояла посереди мастерской какимъ-то допотопнымъ чудовищемъ неоконченная машина: безъ колесъ, безъ механизмовъ управленія и безъ мотора...

Изъ глубины мастерской выдвинулся тотъ рабочій, Русскій, «Вранжелистъ», который помогалъ рабочимъ, и не ушелъ почему-то изъ мастерской. Онъ, какъ былъ, такъ и

*) Ничего не подѣлаешь...

остался, въ синемъ комбинезонѣ. У него было добродушное, широкое, красное отъ здороваго загара и утомленія, лицо, съ русыми, крѣпкими, солдатскими усами. Онъ смѣлыми шагами подошелъ къ инженеру, тряхнулъ головою въ густыхъ волосахъ, и сказалъ на томъ простомъ жаргонѣ, на какомъ говорятъ во Франціи арабы:

— Pas craindre... Automobile lundi exposition prêt... Sois tranquille...

— Кто вы такой? — спросилъ директоръ, съ невольнымъ уваженіемъ глядя на рослаго, сильнаго человѣка, который носилъ въ одной рукѣ пару тяжелыхъ ошинованныхъ чернымъ блестящимъ каучукомъ колесъ.

— Cosaque... Cosaque du Don...

— Ah, cosaque, — съ разочарованіемъ протянулъ директоръ, и сдѣлалъ шагъ, собираясь уходить. Казакъ осторожно коснулся громадной рукой края изящнаго, широкаго пальто директора:

— Laisse... Attends... Moi chercher camarade Ivan, nous deux — automobile prêt... Attends ici dix minutes! *).

Терять все-равно было нечего. Посмѣиваясь, директоръ закурилъ папироску и остался съ инженеромъ въ пустой мастерской дожидаться этого страннаго человѣка. Тотъ вернулся минутъ черезъ десять, со своимъ товарищемъ. Товарищъ его былъ поменьше ростомъ, но такой же сильный и коренастый, могучій и широкій въ плечахъ, какъ молодой бычокъ. Онъ былъ бритый, съ красивыми, мелкими чертами лица и съ ясными, сѣрыми, остро глядящими глазами. Онъ былъ моложе перваго. Онъ пришелъ, уже переодѣтый, по домашнему, въ сѣромъ дешевенькомъ пиджакѣ и въ мягкой шляпѣ. Онъ скинулъ шляпу, снялъ пиджакъ и жилетъ, и, вмѣстѣ съ «Вранжелистомъ», подошелъ къ машинѣ. Они внимательно, тихо переговариваясь, осматривали новую, съ но-

*) Не бойся... Автомобиль въ понедѣльникъ къ выставкѣ — готовъ... Будь покоенъ. — Казакъ. Донской казакъ... — Ахъ, казакъ!.. — Оставь. Погоди. Я позову товарища Ивана, мы вдвоемъ —автомобиль готовъ. Погоди 10 минутъ...

выми усовершенствованіями, машину, потомъ перекрестились и взялись за инструменты...

Работа закипѣла...

То, что цѣлый рабочій «экипъ» въ двѣнадцать человѣкъ дѣлалъ часъ, они дѣлали нѣсколько минутъ. Щипцы-кусачки, щипцы плоскіе, отвертки, ключи, молотки, клещи смѣнялись въ ихъ рукахъ одно другимъ. Они з н а л и, что нужно дѣлать, и это сразу замѣтили и инженеръ, и директоръ.. Быстро снимали они бумагу съ колесъ, накатывали ихъ на оси, примѣряли, пригоняли, тутъ же, на станкѣ, гдѣ нужно — вручную, подтачивали, подпиливали, пригоняли по лекалу. Нигдѣ не соскользнетъ у нихъ отвертка, не поцарапаетъ винта. Все дѣлалось тщательно, осторожно, привычными, опытными руками.

Директоръ уѣхалъ, и въ два часа ночи вернулся съ корзиной съѣстного и двумя бутылками вина. Инженеръ, остававшійся съ рабочими, встрѣтилъ его:

— Этимъ людямъ, — сказалъ онъ, — можно довѣрять... Они знаютъ машину, не хуже меня. И при томъ же сила!.. Плечомъ, безъ домкрата, машину поднимаютъ... Это необыкновенные люди...

«Необыкновенные люди» отъ вина отказались:

— Опосля, мусью шефъ... Après... d'abord fini... *).

Они работали всю ночь, все воскресенье, всю ночь съ воскресенья на понедѣльникъ. Работали любовно, вдохновенно, какъ умѣютъ работать казаки, какъ они пашутъ подъ палящимъ весеннимъ солнцемъ безъ роздыха, какъ сутками косятъ доставшуюся имъ дѣляну общественнаго луга, какъ запоемъ жнутъ, молотятъ, не думая объ отдыхѣ...

Когда, въ понедѣльникъ, въ семь часовъ утра, пришелъ рабочій экипъ продолжать ненавистную работу по сборкѣ для «капиталиста-фабриканта» машины, — машина стояла, готовая къ отправкѣ, и двое Русскихъ Вранжелистовъ-рабочихъ возились подлѣ нея съ тряпочками, подмазывая и подчищая ея сверкающія части.

---

*) Послѣ... Раньше — кончимъ...

Это было такъ удивительно, что въ ту минуту никто не нашелся, что сказать, и только, когда рабочіе провожали машину, увозимую на выставку на грузовикѣ, дружно поднялись вслѣдъ имъ кулаки, и кто-то угрожающе свиснулъ. На свистъ, одинъ изъ рабочихъ обернулся. Широкое лицо его въ русыхъ усахъ расплылось въ счастливой, побѣдной улыбкѣ. Онъ поднялъ въ сторону рабочихъ свой кулакъ, блестящій отъ машиннаго масла, и кулакъ этотъ былъ такъ внушителенъ, а въ глазахъ «Вранжелиста» было столько добродушной иронiи и силы собственнаго достоинства, что поднятые кулаки медленно опустились...

— Ну, погоди, mon vieux *), мы съ собою еще посчитаемся... — раздалось вслѣдъ шедшимъ за грузовикомъ рабочимъ.

Русый усачъ былъ Чукаринъ, его помощникъ — его товарищъ по Секретевской школѣ, урядникъ Полтавцевъ...

IX.

Но посчитаться рабочимъ съ казаками не пришлось.

Въ ту зиму по всей Франціи, по металлургическимъ и машиностроительнымъ заводамъ, прокатилась волна забастовокъ.

Забастовки были безсмысленны. Большинство рабочихъ были довольны заработками и своимъ новымъ положеніемъ, и не хотѣли бастовать, но по заводамъ, по мастерскимъ прошли незнакомые люди, часто не французы даже, но евреи, поговорили объ общей забастовкѣ, о постановленіи о томъ синдиката рабочихъ, потомъ вдругъ раздавался свистокъ, машины останавливались, станки прекращали свою унылую однообразную пѣсню, безжизненно провисали широкіе, кожаные, приводные ремни, рабочіе бросали инструменты, и, съ громкимъ говоромъ, покидали мастерскія.

Было нѣчто стихійное, непонятное, психическое въ этомъ движеніи толпы, и остановить его не могли никакіе перего-

*) Старина.

воры съ заводской администраціей. Это была бслѣзнь, лѣчить которую еще не было придумано способа.

Акантовъ, съ толпой рабочихъ, вышелъ изъ мастерской. На набережной Сены Чукаринъ нагналъ его:

— Что же, ваше превосходительство, видно, и мы съ вами бастовать будемъ, какъ камунисты какіе. Ить, сила заразъ на ихъ сторонѣ, а сила солому ломитъ. Сдурѣлъ, значитъ, народъ, какъ у насъ въ пятомъ году. Тутъ бы надо-ть нашего брата послать, чтобы плетюганами уму-разуму поучить. Вы, ваше превосходительство, гляньте, что тутъ только дѣется... Жидъ во всемъ верховодитъ. Всему у ихъ жидъ учитъ. Ить и они, гляди, допляшутся въ жидовской своей пляскѣ до того, что съ протянутой рукой по чужимъ краямъ пойдутъ... Тольки, куды-жъ они пойдутъ?.. Рази, къ намъ спасаться пойдутъ...

Зимній день былъ по южному ярокъ. Синее небо, ясное солнце, заголубѣвшая въ его лучахъ холодная, тихая Сена.

Вдоль земляной набережной стояли густыя толпы рабочихъ. Кое-гдѣ на перекресткахъ улицъ были видны синіе плащи и каскетки французскихъ мордастыхъ «ажановъ». Полицейскіе пересмѣивались съ рабочими. Въ толпѣ было много женщинъ, женъ и подругъ рабочихъ, торговокъ папиросами и газетами, продавщицъ съѣстного...

— «Paris-Midi», «Excelsior», «Intransigeant», — неслось съ одного конца.

Звонкій голосъ отвѣчалъ съ другого:

— «Humanité», «Œuvre... *).

— Ну, чистая ярмонка, ваше превосходительство, совсѣмъ, какъ на масляной недѣлѣ у насъ, — говорилъ Чукаринъ, пробираясь черезъ толпу къ мосту.

Вдругъ въ спокойной, смѣющейся толпѣ, произошло движеніе. Кто-то сказалъ, что на заводъ прошелъ «штрейкбрехеръ». Никто не разсуждалъ, никто не думалъ о томъ, что могъ дѣлать штрейкбрехеръ въ пустыхъ мастерскихъ. Но

*) Названія Парижскихъ газетъ...

всѣ насторожились. У калитки собралась толпа: ожидали выхода штрейкбрехера.

Вскорѣ изъ калитки вышелъ невысокаго роста, бѣдноодѣтый, щуплый человѣкъ, съ блѣднымъ лицомъ. Какая-то женщина указала на него:

— Это онъ!..

Толпа подалась за нимъ. Кто-то ударилъ его сзади, и онъ закричалъ тонкимъ, жалобнымъ, словно заячьимъ, голосомъ:

— Au secours, au secours!.. *), . . и побѣжалъ.

Толпа бросилась за нимъ.

Тутъ стояли «ажаны»; они не тронулись съ мѣста. Это ихъ не касалось.

Блѣднолицему человѣку удалось выскочить изъ толпы. Но кругомъ были люди, и задніе кричали: «Лови!.. Держи его!..».

Ему некуда было податься. Онъ какъ-то бокомъ, быстро скатился къ Сенѣ, кинулся въ воду и, какъ былъ, въ одеждѣ, поплылъ къ противоположному берегу.

Толпа растянулась вдоль набережной. Женщины и мужчины сгрудились и смотрѣли на плывущаго человѣка. Подлѣ толпы оказалась груда камней. Кто-то схватилъ камень и кинулъ имъ въ пловца. Мгновенно толпа стала расхватывать каменья и кидать ими, норовя попасть въ голову плывущаго. Блестящіе всплески воды вспыхивали серебромъ на солнцѣ вокругъ пловца и все приближались къ нему. Вотъ, должно быть, камень хватилъ по спинѣ: пловецъ дрогнулъ и изогнулся, но сдѣлалъ усиліе и опять со стороны въ сторону замоталась въ водѣ его голова.

— Въ голову, въ голову, бей его, — кричали въ толпѣ въ дикомъ, охотничьемъ азартѣ. — А-та-та-та!..

Женщины визжали отъ восторга и топотали ногами по мостовой.

— Такъ его!.. Такъ, такъ, такъ!.. А-га-га-га!..

Чукаринъ стоялъ подлѣ Акантова:

— Бож-жа мой, — сказалъ онъ, — сдурѣли!.. Чисто сду-

*) На помощь! На помощь!..

рѣлъ народъ. Ить, чего дѣлаютъ?.. И полиція... Чего она-то смотритъ? Ажъ глядѣть тошно...

Ловко пущенный камень попалъ въ голову пловцу, и тотъ погрузился, было, въ воду, но сейчасъ же выплылъ, но плылъ теперь, неровно и вяло махая руками и часто погружаясь въ воду.

— Утонетъ!.. Теперь утонетъ! — восторженно ревѣла толпа.

— Подержи, ваше превосходительство, — задыхаясь отъ негодованія, сказалъ Чукаринъ, скидывая пиджакъ, штаны и ботинки, и бросился въ воду.

Онъ плылъ по казачьему, на саженкахъ, легко, мѣрно и сильно выбрасывая руку, извиваясь винтомъ и рѣжа плечомъ воду. Голова его высоко торчала надъ рѣкою. Онъ быстро настигъ утопавшаго, подхватилъ его подъ себя, и поплылъ обратно.

Толпа смолкла. Пораженная и пристыженная, она притаилась. Во мгновеніе ока, измѣнилось ея настроеніе. Всѣ симпатіи были теперь къ пловцу и его спасителю. Тѣ самыя женщины, что нѣсколько мгновеній тому назадъ улюлюкали и жаждали увидѣть смерть человѣка, теперь стояли у самой воды и жадно всматривались: живой ли рабочій, или уже захлебнулся совсѣмъ... И, когда мокрый, облѣпленный набухшимъ водою бѣльемъ, Чукаринъ вылѣзъ на берегъ и вытащилъ еле живого пловца, толпа встрѣтила его апплодисментами.

Полиція взяла рабочаго и повела его въ участокъ. Чукаринъ отказался дать объясненія, торопливо надѣлъ на мокрое бѣлье штаны, жилетку и пиджакъ. Акантовъ, жившій недалеко за мостомъ, повелъ Чукарина къ себѣ, чтобы дать ему обсушиться и обогрѣться...

X.

Въ ближайшее воскресенье, въ послѣобѣденное время, Чукаринъ явился къ Акантову съ дочерью Варей.

Чукаринъ былъ при полномъ парадѣ: въ свѣжей, зеле-

новатой, форменной рубашкѣ, съ есаульскими, серебряными, потемнѣвшими отъ времени, погонами, съ крестами и медалями на груди, въ высокихъ сапогахъ и шараварахъ съ алымъ лампасомъ. Старымъ военнымъ духомъ повѣяло на Акантова отъ этого крѣпкаго, кряжистаго человѣка. Пахнуло дегтемъ и, казалось, что казачій запахъ сѣдла и лошади пришелъ съ нимъ вмѣстѣ въ маленькую каморку генерала въ Парижскомъ отелѣ на пятомъ этажѣ.

Варя была крѣпенькая, кубастенькая, темноволосая дѣвочка, съ большими, поразительно красивыми, синими глазами. Маленькія точеныя руки и прямыя крѣпкія ноги сулили, что будетъ она высокой, стройной и гибкой. На груди ея чистенькой блузки висѣлъ орденъ на алой лентѣ: свидѣтельство, что она всю недѣлю прекрасно училась и вела себя.

Варя робко присѣла, взглянула быстрымъ, лукавымъ взглядомъ на Акантова, и сейчасъ же опустила глаза.

— Первой идетъ въ школѣ, ваше превосходительство, — съ гордостью сказалъ счастливый отецъ. — Вотъ, гляньте, какую цацку ей навѣсили. Кажную субботу такъ... А ты, Варюшка, поклонись генералу. Это нашъ ирой... Генералъ... Его уважать надо... Ручку ему поцѣлуй ..

Дѣвочка еще разъ робко присѣла. Акантовъ не далъ ей цѣловать руку, но погладилъ по гладко причесаннымъ, заплетеннымъ въ двѣ толстыя косички, нѣжнымъ волосамъ:

— У меня такая же въ Германіи растетъ, — вздыхая, сказалъ онъ.

— Моя — чисто, какъ жена покойница... Волосъ и все... Тольки глаза, какъ у меня...

Дѣвочка молчала, густо краснѣла и опускала прелестные глаза.

— Ты по-Русски учишься, Варя?..

— Да... Нѣтъ, — чуть слышно сказала дѣвочка.

— Идѣ-же, ваше превосходительство... Она у меня въ школѣ на полномъ пансіонѣ... Только по воскресеньямъ беру на часокъ къ себѣ. Ну, гутаримъ помаленьку... Покель мать живая была, какъ-то смѣлѣе она говорила, а теперь и вовсе примолкла. Науками больно мучаютъ ее. А ты, Ва-

рюшка, не стѣсняйся. Генералъ — онъ, ить, добрый. Она, ваше превосходительство, чужихъ боится... Не пріобыкла... Дика́я...

— А ты хотѣла бы учиться по-Русски?..

— Mais certainement... *). Да... Очень хотѣла бы...

И опять замолчала, опустивъ голову, и слезы алмазами засвѣтились на черныхъ, кверху загнутыхъ, густыхъ рѣсницахъ.

Чукаринъ поспѣшилъ на помощь дочери:

— Конечно, — сказалъ онъ, — казакомъ мамаша побаловала бы меня крѣпче. Такъ ить и дочь — все кровинушка моя прирожо́ная, наша, Донская казачка...

Они посидѣли не долго, и ушли...

Каждое воскресенье они приходили къ Акантову, пили у него чай, и сидѣли часа два. Акантовъ купилъ Русскіе буквари и сталъ учить дѣвочку. Онъ скоро замѣтилъ, что дѣвочка вовсе не робкая, но смѣлая и увѣренная, но она совсѣмъ забыла говорить по-Русски.

Чукаринъ оставлялъ дочь съ генераломъ, уходилъ внизъ за кипяткомъ, за чайнымъ приборомъ, и въ эти минуты отсутствія отца, а потомъ, осмѣлѣвши и разогрѣвшись, и при отцѣ, Варя разсказывала по-французски про школу, про mère supérieure **), которая очень любитъ ее и не даетъ въ обиду другимъ дѣвочкамъ:

— Тамъ, — говорила Варя, — разныя дѣвочки, онѣ стали смѣяться надо мною, что я казачка, что я Русская, и я имъ все, все объяснила. Я сказала имъ, что, если бы не Русскіе и не казаки, ихъ на Марнѣ побили бы боши и заняли бы Парижъ, и онѣ сейчасъ сидѣли бы теперь бѣженками у насъ въ Новочеркасскѣ. Я сказала имъ, что онѣ должны Русскихъ любить и уважать... aimer et éstimer... И онѣ побѣжали къ mère supérieure жаловаться, и mère supérieure

**) Начальницу.

*) Ну, конечно.

сказала: « Правда, mademoiselle Warja, нужно гордиться своимъ отечествомъ даже и тогда, когда оно въ несчастьи».

Чукаринъ, съ подносомъ и чайниками, стоялъ въ дверяхъ маленькой комнаты, слушалъ дочь, и нагибалъ голову то въ одну, то въ другую сторону. По его лицу ползла счастливая, довольная улыбка. Такъ солнечный лучъ, прорвавшись сквозь густыя тучи, постепенно заливаетъ золотымъ свѣтомъ приникшія, отяжелѣвшія подъ дождемъ нивы, и все радостнѣе и радостнѣе сверкаетъ алмазами на оставшихся на колосьяхъ капляхъ.

Видно было, что онъ ничего не понималъ изъ того, что говорила Варя, но ловилъ отдѣльныя слова и упивался музыкой красивой, по Парижски, картавой рѣчи своей маленькой дочери:

— Это про Марну я ей гутарилъ.. Запомнила, дорогая золото!.. Ить, какъ гутаритъ-то!.. На хуторъ возвернемся, — Богъ дастъ, — такъ заговоритъ: чисто барышня. У насъ, до войны, за хуторомъ барышни, генеральши Себряковы, жили; придешь къ нимъ, а тѣ промежъ себя вотъ такъ же гутарятъ. Она у меня, ваше превосходительство, и аглицкому языку за особую плату обучается... По всему Тихому Дону прославится Чукарина Варя... Прирожоная Донская казачка...

Акантовъ грустно улыбался. Все было ему понятно. Дѣвочка отходила отъ отца, дѣвочка забывала Русскій языкъ, и боялась показать это отцу.

Послѣ чая, Варя сидѣла у окна и тщательно срисовывала изъ букваря въ тетрадь Русскія буквы. Чукаринъ сидѣлъ подлѣ Акантова и говорилъ взволнованнымъ шопотомъ:

— Страшно мнѣ, ваше превосходительство, за дочку, страшно мнѣ. Какъ вспомяну всѣ наши войны, бои, сраженія, — Чукаринъ похлопалъ себя по широкой колодкѣ съ георгіевскими крестами, и тѣ нестройно звякнули у него на груди. — Бож-жа мой, сколько крови!.. А въ гражданскую!.. Братъ у меня единоутробный у Миронова остался, къ краснымъ служить пошелъ; значитъ, братъ на брата!.. И какъ въ Крыму, помните, корпусъ Жлобы мы окружили, рубились тады: отъ шеи и до самóй поясницы... Братъ, значитъ, на

брата... Что, ваше превосходительство, Богъ-ать все это видитъ?.. А что, не отольется наша эта кровь на ихъ, на дѣтяхъ нашихъ, невинныхъ?.. Поймутъ они насъ, или осудятъ наше все иройство, проклянутъ насъ за нашу лютую такую вражду?..

Молчалъ Акантовъ. Онъ вспоминалъ, какъ порубили у него знойнымъ лѣтнимъ вечеромъ роту дѣтей, какъ послѣ, въ деревенскомъ трактирѣ, рубили голову коммунисту, а, можетъ быть, и просто невиновному, случайному человѣку... Онъ тоже вспоминалъ всю кровь, и тѣми же мыслями, что и Чукаринъ, думалъ о Лизѣ.

У окна, нагнувъ темную головку, нахмуривъ черныя брови, мусоля въ маленькомъ рту карандашъ, шептала Варя:

— «О», «П», «р», «с», «т», «у», «ф», «х», «ц», «тше», «тште», «тшта»... О, какой трудный языкъ... Mon général, я никогда его не осилю...

Въ тишинѣ номера, чуть слышно, шепталъ на ухо Акантову Чукаринъ:

— Ваше превосходительство, ежли-бы теперь пойдтить домой?.. Тутъ, гутарили наши станичники, есть такой Союзъ возвращенія. Наши станичники туда ходили... Нюхались... Ить, поди?.. Разстрѣляють?..

— Разстрѣляютъ, Авдѣй Гавриловичъ.

— Я и самъ такъ располагаю, ваше превосходительство, что разстрѣляють... Ну, а ежели я съ дочкой, съ дитемъ, маленькой, невинной, пріѣду, съ сиротинушкой, ужли-жъ все одно разстрѣляють?..

— Разстрѣляютъ.

— Это точно. Отъ нихъ пощады не жди... Ить и мы ихъ не пощадили бы... И куда пойдешь? Писали мнѣ, ваше превосходительство, съ дома́. Давѣ ишшо писали... Курень мой начисто снесли, и званія его не оставили. Значитъ, кому-то онъ помѣшалъ. Дворъ ишшо въ гражданскую въ запустѣніе пришелъ, затравѣлъ, плетни позавалились... Ничего, значитъ, не осталóсь отъ родителева куреня. Жидъ, писали, на Дону начальствуетъ... Никогда раньше жида на Дону не было, съ того и стоялъ Донъ крѣпко... Д-да... не возвернешься. Въ

1920-мъ году какихъ казаковъ съ Лемноса французы обманомъ въ Одессу увезли, — слыхать, — кого позабили, кого заслали на самый, на Сѣверъ, въ Архангельскую губернію и въ Сибирь. Померли тамъ, слыхать, казаки...

Меркнутъ, гаснутъ Парижскія сумерки. Варя сложила букварь и тетрадку. Пора по домамъ. Mère supérieure отпустила до сумерокъ...

XI.

Варя выростала красавицей. Прежняя ея «кубастость» съ годами пропала, вылилась въ крѣпкую стройность и гибкость. На диво ладная выравнивалась дѣвочка, и еще потемнѣли и гуще и длиннѣе стали волосы, и красивыми, упругими змѣями мотались теперь по спинѣ.

Все рѣже и рѣже приходила она къ Акантову съ отцомъ. Некогда было. А когда являлась она, была еще молчаливѣе, и этимъ молчаніемъ своимъ сильно досаждала отцу.

— Ну, чего ты все молчишь, Варюшка?.. Вѣрите ли, ваше превосходительство, она и дома со мною все въ молчанку играетъ. Чисто нѣмая какая... Прошибиться въ какомъ словѣ боится... А ты, Варюшка, не боись. Я и самъ-то не дюжа ученый. Гутарь съ нами по домашнему. Я ейную начальницу просилъ, чтобы ее и Русскому учили. Ну, скажи, чему тебя учили...

— Histoire, géographie... еще эти, которые писаютъ, écrivains russes... *).

— Ну, во, во, — обрадовался Чукаринъ... — Ить ты мнѣ прошлый разъ правильно называла... Ну, назови генералу... Какіе же Русскіе писатели были?.. Какъ тебя учили?..

— Пусскинъ... Гоголь...

— Ну, вотъ... Отлично... Это, ить, она только васъ стѣсняется... Ну, дальше?

— Моголь... Распютинъ...

— Такъ я же тебя, Варюшка, поправлялъ... Чему ихъ

*) Исторія, географія.

тольки учатъ, ваше превосходительство!.. Конешно, я самъ малограмотный, ну, стало-быть, началъ я ее про Русскую исторію спрашивать, про великую войну, про Платова, — и чего несетъ! — и съ Дона, и съ моря, и не разберешь ничего... Все у насъ кнутъ и рабство... Казаки — опричники...

— Ты, папа, oprichnik, — смѣясь и тоненькимъ пальчикомъ тыкая въ грудь отца такъ, что звенѣли его кресты и медали, задорно, кокетливо сказала Варя. — Опришникъ!..

— Чисто съ нею и смѣхъ и горе. Ну, рази могу я на нее сердиться?.. Ужъ вы, ваше превосходительство, нашли бы свободную минуту когда, погутарили бы съ нею, разъяснили бы ей чистую правду, а то пріѣдетъ на Донъ — срамота одна: ничего-то она про насъ не знаетъ...

XII.

Съ пріѣздомъ Лизы, посѣщенія Чукарина и Вари стали еще болѣе рѣдкими. Лиза и Варя познакомились, но не подружились. Заговорили по-Русски. Чуткая Лиза сейчасъ же поняла, что Варя не говоритъ свободно на родномъ языкѣ, и перешла на французскій. Акантовъ изъ своей каморки прислушивался къ разговору. Разговоръ сталъ серьезнымъ, не дѣвичьимъ. Онѣ не ссорились, но въ чемъ-то не соглашались другъ съ другомъ. Потомъ замолчали, и Варя стала собираться уходить. Лиза ничего не сказала отцу о томъ, какое впечатлѣніе произвела на нее Варя, а Акантовъ уже зналъ, что, если Лиза чего не сказала, то и спрашивать ее объ этомъ не слѣдуетъ...

Наступила зима, — рѣдкое въ Парижѣ явленіе: выпалъ снѣгъ, — и на нѣсколько дней стали морозы. Акантовъ ожидалъ къ себѣ Чукарина съ Варей. Должно было состояться второе свиданіе съ Варей Лизы. Но Лиза собралась уходить.

— Ты куда же, Лиза? У насъ Чукарины будутъ...

— Прости, папа... У меня дѣло. Мы сговорились съ Натальей Петровной и Татушей, поѣхать вмѣстѣ. Работа налаживается. Платья, сдѣланныя по моимъ рисункамъ, очень понравились. Можетъ быть, гдѣ-нибудь устроимся...

— Въ воскресенье?

— Да, въ воскресенье, такъ сговорено.

— А нельзя это отмѣнить?

— Зачѣмъ, папа?

— Варя у насъ будетъ и Авдѣй Гавриловичъ.

— Ну, такъ въ чемъ же дѣло?..

— Видишь ли... Авдѣю Гавриловичу ты очень понравилась. Особенно то, что ты такъ хорошо говоришь по-Русски. Онъ очень просилъ меня устроить такъ, чтобы ты и Варя возможно чаще были вмѣстѣ, чтобы ты вліяла на Варю...

Лиза улыбнулась

— Думаю, что это ни къ чему... Мы говорили съ Варварой Авдѣевной .. По-французски, конечно. По-руссди оказалось невозможно... Ничего не выходитъ. Учить — можно... Но надо долго, и нужно, чтобы на это было желаніе самой Варвары Авдѣевны. А она этого не хочетъ... Совсѣмъ не хочетъ...

— Отецъ ея этого очень хочетъ.

— Папа... Мнѣ не хотѣлось тебѣ говорить... И боялась я, чтобы ты обо мнѣ чего-нибудь не подумалъ... Но Варвара Авдѣевна... Она — француженка... Па-ри-жанка... И мнѣ... Кромѣ всего этого, трудно быть съ нею... Она такъ несправедливо и невѣрно и, главное, гадко говоритъ про Германію. Убѣждать ее безполезно... Она просто не слушаетъ, и не вѣритъ; наши жизни разныя. У нея своя жизнь, а у меня — своя, вѣрнѣе — никакой...

Въ дешевенькой, потертой шубкѣ изъ фальшиваго леопарда и въ такой же шапочкѣ, привезенныхъ изъ Германіи, Лиза стояла у двери.

Глубоко взволнованный словами дочери, Акантовъ всталъ и, стоя противъ Лизы, сказалъ глухимъ голосомъ:

— Что же это будетъ, Лиза?.. Ты думаешь, какъ нѣмка, тяготѣешь къ Германіи... Варя — француженка... Парижанка... Что же будетъ?.. Когда вы всѣ вернетесь въ Россію?..

— Да... Если вернемся, — быстро и жестко сказала Лиза, открыла дверь и застучала башмачками по деревянной лѣстницѣ.

Почти сейчасъ же пришелъ Чукаринъ, безъ Вари.

— Здравія желаю, ваше превосходительство, — сказалъ онъ, пожимая руку Акантова. — Я къ вамъ покамѣстъ одинъ. Варюша припоздаетъ маленько. У меня ишшо и дѣльце до васъ имѣется... А Лизавета Егоровна ушли куда?.. Я повстрѣвался съ ними... Возвернутся, ай нѣтъ?..

Акантовъ не отвѣтилъ. Онъ видѣлъ, что Чукаринъ былъ озабоченъ и какъ-будто и печаленъ. Онъ былъ не въ формѣ, не въ обычной праздничной рубашкѣ, съ орденами и при погонахъ, а въ новомъ, сшитомъ у казачьяго портного, пиджакѣ, не ловко сидѣвшемъ на его могучихъ, широкихъ плечахъ...

— Ить, вотъ, какая у меня до васъ просьбица, — началъ онъ, и лицо его точно лакомъ покрылось. — Дочь у меня растетъ... Значитъ, по завѣту родительскому, надо-ть ей приданое готовить, жениха искать. Приданое — вотъ оно у меня, — и Чукаринъ, не торопясь, досталъ изъ бокового кармана большой пакетъ, завернутый въ газетную бумагу и аккуратно перевязанный бичевкой.

— Совѣтовали мнѣ, чтобы какія тамъ бумаги купить... Займы, тамъ, разные... Ну, только вѣры у меня къ нимъ нѣтъ... Жидовскія все это махинаціи. Старый я воробей, на мякинѣ меня не проведешь... А тутъ, вотъ, у меня приданое Варюшкѣ, въ американскихъ долларахъ: пятьсотъ долларовъ тутъ... Вотъ, и просьба моя въ томъ, чтобы вы взяли ихъ къ себѣ на сохраненіе. У васъ сохраннѣе будетъ, чѣмъ у меня...

Пока Акантовъ считалъ и пряталъ деньги въ несгораемую шкатулку, гдѣ хранилъ суммы своей организаціи, Чукаринъ говорилъ медленно и спокойно:

— У васъ дочь, ваше превосходительство, и у меня дочь растетъ. Большая забота... Нужно жениховъ искать, чтобы тѣ сватовъ засылали. А гдѣ женихи, гдѣ сваты, гдѣ весь старый, святой, дѣдами установлённый, обычай? На хуторѣ — кажнаго наскрозь знаешь. И сосѣднихъ хуторцовъ знаешь — у кого какая положенія. Знаешь, кто къ тебѣ за

невѣстой придетъ, кто сватовъ зашлетъ, товаръ твой смотрѣть... А тутъ?.. Одна антимонія, а не люди...

Чукаринъ помолчалъ, ожидая, не скажетъ ли что-нибудь Акантовъ, но тотъ молчалъ...

— Есть тутъ одинъ казачишка... Ну, и шустрый такой малецъ... Три года тому назадъ нашъ Донской корпусъ въ Сербіи окончилъ. Тамъ чего-то не поладилъ, сюда пріѣхалъ. Дюжа онъ мнѣ пондравился. И нашего, при томъ же, и Округа... Отецъ войскового старшину въ германскую выслужилъ, теперь на минахъ въ Болгаріи работаетъ. Сосѣдской станицы и хуторъ ихъ: и шестидесяти верстъ нѣтъ отъ нашего хутора.Тотъ, знаю, сватовъ безпремѣнно заслалъ бы... Не погнушался бы нами. Все, хотя и не офицерами мы были, а богато на Дону жили... Ну, да это, богатство-то наше, — Чукаринъ тяжело вздохнулъ, — чего тамъ вспоминать... Было и прошло и быльемъ поросло... Миша Безхлѣбновъ, того казачишку зовутъ... Анадысь собирались мы въ войсковой праздникъ: посмотрѣлъ я его. Вис-сѣлый такой казачишка... Пѣсни играетъ... Танцоръ... И съ лица гладкій. Сразу онъ, вотъ, какъ въ мое сердце вошелъ...

Чукаринъ замолчалъ, положилъ голову на руки, примолкъ, пригорюнился.

— Варя видала его? — спросилъ Акантовъ.

— Нѣтъ.. Куда-жъ?.. Не вышло... Не то оказалось... Пошелъ я, чтобы ближе его наблюсти... Въ ресторантѣ онъ служитъ, въ Русскомъ. Глянулъ на него... Во фракѣ... Ваше превосходительство, ить какъ это мнѣ горько стало: казакъ и — во фракѣ!.. Ить это... Въ станицѣ... Срамота... Тарелки носить... Хрянцузы сидять... Жиды... Онъ имъ рыбу подаетъ... Чиститъ ее имъ, услужаетъ... Салфетка бѣлая, накрахмаленная, подмышкой у его... Такъ мнѣ это больно стало... Какъ ножомъ бы по сердцу... Казакъ! Донской казакъ!.. Хрянцузу!.. Жиду!.. Съ салфеткой... Нѣтъ... Пущай и сватовъ Николай Михайловичъ Безхлѣбновъ ко мнѣ не засылаетъ... Какая же это кальера?.. Жидамъ услужаетъ!..

— Я видѣлъ Безхлѣбнова, — сказалъ Акантовъ. — Прелестный юноша. Вполнѣ пара вашей Варѣ. Очень хорошъ...

Чукаринъ поднялъ голову, прищурился, остро и пронзительно посмотрѣлъ на Акантова:

— Хорошъ-то, хорошъ... Да только не такого жениха моей Варѣ надобно...

— Свѣтъ не клиномъ сошелся, Авдѣй Гавриловичъ.

— Кабы дома́ то было — и точно — не клиномъ... А тутъ... Нѣтъ, ваше превосходительство, нѣтъ тутъ людей... Поглядѣлъ я. Этотъ хорошъ; вотъ какъ хорошъ, и отецъ у его генералъ, и самъ мѣсто хорошее имѣетъ, въ банкѣ японскомъ служитъ; чистое мѣсто... Ну, только... Француженку богатую ищетъ, съ «шато́мъ», аль-бо американку, чтобы сразу имѣніе, своя чтобы машина, по курортамъ разъѣзжать, въ Монте Карлу играть... Купчиху, альбо старую листократку ему надо. По дансингамъ ходитъ, срамные танцы танцуетъ, — такой пусть и сватовъ не засылаетъ... А бываетъ у меня... На Варьку глаза пялитъ, прицѣнивается... Слышалъ, что и Варюшка не безприданница... Конечно, безъ «шато́въ» какихъ, а квартирку въ двѣ комнаты купить всегда бы смогъ...

И опять замолчалъ Чукаринъ... И долго молчалъ, и заговорилъ тихимъ, печальнымъ голосомъ:

— А пуще всего, ваше превосходительство, страшитъ меня: ну, какъ хрянцузъ какой явится?.. Аль-бо — жидъ?.. Лакомы они очень на нашихъ-то дѣвокъ... Тады, — Чукаринъ махнулъ отчаянно рукой, — кажись, и кровинушки своей не пожалѣю... Прокляну...

Онъ всталъ:

— Прощенья прошу, ваше превосходительство, что задержалъ васъ глупыми своими разговорами. Ужъ очень тяжело у меня все это на сердцѣ залегло...

Прощаясь, Чукаринъ прищурилъ свои синіе глаза, искательно-ласково заглянулъ въ глаза Акантову и сказалъ:

— Ваше превосходительство, сегодня, какъ уговорёно, въ два часа у васъ урокъ исторіи. Очень я надѣялся, что Лизавета Егоровна будутъ... Ну, все одно... Я нарокомъ ухожу, пусть Варюшка съ вами побудетъ одна, стѣсняться не будетъ... А то она все меня боится... Очень я буду уже про-

сить васъ... Погутарьте вы съ нею по отцовски... Меня-то она не слухаетъ. Могётъ быть, что и не понимаетъ, какъ слѣдуетъ; васъ пойметъ и послушаетъ... Погутарьте съ нею обо всемъ... о вѣрѣ отцовской... о казакахъ... о славѣ нашей великой, Донской... Оберните сердце ея дѣвическое: вѣдь, воскъ оно, оберните въ сторону Тихаго Дона... Вотъ, какая у меня къ вамъ ишшо просьбица, ваше превосходительство...

Слезы блеснули въ прищуренныхъ глазахъ Чукарина, по полному, загорѣлому лицу сѣтью растянулись мелкія морщины, русые большіе усы приподнялись, сверкнули подъ ними крупные, бѣлые, чистые, ровные зубы.

— Одна она у меня, вся моя достояніе, казачка прирожоная, кровинушка моя... Прошу васъ, направьте вы ее...

— Постараюсь, — сказалъ Акантовъ.

Глухо прозвучалъ его голосъ. Сильно былъ онъ смущенъ. Своя дочь не шла у него изъ головы. Казалась трудной и невыполнимой данная ему казакомъ задача...

XIII.

Варя пришла съ большимъ опозданіемъ. Прекрасно одѣтая, въ длинномъ мѣховомъ манто серебристаго мѣха, въ такой же шапочкѣ, едва державшейся на макушкѣ ея головы, въ модной вуалькѣ, прикрывавшей только лобъ и глаза, она вошла оживленная и веселая. Она раскраснѣлась отъ мороза и стала еще красивѣе. Она была подмазана, и отъ нея пахло дорогими, тонкими духами, морозомъ и свѣжестью. Не снимая перчатки съ красивой руки, она присѣла въ кресло у окна, и заговорила быстро, быстро, по-французски, изящно картавя и грасируя. Акантовъ смотрѣлъ, какъ мелькали ея перламутровые зубы между маленькихъ пухлыхъ подкрашенныхъ губъ, и не успѣвалъ слѣдить за ея рѣчью, невольно любуясь ея красотою, молодостью, оживленіемъ и гибкими движеніями ея тѣла.

— Excusez, mon général, d'être en retard*), —

*) Простите меня, генералъ, что я опоздала.

начала Варя. Она разстегнула нарядную шубку, распахнула ее на груди и красивыми складками положила по бокамъ кресла. Подъ шубкой было дорогое платье, какого еще не видалъ на ней Акантовъ. Запахъ духовъ сталъ сильнѣе. — Мнѣ очень, очень трудно было сегодня поспѣть къ вамъ, général. Но отецъ непремѣнно хотѣлъ, чтобы я была у васъ, что вы мнѣ что-то должны сказать. Онъ былъ у васъ... Et bien, mon général, j'écoute... *).

Акантовъ, по-французски, какъ умѣлъ, сталъ говорить Варѣ, что ея отцу больно, что она такъ мало знаетъ свою Родину, такъ мало интересуется Россіей, плохо говоритъ по-Русски и не знаетъ Русской исторіи... Точно она не любитъ Россіи.

Варя съ досадою дернула плечами.

За окномъ, надъ покрытыми снѣгомъ пустырями, казавшимися особенно печальными сегодня, надвигались тихія зимнія сумерки. Въ домѣ напротивъ засвѣтилось окно. Изъ-за снѣга въ Парижѣ было тихо и городъ пѣлъ новыми, другими, нѣжными голосами. Промчался поѣздъ электрической дороги съ безстыдно ярко освѣщенными окнами вагоновъ, прошумѣлъ быстро несущимися колесами. Шумъ ихъ, смиряясь и стихая, умолкъ вдали. Полумракъ вошелъ въ комнату. Акантовъ хотѣлъ встать, пустить электричество. Варя, рукой въ перчаткѣ, изящнымъ жестомъ остановила его:

— Laissez... Laissez donc... Pas de lumière... Il n'en faut point, — быстро сказала она. Vous dites: mon père me prie... Да, я знаю. Онъ много теперь говоритъ со мною. Croyez, mon général, je l'aime bien fort et, je comprends vraiment que c'est à lui que je doit tout... Я все понимаю... Mais voila!.. Между нами всегда — ложь!.. Oui, oui, mon général, ложь! — дѣлая останавливающій жестъ рукой, повторила Варя. — Je m'en suis ouverte à la mère supérieure, qui s'est montrée indulgente. «Это неизбѣжно», сказала она, «вашъ отецъ — казакъ, вы — француженка»... Vous admettez, mon général, я не могу сказать правды отцу. Онъ

*) Итакъ, генералъ, я васъ слушаю...

не пойметъ меня, и осудитъ, а я не чувствую себя виноватой. Мы разные люди... C'est terrible, mon général, mais qu'y puis je faire?.. Онъ мнѣ говоритъ о stanitza, khoutor, kourjene, — tout ça des mots qui ne me disent rien... *). Я никогда ничего такого не видала. У меня — Paris!.. Oh, Paris! Vous vous rendez compte, mon général, de tout ce que peut représenter Paris pour une vraie parisienne...**) Я дѣлаю, что могу, mon général. Я хожу въ церковь, но мнѣ неловко, что мой отецъ надѣваетъ эти страшные мужицкіе сапоги, рубашку, и навѣшиваетъ кресты на старыхъ, вылинявшихъ ленточкахъ. Я боюсь, что мои знакомые увидятъ меня съ нимъ. C'est bien vilain d'avoir honte de son père, je m'en rends compte et sens que je suis fautive, mais je n'y peux rien. Nous sommes de deux espèces différentes. Il me parle de Platoff, de Souvaroff, mais en fait de héros, j'ai les miens: Napoléon et le maréchal Foch!.. ***).

— Pourquoi donc, Varia, ne cherchez-vous pas à apprendre a parler russe correctement?.. ****).

— О, это такъ трудно! Это ужасно, какой трудный языкъ. Mère supérieure говорила мнѣ, это — какъ китайскій...

Въ полутьмѣ, Варя встала, и, застегивая шубку, продолжала:

— И зачѣмъ?.. Зачѣмъ, mon général? Зачѣмъ? Мнѣ такъ хорошо во Франціи. Я люблю Францію... Парижъ... Почему я не могу быть счастлива въ Парижѣ?..

— Но вы — казачка...

— Prirojonaja kasatschka, какъ говоритъ мой отецъ, —

---

*) Оставьте, оставьте же... Не надо свѣта... Вы говорите, отецъ проситъ... Я люблю моего отца. Я его очень люблю. Я ему всѣмъ обязана... Я каялась начальницѣ, и она простила меня... Это ужасно, но что я могу подѣлать... Я не понимаю этихъ словъ...

**) Но, правда, генералъ, я же настоящая Парижанка.

***) Это гадко, стыдиться своего отца, я понимаю это, я виновата, но что я подѣлаю... Мы разные люди. Онъ мнѣ говоритъ про Платова и Суворова; у меня свои герои — Наполеонъ и маршалъ Фошъ!

****) — Почему, Варя, вы не старастесь научиться, какъ слѣдуетъ, говорить по-русски?

съ короткимъ смѣшкомъ сказала Варя, нервно пожала плечами и добавила серьезно и грустно. — Quelle bêtise... Au rèvoir, mon général... *), я должна спѣшить...

Акантовъ пустилъ электричество. Въ яркомъ свѣтѣ, видѣніемъ изъ какого-то иного міра, міра богатаго и пустого, картинкой моднаго журнала, стояла у двери Варя. Синіе глаза ея блистали молодымъ счастьемъ, темные волосы выбивались тугими блестящими косами изъ-подъ маленькой серебристо-сѣрой шапочки.

— Я васъ провожу, Варя...

Варя точно испугалась:

— О, ньэтъ, ньэтъ... Ни за что я вамъ это не позволяй, — по-Русски, настойчиво воскликнула она, крѣпко, по мужски, пожала руку Акантова и выбѣжала изъ комнаты Лизы.

Въ комнатѣ остался волнующій запахъ Вариныхъ духовъ, и все казалось Акантову, что онъ слышитъ Варинъ картавый, красивый французскій говоръ.

Акантовъ надѣлъ пальто и вышелъ на улицу. Въ серебряной ночи, засыпанная снѣгомъ, по Русскому, по провинціальному была тиха маленькая уличка. Никого не было на ней. Акантову показалось, что онъ увидалъ вдали, у выхода на проспектъ, стройную Варину фигурку. Варя сейчасъ же и исчезла за угломъ. Тамъ вдругъ загорѣлись яркимъ свѣтомъ автомобильные фонари, бросили лучи свѣта вдоль проспекта; большая, нарядная машина, медленно набирая скорость, проплыла по снѣгу, пересѣкая улицу...

Акантовъ тяжело вздохнулъ и тихо пошелъ по скрипучему снѣгу къ проспекту. Душно было ему въ морозную ночь. Онъ понялъ, что между старымъ Чукаринымъ и его дочерью — пропасть. Варя навсегда ушла отъ отца...

А его Лиза?..

XIV.

У Лизы была большая забота, что надѣть на тотъ «балъ», что устраивался дамскимъ комитетомъ, подъ предсѣдатель-

*) Какія глупости! До свиданія...

ствомъ генеральши Кусачевой, въ пользу воспитанниковъ Х-скаго училища. Отецъ сказалъ Варѣ, что вечеръ этотъ будетъ совсѣмъ особенный, что на немъ будетъ Великій Князь, будетъ цвѣтъ Русской эмиграціи, офицеры гвардейскихъ полковъ и тѣ немногіе иностранцы, которые сохранили дружественныя отношенія съ Русскими и въ пору ихъ несчастья. На вечерѣ будетъ музыкально-вокальное отдѣленіе, гдѣ будетъ пѣть Надежда Васильевна Плевицкая и декламировать стихи Дуся Королева.

Про Дусю Королеву эти дни Наталья Петровна прожужжала Лизѣ всѣ уши:

— Дуся Королева насъ устраиваетъ въ Америку... Я обо всемъ съ нею договорилась... Ангелъ Божій, не женщина... И связи!.. Она все можетъ... Все ей доступно... И министры, и депутаты, и чиновники министерствъ... Тутъ мы ничего не добьемся, только силы порастратимъ... Сколько тутъ всякихъ стѣсненій. Работать безъ «карточки» мы не можемъ, а карточки съ разрѣшеніемъ на работу намъ не даютъ... Вотъ, мудрый Эдипъ, разрѣши, какъ это выходитъ!.. Тутъ насъ просто голодомъ задавятъ, а въ Америкѣ, Лиза, съ вашимъ талантомъ, съ нашими умѣніемъ и работоспособностью, мы милліоны наживемъ... Ей-Богу, правда... Сначала вы оттуда будете помогать отцу, а потомъ и его выпишемъ: будетъ онъ наши работы развозить по заказчикамъ... Генералъ! — это въ Америкѣ даже понравится... Тамъ Великая Княгиня какъ хорошо работаетъ!.. На балу все рѣшится. Давайте вашъ паспортъ, — Дуся намъ всѣ нужныя визы на немъ устроитъ...

У Лизы было прелестное платье, привезенное изъ Берлина, Русской портнихой тамъ шитое, то самое, въ которомъ она была на прощальномъ вечерѣ у барона фонъ Альвенберга. Но у него была обнаженная спина, и Лиза понимала, что показаться въ такомъ видѣ при отцѣ — просто невозможно. Посовѣтовавшись съ Натальей Петровной, Лиза перекроила это платье, сдѣлала подходящую вставку, оставила обнаженными только грудь до ключицъ и шею; вышло не

такъ нарядно, но вполнѣ прилично, красиво и оригинально. Наталья Петровна и Татуша одобрили платье. Въ немъ и рѣшила Лиза ѣхать.

По своей Бійянкурской квартирѣ, по тому, какъ устроились въ Парижѣ Февралевы, по пріятелямъ отца: казаку Чукарину, доктору Баклагину и шоферу Николаю Семеновичу, Лиза ничего ни нарядаго, ни блестящаго не ожидала отъ бала: «бѣженскій балъ», и только... Отецъ ѣхалъ на балъ — въ пиджакѣ!.. Лиза знала, что у ея отца не было смокинга...

Будетъ что-нибудь сѣренькое, эмигрантское, бѣженское. Жалкое и отнюдь не волнующее...

Но, когда свернули въ темноватую улицу, между садовъ, гдѣ помѣщалась та вилла, гдѣ будетъ балъ, и Лиза увидала, что улица по обѣимъ сторонамъ заставлена автомобилями-такси, когда вошла она на ярко-освѣщенное крыльцо и увидала свѣтъ, пробивающійся сквозь прорѣзы ставень большихъ оконъ, почувствовала, что сильнѣе забилось ея сердце и краска прилила къ ея лицу такъ, что уши загорѣлись...

Красивый, ловкій юноша въ Русской рубашкѣ, подпоясанной ремешкомъ, въ высокихъ сапогахъ, помогъ раздѣться Лизѣ и Февралевымъ, пріѣхавшимъ вмѣстѣ съ Акантовыми, принялъ ихъ шляпки и шубки и выдалъ номерокъ.

Черезъ открытую дверь, Лиза увидала много свѣта, много народа, и Лизѣ показалось, что военный оркестръ игралъ маршъ изъ какой-то оперы.

— Великій Князь уже прибылъ, — сказалъ на ухо отецъ Лизѣ, и, сжимая ея руку повыше локтя, повелъ въ залу.

Маршъ игралъ грамофонъ. Народа было не такъ уже много. Залъ былъ невеликъ, потому и казалось, что много народа. Надъ головами стоящихъ гостей Лиза видѣла ярко освѣщенныя тремя электрическими люстрами стѣны, увѣшенныя портретами и картинами въ золотыхъ рамахъ. Все тутъ было добротное, настоящее, не рыночное. Какіе-то генералы, въ эполетахъ и пестрыхъ мундирахъ, въ сѣдыхъ усахъ, бакенбардахъ и бородахъ, смотрѣли со стѣнъ. Лиза

увидала еще верхъ громадной батальной картины, небо, деревья, холмы, войска по нимъ и пушечный дымъ...

Они остановились у стѣны. Тамъ былъ высокій шкафъ, и въ немъ, за стеклянными стѣнками, Лиза увидѣла много стариннаго, художественной работы, серебра. Все говорило о чемъ-то богатомъ, славномъ, быломъ, о чемъ такъ любилъ разсказывать Лизѣ отецъ, и чему Лиза плохо вѣрила.

Залъ былъ заставленъ рядами стульевъ и, когда гости стали садиться, Лиза окончательно разсмотрѣла все то, что было кругомъ.

Крыльями старинной славы повѣяло на Лизу. Душа, воспитанная въ матеріализмѣ Запада, почуяла непонятное дуновеніе иныхъ силъ, силъ великаго прошлаго, и смутилась. Залъ былъ, какъ музей. Сколько въ немъ было реликвій, старины, золота, серебра, чепраковъ, густо расшитыхъ золотомъ, старыхъ ружей, пикъ, значковъ, знаменъ, воспоминаній побѣдъ и славы...

Отецъ показалъ Лизѣ Великаго Князя... Лиза не имѣла понятія, что такое «великій князь». Она никогда не видѣла такихъ особъ, и читала о нихъ только въ исторіи. Съ любопытствомъ, сама удивляясь охватившему ее волненію, смотрѣла она на красиваго, статнаго, безукоризненно одѣтаго въ смокингъ человѣка, къ которому почтительно подошелъ ея отецъ.

Думала Лиза: «А какъ подошла бы я сама къ Великому Князю?». И сознавалась, что подошла бы, волнуясь, съ сильно бьющимся сердцемъ, что отвѣсила бы низкій поклонъ, и не сразу нашлась бы, что сказать... Она — докторъ философіи...

Впереди, между флаговъ, знаменъ, значковъ и ружейныхъ пирамидъ, у задрапированнаго сукномъ окна, была невысокая эстрада. На ней стояло піанино; старый піанистъ, — вернувшійся къ Лизѣ, Акантовъ шепнулъ дочери, что піанистъ этотъ почтенный генералъ, — сѣлъ за піанино.

И сейчасъ же въ залѣ дружно стали апплодировать.

Изъ боковой двери на эстраду вышла декольтированная высокая женщина, съ темными густыми волосами. Она была полная, не-молодая, въ томъ возрастѣ, когда писаться въ старухи еще рано, а молодость уже прошумѣла, ушла въ далекое прошлое, — пѣвица Плевицкая.

Она переглянулась съ аккомпаніаторомъ, привѣтливо и широко улыбнулась публикѣ, и стала, опустивъ руки. Зазвенѣли струны рояля. Точно упали по листьямъ капли лѣтняго дождя. Что-то простое, несложное, пропѣли подъ клавишами струны.

Сильный, немного усталый голосъ, все еще свѣжій, далеко несущійся, понесся по залу. Залъ встрепенулся и застылъ въ молитвенной тишинѣ:

— По старой Калужской дорогѣ,
На сорокъ девятой верстѣ,
Стоитъ при долинѣ широкой
Разбитая громомъ сосна...

Акантовъ сидѣлъ рядомъ съ дочерью. Было тѣсно, и ихъ плечи касались. Ихъ головы были близко, близко, а такъ по разному воспринимали они пѣніе.

Акантовъ закрылъ глаза и опустилъ голову. Онъ видѣлъ все то, о чемъ выразительно пѣла пѣвица. Онъ видѣлъ боръ и по нему разбитую колеями дорогу. Онъ видѣлъ длинныя, темныя лужи, съ глубокими промоинами колей, обрамленныя травою и мелкою порослью березъ и осинъ. Онъ видѣлъ высокіе сосны и дубы, темень лѣса, и какъ выходила дорога изъ лѣса на широкую долину между полей. Онъ видѣлъ покосившійся, бѣлый, въ выцвѣлыхъ, запыленныхъ черныхъ полосахъ, деревянный столбъ съ кубышкой на верху и съ цифрой сорокъ восемь на ней. Онъ видѣлъ и корявый красносизый стволъ разбитой громомъ сосны, пустыню долины, по которой шуршитъ по засохшимъ травамъ знойный осенній вѣтеръ. Онъ видѣлъ, какъ качаются на вѣтру колючіе будяки, растущіе по краю широкаго шляха, какъ вѣтеръ завѣваетъ пыльные, скучные смерчи, какъ несетъ по воздуху длинную паутинку и гонитъ сѣрое «перекати поле» по низ-

кой стернѣ. Онъ слышалъ всѣ запахи Русской земли, черноземной пыли, полыни и хлѣбнаго зерна и мяты. Онъ видѣлъ Россію...

— Шла лѣсомъ, шла темнымъ, бабенка,
Молитву творила она.
Въ рукахъ эта баба ребенка,
Малютку грудного несла...

Совсѣмъ по иному воспринимала пѣсню Лиза. Въ ея понятіе не входило то, что разсказывала пѣвица... Лиза видѣла черныя, прямыя, гудрономъ залитыя дороги-аллеи, обсаженныя деревьями, частые указатели, то съ номерами, то съ треугольниками, то съ рѣшетками, желтыя доски съ черными названіями селеній, уютные городки, мѣстечки, деревни... Видѣла Лиза и «бабенку»... Бабенка была въ городской шляпкѣ, изъ-подъ полей которой выбились свѣтлые завитки волосъ; она катила на велосипедѣ, бодро педалируя толстыми, крѣпкими ногами. Передъ нею, въ корзиночкѣ, прикрѣпленной къ рулю, сидѣлъ ребенокъ въ вѣнкѣ изъ пестрыхъ цвѣтовъ и улыбался матери ясными, синими глазами...

И лѣсъ видѣла Лиза — тщательно расчищенный, съ убранными сучьями валежника, съ оранжевой фольгой прямыхъ сосновыхъ стволомъ; черезъ лѣсъ, широкой лентой, въ два пути проложенъ — гордость Германіи, сверкающій свѣжимъ настиломъ — автобанъ... По нему стремительно несутся автомобили, грузовики, мотоциклетки...

Лиза покосилась на отца. Тотъ низко склонилъ голову и чуть кивалъ въ тактъ пѣнія головой...

«Сейчасъ заплачетъ», — подумала Лиза.

Акантовъ не заплакалъ. Онъ слушалъ и думалъ: «Все кровь... всегда и вездѣ на Руси кровь... Разбои, убійства, грабежи... войны... И теперь, какъ тогда, и вездѣ теперь, какъ на старой Калужской дорогѣ, на сорокъ пятой верстѣ... Господи, когда помилуешь Ты ту страну, гдѣ, какъ мы вѣримъ, обитаетъ Мать Твоего Сына? Не потому ли Она тамъ и обитаетъ, что больше всего Она тамъ нужна, чтобы усмирить и утишить кровавыя страсти лихого народа?..».

Рукоплесканія прервали мысли Акантова. Кругомъ него кричали, топая ногами:

— Замело тебя снѣгомъ, Россія...

— Да, развѣ, господа, не надоѣло?.. — съ тихимъ упрекомъ сказала пѣвица, — сколько разовъ пѣто и перепѣто...

Еще настойчивѣе стали кричать:

— Замело тебя снѣгомъ!!! Замело!.. Замело!..

— Вотъ, для нихъ спойте, для молодежи нашей!..

— Она и снѣга-то настоящаго не видала!..

Звучный голосъ, съ трещинкой, съ надрывцемъ, понесся по залу. Точно запѣла въ телеграфныхъ проводахъ вьюга зимнюю суровую пѣсню, зашуршала по снѣгу стеклянной хрупкой поземкой, застучала досками гнилой веревкой завязанныхъ деревенскихъ ставень:

— Замело тебя снѣгомъ, Россія,
Запуржило сѣдою пургой,
И печальные вѣтры степные
Панихиду поютъ надъ тобой...

Прозрачная слеза показалась изъ прикрытыхъ глазъ Акантова, наполнилась и тихо упала на бортъ тщательно вытюженнаго Лизой чернаго пиджака...

Плевицкую смѣнила Дуся Королева.

Она царила въ Русскомъ Парижѣ въ этомъ сезонѣ. Она столько добра сѣяла кругомъ, такъ широко помогала, такъ привлекала къ себѣ сердца, что ее встрѣтили почти такими же дружными рукоплесканіями, какъ и всѣмъ хорошо знакомую и всѣми любимую и уважаемую пѣвицу Плевицкую.

Дуся вышла въ Русскомъ костюмѣ. Широкая, полная, костистая, настоящая Русская баба стояла передъ заломъ. Накрашенная, съ подведенными глазами, въ свѣтѣ, падавшемъ на нее сверху, она показалась Акантову много старше, чѣмъ казалась въ Берлинѣ, и опять странно напомнила Могилевскую...

Должно быть, та же мысль о Могилевской пришла въ го-

лову и доктору Баклагину. Тотъ неслышными шагами подошелъ сзади къ Акантову.

Акантовъ потѣснился на стулѣ, потѣснилъ Лизу, и Баклагинъ сѣлъ на краю стула подлѣ Акантова.

Тотъ же колдовской голосъ, какимъ читала Дуся въ Берлинѣ, и тотъ же голосъ, что раздавался въ трактирѣ подлѣ станціи, когда читала «Молитву офицера» Магда Могилевская, раздался въ затихшемъ залѣ:

— Мы — сѣрыя птицы. Мы — птицы печали...
Мы пѣсни страданья, — однѣ можемъ пѣть...
Мы здѣсь... на чужбинѣ... Съ гнѣзда насъ согнали...
Намъ н е к у д а — дальше летѣть...

Тихіе вздохи легкимъ стономъ прошуршали по залу.

Баклагинъ нагнулся къ уху Акантова и прошепталъ:

— Вы, навѣрно, подумали: она?.. Нѣтъ!.. Не она... Все-таки такъ не поддѣлаешь, не помолодѣешь... И знаете, кто она?..

Баклагинъ замолчалъ, прислушиваясь къ ясному, четкому чтенію:

— Вернитесь, родные!.. И вновь наша стая
Слетится изъ дали на зовъ...
Мы ждемъ тотъ призывъ... Но... Безбрежныя дали
Несутъ лишь туманъ намъ сырой...

— Она... Жидовка... Увѣряю васъ, — до боли сжимая руку Акантова, прошепталъ Баклагинъ.

Дуся кончала съ жуткою, безпредѣльною печалью:

— Мы сѣрыя птицы... Мы — птицы печали...
Съ усталою... Русской душой... *).

XV.

Вальсъ... Конечно, это былъ вальсъ. Старый, милый, нѣмецкій вальсъ, какой столько разъ играли въ нѣмецкихъ залахъ «Diele».

*) Стихотвореніе Князя Ѳ. Н. Касаткина-Ростовскаго.

Его заиграли раззмѣстившіеся на эстрадѣ пять музыкантовъ Русскаго джазъ-банда. Прислуга... Акантовъ объяснилъ дочери, что всѣ эти люди въ скромныхъ, черныхъ пиджакахъ и Русскихъ рубашкахъ, были офицеры или юнкера, по собственному желанію, чтобы лучше устроить балъ, взявшіе на себя обязанности прислуги, — проворно разставила стулья вдоль стѣнъ и освободила мѣсто для танцевъ.

Лиза танцовала съ шоффероmъ Николаемъ Семеновичемъ. Они же и начали танцы. За ними въ залъ вступила очень еще молодая барышня, почти дѣвочка, хорошенькая блондинка съ длинными, узкими, мечтательными глазами и красивыми локонами волосъ, вьющимися за спиной. Пошла и Татуша съ плотнымъ, лысѣющимъ кавалеромъ въ смокингѣ.

Лиза хорошо танцовала, и знала это. Она любила танцы. Ея кавалеръ оказался искуснымъ танцоромъ, и Лиза радостно улыбалась. Со знаменъ и значковъ, съ ружей и старыхъ киверовъ, съ картинъ и портретовъ, на Лизу смотрѣла Русская слава. Еще ни разу не испытанное Лизой, чувство національной гордости наплывало на нее, сердце замирало въ неясномъ томленіи. Лизѣ казалось, что здѣсь, въ этомъ залѣ, между этими мало ей знакомыми людьми, подъ осѣненіемъ Русской славы, она попала домой.

Она кончила свой туръ съ Николаемъ Семеновичемъ; ей сейчасъ же подвели другого кавалера, — она была замѣчена, — она не сидѣла, и это тоже было пріятно и согрѣвало сердце радостью успѣха. Она подумала о Куртѣ: «Вотъ тутъ посмотрѣлъ бы онъ на меня и на всѣхъ насъ, онъ не сталъ бы смѣяться надъ «бѣженцами», не сумѣвшими спасти своей Родины и побѣдить»...

И какія были безукоризненныя манеры!..

— Mademoiselle! — слышала она вокругъ себя... — Madame!.. — красивая французская рѣчь мѣшалась съ Русской...

Еще и еще танцовала Лиза: съ секретаремъ французскаго посольства еще въ Императорской Россіи, такъ хорошо говорившемъ про Россію и про Русскихъ, а потомъ съ

милымъ полковникомъ, кавказскимъ казакомъ, тѣмъ самымъ, что оклеивалъ обоями ихъ квартиру. И Лизѣ было забавно смѣшеніе положеній и профессій...

Отецъ любовался Лизой, и Лиза это чувствовала. Когда кончился вальсъ, и гости парами ходили по залу, Наталья Петровна, сидѣвшая у самой эстрады съ Дусей Королевой, поманила Лизу къ себѣ:

— Садитесь, Лиза, къ намъ... Вотъ, Евдокія Помпеевна, позвольте познакомить васъ и со второй моей помощницей... А художница!.. Такія разъ въ сто лѣтъ родятся — та-а-лантъ! Поблагодарите, Лиза, милую нашу покровительницу, очаровательную Дусю!.. Все готово! На всѣхъ нашихъ паспортахъ поставлены всѣ нужныя визы; въѣздъ и проживаніе въ Америкѣ намъ разрѣшены, и даже мѣсто у насъ есть. Мы будемъ работать въ торговомъ домѣ Брухманъ и Ко, работающемъ на самыя богатыя семьи Нью-Іорка...

— Вотъ, Лизанька, въ добрый часъ со молитовкой, и собирайтесь съ Натальей Петровной, — сладкимъ голосомъ сказала Дуся, пристально вглядываясь въ Лизу и такъ разсматривая ее, что Лиза покраснѣла. — На будущей недѣлѣ и пароходъ есть хорошій, не очень большой, но такой уютненькій, я вамъ на немъ всѣмъ тремъ каютку даровую устрою... Ладненько и спокойненько доѣдете...

— Какая вы прелесть, Евдокія Помпеевна, — встряхивая коротко постриженными волосами, восторженно воскликнула Наталья Петровна. — Вы необыкновенная женщина... Сколько добра, Боже мой, сколько добра вы сѣете кругомъ себя!..

— Ну, что-о вы, — протянула Дуся. — Я такъ рада оказать помощь моимъ соотечественникамъ. Если я могу...

Оркестръ заигралъ танго... Волнующіе, влекущіе, раздражающіе, плѣнительные звуки понеслись по залу. Николай Семеновичъ точно поплылъ, шаркая ногами, къ Лизѣ; та протянула ему руки, и они стали выступать въ танго...

Теперь Лизѣ не хотѣлось, чтобы отецъ видѣлъ ее въ этомъ танцѣ, Лиза знала, что отецъ назвалъ эти танцы безстыдными...

XVI.

Акантовъ не видѣлъ дочери. Еще не кончили танцовать вальсъ, какъ къ нему подошелъ высокій лысый старикъ въ пенснэ, его бывшій корпусный командиръ, генералъ Атаренко, и, протягивая ему карту, сказалъ:

— Егоръ Ивановичъ, у насъ четвертаго партнера не хватаетъ для бриджа... Пожалуйте...

Въ карточной, за полупритворенной дверью съ портьерой, было тихо. Рѣдко, негромкими голосами, переговаривались игроки. Съ тихимъ шелестомъ падали сдаваемыя карты. Играли на шести столахъ. Въ самой глубинѣ Великій Князь игралъ съ красивымъ генераломъ въ смокингѣ. У генерала были густые сѣдые волосы и длинные «гусарскіе» усы. Ихъ партнерами были полная пожилая дама и очень худой человѣкъ въ очкахъ.

Какъ только Акантовъ усѣлся и началъ игру, къ ихъ столу подошелъ генералъ Гвоздиковъ и сталъ за стуломъ Акантова:

— Я вамъ не мѣшаю... — сказалъ онъ, и сталъ слѣдить за игрой.

Сквозь полупритворенную дверь доносились изъ зала звуки музыки. Играли танго, потомъ фоксъ-тротъ. Ладно, въ тактъ, пристукивали ноги танцующихъ, и въ напряженной тишинѣ карточной комнаты эти звуки казались Акантову далекими и чужими. Акантовъ любилъ бриджъ, но, по бѣдности и усталости послѣ заводской работы, ему приходилось рѣдко играть. Онъ ушелъ въ игру. Сквозь соображенія ходовъ, онъ смутно слышалъ, какъ снова заиграли танго и зашаркали ноги танцующихъ.

Кто-то отъ двери шопотомъ обозвалъ:

— Ваше превосходительство...

Гвоздиковъ сказалъ:

— Егоръ Ивановичъ, къ вамъ человѣкъ...

Акантовъ обернулся. Въ дверяхъ стоялъ высокій, стройный молодецъ въ шараварахъ и высокихъ сапогахъ, въ Рус-

ской рубашкѣ; Акантовъ зналъ его: Миша Безхлѣбновъ... Онъ подавалъ Акантову знаки, прося его подойти.

— Простите, господа, — сказалъ Акантовъ, — разрѣшите Гвоздикову доиграть за меня. Я сейчасъ, узнаю только, въ чемъ дѣло...

Онъ подошелъ къ двери:

— Что случилось, Миша?

Они стояли у тяжелой портьеры, ею отдѣленные отъ играющихъ. Въ полуоткрытую дверь была слышна музыка и видны танцующіе.

— Ваше превосходительство, чистая бѣда, — взволнованно и торопливо шепталъ Миша. — Варвара Авдѣевна сюда пріѣхали...

— Какая Варвара Авдѣевна?

— Чукаринская дочка, ваше превосходительство... И волосы у нея острижены... И сама съ хахалемъ своимъ... И Авдѣй Гавриловичъ тутъ...

— Какимъ хахалемъ? — хмуря брови, спросилъ Акантовъ. Онъ еще ничего не понималъ.

— Женихъ ея... Варвара Авдѣевна замужъ выходятъ... Черезъ недѣлю въ мэріи подписываться будутъ. Французъ ея женихъ... Богатый, страсть... Сейчасъ на своей машинѣ пріѣхали... «Эспано», — послѣдняя модель нынѣшняго года... Каросери такое, что просто ума потрясеніе... Да, главное самое: волосы обрѣзала... Вѣдь, это...

— Ну?..

— Да отецъ, говорю вамъ, ваше превосходительство, здѣсь. Если увидятъ, не постѣсняются: такой скандалъ поднимутъ. Бѣда!.. Онъ убить можетъ... Такой человѣкъ, первобытный... Вы Авдѣя Гавриловича не знаете... Стараго режима человѣкъ. Онъ этого сраму не снесетъ. И опять же, дочь до страсти любитъ... Вы, ваше превосходительство, пошли бы къ Авдѣю Гавриловичу. Онъ васъ послушаетъ. Увели бы его куда-нибудь, чтобы только не увидѣлъ дочери... Я какъ увидалъ, кто къ намъ пріѣхалъ, и гардеробъ бросилъ, на кухню Авдѣя Гавриловича по темной лѣстничкѣ провелъ, на

кухнѣ станичникъ его поваромъ... А только боюсь, ну, какъ выйдутъ, танцы посмотрѣть, музыку послушать... Старикъ это любитъ... Чистая бѣда...

Акантовъ шире открылъ дверь и заглянулъ въ залъ.

Оркестръ игралъ Аргентинское танго. Рыдала скрипка, ворча, по-негритянски, вылъ клаксонъ. Что-то дикое и страшное показалось Акантову въ музыкѣ.

Танцовали двѣ пары. Небрежно, съ какимъ-то высокимъ, лысымъ господиномъ, переступала Лиза. Акантову стало стыдно и противно за дочь. Все не могъ онъ привыкнуть къ циничнымъ и безстыднымъ движеніямъ новыхъ танцевъ.

Въ другой парѣ шла Варя.

Съ остриженными сзади коротко волосами, съ колбасками черныхъ локоновъ на темени, подкрашенная коричневой модной краской, съ подведенными пунцовымъ сердечкомъ губами, съ огнемъ задора горящими синими глазами, высокая, тонкая, гибкая, стройная, съ крошечными ножками, со спиной, до неприличія обнаженной, съ руками въ браслетахъ, она вызывающей красотой своей обратила вниманіе всего зала. Ее велъ въ танцѣ молодой французъ во фракѣ, въ штанахъ съ атласнымъ лампасомъ, высокій, тонкій, какъ и Варя, съ полнымъ, наглымъ, самоувѣреннымъ лицомъ, съ синими щеками; онъ облапилъ Варю и танцовалъ съ нею, какъ танцуютъ танго артисты въ «варьетэ»...

Эта пара заколдовала Акантова. Онъ не могъ оторвать глазъ отъ нея. Въ ней было то гнилое, «европейское», чего не выносилъ Акантовъ. Ничего предосудительнаго съ точки зрѣнія теперешнихъ приличій, но какое циничное!..

Они кончили танцовать, и Варя, подъ руку съ французомъ, подошла къ буфету, гдѣ продавали шампанское. Они взяли по бокалу; Варя «со значеніемъ» подняла свой и осушила его медленными глотками. Потомъ однѣми губами сказала что-то своему кавалеру, и тотъ досталъ бумажникъ и подалъ его Варѣ. Варя вынула пестрый пятисотенный билетъ и небрежно кинула его на тарелку. Они

сейчасъ же и вышли. Точно для того только и пріѣзжали, чтобы показаться передъ всѣми...

— Идемте, ваше превосходительство, — съ тревогой въ голосѣ шепталъ Миша.

«Зачѣмъ», — думалъ Акантовъ, — «зачѣмъ Варя дѣлаетъ это?.. Кому и что хочетъ показать она?.. Неужели же она, зная, что отецъ ея будетъ здѣсь, ему хотѣла показаться во всей своей красотѣ и волѣ?.. Неуёмная, буйная отцовская кровь заговорила въ ней. Какъ Авдѣй Гавриловичъ плылъ не по теченію, но всегда противъ теченія, работалъ въ неурочные часы, пёръ, куда хотѣлъ, презирая товарищей-французовъ, ихъ правила и законы, по своему ломая жизнь, имѣя одну цѣль: вернуться домой, на Донъ, богатымъ и съ богатою, образованною дочерью, какъ онъ плевалъ на все новое и не хотѣлъ видѣть его, и думалъ только о старинѣ, о сватахъ, которые пріѣдутъ къ нему за дочерью, и какъ онъ будетъ ломаться передъ ними и хвастать образованіемъ дочери, — такъ и Варя, ставъ француженкой, захмелѣла отъ парижской отравы, наплевала на старые корни, и, захмелѣвъ, рѣшила загулять смѣло, отчаянно, лихо, по-казачьи!.. Не думая о томъ, что будетъ изъ этого потомъ, но наслаждаясь тѣмъ, что есть...».

Такъ, потерявшая стыдъ казачка, надѣнетъ лучшее платье, шелковую, пеструю юбку въ сборкахъ, разукраситъ кофту лентами и монистами, вдѣнетъ въ уши тяжелыя серьги, заплететъ тугія косы, вѣнкомъ украситъ голову, и, хмельная отъ счастья, отъ задора, обниметъ своего любушку и мчится въ бричкѣ по станичной улицѣ, наплевавъ на отца и мать... Что ей ея срамъ?!. Знай нашихъ! Люблю, и все тутъ!.. Гуляю, пока молода и прекрасна, пока любушка, кохаемая и пѣстуемая женихомъ, а не жена, подневольная работница, что первая встаетъ въ куренѣ, чтобы вздуть огонь въ печи и готовить хлѣба, что первая выйдетъ на базы кормить птицу и животину, и послѣдняя ляжетъ, разувъ загулявшаго мужа...

Съ трудомъ оторвалъ глаза Акантовъ отъ Вари и пошелъ за Мишей, по черному ходу, на кухню...

XVII.

На кухнѣ, за кухоннымъ столомъ, сидѣли поваръ въ бѣломъ колпакѣ и фартукѣ и Авдѣй Гавриловичъ въ форменной рубахѣ, съ крестами и медалями. Передъ Авдѣемъ Гавриловичемъ стоялъ нетронутый стаканъ краснаго вина.

Уже по бурому лицу, съ выпученными, растерянными, синими глазами и налитыми кровью бѣлками, Акантовъ понялъ, что Чукаринъ видѣлъ дочь.

Авдѣй Гавриловичъ всталъ, тяжело опираясь о столъ, пошелъ навстрѣчу Акантову и сказалъ глубокимъ, за душу хватающимъ голосомъ:

— Пойдемъ, ваше превосходительство.

Онъ взялъ Акантова подъ руку, и они вышли боковымъ ходомъ, черезъ палисадникъ, на улицу.

Была Парижская зимняя ночь. Должно быть, недавно прошелъ небольшой, мелкій, холодный дождь. Густой туманъ упалъ на землю. Длинною, непрерывной вереницей вдоль узкой панели стояли черные автомобили такси. Чуть слышно гремѣлъ за рѣкой городъ: пѣлъ ночную пѣсню...

Было сыро и холодно. Акантовъ былъ въ одномъ пиджакѣ, Чукаринъ — въ одной рубашкѣ; оба — съ непокрытыми головами. Они не замѣчали холода. Въ одномъ шла страшная внутренняя душевная работа, и буйное біеніе его взволнованнаго сердца передавалось другому.

Чукаринъ крѣпко держалъ за руку, выше локтя Акантова и бережно велъ его по узкой панели пригороднаго мѣстечка, мимо уснувшихъ домовъ со слѣпыми, холодными окнами, со спущенными ставнями, мимо палисадниковъ съ голыми вѣтвями деревьевъ и кустовъ, откуда падали имъ на головы тяжелыя, холодныя капли.

Въ туманѣ, по мосту черезъ рѣку пронесся поздній поѣздъ электрической дороги, проблиставъ ярко и весело окнами пустыхъ вагоновъ. Улица полого спускалась къ рѣкѣ...

— Сраму-то!.. Сраму-то сколько!.. — глухимъ голосомъ сказалъ, наконецъ, Чукаринъ.

Его горячее дыханіе донеслось до Акантова. Въ немъ не было ни водочнаго, ни виннаго духа, и то, что Чукаринъ былъ совсѣмъ трезвъ, было страшно.

— Ить это, какъ сказать, ваше превосходительство... У насъ, ежели хвостъ коню обрѣзать, такъ и то какой позоръ считается!.. А тутъ?!.

Чукаринъ махнулъ съ отчаяніемъ рукой:

— Дѣвка косы себѣ обрѣзала...

— Это мода нынче такая, — тихо сказалъ Акантовъ.

— Мода!!.

Чукаринъ рѣзко остановился и остановилъ Акантова.

— Твоя, ваше превосходительство, волосъ, небось, не обрѣзала. Здѣшняя полковница съ косами, всѣ, которыя себя уважающія — съ косами... А эта... Варюшка!.. Да что же это?!. Да рази же я для нея чего не жалѣлъ?!.

— Старая Февралева обрѣзала и ея дочь тоже...

— Ты меня, ваше превосходительство, не учи!.. Не сепеси!.. Та старуха... Кому она надобная?..

— Ваша дочь... — началъ, было, Акантовъ, но Чукаринъ перебилъ его. Онъ дико зарычалъ:

— До-о-очь!.. У меня нѣтъ дочери!.. — Чукаринъ обѣими руками схватилъ Акантова за руки. — Курва мнѣ не дочь!.. Прэститутка мнѣ не дочь!..

— Ну, полноте, Авдѣй Гавриловичъ... Зачѣмъ такъ говорить?.. Варя честная дѣвушка... Мнѣ говорили, она замужъ выходитъ...

— За хрянцуза, — съ лютымъ презрѣніемъ прохрипѣлъ Чукаринъ. — За хрянцуза!..

— Чѣмъ она виновата?.. Во Франціи живетъ, во французскомъ пансіонѣ воспитывалась... Полюбила француза... Противъ сердца не устоишь...

— Чѣмъ виноватая, говорите, ваше превосходительство... А што она меня, отца своего, спросила о чемъ?.. Пришла, сказала: «благословите», молъ, «батюшка, на законный бракъ»... Ничего такого промежъ насъ не было. Ничего она не спросила... Что она, въ церкви вѣнчаться будетъ?..

— Во Франціи этого, Авдѣй Гавриловичъ, не требуется... Я слышалъ... Мнѣ говорили, что въ мэріи, какъ слѣдуетъ, будетъ заключенъ брачный союзъ...

— Говорили... Уже гутарятъ про нее, значитъ... Смѣтесь, ваше превосходительство... Въ мэріи... брачный союзъ... Это что же?.. Какъ кобель съ сучкой, округъ тунбы обѣгутъ, почикаютъ вмѣстѣ на тунбу — то и вся ихъ собачья свадьба!.. У людей, ваше превосходительство, это т а и н с т в о... Таинство было, таинствомъ и остаться должно... Я такъ, по глупому моему разумѣнію казачьему, полагаю...

— Съ волками жить, по волчьи выть...

— Такъ ить мы не волки, ваше превосходительство, а донскіе казаки, и дочь моя кровная казачка...

Они остановились на набережной. Безшумно, подъ бѣлесымъ пологомъ тумана, проносилась темная рѣка. На недалекомъ мосту тускло горѣли фонари, и сквозь туманъ не было видно ихъ отраженія въ водѣ. Пронизывающая зимняя сырость шла отъ рѣки. Акантовъ продрогъ до костей. Отъ этой холодной сырости, отъ того, что главное, жестокое, было сказано, сталъ отходить Чукаринъ. Онъ уже не говорилъ больше Акантову «ты», какъ началъ, было, сгоряча, когда все накипѣло въ немъ, и онъ оставилъ локоть Акантова.

— Простите, ваше превосходительство, — тихо сказалъ онъ, — ежели я что, по грубости своей, не такъ сказалъ... Я человѣкъ простой, не ученый, академіевъ никакихъ не кончалъ. Говорю то, что Богъ на душу крѣпко, накрѣпко положилъ... Самъ понимаю: не виноватая она... Это жизня наша виноватая... Я, какъ увидалъ ее, какъ она на машинѣ подъѣхала, какъ срамъ ейный увидалъ, заразъ хотѣлъ идти и проклясть ее при всемъ честномъ народѣ. При Его Императорскомъ Высочествѣ, при генералахъ, при портретахъ Царскихъ, при всѣхъ проклясть! И уже пошелъ я... Пошелъ за ею... Видѣлъ, какъ Мишка, подлецъ, шубку ейную снималъ, пальто хрянцузское вѣшалъ, все снизу, съ лѣстницы, видѣлъ, и понялъ... Н е в и н о в а т а я... Это вы, ваше превосходительство, это я виноватые... Это генералъ Врангель

виноватый, что не побѣдилъ большаковъ, что Родины мы лишились, что не померли тамъ всѣ, защищая родные курени... А она, Варюшка, чѣмъ виноватая?.. Рази же не я радовался орденамъ ея, отличіямъ школьнымъ?.. Первою шла... Со скубентками мериканскими вмѣстѣ въ общежитіи жила... Я виноватый!.. Я!.. я!!. я!!!

Медленными шагами, они шли обратно отъ рѣки... Шагахъ въ двадцати отъ собранія, Чукаринъ остановился:

— Виноватые, конечно, большаки, коммунисты. И нашъ долгъ, ваше превосходительство, священный нашъ долгъ — бить ихъ, гдѣ ни попало... Дочку себѣ я не верну... Все одно, она мнѣ теперь не дочь... Такъ отомщу за нее, ваше превосводительство... Я знаю, что я исдѣлаю. Я на кухнѣ со станичникомъ сидѣлъ. Молчали оба. Онъ — хуторецъ мой, годами много старше, а чинами не вышелъ: всего только приказный. Подошелъ онъ ко мнѣ, бутылку выставилъ, вина стаканъ нацѣдилъ: «Выпьемъ», говоритъ, «Гаврилычъ»... Я молчу. «Что», говоритъ, «али не пьется?». «Не пьется»... Понялъ онъ меня, ваше превосходительство, наскрозь меня понялъ. «Ничего», говоритъ, «Гаврилычъ, ты не жалкуйся... Все мы потеряли... Хутора, курени наши пооставляли, Тихій Донъ спокинули. Матерей, женъ бросили... Большакамъ, мужикамъ на разгромъ Донъ сдали... Такъ, что ужъ тутъ, снямши голову, по волосамъ-то плакать»... Сказалъ, выпилъ стаканъ вина, какъ припечаталъ, и говоритъ: «Не пьешь?..». Я молчу, а въ самомъ нутрѣ-то, самомъ, въ сердцѣ-то, такъ и гвоздитъ, такъ молотомъ кузнечнымъ отбиваетъ. Отомстить за все, за все!.. За Варюшку, за свое чужеземное, разбитое счастье, за Тихій Донъ, за курень свой разоренный, — большакамъ отомстить!..

Они дошли до крыльца дома и опять повернули обратно, къ рѣкѣ. Шли медленно и молча.

— Ить къ нимъ не проберешься? — чуть слышно спросилъ Чукаринъ.

— Трудно, Авдѣй Гаврилычъ, узнаютъ васъ.

— Гутарили... И въ газетинахъ тоже писали... Проволо-

кой земля наша опутана. Посты вездѣ съ собаками сторожевыми; на сорокъ верстъ, писали, лѣса пожжёны, какъ выбрита земля... Вотъ она, какая положеніе... И точно, что не пройти, не пролазить...

— Не пройдете, Авдѣй Гавриловичъ.

Опять стояли молча надъ рѣкой.

— Читалъ я въ газетахъ, ваше превосходительство, — тихо, потаённо заговорилъ Чукаринъ. — Большаки по всему свѣту войну ведутъ. И здѣсь, подлѣ Франціи, въ Испаніи — тѣ же большаки. Наши офицеры, которые похрабрѣе, посурьезнѣе, порѣшимѣстѣе туда подались бить большаковъ...

— Да, тамъ тоже война, — сказалъ Акантовъ.

Замолчалъ Чукаринъ, стоялъ въ тихомъ раздумьи. Холодная дрожь пробивала Акантова.

— Пойдемъ, ваше превосходительство. Не застудились бы вы безъ пальта-то вышедши?..

И, когда подходили къ дому, рѣшительно сказалъ Чукаринъ:

— Мнѣ, ваше превосходительство, теперь все-одно не жить. Антиреса къ жизни нѣтъ никакого. Для нея жилъ, для кровинушки своей, ростилъ казачку Донскую, чтобы казаку Донскому отдать. Мишкой Безхлѣбновымъ брезговалъ... Покаралъ Господь.. Такъ я тамъ большакамъ за все отолью...

— Гдѣ? — тихо спросилъ Акантовъ.

— У Франки... У генерала... Я сумѣю добраться до его... А тамъ... По казачьи расправлюсь... Полнымъ рублемъ заплачу... Всѣмъ бы намъ... Давно бы такъ... Нигдѣ большакамъ пощады не давать...

Чукаринъ открылъ дверь дома и пропустилъ впередъ Акантова.

XVIII.

За это время, что Акантовъ съ Чукаринымъ бродили взадъ и впередъ по тихой прирѣчной улицѣ, многое измѣнилось въ собраніи.

Линія автомобилей порѣдѣла. Исчезла роскошная карета «Испано-Сьюза», въ которой пріѣхала Варя. Въ самомъ собраніи казалось теперь пусто. Почетные гости, Великій Князь, французы, кое-кто изъ руководителей эмиграціи, Плевицкая съ мужемъ, Дуся Королева, музыканты джазъ-банда уѣхали. Въ залу внесли длинный столъ. Большую и одну изъ боковыхъ люстръ погасили, и, послѣ яркаго свѣта, бывшаго во время бала, въ залѣ казалось темно. За то стало и уютно. На столѣ стояли тарелки съ остатками бутербродовъ открытаго буфета, блюдечки съ жженымъ миндалемъ въ крупной соли и бокалы съ виномъ.

Генералъ съ сѣдыми усами сидѣлъ въ головѣ стола. Подлѣ него сгруппировались Атаренко, Гвоздиковъ и еще человѣкъ пять старыхъ, сѣдыхъ, въ потертыхъ пиджакахъ, генераловъ. За ними, къ другому краю стола, усѣлась молодежь. Кто въ смокингахъ, кто въ пиджакахъ, кто и просто въ рубашкахъ, какъ служилъ во время бала, такъ и остался, и сѣлъ вмѣстѣ за общую дружескую бесѣду, гдѣ сидѣли генералы и полковники, юнкера и бывшіе кадеты, — молодежь, не видавшая гражданской войны. Всѣхъ ихъ сравняло изгнаніе, одинаковость тяжелаго, непривычнаго, физическаго труда, всѣ жили одною мыслью, однимъ устремленіемъ: вернуться и спасти Россію. Съ ними сидѣли ихъ жены и дочери... Жена Николая Семеновича, золотоволосая блондинка, ея дочь-дѣвочка, Судакова, Февралевы, и съ ними была Лиза.

Генералъ Тимофеевъ, жизнерадостный старикъ съ рыжеватой въ сѣдинахъ бородой, стоялъ у буфета и съ Николаемъ Семеновычемъ разливалъ по бокаламъ шампанское. Миша Безхлѣбновъ, съ серебрянымъ подносомъ, принималъ бокалы. Онъ понесъ сѣдоусому генералу.

Тимофеевъ дребезжащимъ теноромъ запѣлъ:

— Просимъ младшаго корнета...

Мгновенно, безъ дирижера образовавшійся хоръ, женщинъ и мужчинъ, подхватилъ:

— Поднести бокалъ вина...
Хороша традицья эта...
Пей до дна!..

Генералъ съ гусарскими усами всталъ и нерѣшительно принялъ бокалъ:

— Кажется, я долженъ выпить это, — сказалъ онъ, лукаво поднимая густую сѣдую бровь.

Еще воодушевленнѣе и дружнѣе, грянулъ хоръ:

— Пей до дна!.. Пей до дна!..
Пей!.. пей!.. пей!..

Генералъ осушилъ бокалъ, широкимъ жестомъ поблагодарилъ всѣхъ, и сѣлъ, указавъ стоявшему у двери Акантову, чтобы тотъ сѣлъ подлѣ него.

— Спасибо... Спасибо, господа, — сказалъ онъ. — Все это мелочи, господа... Иному, штатскому человѣку, это — «младшему корнету поднести бокалъ вина» — покажется глупыми и пошлыми мелочами... Традиціи-то эти... Пѣсни наши хоровыя... Чины наши... Корнетъ, поручикъ... Скажутъ, напишутъ... Продёрнутъ... Пьянствуютъ, господа... По пивнушкамъ Россію спасаютъ... Банкетами занимаются. Чашка чая... Смѣшно кажется все это... Такъ надо знать, и вы, молодежь, послушайте, что такое была Русская армія... Сколько племенъ, сколько народовъ въ нее входило, сколько служило съ нами тѣхъ, кто недавно еще былъ кровными нашими врагами. Нѣмцы, поляки служили въ ней, и какъ служили!.. Какъ дай Богъ Русскимъ служить такъ... А сколько горцевъ Кавказа, татарскихъ, черкесскихъ, грузинскихъ князей, хановъ, бековъ было въ ней!.. А въ солдатскихъ рядахъ — какое смѣшеніе языковъ и народовъ. И строй, муштра, дисциплина, и, вмѣстѣ съ ними, вотъ эта, такая вотъ пѣсня, кабалка въ офицерскомъ собраніи, гдѣ съ пѣсельниками-солдатами вмѣстѣ пѣли господа офицеры, гдѣ генералы братались, пили на «ты» съ молодыми корнетами, бесѣды на бивакѣ у костра, соединяли наши души въ святое полковое товарищество. И какихъ, какихъ только пѣсенъ не пѣла наша

армія! Каждый полкъ имѣлъ свою историческую боевую пѣсню... Съ нею и въ бой шелъ... Были пѣсни Кавказскія, Туркестанскія, Сибирскія, въ пѣснѣ вылилась и отразилась вся наша военная исторія, это — путь славы, запечатлѣнный великимъ народомъ-артистомъ... Въ пѣсняхъ этихъ, въ лихомъ, пьяномъ, — да, господа, что грѣха таить, часто и пьяномъ, — загулѣ мы сливались съ народами чужеземными, мы принимали ихъ обычаи, имъ давали свою великую Русскую душу... Азіатскіе народы внесли въ наши грубоватые Русскіе нравы восточную цвѣтистость рѣчи и деликатность манеръ... Бывало, обведешь глазами собравшихся гостей, увидишь друзей, — генералъ подмигнулъ Акантову, — и скажешь: «Алла-верды... Стрѣлки!»...

Отъ стола дружно отвѣтили:

— Якши йоль!..

— Хорошо, господа молодежь!.. А вытравили эти обычаи, смѣнили вольную Русскую пѣсню на воспѣваніе коминтерна, на величаніе «великаго, любимаго вождя народовъ, товарища Сталина», замѣнили Русскій гимнъ интернаціоналомъ, и, вмѣсто храбраго Русскаго войска, стало стадо... Отлетѣла душа арміи, осталось одно грязное, немытое, трусливое, похотливое тѣло... И былой лихой военный кутежъ смѣнился пьянкой, безобразной пьянкой красноармейца-раба, затравленнаго политическими комиссарами... съ доносами... убійствами изъ-за угла... съ кровью...

Въ залѣ стало тихо. Углы тонули въ тѣни, и въ нихъ поблескивала парча знаменъ и серебро трубъ и копій...

— Еще, господа, — продолжалъ генералъ, — смягчала насъ цыганщина. Чисто Русское явленіе... Когда доходила молодая тоска до предѣла, когда отъ любви ли нераздѣленной, отъ обиды ли горькой, отъ тоски ли по дому, по семьѣ, — вѣдь, не легка была казарменная обстановка, — доходила молодая душа до точки, когда хотѣлось ей пожаловаться, попечаловаться кому-нибудь и пьяными слезами залить горе-тоску, ѣхали къ цыганамъ, а тамъ такія пѣсни!.. Ну-ка, Миша, угости насъ гитарой...

Миша, стоявшій у буфета и внимательно слушавшій генерала, вытянулся, покраснѣлъ, улыбнулся, выбѣжалъ изъ зала, и сейчасъ же вернулся обратно. Гитара позванивала струнами въ его рукахъ...

Лиза смотрѣла, слушала, воспринимала все это, такое для нея новое. Чуть напоминало это и то, что бывало у барона фонъ Альвенберга, когда тамъ собиралась молодежь. Но тутъ было углубленнѣе и сердечнѣе. Лиза должна была сознаться: въ глубинѣ ея души, какъ эти струны гитары, дрогнули какіе-то нервы, что-то колыхнулось въ ней новое, незнакомое, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, будто родное... Тамъ, внутри, разгорался незнаемый ею огонь... Лиза гасила этотъ огонь. Не давала ему разгораться. Это была бы измѣна ея собственному прошлому, измѣна Курту... Куртъ можетъ не любить ее; она ему не измѣнитъ...

Гитара звенѣла въ рукахъ Миши. Дала аккордъ, другой, третій, заиграла, запѣла, и къ ней примкнулъ молодымъ, сильнымъ, красивымъ баритономъ Миша:

— Разскажи и спой ты мнѣ,
Подруга семиструнная,
Вся душа — полна тобой,
А ночь!.. Такая лунная!..
Эхъ разъ! Еще разъ!..
Еще много, много разъ...

Всѣ бывшіе въ залѣ, и мужчины и женщины, дружно и красиво подхватили:

— Эхъ, разъ!.. Что тамъ — разъ?..
Еще много, много разъ!..

Всѣ знали эту пѣсню, всѣ пѣвали ее при разныхъ обстоятельствахъ. Пѣли въ тоскѣ и темнотѣ корабельнаго трюма, когда ѣхали въ страшное и темное неизвѣстное, пѣли въ палаткахъ, среди голыхъ камней и песковъ Галлиполи, пѣли и здѣсь, въ Парижѣ, въ холодныхъ мансардахъ рабочаго

квартала. Лиза слушала, ловила слова и мотивъ, и все сильнѣе и сильнѣе боролась съ собою, съ тѣмъ новымъ чувствомъ, что охватывало ее здѣсь.

Миша продолжалъ:

— Двѣ гитары за стѣной
Жалобно запѣли...

XIX.

Когда Акантовъ, Лиза и Февралевы садились въ автомобиль, черезъ открытыя двери собранія неслась стройная хоровая пѣсня. Лиза разбирала ея героическія слова:

— Полковъ родныхъ былую славу
Съ собой на Донъ мы принесли,
И въ ихъ страницы боевыя
Вѣнки терновые вплели...

Въ автомобилѣ молчали. Устали отъ бала и впечатлѣній. Февралевы и Лиза выпили лишнее. Акантова, весь день проработавшаго на заводѣ, клонило ко сну.

Николай Семеновичъ не особенно увѣренно правилъ машиной. Онъ отвезъ Февралевыхъ, и поѣхалъ съ Акантовыми въ Бійянкуръ.

Когда отецъ и дочь остались на свой квартирѣ одни, Лиза, блестя глазами, сказала:

— Папа, ты видалъ Варю Чукарину?

— Да.

— Какая прелесть!..

Съ Акантова и сонъ слетѣлъ.

— Да что ты?.. Какой ударъ нанесла она отцу... Подумай: волосы остригла...

— Къ ней это такъ идетъ. Она совсѣмъ мальчишка стала... Какая при томъ прическа!.. А платье?.. Модная картинка!..

— Голая спина, Лиза... Стыдно было на нее смотрѣть..

— Но какая спина, папа!.. Какая Варя красавица... На-

стоящая француженка... Парижанка... Я поняла ее всю вчера...

— Она, Лиза, казачка... Донская казачка...

— Что ты хочешь сказать этимъ, папа? Вѣдь, она воспитывалась и выросла въ Парижѣ. Мнѣ говорили, что она и замужъ выходитъ за того француза, съ которымъ она была... И выходитъ по любви... Какъ это прекрасно...

— Если бы ты знала, Лиза, до какого отчаянія это довело бѣднаго Авдѣя Гавриловича... Она убила отца... И я не знаю, чѣмъ это все кончится...

— Папа... — сказала Лиза, и замолчала.

— Ну, что?..

— Папа, — голосъ Лизы сталъ скучнымъ, она завяла, точно вся усталость ночи вдругъ свалила ее. — Трудно тебѣ все это объяснить... Но... Неужели ты самъ того не понимаешь?..

— Я не понимаю, Лиза... Авдѣй Гавриловичъ ея отецъ... Онъ ничего для нея не жалѣлъ, онъ жилъ только ею, онъ все отдавалъ ей...

— Папа, — тихо и настойчиво сказала Лиза, — но каждый хочетъ жить по своему...

— Мнѣ помнится, я тебѣ говорилъ: не такъ живи, какъ хочется, а такъ живи, какъ Богъ велитъ...

— Я помню, папа, ты училъ меня Русскимъ пословицамъ, и ты мнѣ сказалъ тоже: всякъ своему счастью кузнецъ... Но... Послѣ, папа... Это очень длинный и серьезный разговоръ, а ты и я устали... Когда-нибудь, послѣ, я тебѣ скажу, что думаемъ мы, молодежь, и не пословицами скажу, а по настоящему... послѣ, папа... Покойной ночи, папа...

Какая-то тѣнь покрыла лицо Лизы. Глаза ея потухли и прикрылись длинными рѣсницами, лицо стало грустнымъ и усталымъ... Пахнущими виномъ устами, Лиза небрежно поцѣловала отца въ щеку и тщательно затворила за собою дверь.

XX.

Шестнадцать лѣтъ работы у заводскаго станка, — какъ тяжелый, сплошной кошмарный сонъ. Вычеркнуты эти годы изъ жизни.

Акантовъ не замѣчалъ, какъ весну смѣняло лѣто, какъ наступала осень, и шла за нею, въ туманахъ, дождевыхъ брызгахъ и холодныхъ, простудныхъ вѣтрахъ, гнилая Парижская зима. Она несла съ собою гриппы, лихорадки, воспаленія легкихъ, чахотку Русской молодежи и смерть. Исподволь, сверху и снизу вымирала Русская эмиграція. Годы проносились, незримые, неощущаемые, какъ блѣдная, сырая тѣнь...

Въ утреннемъ туманѣ и мглистой сырости, отправляясь на заводъ, видѣлъ Акантовъ, какъ на набережной каштаны покрывались большими шишкастыми зелеными почками, какъ разворачивались изъ нихъ блѣдные, полупрозрачные узорные листья, какъ вдругъ покрывались аллеи бульваровъ и маленькіе пригородные скверы густою тѣнью и наступала жара...

Иногда, переходя по мосту, Акантовъ остановится. Въ утреннемъ солнцѣ золотыми блестками покрыта мутно-зеленая Сена и задумчиво нависли надъ нею высокія, нарядныя, плакучія ивы. Акантовъ на мгновеніе задумается. Какая красота!.. Онъ вспомнитъ что-то другое, мучительно дорогое, и заспѣшитъ на нудный заводскій гудокъ. Онъ боится опоздать... Такъ жгуча бываетъ обида, когда контромэтръ «на ты» сдѣлаетъ замѣчаніе...

Рабъ!..

И вдругъ задуютъ рѣзкіе западные вѣтры съ океана, понесутъ тяжелыя тучи, закроютъ на половину Эйфелеву башню и польетъ холодный дождь, зазвенитъ по длиннымъ лужамъ вдоль троттуаровъ и покроетъ ихъ серебряными пузырями... Осень... Которая ужъ осень въ Парижѣ, на заводѣ!.. Нога скользитъ по опавшему мокрому листу, валяются темные каштаны, выскочившіе изъ зеленыхъ ежей увядшей

скорлупы. Короче становятся дни. Переставили часы, чтобы обманомъ продлить свѣтъ, — и, вотъ, уже стали голыми деревья, темную кисею вѣтвей накинули на бурлящую на вѣтру свинцовую Сену... Нижнія набережныя, приволье рыбаковъ удильщиковъ, залиты водою, крутится снѣгъ въ воздухѣ, падаетъ на черный гудронъ мостовыхъ. На день, на два бѣлымъ заячьимъ мѣхомъ одѣнется Парижъ... И опять солнечные дни, голубое небо, южное тепло, на улицахъ продаютъ букеты лиловыхъ фіалокъ, и золотой дождь мимозъ падаетъ изъ корзинъ цвѣточницъ...

Почти не замѣчалъ Акантовъ этой смѣны красотъ природы. Вѣчно передъ глазами стучалъ станокъ, стальное лекало било по мѣдному листу, крутилось колесо токарнаго станка, шумѣла, стучала, по змѣиному шипѣла, шелестѣла, на разные лады пѣла мастерская, что-то падало въ ней съ металлическимъ грохотомъ черезъ равные промежутки времени... Прокатывали вагонетки, забирали сработанныя «детали», стружка летѣла въ лицо, царапала руки, пропитанныя масломъ, и такъ до гудка... Пора шабашить... Время на обѣдъ...

И когда — въ лѣтнемъ ли сумракѣ, въ розовыхъ отсвѣтахъ солнца на домахъ, или въ яркомъ блистаніи оконныхъ стеколъ, или зимою, въ темнотѣ и непогодѣ, когда вдали алымъ заревомъ огней рекламъ, какъ кровавымъ куполомъ, накрытъ Парижъ, возвращался Акантовъ домой, — бездумна была его голова, все старѣющее тѣло ныло отъ усталости, распухшія ноги съ трудомъ несли худое тѣло, и была лишь одна мысль, одно желаніе: протянуть ноги и забыться въ тихомъ снѣ...

Заработка не было. Все, что могъ, посылалъ Лизѣ, чтобы побаловать ее въ чужомъ городѣ, чтобы оплатить уроки Русскаго языка, чтобы напомнить ей объ отцѣ...

Цѣны все расли... Каждое «завоеваніе» рабочихъ вызывало повышеніе цѣнъ, и приходилось сокращать расходы. Чай пилъ дома съ однимъ кускомъ сахара на стаканъ, обѣдалъ въ дешевой Русской столовой, туже затягивалъ ремень блу-

зы, — жилъ мечтами: пріѣдетъ дочь, согрѣетъ, накормитъ, побалуетъ старика-отца. Тогда онъ отогрѣется и отдохнетъ...

Дочь пріѣхала... Неожиданно красивая, чуткая, умная, изящная и... совсѣмъ чужая. У нея свои думы, свои намѣренія, свои планы, — своя жизнь...

Ѣдетъ въ Америку...

Всею душою возмущался Акантовъ противъ этого плана: ѣхать съ Февралевыми искать счастья въ Нью-Іоркѣ... Къ кому она ѣдетъ?.. Кто такіе Брухманы? Ужъ не жиды ли они?

Акантовъ сказалъ о своихъ заботахъ Натальѣ Петровнѣ.

— Что-жъ, генералъ, — отвѣтила, дымя папиросой, Февралева, — по своему долгому опыту, скажу вамъ: лучшіе заказчики — евреи. Лучшіе плательщики — евреи... И евреи — не люди, что ли? Лишь бы эти Брухманы платили хорошо... И что мы можемъ подѣлать? Насъ здѣсь душатъ... Salles étrangers... *). Не даютъ намъ даже права на работу... Это же, вѣдь, издѣвательство!.. Видите сами, сколько здѣсь безработныхъ... Ну, и васъ, скажемъ, завтра съ завода разсчитаютъ, куда вы дѣнетесь со взрослою, да еще такою красивою, дочерью?.. Надо счастья искать: само оно не придетъ, не постучитъ къ вамъ...

И Февралева разсказывала Акантову о баснословныхъ богатствахъ, пріобрѣтенныхъ Русскими въ Америкѣ, о карьерахъ, созданныхъ въ Новомъ Свѣтѣ...

Акантовъ спрашивалъ Лизу... Та молчала... Подниметъ красивыя дуги бровей, во всю ширину откроетъ голубые глаза, и въ нихъ увидитъ Акантовъ такую страшную тоску, такое томленіе духа, что замолчитъ, перестанетъ допытывать Лизу...

Чужая Лиза... Надо ее учить, надо все разсказать ей про былую Россію.

По вечерамъ и по воскреснымъ утрамъ, если Лиза оставалась дома, отецъ пытался учить дочь. Онъ ей разсказывалъ, какъ жили они, — о т ц ы... Какая была Россія, и что въ ней было. Пространно и хорошо говорилъ о вѣрѣ, Царѣ

*) Грязные иностранцы...

и Отечествѣ, о всемъ томъ, чѣмъ сильна, красива и горда была Россія, о томъ, чѣмъ и онъ самъ жилъ всѣ эти годы заграницей, что, какъ священную ладонку, носилъ въ сердцѣ своемъ эти страшные годы изгнанія...

Лиза слушаетъ... Никогда не проронитъ ни одного слова. Не задастъ вопроса по существу. Развѣ спроситъ значеніе какого-нибудь непонятнаго ей, чисто Русскаго слова.

Чувствуетъ Акантовъ, что Лиза образованнѣе его, что она знаетъ нѣчто, чего онъ не знаетъ, и что молчитъ потому, что не хочетъ задѣть и обидѣть отца своимъ превосходствомъ...

Стѣна вырастала между отцомъ и дочерью. Акантовъ эту стѣну видѣлъ. Ему часто казалось, что онъ, во время этихъ бесѣдъ, видитъ, какъ чьи-то быстрыя, быстрыя руки кладутъ кирпичъ за кирпичемъ, смазываютъ известкой, пристукиваютъ, прилаживаютъ, примазываютъ лопаткой, и неудержимо, день за днемъ, вырастаетъ эта стѣна между ними. Скрываетъ Лизу отъ него: скоро скроетъ ее совсѣмъ...

Америка...

При такихъ обстоятельствахъ, пожалуй, отъѣздъ въ Америку былъ неизбѣжнымъ выходомъ...

«Бѣженцы»... Растеніе безъ корней, сухое перекати поле, пыльнымъ комкомъ носились они по свѣту, ища, гдѣ жить, гдѣ можно временно зацѣпиться, гдѣ есть для нихъ заработокъ...

Нѣтъ жизни безъ отечества... Нигдѣ не было жизни... Вездѣ была только б о р ь б а з а ж и з н ь ...

XXI.

Дождь, гонимый вѣтромъ, какъ заряды дроби, билъ по стекламъ большого окна Лизиной комнаты, несъ холодъ и сырость въ опустѣвшую комнату, съ убранными книгами, дѣвичьими бездѣлушками, мелочишками, съ уложенными чемоданами.

Завтра, чуть свѣтъ, пріѣдетъ за Лизой Николай Семено-

вичъ, заберетъ Лизины «манатки» и повезетъ на вокзалъ, ѣхать въ Брестъ. Ночью Лиза будетъ уже въ океанѣ...

Лиза сидитъ у окна. Все готово, все уложено, — переночевать эту ночь — и одна, совсѣмъ одна, она пустится въ невѣдомый жизненный путь...

Отецъ вернулся. Онъ прошелъ за ширмой въ уборную, отмываетъ заводскую грязь, приводитъ себя въ порядокъ... Лиза готовитъ послѣдній разъ ужинъ и чай отцу.

Въ окно со снятой занавѣской бьютъ холодные порывы вѣтра. Звенитъ по стекламъ дождь, течетъ плоскими струями, и слышно, какъ вода льется съ подоконника въ лужу... Холодный, зимній день.

Что-то будетъ завтра въ морѣ?

Отецъ вошелъ въ комнату Лизы и устало сѣлъ къ столу.

— Папа, мнѣ не хотѣлось бы, чтобы ложь... или умолчаніе... вѣдь, умолчаніе, это — тоже ложь, особый видъ лжи... остались между нами, — тихимъ, ласковымъ голосомъ сказала Лиза. — Позволь мнѣ сказать тебѣ правду... Можетъ быть, эта правда покажется тебѣ тяжелой, — прости меня тогда... Но лучше, если ты будешь знать. Это лучше лжи... Пусканія пыли въ глаза... Я говорю о себѣ, и, если я скажу молодежь... Это только я... Я одна. Я не смѣю говорить о другихъ Русскихъ молодыхъ дѣвушкахъ и юношахъ... Возможно, что они другіе, но я — такая...

Акантову показалось, что въ комнату страшною тѣнью вошла тишина. За окномъ бушевала непогода. Непроглядная ночь стояла тамъ. Чуть обозначались кое-гдѣ рѣзкими свѣтлыми точками фонари предмѣстья, да вспыхивали сигнальные огни на электрической дорогѣ.

Скромный ужинъ былъ конченъ. Чай допитъ въ молчаливомъ ожиданіи, что скажетъ дальше Лиза. Томная надвинулась ночь. Въ тишинѣ комнаты тревожно отбивалъ время будильникъ...

— Говори, дѣтка, я слушаю...

— Папа... Эти полгода, что мы прожили съ тобой подъ

одной крышей, я много слушала тебя, и много перечитала старыхъ и новыхъ романовъ...

— Романовъ, — съ досадой сказалъ Акантовъ.

— Я знаю, папа, ты не любишь романы...

— Не только не люблю и никогда не читаю ихъ, но я глубоко презираю и самихъ людей, которые занимаются такимъ пустымъ дѣломъ, какъ писаніе романовъ... Въ такое-то время!..

— Но романы, папа, мнѣ многое показали. Они мнѣ показали жизнь прошлаго. Папа... И раньше были — отцы и дѣти... Но между тогдашними отцами и дѣтьми лежали двадцать, тридцать лѣтъ спокойно текущей жизни. Теперь между нами точно столѣтія прошли. У васъ была одна жизнь, у насъ — совсѣмъ другая. У васъ одни понятія, у насъ другія... Это, какъ рѣка текла, текла медленно, тихо, гдѣ-то по высокому, прекрасному плоскогорью, по равнинѣ, по альпійскимъ лугамъ, цвѣтами покрытымъ, и вдругъ, подошла къ обрыву, низверглась водопадомъ, промчалась между скалъ, обрушила ихъ, и, вотъ, несется совсѣмъ въ другомъ краю, въ узкой долинѣ. Кругомъ лѣса, тѣсно сдвинулись отроги горъ. Поглядишь, и не скажешь, что это та же самая рѣчка, что сонно текла по высокому плоскогорью Мы, молодежь, какъ та рѣка, не похожи на васъ...

Лиза хорошо говорила. Опытъ чтенія докладовъ въ университетѣ ей далъ много. То, что хотѣла сказать она, было ею выношено долгими днями раздумья и безсонными ночами. Она продолжала, опустивъ голову, будто читая по запискѣ.

— У васъ была семья, у васъ былъ домъ, была любовь, былъ бракъ, были дѣти, былъ любимый, не проклинаемый трудъ. Но, главное, у васъ было Отечество — Россія, — и вамъ въ немъ хорошо жилось... Папа, — Лиза, не поднимая головы, чуть замѣтно усмѣхнулась, — всѣ твои бесѣды вертѣлись около одного: «Вѣра, Царь и Отечество». Это была ось всей твоей жизни, и ты хотѣлъ эту ось продѣть въ меня, и сдѣлалъ такъ, чтобы и мнѣ эти три имени стали такъ же

священны, какъ были священны тебѣ, чтобы они мнѣ замѣнили все...

— Какъ же иначе?.. Иначе-то какъ же?..

— Вѣра... Я знаю... Я чувствую, что Богъ есть. Хотя наука говоритъ другое... Мнѣ даже вдругъ покажется, что Кто-то подлѣ меня, направляетъ мною, удерживаетъ меня... Мнѣ тогда страшно и хорошо... Но потомъ подумаю, и станетъ стыдно... Чего это я?..

— Это и есть вѣра...

—Не знаю, папа... Нѣтъ... Отъ этого ощущенія только, до вѣры, до православной вѣры, очень далеко... Я знаю, что я крещена... Я православное имя имѣю — Елизавета... Но я никогда не учила катехизиса, я не ходила въ церковь... Я видѣла, какъ легко тетя Маша, въ угоду дядѣ Отто, оторвалась отъ вѣры... Гдѣ же мнѣ было учиться катехизису?.. Я была въ нѣмецкой школѣ... Еще въ той, до Хитлеровской, школѣ... Воспитаніе моей души было чисто матеріалистическое. Я никогда не учила славянскаго языка, и не понимаю ни Богослуженія, ни обрядовъ, и мнѣ церковь ничего не даетъ... Я отошла отъ вѣры...

— Ты не отъ вѣры отошла, а отъ церкви... Будетъ время, ты вернешься къ ней, она найдетъ тебя...

— Нѣтъ, папа. У меня нѣтъ вѣры въ возмездіе за грѣхи, а, слѣдовательно, нѣтъ и страха грѣха. Нѣтъ вѣры въ будущую жизнь. Меня изсушила наука...

— Бѣдная ты моя дѣвочка!..

— Еще... слушай, папа. Ты говорилъ — Царь. Я Царя никогда не видала. Я не знала Царя. Меня учили, что народъ ненавидѣлъ Царя, что Цари были тираны, революція была неизбѣжна, и Царя нужно было убить, потому что иначе все пошло бы по старому, а старое было безнадежно плохо. Ты говорилъ — Царь... Царя нѣтъ... Я видала Хитлера, и я боготворю Хитлера. Я часто слышала, какъ Русскіе говорили: «если бы Богъ послалъ намъ нашего, Русскаго Хитлера»... Не Царя, но Хитлера. Для меня Царь — понятіе абстрактное, не существующее, какъ миѳъ о герояхъ древ-

ности, какъ легенда... Если хочешь, — какъ страшная сказка. Исторія какого-то темнаго времени. Меня одинадцать лѣтъ учили, что свѣтъ это — демократія, народоправство, и пять лѣтъ учили, что спасеніе и мощь государства — въ націоналъ-соціализмѣ. Про Царя только ты мнѣ говорилъ послѣ того, какъ я сюда пріѣхала. Я читаю книги...

— Романы!..

— Да... Романы. И въ нихъ, въ однихъ проклинаютъ и издѣваются надъ Царями, въ другихъ благоговѣйно, напыщенно, слащаво пишутъ... Гдѣ свѣтъ, гдѣ тьма?.. Гдѣ, наконецъ, правда?.. Я знаю только одно, что для меня Царя нѣтъ, осязать его я не могу. Такихъ королей, Царей, какіе были, въ настоящее время не существуютъ... И, наконецъ, самое главное, чѣмъ я живу, что я понимаю, и что меня ободряетъ, это — Vaterland, — по-нѣмецки сказала Лиза. — Земля отцовъ. Это значитъ: твоя земля, гдѣ родился ты, гдѣ родился твой отецъ, мой дѣдъ и такъ далѣе; это должна быть — Россія...

— Ну, да, Россія! — поднимая глаза на дочь, громко и торжественно сказалъ Акантовъ.

— Россіи нѣтъ, — чуть слышно сказала Лиза.

— Какъ, нѣтъ Россіи? — воскликнулъ Акантовъ, и, въ глубокомъ волненіи, вскочилъ съ Лизинаго кресла. Лиза осталась сидѣть на своемъ низенькомъ сомье, облокотившись на колѣни, положивъ голову на ладони.

— Есть Эсэсэсэръ: союзъ совѣтскихъ соціалистическихъ республикъ. Это есть — фактъ... И туда ни мнѣ, ни тебѣ нельзя поѣхать...

— Вздоръ болтаешь, — не громко, сердито буркнулъ Акантовъ.

— Такъ меня учили. — Лиза помолчала, и потомъ добавила съ громадной печалью. — Я ощутила и осознала это тогда, двѣ недѣли тому назадъ, когда ты повезъ меня на балъ въ собраніе... Когда рѣшалась моя судьба — ѣхать мнѣ въ Америку, искать тамъ счастья... Играли Великому Князю встрѣчный маршъ... Грамофонъ игралъ... Висѣли старыя кар-

тины, портреты, знамена, ружья стояли въ углу, серебро въ шкафахъ... Музей... Но... Музей, это — мертвое, это бывшее, прошедшее, конченное, это не жизнь, это останки жизни, это могила!.. Тамъ я ощутила нѣчто такое прекрасное, возвышенное. Точно тамъ витали какія-то тѣни, сквозили между нами. Я слышала что-то величественное, трогательное, умилительное. Я поняла: это и была — Россія. Мое отечество... Страна моихъ отцовъ. Но все это было, какъ ожившія на экранѣ кинематографа тѣни... Только тѣни... И... съ болѣзненной, жуткой жалостью, я поняла, что Россіи, моего отечества — нѣтъ... Она б ы л а ...

— О-о-ооо!.. Лиза!.. Лиза!... Замолчи, не говори!.. — Акантовъ со стономъ бросился въ кресло, и тихо, какъ ребенокъ, заплакалъ... Лиза мягко опустилась на полъ подлѣ отца, положила голову ему на колѣни и обняла его:

— Не плачь, папа... Слезами не поможешь... Будь мужественъ, какъ я. Я смотрю спокойно. Что же дѣлать? У меня нѣтъ отечества, но у меня все-таки есть Р о д и н а!.. Heimat!.. И я горячо люблю свою Родину...

— Ты родилась въ Нижнемъ Новгородѣ, на Волгѣ, при сліяніи ея съ Окою...

— Ты мнѣ говорилъ это, папа. Но Нижняго Новгорода нѣтъ, есть Горькій... Я не помню Нижняго Новгорода, и я не хочу знать никакого Горькаго...

— Волга... Ока... Онѣ остались... Русскіе остались тамъ... Языкъ, обычаи, укладъ жизни... бытъ...

— И они, эти русскіе, меня туда не пускаютъ. Я ихъ не помню, не знаю, и знать не хочу. Я гордая, папа... Меня прогнали... За что?.. Скажи, за что?.. За что?.. Я ихъ не знаю и не помню. Вотъ мое самое раннее воспоминаніе, дѣтское воспоминаніе. Берлинъ... Берлинъ!.. Лѣса Груневальда, голубой просторъ озеръ, сліянныхъ съ Гавелемъ. Я какъ бы вижу бѣлые треугольники парусовъ, застывшіе въ зеленомъ туманѣ лѣтняго тихаго вечера, на фонѣ холмовъ, покрытыхъ лѣсомъ у Потсдама. Я слышу шорохъ сосновыхъ лѣсовъ, —

точно шумъ моря. Я помню зеленовато-сѣрыя волны холоднаго, суроваго Сѣвернаго моря... Я помню темные дворцы и соборы, съ блѣдно-зелеными куполами, и широкую улицу между невысокихъ домовъ, «Подъ липами», и тамъ — моя родина. Я люблю ее и я тянусь къ ней...

— Лиза, — поднимая голову на Лизу и глядя въ ея потемнѣвшіе, синіе глаза, говоритъ Акантовъ, — скажи, Лиза? Ты полюбила?.. Ты любишь, Лиза?..

Ни одна черта не дрогнетъ на миломъ, печальномъ лицѣ Лизы. Она молчитъ. Суровая складка легла между пушистыхъ бровей и не сходитъ со лба, не проясняетъ лица.

— Ты полюбила?.. Нѣмца?!.

Въ голосѣ Акантова — ужасъ.

Медленно опускаются загнутыя кверху длинныя, дѣтскія рѣсницы и скрываютъ свѣтъ глазъ. Лиза вынимаетъ голову изъ рукъ отца и кладетъ ее опять на свои ладони, опирается локтями о колѣни. Какъ капризный ребенокъ, она говоритъ:

— А тамъ, папа... Съ такимъ же ужасомъ, съ такимъ-же негодованіемъ, скажутъ... Скажутъ — любимому: «Ты полюбилъ... Русскую... Бѣженку!..». Это и ужасно, папа, что у насъ и Родины нѣтъ... Мы — Heimatlos!..

Стоитъ долгое молчаніе. Тишина въ крошечной квартирѣ, какъ живая. Суетливый будильникъ своимъ тиканіемъ лишь усиливаетъ настороженную тишину, подгоняетъ печальныя, тяжелыя, безотрадныя мысли. За окномъ воетъ буря... Она качаетъ голыми вѣтвями деревьевъ сада, стучитъ желѣзкой у крыши, пригоршнями сыплетъ крупными каплями холоднаго, зимняго дождя, гудитъ по просторамъ окраины, поетъ страшную пѣснь одиночества...

— При такихъ условіяхъ, папа... Что же?.. Берлинъ... Парижъ... Нью-Іоркъ, — не все ли равно, гдѣ работать?.. У насъ, Heimatlos, жизни нѣтъ... Есть только работа... А у меня, папа...

Голосъ Лизы обрывается. Акантову кажется, что Лиза плачетъ. Но она не плачетъ. Она поднимаетъ голову, смо-

тритъ прямо въ глаза отцу. Ея глаза сухи и страшны. Лиза встаетъ, поворачивается спиною къ отцу, прижимается лбомъ къ холоднымъ стекламъ окна. Акантову видна вся ея стройная фигура. Она, какъ тѣнь. Плоско легли вдоль прямого тѣла опущенныя безпомощно руки. Спина неподвижна: все — будто нарисовано на фонѣ окна... Безжизненна фигура Лизы. Чуть слышенъ ея подавленный шопотъ:

— У меня, папа... Ничего... Ни-чего... Ни-че-го...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I

— Уу-уухъ!.., — и еще разъ и еще разъ, — три раза, на басовомъ ключѣ, глухой и громкій, рвущій уши, пароходный гудокъ. Такой мрачный и грустный въ туманѣ зимняго дня, онъ тяжело отзывается въ сердцѣ Лизы.

Кругомъ идутъ прощанія. Еврейка, съ чемоданомъ въ одной рукѣ, рукавомъ другой утираетъ глаза, и плачетъ громко, по дѣтски. Еврей машетъ ей съ набережной платкомъ и что-то кричитъ. Рядомъ съ Лизой, у борта, толстыя Американки, точно набитыя европейскими впечатлѣніями, какъ собаки, дружно лаютъ, шипятъ и щелкаютъ на грубомъ англійскомъ языкѣ. Съ берега ихъ пытаются, несмотря на сѣрый день, снять на фотографію такія же толстыя, нелѣпо одѣтыя, американки. Свѣжій морской вѣтеръ рветъ слова, сноситъ внизъ паръ лебедокъ, трещащихъ у трюма, наноситъ тошный запахъ керосиновой гари и горячаго масла, отъ котораго Лизу начинаетъ мутить.

Пронесли послѣдніе чемоданы. Провожающіе сходятъ съ парохода. Матросы стали подлѣ трапа, готовясь отдернуть его. И опять этотъ ужасный, мрачный, точно похоронный гудокъ:

— У-У-УУУххъ!!.

Паръ съ шумомъ вылетаетъ подлѣ высокой пароходной трубы. Гремитъ, стучитъ желѣзными колесами тяжелый трапъ. Съ грохотомъ задвинулся бортъ. Надъ Лизой, на капитанскомъ мостикѣ, отзваниваетъ машинный телеграфъ, глухо кричитъ помощникъ капитана въ синей, морской, расши-

той золотомъ фуражкѣ. Набережная съ толпой отходитъ отъ Лизы. Подъ нею кипитъ вспѣненная грязная вода, и словно тюлемъ покрывается бѣлымъ узоромъ пѣны. Въ ней плаваютъ банановыя корки, бумага, стружки, всякая дрянь...

Берегъ отходитъ, уплываетъ, сливается въ общую пеструю линію, сѣрѣетъ, исчезаетъ въ туманѣ. Впереди темное море. По нему то и дѣло вспыхиваютъ бѣлыми гребешками идущіе навстрѣчу дружные ряды волнъ, надъ ними низко нависло темно-сѣрое небо...

Въ надвигающихся сумеркахъ блѣдно-желтыми точками загораются береговые маяки, а берега уже не видно, онъ скрылся за косыми полосами налетѣвшаго дождя.

О!.. Какъ безконечно одинокой чувствовала себя въ эти минуты Лиза. Маленькой, ничтожной, не нужной никому, казалась она себѣ: безъ Отечества, безъ Родины...

Февралевы, какъ только ощутили запахъ керосиновой гари и масла, запахъ парохода, почувствовали себя не хорошо и спустились въ каюту.

Жутко на душѣ у Лизы. Было мгновеніе, когда еще былъ виденъ берегъ: прыгнуть за бортъ и плыть по волнамъ, обратно на берегъ, въ Европу... Домой... Но... Змѣиный, страшный, ядовитый шопотъ зашепталъ въ самой глубинѣ ея сердца: «А гдѣ у тебя домъ? Не все ли равно?»...

Пароходъ небольшой. На немъ всего сто семьдесятъ пассажировъ.

Зазвонили къ обѣду. Въ ярко освѣщенной, чистой, блестящей каютъ-компаніи музыканты играли бравурный маршъ. Качало, но «скрипки» не были положены. Февралевы не вышли къ обѣду. Противъ Лизы сидѣли старыя американки и молодые американскіе студенты; одинъ изъ нихъ явился въ рубашкѣ безъ рукавовъ, въ подтяжкахъ, постоялъ, покачиваясь и пересмѣиваясь съ молодыми студентками, и пошелъ пріодѣться.

Кругомъ Лизы молодой смѣхъ, крики, веселый говоръ, свободное, непринужденное обращеніе: ѣдутъ д о м о й, къ себѣ, на Родину!.. На Лизу повѣяло просторомъ и обшир-

ностью Америки. Черезъ нее кричали на другую сторону стола:

— О, мнѣ еще четыре дня по желѣзной дорогѣ...

— Вы развѣ изъ Фриско?..

— Качайте дальше.

— Я на фарму автомобилемъ поѣду: сутокъ пять пути... Совсѣмъ на югѣ...

— Вы изъ Чикаго?..

— По чему вы узнали?..

— По говору вашему.

Лакеи, ловко балансируя по колеблющейся палубѣ, безшумно разносили блюда. Восемь перемѣнъ было, и все для Лизы такое соблазнительное и вкусное, но Лиза только отмахивалась. Снизу отъ желудка поднималась какая то муть, тужелой становилась голова и Лиза думала только о томъ, чтобы досидѣть до конца обѣда, не подавъ вида, что ей дурно.

Океанъ покорилъ Лизу.

Утро... Ни тумана, ни тучъ... Все сіяетъ и горитъ кругомъ въ солнечномъ блескѣ. Фіолетовыя волны идутъ, въ стройномъ порядкѣ, спокойныя, ровныя, не высокія. Рѣдко, рѣдко, тутъ, тамъ вспыхнетъ на нихъ бѣлый гребень, и побѣжитъ, сверкая, вдоль волны, съ тихимъ шипѣніемъ догоняя пароходъ.

Наталья Петровна и Татуша лежатъ на палубѣ въ соломенныхъ креслахъ. У нихъ блѣдныя лица и утомленный, томный видъ. Онѣ отходятъ отъ морской болѣзни.

Зима, а какъ тепло!.. Лиза стоитъ у борта. Она слушаетъ пѣсню океана. И кажется ей, что начинаетъ она улавливать его мелодію и постигаетъ въ гимнѣ Океана Того Невѣдомаго, Кого отрицали ея учителя и о Комъ говорилъ ей отецъ. Развѣ можно было бы быть безъ Его помощи здѣсь, затерянной въ безконечномъ просторѣ морского пути?..

Четверо сутокъ бѣжитъ пароходъ, и будетъ бѣжать еще шесть сутокъ, и все будетъ то же море, та же вода, та же

игра красокъ, та же безпредѣльность и то же одиночество... Станетъ жутко...

Нѣтъ возврата...

Въ этотъ день всѣ встали раньше обыкновеннаго. Шесть часовъ утра, а уже пассажиры на ногахъ, толпятся на верхней палубѣ.

Все было, или казалось Лизѣ, необыкновеннымъ. Передъ нею — блѣдно-розовое небо. Туманная сизая дымка, какъ налетъ на розовой сливѣ, прикрываетъ показавшуюся на горизонтѣ землю. Въ этомъ туманѣ начали выявляться, обрисовываться, сначала неясными, неопредѣленными очертаніями, потомъ все яснѣе и яснѣе, прозрачными розовато-синими силуэтами дома-небоскребы Манхаттана. Нью-Іоркъ показался вдали.

Узкія башни были словно тонкія иглы. На одной, на самомъ верху, что-то блистаетъ нестерпимымъ блескомъ на солнцѣ. Другія башни болѣе широкія, то съ плоскими крышами, то съ куполами.

Дома... дома... Блистаніе безчисленныхъ оконъ, громада города, и отъ него наплывалъ, постепенно нарастая, шумъ — пѣсня Нью-Іорка...

Она напомнила Лизѣ симфонію Амфитеатрова: «Америка».

Все было красиво и необычайно, волнующе, все было совсѣмъ особенное, смѣлое по размаху, дерзновенное, ничѣмъ не стѣсняющееся, гордое — Американское...

Новый Свѣтъ!..

Февралевы подошли къ Лизѣ.

Ихъ движенія медленны и лѣнивы. Онѣ еще не совсѣмъ проснулись. Имъ все это кажется видѣніемъ.

— Вавилонъ какой-то, — соннымъ голосомъ, въ носъ, говоритъ Наталья Петровна.

— Стиль другой, мама, — отвѣчаетъ Татуша. — Я видѣла Вавилонъ на картинкахъ. Тамъ камень черный и дома замысловатѣе... Тутъ точно коробки.

— И какъ имъ не страшно жить. Вавилонскія башни, вотъ-вотъ попадаютъ...

— А какъ красиво, — тихо говоритъ Лиза. — Точно видѣніе. Будто снится все это...

— Красиво... Не нахожу. Мнѣ страшно. Что, если повалятся всѣ эти башни-то, — говоритъ, зѣвая, Наталья Петровна.

Машина на пароходѣ перестала работать. Безшумно несся пароходъ, и казалось, что онъ стоитъ на мѣстѣ, а берегъ надвигается на него. Глухо и уныло, какъ тогда, при отплытіи, загудѣлъ, сотрясая воздухъ, гудокъ:

— У-у-ууухъ!.. У-у-ууухъ!..

Обдало горячимъ паромъ, пахнуло машиной.

Тяжелая тоска налегла на душу Лизы. Такъ много напомнилъ ей этотъ гудокъ.

Слышнѣе стала музыка города. Длинно и протяжно, точно зовя въ невѣдомую даль, выла заводская сирена, стали слышны гудки автомобилей, бѣгъ колесъ, грохотъ кидаемыхъ тяжестей, лязгъ желѣза, быть можетъ, говоръ неумолкаемый, говоръ еще невидимой милліонной толпы. Какіе-то колокола звонили.

Изъ-за статуи Свободы быстро неслась навстрѣчу пароходу моторная лодка. Бѣлый слѣдъ длиннымъ шлейфомъ змѣился за нею по заголубѣвшей водѣ. Въ лодкѣ стояли люди. Они кричали что-то на пароходъ, и имъ съ мостика отвѣчали:

— Ау... авъ... авъ... — слышалось въ свѣжемъ, утреннемъ воздухѣ.

Точно собачьимъ лаемъ, встрѣчала Лизу новая жизнь.

— Ау... авъ... авъ... авъ...

Непонятная, чужая, смѣлая жизнь...

Лодка описала дугу, и понеслась обратно

Пароходъ входилъ въ широкую, какъ морской проливъ, рѣку.

Ея берегъ, какъ острыми зубьями громадной пилы, былъ изрѣзанъ безчисленными молами пристаней, деревянными

эстакадами съ сараями, пакгаузами, унылыми, не жилыми постройками таможенъ и складовъ. Кое-гдѣ надъ ними, на свѣжемъ вѣтру, трепетали на флагштокахъ и мачтахъ американскіе узкополосые флаги, съ синими, покрытыми звѣздами, квадратами по угламъ.

Пароходы-гиганты стояли вдоль пристаней. Черныя громады ихъ, съ бѣлыми и красными обводами, съ огромными овальными трубами съ желто-розовыми верхами, съ бѣлыми каютами, со шлюпками по бокамъ, были, какъ цѣлые города.

«Беренгарія», «Бременъ», — читала Лиза. — «А вонъ и «Queen Mary», «Normandie»... *).

Всѣ знаменитости Атлантическаго океана стояли здѣсь.

Пестрые флаги играли, трепетали на кормахъ и на мачтахъ: нѣмецкіе, французскіе, итальянскіе, англійскіе, шведскіе, норвежскіе, датскіе, аргентинскіе, парагвайскіе, какіе-угодно; не было только Русскаго флага...

Права была Лиза въ своемъ жестокомъ приговорѣ: Россіи не было. Не было у Лизы Отечества.

Но, когда безшумно проносился пароходъ мимо «Бремена», и увидала Лиза черную свастику на бѣломъ фонѣ на аломъ полотнищѣ флага, — знакъ вѣчнаго движенія, непрерывнаго прогресса, ощутила, какъ теплая волна залила ея сердце... Родина!..

Разнообразные запахи шли отъ города. Пахло каменноугольнымъ дымомъ, горѣлой нефтью, смолой, вдругъ пахнуло прянымъ ароматомъ ванили, апельсинами, смоляными канатами, терпкимъ запахомъ пустыхъ винныхъ бочекъ, пригорѣлымъ масломъ, грязной мыльной водой, тошнымъ запахомъ городскихъ стоковъ, помоями и сразу нѣжнымъ запахомъ мимозы. Золотыя кисти цвѣтовъ привезенныя съ юга свисали съ корзинъ на баржѣ.

Матросы раздраивали трюмныя доски. Медленно шевелился на бакѣ громадный паровой кранъ, готовясь вытаскивать товары. Пароходъ причаливалъ къ берегу.

---

*) «Королева Марія», «Нормандія».

Оглушая, прогудѣлъ гудокъ:
— У-у-у-уухъ!..

II.

Смятенная душа Лизы была полна тоски, сомнѣнія, печали и тревоги. Кругомъ шла радостная суета. Пароходный оркестръ вышелъ на палубу и игралъ веселый, бравурный маршъ. Отъ звуковъ его сердце Лизы разрывалось на части, и хотѣлось бѣжать куда-нибудь, чтобы не видѣть суеты толпы, чтобы не слышать пошлыхъ трубныхъ звуковъ.

Шла повѣрка паспортовъ.

Чиновники не хотѣли пускать Февралевыхъ на берегъ. Всѣхъ пріѣзжихъ встрѣчали. Кто-нибудь поручался за того, кто сходилъ. Февралевы оставались однѣ. Густой толпой схлынули съ палубы и наполнили трапъ и набережную американки-туристки, студенты и студентки: они были свои, они пріѣхали домой. Сошли нѣмецкіе евреи, встрѣченные мѣстной еврейской организаціей; имъ записали квартиры и тутъ же, на пароходѣ, обѣщали мѣста.

Помощникъ капитана хотѣлъ передать бумаги Февралевыхъ этой же организаціи, чтобы она занялась ими, но въ это время къ пароходу подбѣжала толстая женщина и съ нею короткій человѣкъ въ длинномъ драповомъ пальто. Они издали махали платками и кричали:

— Февралефф!.. Акантофф!.. Russian lady!.. *).

Они приняли Февралевыхъ и Лизу, и чиновники пропустили ихъ и направили въ таможню.

Встрѣтившіе Февралевыхъ заговорили по-англійски:

— Брухманы, — сказалъ короткій человѣкъ, наголо бритый, съ сѣдо-рыжими волосами. — Мы Брухманы...

— Брухманы, — подтвердила и дама въ шляпкѣ, сбитой на бокъ. — Намъ писали изъ Парижа... Все для васъ готово.

Оба Брухманы пытливо и внимательно острыми глазами осматривали Наталью Петровну и дѣвушекъ, какъ евреи

*) Русскія дамы.

и цыгане осматриваютъ на конной ярмаркѣ лошадей. Ихъ быстрые глаза обшарили лица, тѣла, костюмы, задержались на рукахъ и ногахъ, и, казалось, оба остались довольны осмотромъ.

— Вотъ мы и за вами, — быстро, на грубомъ англійско-еврейскомъ жаргонѣ Бронксвилля, тараторила толстая Брухманъ. — Мы же обязаны помогать другъ другу. Мельхіоръ, получи отъ дамочекъ квитанціи. Мой мужъ, онъ отвезетъ ваши вещи, а я устрою вамъ праздникъ... Ну, надо же вамъ показать нашъ городъ... Надо угостить васъ. Такъ вы же, навѣрно, еще и не завтракали...

У Лизы голова кружилась. Ей казалось, что каменныя плиты мостовой качаются подъ нею, какъ пароходная палуба. Сразу обступившій шумъ и грохотъ города ее оглушилъ. Безвольно и безпомощно, ни о чемъ не думая, шла она рядомъ съ Татушей за Натальей Петровной и Брухманъ, и обрывками слушала, что непрерывно, не умолкая, кричала Брухманъ:

— Такъ это же Америка!.. Тутъ мы, какъ дома... И какъ хорошо, что вы рѣшились ѣхать сюда... И вы, мадамъ, и барышни такія изъ себя красивенькія... Такъ это же — капиталъ!.. Ну, это не Холливудъ какой-нибудь!.. Конечно... Но и тутъ женская красота, такъ, вѣдь, это же доллары!.. Это же золотые доллары...

Они подошли къ станціи подземной дороги.

— Ну, что тамъ, Парижское метро? — кричала Брухманъ, — такъ тутъ нашъ субвей въ нѣсколько этажей... Очень глубоко...

Онѣ опустились по подъемной машинѣ далеко внизъ... Лиза задыхалась отъ душнаго, ужаснаго, спертаго воздуха, пропитаннаго испареніями толпы. Ей казалось, что она вотъ-вотъ упадетъ въ обморокъ. Сквозь гулъ въ ушахъ, она слышала, какъ Брухманъ кричала ей въ уши.

— Такъ это, мамзель, привыкнуть надо. Глотайте воздуха, вотъ и пройдетъ... Такъ это же самое быстрое сообщеніе. Разъ-два и готово. Изъ Манхаттана въ Бронксвилль

или въ Харлемъ... Мы пока еще не милліонеры какіе-нибудь, чтобы имѣть свои автомобили... Тутъ Америка, для всѣхъ удобно...

Когда Лиза вышла изъ вагона, она чуть не хлопнулась на землю, такъ кружилась у нея голова. Она побѣжала къ выходу, на свѣжій воздухъ. Брухманъ не унималась:

— Мы теперь пойдемъ немного въ отель. Такъ это тоже надо знать, что это за отель. Это отель «Эдиссонъ»! Сто этажей; это же храмъ, это горная скала, а не постройка... У насъ, въ Америкѣ, все такъ...

Въ отелѣ, когда тронулся лифтъ, Лизу такъ подбросило кверху, что она ухватилась за стѣнку. Кабинка неслась съ такой быстротою, что у Лизы кровь отлила отъ головы и въ виски стучало. Ей этотъ подъемъ показался ужасомъ. Въ ушахъ звенѣло, и снова дѣлалось дурно...

Брухманъ снисходительно щурила желтые глаза на Лизу и говорила:

— Привыкнете понемногу, мамзель. Вы посмотрите на вашу подругу. Такая изъ себя субтильненькая, современная линія, а какъ все это выноситъ, даже смѣется. Это такъ хорошо, что вы обѣ и хорошенькія изъ себя, и разныя, значитъ, каждая въ своемъ родѣ и на всякій вкусъ...

Обалдѣвшая, растерянная, испуганная, недоумѣвающая вошла Лиза въ большую, свѣтлую, нарядную столовую отеля и сѣла со всѣми за столъ. Брухманъ заказала cockteil.

— Какой коктэйль прикажете? — спросилъ лакей.

— Old-Fashionned, — сказала Брухманъ. Она, видимо, знала толкъ и въ ресторанахъ, и въ коктэйляхъ.

— У насъ, въ Америкѣ, — говорила Брухманъ на своемъ ужасномъ англійскомъ жаргонѣ, — всегда начинаютъ, даже и утромъ, съ коктэйля. Въ немъ главное, это — виски, ну, потомъ немного коньяку, капелька мараскина; это, знаете, для аромата; кусочекъ апельсина, ананаса и вишня. Къ этому подаютъ стаканъ ананаснаго сока. Это чтобы прояснить мозги...

Замысловатый коктэйль и ароматный, сладкій, прохладный ананасный сокъ освѣжили Лизу и привели ее въ чувство. Голова перестала кружиться, и прекраснымъ показался ей громадный, во всю тарелку, бифштексъ, кукуруза и бобы, великолѣпное яблочное пирожное, гдѣ было много душистыхъ яблокъ и совсѣмъ мало нѣжнаго, тающаго во рту, тѣста. Чашка кофе совершенно привела въ себя Лизу.

Все, не переставая, говорила Брухманъ:

— У насъ, въ Америкѣ, ѣдятъ хорошо и не дорого. Весь завтракъ — одинъ долларъ. А это главное въ жизни, чтобы хорошо ѣсть... Въ жизни, ѣда, это — главное. Мы это любимъ... Теперь пойдемте, я повезу васъ на верху автобуса, немножечко глотнуть воздуха, и покажу вамъ нашъ городъ.

Татуша сѣла рядомъ съ Лизой. Она толкнула Лизу подъ локоть и шепнула ей:

— Можно подумать, что эта старая жидовка и точно природная американка, что это она строила этотъ городъ и открывала и создавала Америку...

Точно по тѣсному, горному ущелью, куда не проникаютъ лучи солнца, несся по Нью-Іоркскимъ улицамъ автобусъ. Чтобы увидѣть верхи домовъ, нужно было совсѣмъ запрокинуть голову.

Внизу кишмя кишѣли люди, неслись автомобили, грузовики, автобусы, не смолкая, раздавались крики продавцовъ газетъ, и шелестъ резиновыхъ шинъ по черному гудрону не прекращался ни на мгновеніе. И было темно, какъ въ закрытомъ пассажѣ.

Былъ легкій морозъ и гололедица. Одѣтые въ черное, люди спѣшили по скользкимъ панелямъ, скользили, падали и снова бѣжали, всѣ куда-то торопились. Недвижные въ морозномъ воздухѣ, кое-гдѣ висѣли флаги.

Вдругъ однообразную череду гигантовъ небоскребовъ прерветъ красивое не высокое зданіе. Точеный, полированный камень, шесть колоннъ Коринфскаго стиля поддерживаютъ капитель съ каменными барельефами. За колоннами — большія окна, каменные балконы у второго этажа, съ точеными изъ камня балюстрадами, широкая рѣзная дверь —

смѣсь стараго греческаго и готическаго стилей. Что-то съ претензіей на красоту.

Что это?.. Храмъ?..

Автобусъ останавливается. Лиза читаетъ надпись. Строгими, рельефными буквами между извилистыхъ заставокъ начертано:

«New-York Stock-Exchange».

Да, это — храмъ... Храмъ золотого тельца, храмъ золота, доллара, торговли, — американскій современный храмъ.

Противъ него — громадная постройка новаго стиля, точно высокая, многооконная каменная коробка: домъ Моргана... Банкъ...

Это — Бродъ-стритъ, Эксченцъ-плэсъ...

Деньги, деньги, деньги...

Въ холодномъ сумракѣ темной отъ высокихъ домовъ и узкой улицы, на каменномъ постаментѣ, — статуя перваго президента республики.

Такою ли думалъ создать Америку Георгъ Вашингтонъ?

Автобусъ мчится дальше. То затирается быстро бѣгущими, какъ черные тараканы, автомобилями, то, вырвавшись на чистое, несется, тѣсно окруженный ими.

Двадцати-этажное, безъ украшеній, бѣлое, какъ узкая папиросная коробка, поставленная на ребро, зданіе... — Первый національный банкъ... А подъ нимъ, на маленькой площади, тѣсно, тѣсно стоятъ плиты стараго кладбища. Безъ загородки, среди живой толпы, въ центрѣ города, въ шумѣ и грохотѣ автомобилей, въ вѣчной городской суетѣ, остались лежать мертвые, — какъ нѣмое напоминаніе о бренности людского богатства.

Эти контрасты поражали Лизу. Все было грандіозно, коегдѣ красиво ,но безалаберно, безвкусно, безсистемно, и до жути волновало величіе и дерзновеніе человѣческаго генія.

— Это все мы построили, — сквозь шумъ улицы, доносится до Лизы жаргонный голосъ госпожи Брухманъ. — Это же все наше. Наши деньги, наша сила, наши способности и умѣніе...

Быстро догоралъ короткій зимній день. Обѣдали въ Гарлемѣ, въ негритянскомъ кварталѣ, а потомъ въ какомъ-то барѣ пили кофе, сидя на высокихъ стульяхъ у стойки.

— Это же надо по-американски, — настаивалъ Брухманъ.

И когда вышли — наступилъ вечеръ.

Все преобразилось, и еще величественнѣе и своеобразно красивѣе сталъ городъ. Улицы были залиты яркимъ, бѣшенымъ электрическимъ свѣтомъ. Ни въ Берлинѣ, ни въ Парижѣ Лиза не видѣла такого разлива свѣта рекламъ, вывѣсокъ, поднимавшихся на громадную высоту, переливавшихся всѣми цвѣтами радуги, то погасавшихъ, то снова загоравшихся, вертящихся, ходящихъ, точно плывущихъ въ воздухѣ, надъ домами. Однѣ мигали, другія каждое мгновеніе мѣняли свой цвѣтъ и форму, третьи ослѣпительно ровно горѣли, освѣщая вывѣски и картины рекламъ...

На Times-square, гдѣ еще больше было огней, гдѣ рядомъ, одинъ къ другому, стояли кинематографы, маленькіе театры, бары, рестораны, ночные кабачки, отъ рекламъ было свѣтло, какъ днемъ. Аршинныя буквы, саженныя изображенія кинематографическихъ звѣздъ, перемежались съ надписями названій ресторановъ.

— Это же, — поясняла Брухманъ, — самое веселое мѣсто Нью-Іорка. Тутъ и кинематографы, и танцульки, тутъ все... Хорошенькой барышнѣ тутъ можно завести выгодное знакомство. Тутъ деньги льются, какъ вода.

Изъ дверей, черезъ окна, отовсюду слышна была музыка. Играло «радіо», въ открытыя двери было слышно, какъ били барабаны, раздавалась негритянская экзотическая пѣсня, дышащая зноемъ ананасныхъ плантацій. Сладкій теноръ пѣлъ по-англійски, піанино и скрипка ему аккомпанировали.

— Раньше тутъ что гавайскихъ гитаръ звенѣло, — говорила Брухманъ, — прямо, какъ кошки мяукали. Теперь онѣ изъ моды вышли.

По панелямъ шла густая толпа, не протолкаться черезъ нее.

И надъ толпою, — и такъ казалось страннымъ появленіе этой черной статуи въ одѣяніи ксендза надъ праздной,

веселящейся толпой, — стоялъ памятникъ какому-то проповѣднику.

Брухманъ сказала, съ презрительнымъ смѣшкомъ:

— Этотъ католическій пасторъ, на этомъ самомъ мѣстѣ, читалъ свои проповѣди. Онъ думалъ отвлечь людей отъ грѣха... Чудакъ!..

Усталыя, ошалѣвшія отъ впечатлѣній дня, Февралевы и Лиза, наконецъ, добрались до комнаты, нанятой для нихъ въ томъ же домѣ, гдѣ помѣщалась мастерская Брухманъ.

— Ну, вотъ, мадамъ, мадмуазелль, вы и у себя... Завтра еще не работаете. Вамъ надо осмотрѣться и устроиться. А послѣзавтра мы и начнемъ. По Парижскимъ моделямъ... О, я вижу, что мы съ вами здѣсь сдѣлаемъ прекрасныя дѣла... У меня на это опытный глазъ и легкая рука...

III.

Три широкія, — можно лежать и вдоль, и поперекъ, — постели. Шкафъ въ стѣнѣ, три кресла, крошечный столъ... вотъ и вся меблировка. Затхлый запахъ пыли, жилья, лампа на потолкѣ, наверху, заливаетъ комнату ровнымъ, неподвижнымъ, мертвымъ свѣтомъ и кладетъ на лица рѣзкія, некрасивыя тѣни...

— Уфъ, — говоритъ Татуша, и съ размаху кидается на постель. — Наконецъ, мы у себя дома... Я такъ наѣлась и такъ хочу раздѣться. И какъ тутъ все необычно... Тепло и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ холодно!.. Лиза, какъ думаешь, есть у нихъ культура?..

— Не знаю. Я не разобралась еще, не осмотрѣлась... Одно могу сказать: женщины, кого мы видѣли сегодня въ ресторанахъ и барѣ, тонки, поразительно красивы, и какъ безвкусно одѣты.

— О, мы одѣнемъ ихъ, какъ слѣдуетъ, — самоувѣренно сказала Наталья Петровна. — Я вижу здѣсь широкое поле дѣйствія. Мы поставимъ домъ Брухманъ по-Парижски. Милая Лиза, съ ея талантомъ, намъ въ этомъ поможетъ...

— А какая прелесть эта Сара Брухманъ, — сказала Татуша, — вотъ, вѣдь, и жидовка, а какъ приняла, угостила, устроила. Тѣсновато немного, а не плохо. И, кажется, чисто, и все, что нужно, есть. И какой комфортъ. Да, Америка... Комфортъ, мама, это — не культура... Культуры здѣсь нѣтъ...

—Я всегда говорила и исповѣдывала, — отвѣчая на первую половину фразы дочери, сказала Наталья Петровна, — жиды тѣ же люди. И между ними есть прекрасные люди... Мудрый Эдипъ, разрѣши, для чего было Сарѣ такъ стараться передъ нами? Надо думать, что Дуся написала ей, кто мы такіе... Не простыя, какія, бѣженки. Лиза — генеральская дочь... Ты какъ думаешь о жидахъ, Лиза?

Лиза пожала плечами и ничего не отвѣтила.

IV.

Она сама задумалась, какъ же она относилась къ евреямъ?..

Въ годы, когда въ Германіи шла борьба, и евреи осѣдлали нѣмецкій народъ, ослабѣвшій послѣ страшной войны, Лиза кончала гимназію. Она была въ томъ возрастѣ, когда дѣвочки безпричинно, горячо и платонически, влюбляются въ кого попало: въ артиста кинематографа, котораго видѣли только тѣнью, двигающейся по экрану, въ тенора, въ учителя исторіи, въ почтальона... Такою любовью Лиза воспылала тогда къ старому профессору Ротшпану.

Ротшпанъ былъ еврей. Онъ былъ старый, сѣдой, неопрятно выбритый, некрасивый. Онъ поразилъ Лизу острыми, насмѣшливыми, глубоко въ душу проникающими взглядомъ глазами, и страшнымъ, все сокрушающимъ матеріализмомъ и цинизмомъ. Не было для Ротшпана въ мірѣ ничего святого... Весь міръ для него былъ сосредоточенъ въ одномъ великолѣпномъ «я», которое наслаждалось и жило, какъ только могло.

Онъ внушилъ классу преклоненіе и страхъ. Строгими вопросами, ядовитой, ѣдкой ироніей насмѣшки надъ растерявъ-

шейся, невпопадъ отвѣтившей ученицей, онъ терроризировалъ дѣвочекъ. Его ждали съ трепетомъ и благоговѣніемъ. Бойкая, смѣлая, всегда хорошо знающая урокъ, Лиза гордилась и была счастлива тѣмъ, что такой умный человѣкъ выдѣлилъ ее и отличилъ среди другихъ ученицъ. И, когда раздавался рѣзкій, непріятный голосъ Ротшпана:

— Фрейлейнъ Акантъ, разскажите имъ, чего онѣ не понимаютъ, —

Лиза вставала, шла къ доскѣ, румяная отъ счастья, и начинала говорить. Тяжелыя, русыя косы шевелились на ея спинѣ и алыя съ ямочками щеки пылали отъ волненія.

Ротшпанъ снисходительно кивалъ головой, и на безобразномъ лицѣ стараго философа появлялась любезная улыбка. Эта улыбка волновала Лизу и заставляла ходить ходуномъ по молодымъ жиламъ ея горячую кровь, а ясные синіе глаза прикрывать густою тѣнью длинныхъ, дѣтскихъ рѣсницъ.

Темнымъ зимнимъ вечеромъ Ротшпанъ нагналъ Лизу, когда та шла изъ гимназіи. Былъ туманъ. Каменныя панели были мокры, вдоль нихъ по мостовой длинными грядами лежалъ тающій грязный снѣгъ, пропитанный черной автомобильной гарью. Улица была пустынна. Не ярко свѣтили рѣдкіе фонари.

— Фрейлейнъ Акантъ, — сказалъ Ротшпанъ, наклоняясь къ уху Лизы, — я живу въ этомъ домѣ, на пятомъ этажѣ. Зайдите ко мнѣ, я разъясню вамъ приватно то, что вамъ не ясно. Я открою вамъ всѣ тайны мірозданія...

Не думая ни о чемъ дурномъ, Лиза пошла съ Ротшпаномъ.

Какъ въ дивный храмъ науки, входила она въ темный, мрачный кабинетъ, гдѣ пахло застарѣлымъ сигарнымъ дымомъ и неопрятнымъ старымъ жидомъ. Она слушала яркій и страстный разсказъ о жизни, о борьбѣ міровъ, о самозарожденіи всего живого. Съ трепещущимъ юнымъ сердцемъ, въ легкой гимназической блузкѣ и короткой юбочкѣ, стояла Лиза, нагнувшись надъ громаднымъ микроскопомъ, и съ ужасомъ наблюдала, какъ въ каплѣ воды клешнятыя чудовища, черви, змѣи пожирали другъ друга, какъ тутъ же плодились

они, расли и множились. Она не чувствовала, какъ большая, сухая, горячая рука хищно и осторожно обнимала ея талію и чуть касалась выростающихъ молодыхъ грудей. Она не замѣтила, вѣрнѣе — не поняла, когда, доставая снизу листы рисунковъ, старый профессоръ, будто боясь упасть, жадно хватался за ея ноги выше колѣна.

Потомъ Лиза сидѣла у стола, заваленнаго книгами и бумагами, въ глубокомъ креслѣ, а Ротшпанъ то стоялъ противъ нея, вперивъ страстный взглядъ въ ея глаза, размахивалъ руками съ растопыренными пальцами, то ходилъ по комнатѣ, и полы его длиннаго сюртука болтались въ темнотѣ, какъ крылья идущаго по землѣ ворона. Онъ носился надъ Лизой, какъ коршунъ надъ жаворонкомъ...

— Жизнь, — говорилъ онъ страшнымъ шопотомъ, наклоняясь къ Лизиному лицу, почти касаясь сухими, жаркими губами пылающихъ щекъ и вдыхая ароматъ густыхъ и нѣжныхъ волосъ, — это только мгновеніе, одинъ мигъ... Это безконечно малая величина въ пространствѣ тѣхъ милліардовъ вѣковъ, что существуетъ вселенная. И — никакого Бога!.. Никогда не позволяйте себѣ думать, Лизе, что есть Богъ... Нѣтъ ни еврейскаго, грознаго Іеговы, нѣтъ и благостнаго Бога христіанъ, и самого Іисуса нѣтъ и не было... Только легенда, сказка, выдумка... Все умираетъ и никогда не воскреснетъ...

Лиза стала ходить къ профессора Ротшпану по два, по три раза въ мѣсяцъ. Она уславливалась о свиданіи заранѣе, устраивалась такъ, чтобы можно было возможно дольше остаться у него, въ таинственномъ кабинетѣ ученаго, гдѣ открывались передъ нею великія научныя истины, гдѣ манила ее въ неизвѣданныя глубины бездна.

Теперь на громадномъ столѣ ученаго не только лежали книги и рукописи, но стоялъ подносъ, графины съ ликерами и блюдца съ конфетами, и вазочка съ фруктами. И какъ заманчиво было слушать о безконечности. Лиза представляла себѣ ея мрачную продолженность въ милліарды вѣковъ, и ощущала себя искоркой, загорѣвшейся въ темномъ пространствѣ, которому нѣтъ конца.

— Съумѣйте, Лизе, умно и красиво сгорѣть. Не бойтесь стыда и воспоминаній. Все проходитъ... Не бойтесь минутной боли и отвращенія: это — ворота въ непостижимое блаженство, изъ котораго зарождается новая жизнь. И какое великое счастье дать эту жизнь... И, это самое главное: не бойтесь смерти... Именно потому, что нѣтъ будущей жизни, нѣтъ и смерти. Придетъ къ вамъ часъ невыносимой муки, сдавитъ ваше сердце тошнота ужаса совершившагося, покажется вамъ ваше положеніе стыднымъ и ложнымъ, — будьте смѣлой, возьмите на себя — самой гордо уйти изъ жизни. О, какое это дерзновеніе, какое величіе духа — покончить съ собой!..

— Но это больно!.. Это, должно быть, ужасно страшно, — въ томительномъ испугѣ говорила Лиза.

Темная пелена разстилалась передъ ея глазами. Она не видѣла кабинета. Близко отъ нея было лицо съ горящими, какъ раскаленные угли, глазами, и это лицо казалось ей прекраснымъ. Она не отдергивалась, какъ первое время, отъ прикосновенія горячихъ, цѣпкихъ пальцевъ, и ей не было ни странно, ни страшно отъ того, что профессоръ крѣпко сжималъ ея гибкую талію и все старался привлечь ее къ себѣ и посадить на колѣни. Ловкая и сильная, Лиза инстинктивно, слѣдуя дѣвическому цѣломудрію, осторожно, стыдливо увертывалась отъ него, и только слушала, слушала...

Она видѣла заманчивую бездну, куда увлекалъ ее Ротшпанъ. Въ отдаленномъ мракѣ мелькали яркіе малиновые и зеленые огни, возгорались, расплывались трепещущими кругами и погасали. И было такъ, какъ бываетъ, если лечь ничкомъ и прижать крѣпко вѣки къ глазамъ: плыли таинственные искры-огни... Сквозь эту игру свѣтящихся точекъ, Лиза слышала голосъ Ротшпана:

— О, нѣтъ, Лизе... Это одинъ мигъ. Это только сладкое и дерзкое мгновеніе. Секунда острой боли, и все прошло, все кончено, вся боль и оскорбленіе жизни исчезнутъ во мракѣ...

Ротшпанъ доставалъ изъ ящика стола блестящій маленькій револьверъ и объяснялъ его устройство.

Съ еврейскимъ безсердечіемъ, выношеннымъ вѣками предковъ, воспитанныхъ на Библіи и Талмудѣ, считавшихъ всякаго гоя низшимъ существомъ, животнымъ, призваннымъ служить евреямъ, Ротшпанъ, какъ лакомое блюдо, готовилъ себѣ Лизу, чтобы овладѣть ею, а потомъ внушить ей покончить съ собой.

Онъ уже владѣлъ ея душою, подчинилъ ея волю, выпилъ до дна все хорошее въ ней, и онъ овладѣлъ бы и ея тѣломъ, если бы Лиза не сопротивлялась въ безсознательномъ дѣтскомъ страхѣ, ускользая отъ его попытокъ. Онъ все-таки достигъ бы своего, но тутъ пришла въ Германіи новая власть, и все перемѣнилось. Ротшпанъ почувствовалъ, что кончились дни еврейскаго владычества и безнаказанности, и онъ испугался...

Однажды утромъ, женщина, приходившая убирать его квартиру, нашла стараго профессора, висящимъ въ спальной на крюкѣ, въ петлѣ, свитой изъ двойной толстой веревки. Вытянутыя ноги едва касались пола. Лицо было налито кромѣшнымъ ужасомъ...

Лиза неутѣшно и долго оплакивала профессора, раскрывшаго передъ нею тайны жизни, но то новое, свѣжее и здоровое, что началось тогда въ Германіи и быстро несущимся потокомъ, какъ-то сразу, охватило все населеніе, захватило и Лизу своимъ мощнымъ теченіемъ.

Дѣвочки надѣли бѣлыя блузки и черныя юбочки, накинули на плечи желто-коричнезыя кофточки, нашили на рукава значки своихъ отрядовъ и стали маршировать стройными рядами за юношами.

И, вотъ, однажды, впереди раздался звонъ гитары, бодрая пѣсня сдѣлала шагъ смѣлѣе и тверже, и Лиза увидѣла впереди колонны свѣтло-русую голову Курта...

Какъ послѣ тяжелой и долгой болѣзни, оправлялась Лиза и постепенно вступала на новый путь горячей самоотверженной любви къ Родинѣ и служенія ей, путь, благословенный Богомъ и указанный ей фюреромъ Адольфомъ Хитлеромъ.

Чистое обожаніе Вождя Германскаго народа такъ незамѣтно слилось въ сердцѣ Лизы съ настоящей первой любовью къ русому молодцу Курту Бургермейстеру.

Но отъ тяжкой отравы Ротшпановскаго ученія, поразившей Лизу въ нѣжные годы ея созрѣванія, у нея навсегда остался безотчетный страхъ передъ евреями и мистическое преклоненіе передъ ихъ знаніями и силой.

Теперь она поступила на работу въ еврейскій домъ.

V.

Странное заведеніе былъ «торговый домъ Брухманъ и Ко». Наружу не было никакой вывѣски. Внутри, въ двадцать второмъ этажѣ дома, почти сплошь занятаго конторами и магазинами, на бѣлой двери была широкая мѣдная доска и на ней надпись черными буквами:

«Madame Brouchman. Modes et robes. New-York. Paris».

За дверью — рядъ комнатъ: онѣ уходили анфиладой вглубь квартиры, связанныя общимъ корридоромъ, и ихъ двери были всегда закрыты. Лиза даже не знала, сколько именно комнатъ. въ помѣщеніи. Брухманъ сразу установила порядокъ: безъ дѣла ходить изъ комнаты въ комнату не полагается.

Въ первой и, повидимому, самой большой, комнатѣ, какъ во всякой модной мастерской, вдоль стѣнъ стояли шкафы съ платьями, съ полками, съ матеріями и прикладомъ. Посерединѣ комнаты были манекены, между шкафами — кабинки для переодѣванія при примѣркѣ. Въ сторонѣ у окна стояла швейная машина. Тутъ и пахло мастерской: матеріей, нитками, горячимъ утюгомъ, духами и пудрой дамъ, примѣряющихъ платья, и терпкимъ, трудовымъ потомъ Сары Брухманъ и мастерицъ.

Сюда и посадили Февралевыхъ и Лизу.

Иногда посылали то Лизу, то Татушу въ другія комнаты за прикладомъ, отдѣлкой, вышивкой или вставкой:

— Лиза, пойдите въ третью комнату, спросите миссъ Эдитъ, готова ли вышивка для мистриссъ Эдельштейнъ?

Лиза шла черезъ комнаты. Въ нихъ по двѣ, по три сидѣли дѣвушки мастерицы. Всѣ онѣ были молоденькія, хорошенькія. Онѣ любопытными, ревнивыми глазами провожали Лизу. Въ этихъ комнатахъ, какъ будто, и не работали. Въ нихъ пахло духами, а не трудомъ. Во второй комнатѣ радіо подъ сурдинку играло танецъ, и двѣ мастерицы танцовали, а третья ихъ поправляла. Матерія скроеннаго платья валялась въ углу на полу. Въ третьей комнатѣ, гдѣ помѣщалась миссъ Эдитъ, пахло сигарнымъ дымомъ, у двери, за рабочимъ столомъ сидѣла красивая брюнетка, а на столѣ, вежду ворохомъ шелка, спокойно усѣлся толстый мужчина лѣтъ сорока, съ краснымъ, пухлымъ лицомъ, съ жирными губами; онъ плотоядно смѣялся и курилъ. Двѣ другія мастерицы сидѣли въ обществѣ молодыхъ людей, и Лизѣ показалось, что одна изъ нихъ при входѣ Лизы встала съ колѣнъ одного изъ мужчинъ...

Это присутствіе мужчинъ въ модной дамской мастерской показалось страннымъ Лизѣ. Лиза спросила брюнетку, гдѣ миссъ Эдитъ...

Брюнетка оглядѣла съ ногъ до головы Лизу и спокойно сказала:

— Миссъ Эдитъ, это — я.

— Мистриссъ Брухманъ просила узнать у васъ, готова ли вышивка для платья госпожи Эдельштейнъ?

Миссъ Эдитъ не сразу отвѣтила. Она пересмѣивалась съ сидѣвшимъ на столѣ толстякомъ.

— Новенькая? — спросилъ толстякъ.

— Да, — съ презрительнымъ смѣшкомъ отвѣтила миссъ Эдитъ. — Еще трехъ привезла на-дняхъ Сара... Мамаша — штука со смакомъ, а дѣвчонки — дурочки... Смотри, толстый оселъ, не вздумай влюбиться... — и, обернувшись къ Лизѣ, коротко кинула: — Не готова и не скоро будетъ готова. Видите, я занята...

Лиза, какъ ошпаренная, выскочила изъ комнаты.

Въ мастерской госпожа Эдельштейнъ тяжелымъ гиппопотамомъ вертѣлась передъ зеркаломъ. Брухманъ и Татуша ползали подлѣ нея на колѣняхъ, подшпиливая подолъ.

— Я же васъ просила, мистриссъ Сарра, покороче... У меня же, сами знаете, ножка красивая, — говорила Эдельштейнъ, выставляя толстую, нескладную ногу, обутую въ розовато-желтый чулокъ и въ прекрасные американскіе башмаки...

— Ну, что? — поднимая голову на Лизу, спросила Сарра.

— Не готова. Миссъ Эдитъ сказала, что она занята.

Сарра встала съ колѣнъ и внимательно посмотрѣла на покраснѣвшую Лизу.

— Ахъ, да... Что, у нея ея дядя Самуилъ былъ?.. Ну, мистриссъ Эдельштейнъ, не извольте безпокоиться, все будетъ готово къ слѣдующей примѣркѣ...

Вечеромъ, когда Февралевы и Лиза уходили домой, Брухманъ говорила Лизѣ со сладкой улыбкой:

— Такъ это же нужно знать, Лиза, что такое Нью-Іоркъ. Такъ это же городъ сумасшедшихъ. Тутъ, увѣряю васъ, каждый третій человѣкъ немножечко съ сумасшедшинкой въ глазахъ. Тутъ развѣ можно держать строгій порядокъ въ мастерской; тутъ съ этимъ считаться приходится...

— Но отчего же сумасшедшихъ не посадятъ въ больницы? — спросила Наталья Петровна.

— Ахъ, милая мадамъ, ну, развѣ можно построить столько больницовъ... Такъ это же надо треть Нью-Іорка посадить въ сумасшедшіе дома... Ну, и приходятъ иногда къ намъ. Такъ развѣ ихъ выгонишь?.. Это же надо полицію звать...

Мельхіоръ, стоявшій, въ штанахъ и жилеткѣ, съ сантиметромъ, перекинутымъ черезъ шею, вмѣшался въ разговоръ:

— Ну, что тутъ удивительнаго, что люди въ нашемъ городѣ сходятъ съума... Тутъ такія есть профессіи... Иной, еще мальчишкой, какъ сѣлъ на лифтъ, такъ только и дѣлаетъ, что цѣлыми сутками летаетъ съ восьмидесятаго этажа въ первый и обратно. Свѣта солнечнаго никогда не видитъ. Камень и камень, да желѣзная коробка кабины. Ну, или сопьется, или съ ума спятитъ...

Сарра подтвердила слова мужа:

— Ужасно, какъ много пьяныхъ у насъ по ночамъ. Въ Харлемѣ, гдѣ негры, ночью хоть и не ходить. Затащатъ, и что хотятъ, то и сдѣлаютъ...

— Свобода, — тяжело вздыхая и напяливая на плечи рыжій пиджакъ, сказалъ Мельхіоръ. — Въ Харлемѣ?.. Гм-мъ! Въ Харлемѣ?.. Тамъ, представьте, мадамъ, негры по ночамъ бѣгаютъ съ острыми бритвами. Ночью окружатъ бѣлаго: чикъ! — ему носъ и уши отрѣжутъ. Поди, ищи, кто это сдѣлалъ? Всѣ негры одинаковые...

— Въ ресторанахъ, у дамскихъ уборныхъ, караулятъ, — сказала Сарра. — Какая дамочка одна, безъ кавалера, пойдетъ, схватятъ и унесутъ. Если, когда, мадмуазелль, придется вамъ пойти, непремѣнно чтобы кавалеръ васъ сопровождалъ и у двери дождался, а то чистая бѣда съ этими неграми. Такой ужъ городъ Нью-Іоркъ... Большихъ возможностей городъ... Ну, да сами увидите...

Мельхіоръ закрылъ шкафы и сталъ гасить электричество. Февралевы и Лиза вышли изъ мастерской.

Въ корридорѣ билъ въ глаза яркій свѣтъ.

У лифтовой сѣтки растворилась крашеная подъ бронзу желѣзная рѣшетка. Изъ кабинки вышелъ лифтовый служащій съ зеленовато-блѣднымъ лицомъ и шалыми, тусклыми глазами. Онъ выпустилъ даму.

Лиза испуганно прошла мимо.

«Сумасшедшій», — подумала она...

VI.

Лиза очень понравилась Саррѣ. Ея щепетильная честность при разсчетахъ умиляла хозяйку:

— Этой дѣвочкѣ, — говорила Сарра Мельхіору, — можно милліонъ долларовъ довѣрить, ни одинъ пенсъ не пристанетъ къ ея ручкамъ. А ручки — чистое золото. И красивы, и талантливы. Мы эту дѣвочку, не спѣша, продадимъ хорошо. Пускай только немножко попривыкнетъ...

Лизу посылали по магазинамъ за отдѣлкой, за матеріей, или срисовать то, что увидитъ Лиза въ другихъ домахъ, на выставкахъ.

Была ранняя весна, но въ тѣсныхъ улицахъ она не ощущалась. Только потому, что воздухъ сталъ мягче и что на улицахъ появились дѣвочки съ фіалками, а цвѣточные магазины были полны цвѣтущими азаліями, ландышами, гіацинтами и тюльпанами, Лиза поняла, что и въ этотъ городъ торговли заглянула весна.

Лиза опасливо пробиралась черезъ толпу. Крѣпко засѣли въ ея памяти разсказы Сарры и Мельхіора о сумасшедшихъ и пьяныхъ въ Нью-Іоркѣ, о своеобразныхъ нравахъ этого города.

Каждый третій человѣкъ, кого Лиза встрѣчаетъ на пути, — сумасшедшій... Она пугливо присматривалась къ прохожимъ. Вотъ этотъ, что идетъ одинъ и смѣется... Не сумасшедшій ли онъ?.. Почему онъ смѣется?.. А тотъ — развернулъ во всю ширину огромный листъ газеты, сталъ по серединѣ улицы и читаетъ, мѣшая прохожимъ... Промчалась карета скорой помощи, — не сумасшедшаго ли провезли въ ней?.. Двѣ женщины бѣгутъ, размахивая руками... Куда онѣ? Что случилось?..

Толпа становится гуще. Она уже запрудила улицу. Движеніе автомобилей остановлено. Ихъ сворачиваютъ въ боковыя улицы, въ объѣздъ. У дома, куда шла Лиза, показались каски полицейскихъ. Впереди глухо гомонитъ толпа. Лиза вошла въ толпу.

Цѣпь полицейскихъ не пускаетъ идти дальше, и какъ разъ туда, куда нужно Лизѣ. Стоятъ на возвышеніяхъ кинематографическіе аппараты. Улица впереди пуста, и дальше тоже цѣпь полицейскихъ и толпа народа.

Въ окнахъ домовъ торчатъ головы любопытныхъ... На 17-мъ этажѣ большого дома, на наружномъ подоконникѣ, свѣсивъ ноги внизъ, сидитъ молодой человѣкъ и кричитъ что-то полицейскимъ, стоящимъ подъ нимъ. И всѣ смотрятъ на этого человѣка съ любопытствомъ и точно ждутъ чего-то. Лиза увидѣла впереди красивую молодую американку; та по-

казалась ей надежной, и Лиза спросила ее, почему не пускаютъ идти дальше?

Американка, не спуская глазъ съ сидѣвшаго на подоконникѣ человѣка, быстро и оживленно заговорила:

— Подумайте, какой рѣдкостный случай! И какъ мнѣ повезло: я такъ удачно попала, къ самому началу... Можетъ быть, я все и увижу... Видите вы того человѣка, что тамъ наверху сидитъ и кричитъ? Я все узнала. Это — Джонъ Вардъ... Ему 26 лѣтъ... Онъ только-что поругался не то съ женой, не то съ родителями... Я не могла этого точно узнать... Ну, словомъ, семейная драма. Такъ онъ сказалъ только-что, что выбросится изъ семнадцатого этажа на мостовую. Такой отчаянный. Я думаю: ни одной косточки у него цѣлой не останется... Въ четыре часа утра, еще всѣ спали въ домѣ, онъ забаррикадировалъ двери своей комнаты и вылѣзъ въ окно. Мнѣ объ этомъ сказала молочница; я мигомъ одѣлать и побѣжала смотрѣть, какъ это будетъ... Полиція очистила улицу. И хорошо сдѣлала. Подумайте, если такой здоровенный дядя вамъ на голову свалится; я думаю, въ лепешку расшибетъ...

Лиза не вѣрила ни глазамъ своимъ, ни ушамъ:

— Но, неужели, это правда? Неужели, такъ-таки нельзя ему помѣшать въ безумномъ его намѣреніи? Нельзя спасти его?..

Стройная дѣвушка, красивая, какъ большинство американокъ, съ холодными зеленоватыми глазами, хорошо одѣтая, съ книгой подмышкой, вмѣшалась въ разговоръ. Любопытными, восторженными глазами смотрѣла она на подоконникъ:

— Какъ можно мѣшать, миссъ! Онъ свободенъ. Жизнь — его, и принадлежитъ только ему. Я сама слышала, и пяти минутъ не прошло съ тѣхъ поръ, какъ онъ громко, на всю улицу, кричалъ: «Лэди и джентльмэны. Я угнетенъ семейной жизнью и рѣшилъ покончить съ собой. Я выкурю папиросу и кинусь на мостовую. Прошу посторониться»... Вотъ, и опять онъ что-то кричитъ...

Въ толпѣ кругомъ Лизы заговорили:

— Все это блеффъ!.. Никогда онъ не кинется. Я готовъ держать пари.

— Конечно, не кинется. Онъ уже съ десятокъ папиросъ выкурилъ, и бросалъ только окурки, а самъ сидитъ и сидитъ. Ногами болтаетъ...

— Просто — бахвалъ!..

— Трусъ...

— Полиція боится двери ломать, чтобы схватить его сзади изъ комнаты...

— Разъ онъ обѣщалъ кинуться, онъ долженъ кинуться, — сказалъ пожилой американецъ. — У меня шея заболѣла смотрѣть на него...

— Кинематографъ пріѣхалъ, сколько безпокойства. Расходовъ... Какъ же не кинуться? Онъ долженъ кинуться...

— А какой это будетъ интересный номеръ въ недѣльномъ обозрѣніи, и можно будетъ еще пустить его «à ralenti, *), чтобы видѣть его лицо, когда онъ будетъ летѣть внизъ, — сказала та американка, къ которой первой обратилась Лиза. — Я всю недѣлю буду ходить. Такія вещи, какъ убиваетъ себя человѣкъ, не часто приходится видѣть...

— Какъ вы думаете, — обратилась къ Лизѣ барышня, — онъ умретъ еще во время полета отъ разрыва сердца, или только тогда, когда ударится о землю?..

Лиза не отвѣтила. Она пыталась повернуть обратно и выбраться изъ толпы. Бѣжать хотѣлось отъ этого страшнаго мѣста. Но толпа стала такъ плотна и густа, что уже не было возможности выйти изъ нея.

— Вы смотрите, что дѣлаютъ, — съ возмущеніемъ, громко сказалъ толстый, пожилой американецъ.

— Какое право они имѣютъ такъ поступать? — возмутилась и первая американка. — Я всѣ ноги отстояла, чтобы видѣть, а они... Вотъ, вѣдь, негодяи. Кто ихъ просилъ объ этомъ?!.

Двумя этажами ниже самоубійцы появились пожарные... Они просунули въ окна желѣзныя балки и прилаживали къ нимъ спасательную сѣть.

---

*) Замедленно.

— Как-кое безобразіе! — началъ, было, толстякъ, и застылъ съ открытымъ ртомъ.

Самоубійца сдѣлалъ рѣзкое движеніе и чернымъ комкомъ полетѣлъ внизъ.

— А-а-ааахъ!.. — раздалось въ толпѣ.

Тѣло глухо стукнулось о мостовую. Сметая полицейскую цѣпь, толпа ринулась впередъ.

Лиза, отчаянно сопротивляясь, чтобы толпа ее не увлекла съ собою, пробилась въ противоположную сторону. Ее, было, прижали къ стѣнѣ, потащили за собою, но она вырвалась, и въ эту минуту остановки видѣла, какъ кинематографическій операторъ торопливо крутилъ ленту... Съ ушибленнымъ локтемъ, запыхавшись, трепеща отъ возмущенія и страха, Лиза бѣжала къ станціи подземной дороги.

«Сумасшедшіе!.. Сумасшедшіе!..», — колотилось въ ея мозгу. — «Городъ умалишенныхъ!.. Какой это ужасъ!..».

VII.

Наступило Нью-Іоркское лѣто. Въ городѣ — тропическая, насыщенная водяными парами жара. Громадныя рѣки, Гудзонъ и Эстъ-Риверъ, еле видный океанъ, какъ тонкой голубой кисеей покрыты парами тумана. Надъ ними лилово-сѣрое небо, не прозрачное, безъ тучъ, душнымъ пуховикомъ давитъ городъ. Улицы, какъ глубокія щели, съ тяжелымъ, неподвижнымъ воздухомъ, насыщеннымъ автомобильными газами. Всѣ, кто могъ, раздѣлись. Мужчины ходили полуобнаженные, загорѣлые, въ трусикахъ, потные и жаркіе. Ихъ прикосновеніе въ тѣсныхъ вагонахъ подземной дороги и въ автобусахъ были противны Лизѣ, и, гдѣ только можно, Лиза ходила пѣшкомъ, чтобы не дышать воздухомъ, отравленнымъ людскими испареніями. Полицейскіе, въ бѣлыхъ кителяхъ и каскахъ, падали въ обморокъ на постахъ. Газеты вели безстрастный подсчетъ людямъ, на-смерть сраженнымъ солнечнымъ или тепловымъ ударомъ...

Вдругъ надвигались надъ городомъ черныя тучи. Молніи широкими, огневыми потоками прорѣзывали небо, и тяж-

кій громъ ниспадалъ на землю. Тогда, казалось, въ грохотѣ и мракѣ, все рушится. Дома задавятъ обломками жителей... Ничего, кромѣ безобразно наваленной груды камней, обломковъ бетонныхъ плитъ и ломанаго, криво изогнутаго желѣза, не останется отъ гордаго города. Въ эти минуты улицы пустѣли. Всѣ бѣжали, кто куда могъ, спасались на станціяхъ подземной дороги, подъ подъѣздами, въ пассажахъ. Освѣжающій ливень упадалъ на городъ. Онъ барабанилъ по вывѣскамъ и стекляннымъ навѣсамъ подъѣздовъ, по крышамъ автомобилей, серебряными брызгами вспыхивалъ на черномъ гудронѣ мостовыхъ. Вдоль улицъ неслись водяные потоки... Мальчишки-негры переносили черезъ нихъ мужчинъ и женщинъ. У сточныхъ трубъ желтобурымъ водоворотомъ крутилась вода и пѣла звонкую пѣсню...

Послѣ грозы становилось еще душнѣе. Въ Центральномъ паркѣ — какъ оранжереѣ. Отъ раскаленныхъ сырыхъ туій, можевельниковъ и кипарисовъ идетъ смолистый, пряный ароматъ. Травы на лужайкахъ и цвѣты въ огромныхъ клумбахъ благоухаютъ, но благоуханіе это кажется ядовитымъ. Фонтаны шумятъ, низвергаясь бѣлыми струями въ широкіе бассейны. Надъ ними — дымка пара, сверкающая радугами. Въ паркѣ людей больше, чѣмъ деревьевъ и кустовъ...

Ночью, истомленная, точно распаренная влажною духотою, Лиза неподвижно лежитъ подъ простынею и не можетъ заснуть.

Татуша еще не вернулась. Наталья Петровна спитъ, неслышно дыша. Часы частымъ тиканіемъ отбиваютъ уходящее время и напоминаютъ Лизѣ ту послѣднюю ночь, когда она на-чисто объяснилась съ отцомъ и сказала ему горькую правду.

Рѣдки письма отъ отца. Писалъ, что туго приходится ему, былъ онъ уволенъ съ завода. Писалъ: «Я самъ не понимаю, на что я живу. Свѣтъ не безъ добрыхъ людей, мнѣ помогаютъ»... Потомъ долгое время не было писемъ, и вдругъ, третьяго дня, пришло совсѣмъ странное письмо. Писалъ отецъ, что онъ получилъ хорошее мѣсто, но что совѣсть его не спокойна.

Лиза въ памяти повторяла особенно поразившія ее мѣста этого письма: «Я искалъ и нашелъ», — писалъ отецъ. — «А, вотъ, что нашелъ, и не знаю. Хорошо ли?.. Лягу ночью, и все думы... Думы и муки... Гдѣ правда?.. Ну, да это потомъ... Но,если, что про меня услышишь... Впрочемъ, откуда?.. Прежде, чѣмъ повѣрить, спишись со мной. Много, вѣдь, и лгутъ, и не разберешь ничего... Вотъ, Чукаринъ, — помнишь казака Чукарина? — тотъ разобрался бы сразу... Надѣюсь, что смогу тебѣ скоро помочь. Надо бы тебѣ выбраться изъ этой проклятой Америки. И какъ жаль, что тебя нѣтъ со мною. Ты направила бы и успокоила меня. Въ тебѣ горькая правда, но она лучше той сладкой лжи, что опутываетъ меня...».

Странное, безпокойное было письмо, и въ эту душную ночь шло оно на память Лизы и не давало уснуть. Тоска и тревога все болѣе овладѣвали Лизой. Казалось Лизѣ, что-то случится этой ночью страшное, непоправимое, случится вотъ тутъ, сейчасъ... Лиза лежала, притаившись, завернувшись въ простыню, прислушивалась къ шумамъ города, и чувствовала, какъ все напряженнѣе и напряженнѣе становятся ея нервы, острѣе слухъ, и небывалый страхъ овладѣваетъ ею. Время шло. Лиза физически чувствовала, тѣломъ ощущала, стремительный полетъ времени...

Было, должно быть, четыре часа утра. Занавѣски на окнѣ порозовѣли. Тише стала неумолкающая пѣсня города. За стѣной въ корридорѣ прогудѣлъ лифтъ. Слышны тихіе, крадущіеся шаги.

Трясясь всѣмъ тѣломъ, Лиза прислушивается къ нимъ. Вотъ остановились у двери. Кто-то вкладываетъ въ скважину ключъ. Тихо отворяется дверь...

Это Татуша. Сквозь полуприкрытые глаза, притаившаяся Лиза видитъ, какъ Татуша входитъ шатающимися, тихими шагами, точно духъ. Она въ легкомъ, прозрачно-сѣромъ бальномъ платьѣ, съ неприлично голой спиной, съ длиннымъ узкимъ треномъ и въ золотыхъ башмакахъ. Тугіе локоны, колбасками лежавшіе на темени и у висковъ, смяты и растрепаны. Татуша не похожа на себя. Это какая-то новая,

незнакомая Лизѣ, Татуша. Богатая, нарядная и... несчастная. Она наполнила спальню ароматомъ духовъ, пудры и легкимъ запахомъ вина. Она скинула на кресло кружевной платочекъ, покрывавшій ея голову, неслышными движеніями сняла платье и почти голая, въ штанишкахъ и чулкахъ, устало опустилась на постель. Чуть скрипнули подъ ея тонкимъ и легкимъ тѣломъ пружины матраца. Какъ ни тихо было, какъ ни слабъ былъ этотъ скрипъ, Наталья Петровна проснулась. Видно, что тревожно и чутко спала она, поджидая дочь:

— Ну, что, Татуша? — шопотомъ спросила она.

Татуша засмѣялась неслышнымъ, нервнымъ смѣхомъ. По тому, какъ заходили на ея спинѣ лопатки подъ тонкой кожей, Лиза догадалось, что смѣется Татуша черезъ силу:

— Что спрашиваешь?.. Сама, вѣдь, знаешь... Ну! Продала меня жидовка совсѣмъ... Со всѣми потрохами моими.. Вотъ и все!.. Работать теперь буду только для видимости... Можетъ, и совсѣмъ уѣду отсюда...

— Джемсъ?..

Татуша кивнула головой.

Наталья Петровна гибко поднялась съ подушки. Она сѣла на постели, сѣдая и растрепанная.

— Какъ?.. Уже?.. — съ мукой въ голосѣ, спросила она дочь...

— Лиза спитъ?..

— Намаялась и спитъ... Да ты тихонько... Нѣтъ, Татуша... Ты это нарочно. Не можетъ быть... Сегодня?.. Сейчасъ?..

Татуша опять засмѣялась. Заходили подъ нѣжной кожей лопатки, позвонки забугрились на круто согнутой, узкой загорѣлой спинѣ:

— Что же, онъ ждать будетъ?.. Къ вѣнцу поведетъ?.. Чего ему ждать? Онъ заплатилъ...

— Но, Татуша... Все-таки?.. Ты подумала?.. А, если, что другое?.. Бракъ?..

— Ахъ... Да... Въ самомъ дѣлѣ... — уже почти громко говорила Татуша. — Мама... Какъ же! Ты разсказывала мнѣ... Такъ то т о г д а было! Въ в а ш и времена... Тогда зацалованная, опоганенная, залапанная, никому не нужная... Не не-

вѣста... Теперь, мама, равноправіе. И они, какъ мы, и мы, какъ они. Помылась, и какъ будто ничего и не было. Хочешь? Нравлюсь — бери, какая есть. А въ моемъ прошломъ не копайся. Ни мое, ни твое прошлое никого не касаются...

— Все-таки, Татуша... — начала Наталья Петровна.

Замолчала.

Такъ, въ молчаніи, прошло нѣсколько минутъ. Часы отбивали ихъ. Лизѣ показалось, что Татуша плачетъ. Но она не плакала. Сухимъ и злымъ голосомъ, она сказала матери:

— Вѣдь, и ты, мама... Съ твоимъ мулатомъ...

— Ахъ.. Ну, что я?!. — досадливо сказала Наталья Петровна, и тряхнула головой. Нервными и порывистыми движеніями, она достала папиросу и закурила. Въ душный воздухъ спальни вошелъ ароматъ табачнаго дыма. — Я вдова, старуха.... И мулатъ хочетъ жениться на мнѣ. У меня ты на рукахъ. Для тебя пошла я на униженіе. Хотѣлось тебя спасти. Вѣдь, хочется выйти изъ кабалы, на дачу лѣтомъ поѣхать. Свой автомобиль завести. На океанъ на пляжъ ѣздить купаться...

— Ахъ... Ну его, и пляжъ этотъ, — брезгливо морщась, сказала Татуша. — Была я на пляжѣ сегодня... Какая мерзость!.. Сѣрое небо. И такъ низко нависло оно надъ океаномъ, что давитъ. Еще душнѣе отъ него. Зелено-сѣрыя волны съ монотоннымъ рокотомъ несутся къ берегу... Сотни тысячъ людей. Какъ песокъ морской. Шумъ, крики, свистульки дѣтей и взрослыхъ, крики продавцовъ питья и сладостей... Воздушные шарики рѣютъ въ воздухѣ, и тошно отъ нихъ... Летаютъ мячи, которыми перебрасываются голые люди, кипѣніе людской толпы. И какъ безобразны голые люди!.. Толстые, обвисшіе, коричневые отъ загара животы стариковъ, въ густой, бѣлой, точно собачьей шерсти, и старыя еврейки... Брррр!.. Какая мерзость. Точно концы верблюжьяго башлыка, спереди висятъ ихъ груди... Воняетъ потомъ... Мы съ Джемсомъ не освѣжились тамъ, а только устали...

— Это онъ тебѣ купилъ платье?

— Да.

Опять замолчали. Лиза лежала подъ простынею, и отъ тоски и тревоги такъ сильно билось ея сердце, что Лизѣ казалось, что толчки его слышны, и Татуша догадается, что Лиза не спитъ... О!.. Какъ стыдно и больно было Лизѣ за простую и милую Татушу!..

Наталья Петровна выкурила папиросу, бросила ее въ стаканъ, и сидѣла, низко опустивъ голову. Снова заговорила Татуша. Печаленъ былъ ея голосъ, и звуки его падали въ утреннюю тишину, какъ удары похороннаго колокола:

— А что, мама, сдѣлаешь?.. Жаловаться?.. На что?.. Сама пошла... А какъ не пойдешь?.. Паспорта наши у нея... Отъ нея теперь никуда не уйдешь. Попали, какъ мыши въ мышеловку... Да и какіе у насъ паспорта!.. Нансеновскіе!.. Это похуже липовыхъ будетъ... Денегъ на руки она намъ не даетъ. Все записываетъ... Потомъ, да потомъ... Мы попали въ еврейскую кабалу. Я теперь понимаю, почему міръ такъ ненавидитъ евреевъ. Эксплоататоры... Какъ паукъ паутиной, опутали они насъ. Работаемъ, работаемъ, а все должники... Мы-то думали: Дуся Королева все намъ даромъ устроила: и визы, и билеты на пароходъ... Все высчитала Сарра. И эта квартира, и мебель, и даже завтракъ и обѣдъ въ день нашего пріѣзда!.. Каково!.. Какъ тутъ ни кинуться въ объятія Джемсу?.. Да и не все ли равно?.. Разъ мы попали сюда, мы — обреченныя... Всѣ... Всѣ... Она и Лизу пока щадитъ, ждетъ, дорожится. Ищетъ любителя, который дорого заплатилъ бы. Лиза красивѣе меня, но... не современная линія. Не модна... Но и ее продастъ...

Татуша накинула ночную рубашку на тонкое, стройное тѣло.

— Что обидно, мама... Я получаю гроши... Кинематографъ, танцульку... Ѣзжу на его машинѣ, а что онъ ей за меня отвалилъ, даже не знаю... Жиды...

— Ну, при чемъ тутъ жиды, Татуша?.. Вездѣ одинаково. Это міръ такой сталъ... Но, мудрый Эдипъ, разрѣши, зачѣмъ, зачѣмъ, Татуша, ты раньше со мною не посовѣтовалась?..

— Зачѣмъ?.. Зачѣмъ?.. Да развѣ ты поняла бы!.. Ахъ, да что еще говорить, — почти выкрикнула Татуша, — заца-

лованная, залапанная!.. Ну, и къ чорту!.. Къ дьяволу!.. Мнѣ, вотъ, жалко: пить не могу. Забылась бы... Все забыла бы... А пить не могу. Тошнитъ... Желудокъ слабый... Некрасиво... Кокаинъ, что ли, нюхать?.. Помнишь, у Вертинскаго: «Кокаиномъ распятая на мокрыхъ бульварахъ Москвы»... Тутъ, мама, не Москва... Тамъ все-таки, вѣрно, легче было бы... Все чужое... И какъ это больно!.. Больно какъ!.. Любовь свою, сердце, невинность дѣвическую отдала, и кому?.. Иностранцу... Американскому хаму. Цѣлуетъ, прохвостъ, лопочетъ по своему... Не поймешь ничего... Проклятая наша жизнь!.. Обреченныя мы!.. Всѣ обреченныя!..

VIII.

Съ этой страшной, душной лѣтней Нью-Іоркской ночи обреченность нависла надъ Лизой. Она все теперь поняла... Она ходила, какъ въ полуснѣ, настороженная, напуганная, одинокая. Все ждала и думала о сопротивленіи. Все-таки не вѣрила она, что можетъ быть такая бездушная, холодная жестокость.

Думала Лиза: «Вѣдь, это — убить!.. Это хуже, чѣмъ убить! На всю жизнь опозорить... Татуша говорила, что она Джемса ни капли не любитъ, что онъ ей противенъ, изо рта его могилой пахнетъ... А получитъ записку, спѣшитъ нарядиться, и ѣдетъ съ нимъ куда-то... Недавно на двѣ недѣли уѣзжали во Флориду, и Татуша съ нервнымъ смѣхомъ повторяла: «свадебное путешествіе». Нѣтъ, не могла Сарра сдѣлать это помимо воли Татуши... Слишкомъ это было бы безчеловѣчно и жестоко...».

Лиза отнесла заказъ, и съ пустыми руками спѣшила обратно. Было душное утро. Черныя тучи навалились на небоскребы, поблескивала молнія и начиналъ грохотать еще далекій громъ. Сейчасъ хлынетъ тропическій ливень. Лиза шла легко одѣтая. Если ее промочитъ, она будетъ, какъ голая... Она спѣшила къ станціи подземной дороги, чтобы укрыться отъ дождя.

Внезапно налетѣлъ порывъ холоднаго освѣжающаго вѣтра, понесъ по улицѣ бумаги, сорвалъ шляпу со старой толстой негритянки; прогрохоталъ близкій громъ, и первыя тяжелыя, крупныя, холодныя капли дождя упали на плечи Лизы.

Кругомъ бѣжали люди, стремясь укрыться, гдѣ только можно. Лиза была подлѣ большого зданія, куда входили мужчины и женщины.

— Что это за зданіе? — спросила Лиза почтенную еврейку, поднимавшуюся по ступенямъ.

— Это темпль.

Лиза поняла: темпль, это — храмъ... Лиза вошла въ храмъ. У входа развязный молодой человѣкъ сунулъ въ руки Лизѣ тетрадку. Лиза очутилась въ просторномъ продолговатомъ помѣщеніи. Оно было уставлено длинными скамьями съ мягкими сидѣніями. Лиза слышала, что въ синагогахъ мужчины сидятъ отдѣльно отъ женщинъ, и сидятъ въ шляпахъ. Тутъ этого не было. Мужчины и женщины садились вперемежку, и мужчины снимали шляпы. Лиза робко сѣла на скамью и оглядѣлась. Можетъ быть, это и не синагога?..

Кругомъ — евреи и еврейки.

Лизѣ стало страшно. Она опустила голову и углубилась въ поданную ей при входѣ маленькую зеленую книжечку. Оказалась — реклама торговаго дома «Maxwell house coffe», объявляющая, что фирма эта изготовляетъ «кошерное кофе». Что такое это за «кошерное кофе», Лиза не могла понять. Дрожа внутренней дрожью отъ страха, Лиза проглядывала книжку. Въ два столбца, по одну сторону по-англійски, по другую — по-еврейски, была напечатана служба. По книжкѣ Лиза могла слѣдить за нею и понимать ее. Съ опущенными въ книжку глазами, Лиза была менѣе примѣтна среди другихъ молящихся. Между текстомъ были рисунки: Соломоновъ храмъ, Давидъ, играющій на арфѣ, переходъ евреевъ черезъ Красное море, Пасхальная еврейская служба и другое, все изъ библейской исторіи, все чужое, не знакомое и не понятное Лизѣ.

Лиза приподняла глаза. Да, всѣ окружающіе ее люди были евреи, но они были американцы. Бритые, чисто одѣтые. Женщины — принаряженныя, въ модныхъ шляпкахъ.

Впереди храма было небольшое возвышеніе: амвонъ. За нимъ стѣна была выведена полукругомъ и аркой, какъ дѣлаютъ садовыя ротонды для оркестра. Въ глубинѣ этой арки была небольшая дверь. Эта дверь вдругъ сама собою раздвинулась, и Лиза увидала за нею небольшое, ярко освѣщенное помѣщеніе, и въ немъ столъ, накрытый серебряной парчой, и на немъ свитки пергамента: священная «тора», какъ догадалась Лиза, когда-то изучавшая религіозные обряды разныхъ народовъ. Къ двери подошелъ раввинъ. И въ раввинѣ не было ничего ни страшнаго, ни непріятнаго: красивый, рослый американецъ, съ полнымъ, круглымъ, бритымъ лицомъ. Онъ былъ одѣтъ въ длинную черную тогу. Вокругъ шеи, спадая съ плечъ на грудь, лежала широкая бѣлая полоса, расшитая серебромъ.

Чуждая богослуженію, лишь рѣдкій и случайный посѣтитель православной церкви, Лиза смѣлѣе и съ любопытствомъ смотрѣла, что будетъ дальше.

Раввинъ поднялъ руки и остался стоять противъ двери, тихо молясь. Потомъ онъ опустилъ руки, и двери медленно, и, какъ показалось Лизѣ, таинственно, задвинулись. Началась служба.

Служба шла на англійскомъ языкѣ. Лиза слушала, что читали на амвонѣ, не вѣрила ушамъ, провѣряла себя по книжкѣ и удивлялась.

По мѣрѣ того, какъ Лиза уходила, сосредоточиваясь, въ службу, страшное, черное, еврейское средневѣковье окружало ее. Точно исчезали изъ «темпля» приличные, бритые американцы и нарядныя дамы въ модныхъ шляпкахъ, и на ихъ мѣсто становилась дикая, необузданная толпа бородатыхъ и пейсатыхъ жидовъ, галдящая на грубомъ жидовскомъ жаргонѣ. То, что слышно было съ амвона, казалось невѣроятнымъ, ненужнымъ и невозможнымъ въ Нью-Іоркѣ въ серединѣ XXвѣка.

Съ амвона — медлительное, распѣвное чтеніе. Оно проникаетъ въ душу, оно готовитъ къ чему-то, оно умышленно, оно, очевидно, нужно для чего-то, оно создаетъ опредѣленное настроеніе, и настроеніе это — невѣроятной дикости и злобы:

— «И тогда пришелъ быкъ, и выпилъ воду, которая потушила огонь, гдѣ горѣла палка, которою били собаку...».

«Это символы», — думала Лиза. — «Но зачѣмъ, къ чему ведутъ эти символы?»...

Заунывно гнусаво неслось съ амвона:

— «Били собаку, которая укусила кошку, которая съѣла козленка, купленнаго моимъ отцомъ за два цуцима...».

Лиза бывала въ Бронксвиллѣ, еврейскомъ кварталѣ Нью-Іорка, она видѣла еврейское «гетто», съ его узкими и грязными улицами, полными еврейской бѣдноты. И теперь ей представило это «гетто». Ей казалось, что она слышитъ надрывный, заливистый плачъ безчисленныхъ грязныхъ дѣтей въ лохмотьяхъ, гортанную перебранку евреекъ и ссору изъза съѣденнаго кошкой козленка. Объ этомъ козленкѣ все читали и читали:

— «Одного только козленка... одного только козленка... И тогда пришелъ палачъ, и убилъ быка, который выпилъ воду, потушившую огонь...».

Все исчезало, убивалось, уничтожалось.

— «И тогда пришелъ ангелъ смерти и убилъ палача, который убилъ быка, выпившаго воду... И тогда пришелъ пресвятой, слава ему... и убилъ ангела, убившаго палача...».

За стѣнами синагоги бушевала гроза. Тяжелыя градины били въ окна. За стѣнами синагоги были улицы самаго современнаго города, міровой столицы, верхъ цивилизаціи. Тамъ стояли дома въ сто съ лишнимъ этажей, небоскребы, вавилонскія башни. Тамъ въ три яруса, глубоко подъ землю, уходилъ темный и душный «субвей», тамъ была сверхъ-человѣческая культура... Здѣсь, съ серьезнымъ видомъ, вычитывали:

— «Тогда пришла палка и побила собаку, которая укусила кошку, съѣвшую козленка, купленнаго моимъ отцомъ за два цуцима»...

Умиротворяя впечатлѣніе отъ прочитаннаго, съ амвона неслось:

— Слава Тебѣ, вѣчный Богъ нашъ, Царь вселенной... Ты освятилъ насъ своими наставленіями и повелѣлъ намъ считать дни Омера...

Въ открытыя двери были видны таинственные, священные свитки «торы». Яркій, волнующій бѣлый свѣтъ упадалъ на нихъ.

Канторъ пѣлъ:

— Спаси насъ, Вѣчный, молимъ Тебя...

Вѣчный, пошли намъ благополучіе, молимъ Тебя...

Благодаримъ Вѣчнаго, яко благъ есть,

Яко милость Его всегда съ нами...

Возгласитъ Израиль:

— Милость Его всегда съ нами!..

Возгласитъ Ааронъ:

— Милость Его всегда съ нами!..

Кто боится Вѣчнаго, скажетъ:

— Милость Его всегда съ нами!..

Тихо угасъ свѣтъ надъ «торой», точно растаялъ. Медленно задвинулись узкія двери.

Чтецъ читалъ о Египтянахъ, мучившихъ еврейскій народъ, читалъ о древнемъ, древнемъ, что когда-то происходило въ жаркой, полуденной странѣ, гдѣ жили гонимые евреи. Ни забыть, ни простить этого они не могли...

Сосредоточенная тишина стыла въ синагогѣ. За стѣнами ея лилъ дождь. И не могла уйти Лиза отъ всего этого таинственнаго, чужого, жуткаго и страшнаго.

Всею душою ощутила она здѣсь чувство своей обреченности, то чувство, которое она познала первый разъ, когда, подъ утро, вернулась Татуша и повѣдала матери о своемъ безлюбовномъ паденіи.

Вдругъ всѣ сидѣвшіе въ синагогѣ насторожились и подняли головы. Раввинъ взошелъ на деревянную кафедру, устроенную съ одной стороны амвона.

На прекрасномъ англійскомъ языкѣ, безъ акцента, рѣзкими, короткими фразами, какъ бы внушая слушателямъ, пророчествуя имъ, какъ древніе пророки, началъ свою проповѣдь раввинъ, и Лиза поняла, что это-то и было самое главное въ богослуженіи.

— Раввинъ Стефенъ Вейзъ требуетъ отъ насъ созданія всемірнаго еврейскаго центра для объединенной борьбы за права евреевъ, какъ націи. Не будемъ подражать германскимъ евреямъ, предающимъ еврейскую націю и ради земныхъ благъ говорящимъ: «мы не евреи, а германскіе граждане еврейскаго вѣроисповѣданія». Нѣтъ, мы гордо скажемъ: «Я не американскій гражданинъ еврейскаго вѣроисповѣданія, я — е вр е й !.. Стефенъ Вейзъ сказалъ про себя: «Я еврей; а не американецъ... Я американецъ 63 года, но я еврей 4.000 лѣтъ»...

Изъ глубокой и темной дали юныхъ лѣтъ ученія поднялось въ душѣ Лизы страшное воспоминаніе о ея увлеченіи профессоромъ Ротшпаномъ. Тотъ говорилъ, что жизнь — мгновеніе, яркая точка, вдругъ загорѣвшаяся въ кромѣшномъ мракѣ безпредѣльности и такъ же внезапно потухшая. Ни прошлаго — до рожденія, ни будущаго — послѣ смерти... Ничего... У Стефена Вейза было четырехтысячелѣтнее прошлое, у него, несомнѣнно, есть и будущее еврейскаго народа...

Въ дни студенческой жизни Лизы, уже при новомъ правительствѣ, когда трезво взглянули на сущность евреевъ въ Германіи, Лиза слышала отъ другихъ профессоровъ и руководителей молодежи о сущности еврейства, объ ученіи «Каббалы» и «Талмуда». Лиза узнала тогда, что евреи считаютъ, что только они — люди, народъ, Богомъ избранный; всѣ остальные — «гои», а гои — все-равно, что животныя. У нихъ нѣтъ ни души, ни безсмертія. И жалѣть гоя, соболѣзновать о его смерти, не приходится. И, если гой мѣшаетъ еврею — устранить его нѣтъ грѣха. Его можно убить. Дѣвушку-христіанку можно продать, какъ продаютъ собаку...

И Лиза задумалась...

Со скорбью, возмущеніемъ, ужасомъ и ненавистью говорилъ раввинъ:

— Хитлеръ правъ, когда называетъ евреевъ расой. Да, подлинно, мы — раса. И никто и ничто не должно портить нашу расу. Мы должны ее защищать. Будущее нашего народа въ опасности. Антисемитское безправіе растетъ. Около полумилліона людей изгоняется со своихъ насиженныхъ мѣстъ. Фашистское зло разрушаетъ стѣны права и справедливости. Оно побѣждаетъ демократію, завоевываетъ новыя страны и грозитъ прекратить расцвѣтъ еврейства въ Средней Европѣ. А тамъ пять милліоновъ евреевъ. Мы, находящіеся здѣсь, въ центрѣ демократіи, въ цитадели еврейства, въ Ньюіоркѣ, обязаны придти на помощь нашимъ страждущимъ братьямъ...

— Въ Россіи намъ пришлось для созданія прочной еврейской власти истребить тридцать милліоновъ Русскихъ крестьянъ и рабочихъ... Въ Европѣ поговариваютъ, что такъ же можно истребить и пятнадцать милліоновъ мірового еврейства и навсегда освободить міръ отъ евреевъ. Мы не оправдываемъ Русскаго опыта. Напротивъ, мы указываемъ на опасность сопоставленій. Но, по мѣрѣ усиленія фашизма въ Европѣ, растетъ злоба противъ евреевъ, и мы не можетъ закрывать на это глаза. Передъ нами міровая опасность для еврейства. Со временъ Вавилонскаго плѣненія и разрушенія римлянами Іерусалима, не было для насъ болѣе жуткаго и тяжелаго времени. Мы, евреи Америки, въ грозную минуту опасности, должны объединиться съ евреями Европы и бороться за еврейское равноправіе, противъ безчеловѣчности и насилія, противъ растущихъ расовыхъ предразсудковъ. Мы должны въ Америкѣ и вездѣ крѣпить демократію. Въ демократіи — спасеніе еврейства. Въ демократическомъ государствѣ мы всегда сумѣемъ занять первенствующее мѣсто и отстоять права нашей еврейской расы. Мы должны внушить всему міру, что гоненіе евреевъ трагично само по себѣ, потому-что оно разрушаетъ демократію, миръ и человѣчность. Демократія немыслима безъ равноправія евреевъ!.. Христіанская, дряблая, непротивленче-

ская демократія съ нами. Противъ насъ — крѣпкій союзъ фашистскихъ государствъ, ось Римъ — Берлинъ — Токіо... Нашъ долгъ сломать эту ось какою-угодно цѣною...

Раввинъ поднялъ голову. Темные глаза его подъ черными дугами бровей загорѣлись огнемъ страшной, лютой ненависти. Онъ съ силой ударилъ пухлой, бѣлой рукой по доскѣ кафедры и выкрикнулъ:

— Война!.. Пусть будетъ война!.. Чѣмъ бы и какъ ни кончилась война, побѣда будетъ наша!.. Мы должны сломить фашизмъ!.. Если дряблая демократія не рѣшится на это, пусть временно будетъ диктатура, но это будетъ совѣтская диктатура! Красные московскіе диктаторы — наши евреи — назначатъ намъ диктатора для управленія всѣми нами, и въ Европѣ и въ Америкѣ... Но только война, одна война, спасетъ насъ!.. Мы должны создать свою революціонную армію изъ необразованныхъ и тупыхъ рабочихъ, легковѣрныхъ и глупыхъ, и для этого мы должны стараться усилить безработицу, создать толпы голодныхъ, ни къ чему уже не пригодныхъ людей, мы должны заразить ненавистью негровъ и привлечь ихъ въ эту армію. Когда же наступитъ нужный моментъ, это мы, евреи, выкинемъ надъ ними красный флагъ большевицкихъ комиссаровъ. Намъ нужно торопиться. Толпа не можетъ оставаться долго въ состояніи молчаливаго бѣшенства...

— Мы достаточно вооружены для такого возстанія. Мы готовы. Большевики устроили у насъ склады оружія. Они создали кадры людей, обученныхъ и тренированныхъ для уличной борьбы. По всему свѣту созданы «Лиги борцовъ краснаго фронта». Полиція намъ не страшна. Гдѣ можно, мы ее купимъ, гдѣ это не удастся — припугнемъ... Въ частности, у насъ, въ Нью-Іоркѣ, все готово. Мэръ нашего города, Ла Гуардія, полу-еврей и женатъ на еврейкѣ, онъ — нашъ! Начальникъ полиціи, Валленштейнъ, — еврей! Если наша полиція умѣетъ справляться съ простой обывательской толпой, съ толпой большевицкой она не справится никогда... У большевиковъ семнадцатилѣтній опытъ гражданской войны

и тренировки и 35.000 отважныхъ агитаторовъ. Они всѣ съ нами и за насъ...

— Міровая война!.. Пусть будетъ міровая война: она спасетъ демократію и еврейство! Иначе передъ нами — раздѣлъ нашего центра въ Европѣ, Чехіи, развитіе лютаго антисемитизма въ Венгріи, Румыніи и Югославіи, а тамъ около пяти милліоновъ евреевъ!.. Передъ нами побѣда Франко и фашизація Испаніи...

— Мы никогда не допустимъ до этого!.. Пусть до тла погибнетъ христіанскій міръ во взаимной распрѣ: въ его погибели — наша побѣда... На тридцати милліонахъ поверженныхъ Русскихъ мы создали еврейское благополучіе на востокѣ Европы. Если нужно истребить сто милліоновъ нѣмцевъ, итальянцевъ и испанцевъ для нашего благополучія на западѣ Европы, мы не будемъ передъ этимъ останавливаться!..

IX.

Во время проповѣди то тутъ, то тамъ вставалъ кто-нибудь изъ слушателей и осторожно, неслышными шагами ступая по ковру, подходилъ къ кафедрѣ и клалъ на нее записочку.

Градъ пересталъ. За окномъ лилъ ровный дождь, но черезъ него просвѣчивало солнце и бросало робкій, сквозь непролитыя до конца тучи, желтоватый свѣтъ въ синагогу.

Раввинъ снялъ верхнюю записку и громко прочиталъ:

— Отчего существуетъ антисемитизмъ?

Раввинъ недоумѣнно развелъ руками:

— Трудно дать исчерпывающій отвѣтъ на такой широкій вопросъ, — сказалъ онъ. — Во всякомъ случаѣ, не евреи въ немъ повинны.

— Можетъ быть, антисемитизмъ создаютъ католическіе теологи? — сказалъ пожилой, хорошо одѣтый еврей, сидѣвшій въ первомъ ряду.

— Да... Конечно, въ значительной степени, это такъ.

— Можетъ быть, антисемитизмъ потому, что мы распяли Христа? — спросилъ юный еврей съ другого конца синагоги.

Раввинъ опять широко развелъ руками.

— Да. Мы, евреи, распяли Христа. Мы не можемъ отрицать этого. Это говоритъ исторія.

— А если уничтожить всю католическую церковь, какъ большевики уничтожили въ Россіи православную церковь? — сказалъ вихрастый, худой, съ темнымъ, до черна загорѣлымъ лицомъ еврей, и всталъ со своего мѣста.

Раввинъ улыбнулся:

— Ну, — сказалъ онъ добродушно, — я не думаю, чтобы нужно было принимать такія мѣры. Кое-что въ этомъ направленіи дѣлается въ Испаніи и во Франціи... Католицизмъ не страшенъ для еврейства. Въ католической церкви антисемитизмъ не столь «angry». *). Съ нимъ можно справиться и безъ этого. Католицизмъ — противъ фашизма, и намъ съ нимъ временами по пути.

Раввинъ развернулъ слѣдующую записку:

— Долго ли Хитлеръ продержится у власти?..

Раввинъ качнулъ головой и ровнымъ, спокойнымъ и безстрастнымъ голосомъ изрекъ:

— Если продержится пять лѣтъ, то продержится долго.

— Но, вѣдь, вотъ они, эти пять лѣтъ! Они не за горами, — нервно и возбужденно выкрикнула еврейка.

Раввинъ ничего не сказалъ, и прочиталъ слѣдующую записку:

— Не надо ли намъ уже организовываться и создавать свою армію противъ «нацы»?.. — Я только-что говорилъ объ этомъ. Мы уже организованы. По крайней мѣрѣ, здѣсь, — отвѣтилъ раввинъ и снялъ новую записку.

— Правда ли, что Румынскій король Карлъ, по требованію своей сожительницы-еврейки, принялъ іудейство?.. — Не знаю, вопросъ очень деликатный, но, думаю, что нѣтъ...

Въ слѣдующей запискѣ раввинъ прочиталъ:

— Правда ли, что въ Россіи евреи перетянули струну, и что тамъ возможно избіеніе евреевъ? Что, въ такомъ случаѣ, мы будемъ здѣсь дѣлать?..

---

*) Суровъ.

Этотъ вопросъ особенно взволновалъ раввина. Пухлое, круглое лицо его покраснѣло. Онъ заговорилъ страстно, потрясая кулаками, билъ ладонью по кафедрѣ, какъ бы отсѣкая и подчеркивая сказанныя фразы:

— Евреи совершенно не виноваты въ Русской революціи. Это клевета!.. Русскую революцію устроила тупая, необразованная, мечтательная и подлая Русская интеллигенція, и жадный, грубый и дикій мужикъ... Остервенѣлая солдатчина, потерявшая дисциплину и напившаяся кровью!.. Евреи въ Россіи оторвались отъ нашей націи. Они предаютъ тамъ насъ. Тамъ нѣтъ демократіи, а внѣ демократіи намъ нечего дѣлать. Изъ-за этихъ выродковъ еврейства, отрекшихся отъ своего еврейскаго корня и въ дикомъ усердіи, наравнѣ съ христіанскими храмами, разрушающихъ синагоги, мы вести войны не будетъ, намъ нѣтъ дѣла до нихъ!.. Это не западно-европейскіе евреи!.. Да, они тамъ многое сдѣлали, отрицать этого не будемъ, это вѣрно. Они создали интернаціоналъ, они создали большевизмъ, и это великая ихъ заслуга. Но защищать ихъ тамъ мы не можемъ и... не будемъ!.. Пусть прежде создадутъ тамъ подлинную демократію, и тогда мы придемъ править Россіей. Наша опасность не въ томъ, что въ Россіи могутъ разгромить, или прижать евреевъ: ихъ тамъ не разъ громили, они всякій разъ вставали сильнѣе прежняго. Опасность для евреевъ — въ Германіи, Хитлеръ, вотъ наша опасность. Вотъ нашъ врагъ номеръ первый...

Раввинъ задыхался отъ злобы:

— Хитлеръ — величайшій пророкъ нашего времени! — кричалъ онъ передъ затихшей синагогой. — Хитлеръ — пророкъ совершеннѣйшей христіанской вѣры, сумѣвшій христіанскую любовь воплотить въ жизнь, и потому онъ злѣйшій врагъ іудейства... Хитлеръ, и только Хитлеръ, намъ страшенъ! У него подлинный фашизмъ, у него народъ, а не демократія!.. А намъ нужна демократія... Россія?.. Что говорить о Россіи? Въ Россіи правятъ евреи, но тамъ нѣтъ демократіи, и тамъ нѣтъ христіанства... Тамъ нѣтъ людей... Тамъ прахъ и гниль... На что намъ Россія?..

Раввинъ въ возбужденіи скомкалъ остальныя записки и сошелъ съ кафедры.

Прихожане стали подниматься со скамей и потянулись къ открытымъ дверямъ синагоги. За ними свѣтило яркое солнце. Оно блистало радугами на ледяшкахъ крупнаго града, усѣявшихъ паперть и ступени темпля.

Городъ жилъ полною, бурною жизнью.

X.

По наблюденіямъ доктора Баклагина, вся Русская эмиграція болѣе или менѣе утряслась заграницей. Создались политическіе и профессіональные союзы, иногда дружные одни съ другими, порою враждующіе, появились газеты и подлѣ каждой свои читатели. Баклагинъ по первому взгляду умѣлъ опредѣлять эмигрантовъ, какъ они живутъ, не большевики ли, не зловредные ли какіе люди? Поговоритъ на визитѣ, мимоходомъ спросить, въ какомъ союзѣ состоитъ паціентъ, гдѣ служитъ или чѣмъ занимается, — и уже знаетъ, сколько спросить съ паціента за лѣченіе, или просто лѣчить даромъ. Были у него паціентами и одиночки, не входившіе никуда, ни въ какое объединеніе, и все-таки люди — чистые. Скажетъ: «Служу на фермѣ, батракомъ. Некогда мнѣ эмигрантскіе фигли-мигли разводить, по лекціямъ, по «чашкамъ чая» шататься. Надоѣло!.. Да и ни къ чему все это!..».

Но отмѣтилъ Баклагинъ въ безподобной своей памяти и людей иного толка. Кто они? На маленькихъ собраніяхъ, вечерахъ, интимныхъ благотворительныхъ балахъ въ офицерскихъ собраніяхъ, или залахъ при мэріи, они не бываютъ. Но вдругъ появятся они на большомъ эмигрантскомъ балу, въ роскошныхъ залахъ Мажестикъ-отеля, на балу въ пользу инвалидовъ, на вечерѣ литераторовъ, или на Пажескомъ балу, гдѣ бываетъ много иностранцевъ...

Въ прекрасномъ смокингѣ, въ манишкѣ, сшитой по мѣркѣ, они всегда въ окруженіи иностранцевъ, французовъ, членовъ Палаты депутатовъ, секретарей посольствъ, журналистовъ, артистовъ, или съ ними англичанинъ, представитель большой фирмы, или еще чаще какіе-то международные ев-

реи. На лотереѣ они покупаютъ много билетовъ и не берутъ выигрышей. Жертвуютъ широко: тысячефранковыми билетами...

Баклагинъ — живая справочная книжка Русской эмиграціи въ Парижѣ, ихъ не знаетъ. Они лѣчатся у французскихъ знаменитостей.

Эти люди не смѣшивались съ эмигрантской массой. Они жили отъ нея обособленно. Ихъ окружали такіе же богатые и тоже сомнительной профессіи иностранцы.

У нихъ были собственныя машины: Рольсъ-ройсы, или Эспано, или нѣмецкій просторный Мерседесъ, и шоффером — французъ, изящный и надменный, или Русскій гвардейскій офицеръ, съ княжескимъ или графскимъ титуломъ, воспитанный, молчаливй и замкнутый.

И жили они въ 16-мъ аррондисманѣ, въ Отэй, въ широкихъ и тѣнистыхъ улицахъ-бульварахъ, или въ районѣ Мадлэнъ, гдѣ имѣли собственныя квартиры съ богатой обстановкой. У однихъ были жены и дѣти, другіе жили съ накрашенными особами рѣзваго поведенія, кинематографическими артистками, или пѣвичками изъ оперетки, и бывали съ ними частыми посѣтителями ночныхъ кабачковъ.

Что они дѣлали днемъ? Куда ѣздили? По какимъ дѣламъ носились по всей Европѣ, откуда добывали деньги? Это была тайна. Тайна даже отъ собственной жены.

Иногда вдругъ прошумитъ по вечернимъ газетамъ, наполнитъ страницы «Intransigeant» и «Paris-soir» громкое дѣло. Узнаетъ публика міровой столицы о похожденіяхъ Monsieur Alexandre'а, о милліонномъ хищеніи, подлогахъ, ограбленіи общественной кассы, о разоренныхъ вдовахъ и сиротахъ. Monsieur Alexandre окажется Русскимъ жидомъ Ставицкимъ изъ Одессы. Полиція его ищетъ. Происходитъ нѣчто темное: не то убійство, не то самоубійство, и... дѣло замираетъ, поднятый шумъ утихаетъ, разореннымъ вдовамъ и сиротамъ предоставляется право плакать о своихъ деньгахъ, прокученныхъ очаровательнымъ monsieur Alexandre'омъ, а общественной кассѣ — изыскивать способы пополнить похищенное...

Или, — и тоже вдругъ, внезапно, — утромъ, среди бѣла дня, въ Булонскомъ лѣсу, на глазахъ прохожихъ, заколютъ шпагой господина Навашина.

Газеты пошумятъ, разоблачатъ, что господинъ Навашинъ служилъ у большевиковъ и что-то съ ними не поладилъ, и опять, и недѣли не пройдетъ, все снова шито и крыто, будто ничего и не случилось. Убійцы не найдены, и только вдова, въ шляпкѣ съ крепомъ, и осиротѣвшая собака, съ которой любилъ гулять господинъ Навашинъ, напоминаютъ, что такой человѣкъ былъ, что онъ убитъ совершенно безнаказанно.

А то — найдутъ въ провинціи, подлѣ желѣзнодорожнаго пути, трупъ всѣми уважаемаго судьи Ле Пренса, заколотаго кинжаломъ, а подлѣ — и самый кинжалъ. И опять — ни убійцъ, ни причины убійства — ничего не найдено, ничего не открыто. Одинъ пустой газетный шумъ. Надъ всѣмъ спускается темная завѣса тайны...

Хромали сыскное дѣло и полиція въ демократическихъ странахъ. Были связаны они множествомъ условностей, отвлекавшихъ ихъ отъ исполненія долга.

Но толпѣ эта тайна нравилась. Въ жизни выходило, какъ въ самомъ интересномъ полицейскомъ романѣ, или въ фильмѣ съ загадочнымъ убійствомъ. Если бы преступники были найдены, не было бы жуткаго интереса, какой возбуждало не раскрытое преступленіе.

И что характерно. Почти всегда, во всѣхъ такихъ таинственныхъ дѣлахъ, какъ-то, если и не прямо, то косвенно, бывали замѣшаны или большевики, или евреи. Можетъ быть, именно потому и раскрыть эти дѣла не удавалось: съ одной стороны была дипломатическая неприкосновенность совершившихъ преступленіе, съ другой — дружный отпоръ еврейскаго капитала и кагала.

Но, кромѣ такихъ людей, съ именемъ и все-таки съ какимъ-то болѣе или менѣе опредѣленнымъ положеніемъ, были въ Парижѣ еще и люди, къ кому всѣ эти Навашины, Ставицкіе ѣздили, но о комъ ни они сами и никто ничего не знали... Не знали даже фамилій этихъ людей... Тайна...

«Monsieur»... «Patron»... «Maitre», иногда полурусскія имя и отчество. И — все.

На двери, какъ вездѣ въ Парижѣ, — ни номера, ни таблички съ именемъ жильца. Если позвонить, отворитъ лакей-французъ въ бѣлоснѣжной курткѣ, высокій, сильный, рослый, типичный «вышибала», съ такимъ высокомѣрнымъ видомъ, что у самаго смѣлаго просителя пропадетъ охота говорить съ нимъ. Дальше порога этой двери лакей никого не званаго и ему не извѣстнаго не пуститъ.

XI.

На широкомъ и красивомъ Avenue Henri Martin, на пятомъ этажѣ, — тамъ воздухъ чище и не такъ слышны уличные шумы, — въ такомъ таинственномъ уединеніи жилъ Лазарь Максимовичъ... Никто изъ бывавшихъ у него не зналъ его фамиліи. «Лазарь Максимовичъ» и все... Къ нему ходили только по вызову. Могущество этого человѣка было огромно.

«Лазарь Максимовичъ сказалъ»... «Это устроилъ Лазарь Максимовичъ».... «Лазарь Максимовичъ направилъ въ такой то банкъ, къ такому-то, и все было сдѣлано «въ два счета»... «Лазарь Максимовичъ обѣщалъ позвонить по телефону самому министру, — все будетъ доложено»...

Говорили, — впрочемъ, это были уже эмигрантскія сплетни, — что всѣ Русскія Парижскія масонскія ложи: «Сѣверная звѣзда», «Свободная Россія», «Астрея», «Сѣверное сіяніе», «Гермесъ», «Прометей», «Юпитеръ», «Аврора», ложи маленькія и ничтожныя, имѣвшія по десятку, по полтора братьевъ, какъ-то зависѣли отъ Лазаря Максимовича. Но была ли эта зависимость отъ того, что самъ Лазарь Максимовичъ былъ масономъ высокаго градуса, или была только денежная зависимость, этого никто не могъ сказать.

Всѣ таинственные дѣльцы Русскаго эмигрантскаго міра знали, что, если нужно перехватить денегъ, устроить выгодную аферу, выпутаться изъ неловкаго положенія, — надо идти къ Лазарю Максимовичу: устроитъ!..

Если какая-нибудь эмигрантская организація, не ярконаціональной окраски, сильно нуждалась въ деньгахъ, если нужно было покрыть вдругъ оказавшійся дефицитъ, издать пасквильный листокъ-газетку, — нужно попросить Лазаря Максимовича. Сдѣлаетъ!..

На другой день послѣ отъѣзда Лизы Акантовой съ Февралевыми въ Брестъ, нѣкій старый человѣкъ, путавшійся безъ опредѣленныхъ занятій въ эмиграціи, Галгановъ, былъ вызванъ телефономъ къ Лазарю Максимовичу, къ одинадцати часамъ утра.

Галгановъ пріодѣлся и поѣхалъ. Ѣхать было нужно. Галгановъ былъ многимъ и многимъ обязанъ Лазарю Максимовичу.

Лазарь Максимовичъ принялъ гостя въ громадномъ кабинетѣ. Въ домашней фланелевой курткѣ и теплыхъ туфляхъ, Лазарь Максимовичъ сидѣлъ за монументальнымъ письменнымъ столомъ, гдѣ было больше бронзовыхъ женскихъ статуэтокъ фривольнаго вида, чѣмъ бумагъ. Онъ курилъ сигару. Его толстое тѣло съ обвисшимъ животомъ покоилось въ глубокомъ мягкомъ креслѣ.

Галгановъ, человѣкъ лѣтъ подъ шестьдесятъ, съ еще густыми, изсиня-черными волосами, прилизанными на широкій проборъ, въ большихъ очкахъ въ темной роговой оправѣ, прошелъ, въ сопровожденіи лакея, въ кабинетъ.

Въ былые годы Галгановъ Государю Императору такъ не кланялся, какъ поклонился теперь Лазарю Максимовичу. Тотъ едва приподнялъ съ кресла тучное тѣло и, по-французски, не здороваясь, жестомъ пригласилъ Галганова сѣсть противъ него:

— Курите, — сказалъ Лазарь Максимовичъ и указалъ на стоявшіе на столѣ коробку съ папиросами и ящикъ съ сигарами.

Галгановъ не рѣшился взять сигару.

— Вы хотѣли меня видѣть, Лазарь Максимовичъ, — ласковымъ, заискивающимъ голосомъ сказалъ Галгановъ, и закурилъ отъ горѣвшаго на столѣ свѣтильника папиросу. — Я къ вашимъ услугамъ.

— Видите, Владиміръ Петровичъ, если я кого-нибудь позвалъ, значитъ, мнѣ того человѣка нужно видѣть. И мнѣ нужны именно вы. Я недоволенъ вашей работой.

— Чѣмъ, Лазарь Максимовичъ? — удивился Галгановъ. — Моей работой?..

— Не именно вашей... А вообще... Знаете, намъ не шутками заниматься надо. Не кантаты и гимны пѣть, молотками стучать, коктэйли распивать и доклады выслушивать. Намъ нужны дѣйствія...

— Но, Лазарь Максимовичъ... Чего вы еще хотите?.. Церковь разложена. Русскій Обще-Воинскій Союзъ умираетъ. Въ него пущена «внутренняя линія» подсиживанія и доносовъ. Вездѣ критика. Нигдѣ никакого дѣла... Разложеніе, доносы, предатели... Наши братья во многихъ объединеніяхъ даже гонимы... Изъ-за этого пошелъ ропотъ. Многіе уходятъ изъ ложъ...

— Ну, это, положимъ!.. Уходятъ!!. Я имъ покажу!.. — Лазарь Максимовичъ затянулся сигарой, выпустилъ дымъ, и сказалъ, повышая голосъ. — Вы мнѣ, Владиміръ Петровичъ, паморки не забивайте... Церковь!.. Она и разложенная сильна. Іерархи поссорились... духовенство враждуетъ, а, посмотрите, какъ растетъ число вѣрующихъ!.. Какой громадный храмище устроили на rue Boileau... И — полно!.. И не старухи тамъ древнія, а молодежь. По эмигрантской діаспорѣ ставятъ монастыри. Миссіонеровъ готовятъ проповѣдывать православіе. Въ Берлинѣ Германское правительство строитъ громадный, великолѣпный православный соборъ... Что же, это, какъ по вашему, гибель или возрожденіе?.. Намъ только-что удалось начать ладить съ бывшимъ злѣйшимъ врагомъ масонства, католицизмомъ, а тутъ возстаетъ изъ пепла православіе... То самое, которое, намъ казалось, безъ остатка выкорчевано въ Россіи... Намъ нужны свободно мыслящія церкви еретиковъ, сектанты и скептики. Въ 1913-мъ году мы постановили: не признавать Бога... Отрицать Его... Мы поставили идеаломъ жизни не Бога съ Его законами, но человѣчество. А ваши масоны, простите, въ церковь ходятъ... На

исповѣди бываютъ... Здравствуйте, пожалуйста!.. Еще наболтаютъ тамъ попамъ, чего и не надо...

— Лазарь Максимовичъ, церковь не моя область... Я въ этомъ дѣлѣ профанъ...

— Скажите пожалуйста, профанъ!.. Губернаторомъ-то были, поди, сколько молебновъ отстояли... Слыхалъ я: все мощи искали, мечтали въ губерніи у себя открыть.

Галгановъ густо покраснѣлъ:

— Что было, то прошло, Лазарь Максимовичъ... О прошломъ говорить, правда, не стоитъ. У каждаго было свое прошлое...

Злыя искорки вспыхнули въ узкихъ, свѣтло-сѣрыхъ, словно прозрачныхъ, глазахъ Лазаря Максимовича. Онъ затянулся сигарой, выпустилъ дымъ, затянулся еще и еще. Сизыя полосы дыма ровно стлались надъ письменнымъ столомъ, какъ вечернія облака надъ моремъ.. .

— Отчего сигару не возьмете?.. Хорошія...

— Благодарю васъ.

— Берите. Не стѣсняйтесь. Для того и поставлены.

Галгановъ нерѣшительно взялъ сигару и, отрѣзавъ машинкой кончикъ, съ наслажденіемъ закурилъ. Ему было не по себѣ. Противно и унизительно было ощущать свою зависимость отъ этого человѣка, жида и хама. «Вѣроятно, въ полпредствѣ совѣтскомъ служитъ», — думалъ онъ, — «а я ему подчиненъ. Завишу отъ него. Жизнь моя ему принадлежитъ. Какъ, однако, это гадко»... — Подумалъ, и самъ испугался своихъ мыслей. Ему всегда казалось, что Лазарь Максимовичъ умѣетъ читать чужія мысли...

— Видите, Владиміръ Петровичъ, — послѣ долгаго молчанія, медленно цѣдя слова, началъ Лазарь Максимовичъ. — Наша очередная, актуальная задача: уничтоженіе эмиграціи... Поняли?..

— Законы не позволяютъ, — вздыхая, сказалъ Галгановъ. — Да и зачѣмъ? По существу-то, зачѣмъ?.. Вы сами недавно говорили, что Русская эмиграція, это — грязная пыль...

— Смести эту пыль нужно... Видите, буду съ вами вполнѣ откровененъ. Допущена была ошибка... Самое существованіе эмиграціи — большая наша ошибка. Въ народѣ совѣтскихъ союзовъ, въ интеллигентномъ слоѣ, среди вузовцевъ, ну, и среди крестьянъ, растетъ убѣжденіе, что, кромѣ нашей, совѣтской, Россіи, есть другая, — свободная отъ насъ, заграничная. И эта заграничная Россія, чортъ ее дери совсѣмъ, намъ очень мѣшаетъ. Мы не можемъ ни послать, ни пустить нашу молодежь заграницу. Мы здѣсь должны охранять ее отъ встрѣчъ съ этими проклятыми эмигрантами. Кромѣ того, и тамъ, въ союзѣ нашемъ, есть такіе дураки, которые вѣрятъ, что заграницей существуетъ готовая «бѣлая» армія...

— Вы же знаете, что этого нѣтъ.

— Я-то знаю. А докажите это тамъ!.. Да еще нашимъ, чортъ ихъ дери совсѣмъ! Это совѣтское быдло подхалимовъ намъ не страшно: на это есть чекисты и войска; но бѣда-то въ томъ, что заграница, что иностранныя государства, по мѣрѣ того, какъ они разочаровываются въ нашемъ союзѣ, начинаютъ смотрѣть на эмиграцію, какъ на подлинную Россію... А что, если будетъ сговоръ между державами объ интервенціи?.. На наше красное воинство надежда плоха... Да и тамъ не прочь снюхаться съ этимъ заманчивымъ эмигрантскимъ мифомъ... Вы понимаете меня?..

— Мнѣ кажется, Лазарь Максимовичъ, дѣло поставлено такъ прочно, что опасаться нечего. Закуплены лучшіе писатели, депутаты, министры. Въ славословіи совѣтамъ недостатка нѣтъ. Здѣсь созданъ «народный фронтъ»...

Лазарь Максимовичъ занялся сигарой. Прозрачные глаза его были устремлены на Галганова, и тотъ подъ пронзительнымъ взглядомъ ихъ чувствовалъ себя, какъ кроликъ подъ взглядомъ удава.

— Я, помнится, поручилъ вамъ слѣдить за генераломъ Акантовымъ, — наконецъ, сказалъ Лазарь Максимовичъ.

— Да.

— Ска-а-ажите?.. Этой осенью Акантовъ ѣздилъ въ Берлинъ. Зачѣмъ?..

— Онъ ѣздилъ за своей дочерью.

— Стра-а-анное, знаете, совпаденіе, или, какъ мы въ гимназіи острили: филиновъ-вставаніе... — Лазарь Максимовичъ самодовольно засмѣялся своей остротѣ. — Хо-хо-хо!.. — басилъ онъ.

— Хэ-хэ-хэ, — почтительнымъ теноркомъ вторилъ ему Галгановъ. — Замѣчательно... Филиновъ-вставаніе... Сов-паденіе... За-амѣчательно!..

— Да, поразительно... Въ это время тамъ оказался маршалъ совѣтскаго союза Тухачевскій и бѣлый генералъ Скоблинъ... И Акантовъ...

— Дуся Королева и капитанъ Лапинъ слѣдили за Акантовымъ. Они ничего не замѣтили.

— Возможно... Но, понимаете вы, что Акантовъ сталъ насъ интересовать.

— Ничтожная личность. Затравленный жизнью человѣкъ... Божія коровка...

— И мнѣ говорили: огромный авторитетъ въ эмиграціи.

— Ну, да... Неподкупно честный... Въ прошломъ, легендарный храбрецъ... Убѣжденный монархистъ... Да, конечно, отрицать не буду: авторитетъ... Офицеры ему вѣрятъ. Если бы не крайнія его монархическія убѣжденія, конечно, онъ возглавлялъ бы Воинскій союзъ...

— Да, такъ вотъ, въ связи со всѣмъ этимъ, у насъ рѣшено его уничтожить...

— Простите, Лазарь Максимовичъ, но это уже дѣло полпредства. Пошлетъ своего человѣчка, тотъ тюкнетъ его молоткомъ по головѣ въ укромномъ мѣстѣ; однимъ Русскимъ эмигрантомъ станетъ меньше, вотъ и все. Тѣло можно въ Сену сбросить...

— Не учите, лучше вашего знаю. Это проще простого... Но какой, однако, вы наивный человѣкъ!.. А еще губернаторомъ были! Мощи открывать хотѣли... Намъ довольно плодить мучениковъ и героевъ. Вы же знаете, что Русскій человѣкъ живыхъ героевъ не признаетъ; ему мертвяка подавай. Погибъ на своемъ посту. Вотъ тогда и некрологи, и почитаніе памяти, и панихиды, и «дни непримиримости»...

А-ааа, нѣтъ!.. Вы мнѣ раньше сдѣлайте изъ него болвана, дурака, безвольнаго типа, еще лучше — предателя, всѣми презираемаго, вы мнѣ его толкните въ яму, а тогда мы его уже уберемъ подъ чужую руку...

— Но, какъ же это сдѣлать?.. Купить Акантова нельзя. Не такъ давно, узнавъ, что его пріятель, казакъ Чукаринъ, убитъ въ арміи Франко, онъ, согласно съ завѣщаніемъ, передалъ всѣ его сбереженія дочери Чукарина, женѣ богатѣйшаго француза. Та и брать не хотѣла. Онъ навязалъ ей деньги и не взялъ за сохраненіе ни сантима...

— Удивительный вы человѣкъ, Владиміръ Петровичъ. А еще губернаторомъ были; поди, задачи жандармамъ давали! Что же, вы думаете, такъ, вотъ, подойти и сказать: «Нате вамъ, ваше превосходительство, полтораста франковъ, и прошу: сдѣлайте подлость»...

— Нѣтъ... Конечно, не такъ. Но, какъ купить Акантова? Я не знаю.

— Не знаете... Плохо-съ... Отмѣтка вамъ три съ минусомъ. Очень плохо — единица!.. Если офицеры, очень хорошіе, благонамѣренные офицеры, читая постоянно, каждый день, нашу газету, постепенно пропитываются нашими убѣжденіями, воспринимаютъ нашу идеологію, колеблются, сомнѣваются и отходятъ отъ своей крѣпкой семьи, то, что скажете вы, если мы сначала... Сначала...

Лазарь Максимовичъ притушилъ окурокъ сигары о пепельницу и замолчалъ. Галгановъ ожидалъ, что будетъ дальше.

— Да... Сначала... Ну, сначала доведемъ человѣка до полной нищеты. Это я на себя возьму. Потомъ... Потомъ дадимъ ему легкую, хорошо оплачиваемую работу, службу... Это устроить я своевременно поручу вамъ. Мнѣ говорила Дуся Королева, что Акантовъ, слушая хоръ Жарова, плакалъ, что онъ, сидя передъ Московскимъ радіо, былъ на себя не похожъ... Чувствительная душа... Вотъ на этомъ и играть нужно... На Россіи... Надо возбудить въ немъ сомнѣніе въ его правотѣ, чтобы онъ задумался, да гдѣ же Россія: тутъ, въ эмиграціи, или тамъ, въ Москвѣ, гдѣ ключомъ кипитъ

жизнь?.. Надо, чтобы его потянуло въ Москву. Надо, чтобы его охватило сомнѣніе. А сомнѣніе — родная сестра отчаянію... Вотъ тутъ-то и подкатитесь вы, этакимъ, чортъ возьми, совсѣмъ Мефистофелемъ, и предложите ему не молодость, на чорта теперь молодость, вамъ и безъ всякаго Мефистофеля врачи ее сдѣлаютъ, но — Россію!.. Спасеніе Россіи! И ему, Акантову, дѣйственное мѣсто въ этомъ спасеніи... Вотъ, когда онъ поскользнется. А тутъ, по нашей-то политграмотѣ неписанной: «падающаго толкни»... И толкните его великой ложью...

— Я начинаю понимать, Лазарь Максимовичъ.

— A la bonne heure!

Въ дверь осторожно постучали.

— Кто тамъ?.. C'est vous, Gaston? Entrez!..

Лакей на серебряномъ подносѣ подалъ Лазарю Максимовичу карточку. Тотъ посмотрѣлъ, нахмурился, и сказалъ:

— Aha! Priez au salon... *) Такъ, вотъ, Владиміръ Пе-

сите въ гостиную.

тровичъ, дѣйствуйте. Когда узнаете, что Акантовъ дошелъ до послѣдняго градуса нищеты, сначала помогите ему тонко, чутко, деликатно, по губернаторски. А какъ только наступитъ душевное размягченіе — дѣйствуйте. Валите въ пропасть... До свиданія... Я проведу васъ другимъ ходомъ... Не нужно, чтобы васъ у меня видали...

XII.

Дуся Королева ожидала Лазаря Максимовича въ салонѣ. Накрашенная и завитая, въ маленькой модной шляпкѣ на лбу и въ богатомъ манто изъ норки, она стояла у зеркала.

— Чѣмъ обязанъ вашему посѣщенію, очаровательная изъ очаровательныхъ, царица красной пѣсни, Магдалина Георгіевна, наша красная матушка?..

— Т-сссъ, — предостерегающе, кокетливо прикладывая палецъ къ губамъ, сказала Дуся. — Ну, что-о вы, да ра-азвѣ

*) Въ добрый часъ!.. Это вы, Гастонъ?.. Войдите!.. Ага, про-

можно та-акъ, ту-утъ у васъ стѣны, поди, слышатъ... Я же здѣсь — Дуся Королева.

— И пусть стѣны слышатъ. Онѣ слышатъ то, что имъ нужно слышать. Итакъ, ко мнѣ по утрамъ безъ дѣла не ходятъ. По какому поводу?..

— Конечно, за деньгами, — вздыхая и поднимая глаза къ потолку, сказала Дуся.

— Опять?.. Такъ недавно я вамъ далъ пять тысячъ...

— Душка, Лазарь Максимовичъ... Ну, что такое пять тысячъ для такой женщины, какъ я, и въ моей роли: утѣшительницы эмигрантскихъ сердецъ?.. Мнѣ одна благотворительность дороже стоитъ...

— А ваши выступленія съ ультра-бѣлогвардейскими стихами?..

— Милка, Лазарь Максимовичъ!.. Мнѣ платятъ пятьдесятъ франковъ за вечеръ, а я на шампанское и лотерейные билеты больше тысячи потрачу... Моя сила въ томъ, что я всегда и всѣмъ даю. Это мой защитный цвѣтъ — щедрость... Даю литераторамъ, даю высылаемому изъ Франціи бродягѣ-казаку, даю на церковь, чахоточному поэту, больному музыканту, престарѣлой артисткѣ, умирающему отъ голода бывшему министру... Въ этомъ вся моя сила...

— Ну, что вы... А вашъ талантъ? — Лазарь Максимовичъ порывисто схватился за сердце. — Слушаешь васъ, и вотъ такъ за сердце и схватываетъ... И красота!..

— Бы-ыла... Голубчикъ! Не вамъ, кто меня помнитъ въ мои знаменитые довоенные годы, говорить это. Вся оперирована. Лицо, можно сказать, изъ кусковъ составлено, какъ лоскутное одѣяло.,.. Сколько я этимъ операторамъ плачу, сколько въ Institut de beauté оставляю!.. Всякій разъ триста, пятьсотъ франковъ обходится мнѣ моя молодость... А разъѣзды?..

— Хорошо... Я дамъ вамъ... Но доканчивайте то, что я поручилъ вамъ съ Акантовымъ...

— Душка!.. Сдѣлано!.. Дочка въ Америкѣ. Самъ съ тоски помираетъ. На меня прямо молится. Приду это я къ нему на квартирку съ Баклагинымъ докторомъ и стану Россію

вспоминать, про бѣлое дѣло говорить, стихи читать... Оба мои старичка таютъ, какъ снѣгъ на солнцѣ... Только что лужъ подъ ними нѣтъ...

— Хорошо, Магдалина Георгіевна, я, знаете, тороплюсь. Сколько?..

— На этотъ разъ, надо двѣнадцать... Меньше не отступлюсь...

— Охъ!.. Много хотите... Магдалина Георгіевна... Я дамъ. Но, помните, исполните все, что я вамъ прикажу.

— Полноте, Лазарь Максимовичъ, кому говорите? Развѣ я не понимаю... Расписочку написать?..

— Не нужно.

Дуся пошла за Лазаремъ Максимовичемъ въ кабинетъ:

— И что вы скупитесь, — сказала она. — Не свои же даете... А накурено!.. И сигары хорошія какія!.. Кто-то былъ у васъ... Два окурка съ разныхъ сторонъ пепельницы...

— Наблюдательны.

— Тѣмъ и живу.

Лазарь Максимовичъ подошелъ къ тяжелому несгораемому шкафу, стоявшему въ углу, открылъ дверцы и отсчиталъ двѣнадцать пестрыхъ билетовъ. Дуся жадно слѣдила за движеніями Лазаря Максимовича.

— Извольте.

— Что же я должна теперь дѣлать?

— Пока, ничего. А тамъ я вамъ скажу. Вызову, когда нужно будетъ, по телефону, и скажу.

— Благодарствую... Какой вы сегодня, Лазарь Максимовичъ, неласковый и сурьезный. А я для васъ хорошіе совѣтскіе стихи Лебедева-Кумача выучила, приготовила вамъ прочитать...

— Ну ихъ!.. Я на Пушкинѣ воспитанъ! Прочтите ихъ на ближайшемъ эмигрантскомъ вечерѣ...

— Как-кой вы сегодня ехидный!

— Дѣла много, Магдалина Георгіевна.

— Не медвѣдь дѣло-то, не убѣжитъ... Такъ не стану васъ больше утруждать...

Дуся небрежно скомкала кредитные билеты и спрятала ихъ въ сумочку.

— До свиданія... Пока!..

— Пока!..

Лазарь Максимовичъ проводилъ Дусю до лифта, но Дуся отказалась отъ машины:

— Не люблю я этихъ лифтовъ-то. Замираніе сердца у меня отъ нихъ дѣлается. Я пѣшкомъ, по ступенечкамъ...

Каблучки новыхъ башмачковъ изъ змѣиной кожи бойко застучали по деревяннымъ, полированнымъ ступенямъ широкой темноватой лѣстницы.

XIII.

Съ приближеніемъ весны, на заводѣ, гдѣ работалъ Акантовъ, заговорили о новыхъ увольненіяхъ рабочихъ за отсутствіемъ заказовъ. Пошли темные слушки, что увольнять будутъ тѣхъ, кто не состоитъ въ Société générale travailliste, мощной коммунистической организаціи, возглавляемой monsieur Jouhaux. Заволновались Русскіе рабочіе. Всѣ они, бывшіе Русскіе офицеры, два съ лишнимъ года сражавшіеся съ коммунистами въ Россіи, унесшіе съ собой и заграницу непримиримость съ большевиками, должны были идти туда, гдѣ, какъ разсказывали, въ пріемной были развѣшены красные флаги съ серпомъ и молотомъ и висѣлъ большой портретъ Сталина, а на столѣ были разложены на красномъ сукнѣ коммунистическія брошюры на различныхъ языкахъ, въ томъ числѣ и на Русскомъ. Тамъ сидѣли молодые люди семитическаго вида и расхваливали достиженія совѣтскаго союза.

Акантовъ пошелъ справиться въ администраціи завода: правда ли, что увольнять будутъ только тѣхъ, кто не состоитъ въ рабочемъ союзѣ... Солидный инженеръ-французъ развелъ руками и сказалъ:

— Mais, mon ami, увольнять намъ приходится. Мы сами этому не рады. А что до союза, намъ до него нѣтъ никакого дѣла. Конечно, иногда rien à faire, ладить съ нимъ какъ-то приходится. Но, вѣдь, есть еще и христіанскій рабочій союзъ; почему вы, Русскіе, не поступаете туда?..

Въ тѣ дни въ воздухѣ по всѣмъ мастерскимъ висѣло это угрожающее «rien à faire». *). Запуганные, затравленные нищетою и непосильною работой, многосемейные, рабочіе искали выхода.

Раздавались голоса:

— Что подѣлаешь? Назвался груздемъ, полѣзай въ кузовъ. Вѣдь, мы, господа, стали форменными пролетаріями; значитъ, и коммунизмъ какъ-то пріять намъ приходится, — такъ говорилъ пожилой человѣкъ, явно пораженный чахоткой, въ прошломъ доблестный офицеръ одного изъ славныхъ полковъ. — И, скажу вамъ, господа, не такъ это, въ данномъ-то нашемъ положеніи, и плохо. Коммунисты — за насъ, за рабочихъ... Мнѣ говорили, что это именно правые требуютъ сокращенія числа иностранныхъ рабочихъ и болѣе тяжкаго процентнаго отношенія въ предпріятіяхъ, а коммунисты, они мнѣ сами это говорили, ничего не имѣютъ противъ насъ, Вранжелистовъ...

— А вы были у нихъ?..

— То-есть?.. Въ порядкѣ развѣдки... Справлялся...

— Подъ портретами Ленина и Сталина подписку давали?

— Не замѣтилъ такихъ портретовъ... Кажется, тамъ висѣлъ въ дешевой черной рамѣ портретъ Маркса. Этакая дремучая, бородатая рожа старой обезьяны...

— А съ праваго бока Сталинъ подмигивалъ вамъ лукаво.

— Значитъ, и вы тамъ были?

— Значитъ! И скажу вамъ, отчего намъ не идти въ христіанскій союзъ?

— Ну, полноте! Что вы говорите! Какую цѣну можетъ имѣть этотъ союзъ во французской рабочей средѣ, гдѣ всѣ матеріалисты. Онъ никогда васъ такъ не защититъ, какъ C.G.T. Вѣдь, C.G.T. это второе правительство Франціи, и даже болѣе сильное. Оно за рабочихъ, а мы не офицеры, но рабочіе...

— Разумъ говоритъ — да, а совѣсть и сердце — нѣтъ.

---

*) Ничего не подѣлаешь.

— Не будемъ, однако, повторять ошибокъ прошлаго. Пошли бы сразу въ совѣтъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, и...

— И... были бы теперь растрѣляны, или покончили бы съ собой самоубійствомъ.

— Э!.. Нѣтъ!.. Если бы всѣ пошли туда, можетъ быть, общими дружными усиліями повернули бы руль направо и выравняли бы кренъ государственнаго корабля... А то пошли только отбросы...

— Да что вы говорите, чего не знаете... У большевиковъ осталось большинство нашего командnаго состава, и далеко не отбросы... Поливановъ, Брусиловъ, Химецъ, Багратіонъ, Зайончковскій, Тухачевскій и многіе, многіе другіе... Гдѣ они, что они могли сдѣлать?.. Одни умерли отъ тоски и сознанія своей ошибки и подлости, другіе разстрѣляны, или погибли въ тюрьмахъ... Иные сами покончили съ собою...

— Да, сила солому ломитъ.

— Когда солома гнилая...

И опять слышалось это безнадежное, фаталистическое, — «rien à faire», — ничего не подѣлаешь...

Въ обѣденный перерывъ и вечеромъ, когда, по гудку, расходясь, толпились на заводскомъ дворѣ рабочіе, и Русскіе сходились вмѣстѣ, слушалъ Акантовъ эти разговоры и думалъ о тяжкой долѣ Русскаго офицера. Самъ онъ не пошелъ писаться въ коммунистическій союзъ, и, фатально вѣря въ свою судьбу, продолжалъ работать.

Весною, подъ самую Русскую Пасху, съ завода уволили нѣсколько сотъ человѣкъ. Уволили и тѣхъ, кто записался въ С.G.Т., и тѣхъ, кто остался свободнымъ. Увольняли, преимущественно, старыхъ и болѣзненныхъ людей. Уволили и того Русскаго, чахоточнаго, который заступался и вѣрилъ въ могущество союза, и союзъ за него не вступился...

— Rien à faire!..

Ему дали шомажное пособіе, какъ безработному. Но съ семьей на него не проживешь. Государственная демократиче-

ская машина пустила его и его семью по міру, умирать отъ недоѣданія...

Уволили и Акантова.

XIV.

Самое жуткое для Акантова въ эти дни, послѣ увольненія, было отсутствіе работы, дѣла... Всю жизнь Акантовъ былъ занятъ. Служилъ, воевалъ, ломалъ походы, строилъ укрѣпленія, наблюдалъ за порядкомъ службы, командовалъ, приказывалъ, обучалъ, ѣздилъ хлопотать о довольствіи; потомъ былъ жуткій промежутокъ времени, когда все перемѣшалось: была эвакуація, бѣженство; время это прошло, какъ кошмарный сонъ. Затѣмъ, былъ наемъ по контракту на заводъ, и работа... работа... работа... Она притупляла нервы, глушила потребности, усыпляла мозгъ, обращала человѣка въ машину. Но она отнимала и время, и некогда было думать и задумываться...

И вдругъ стало такъ много времени, что некуда было его дѣвать, некуда было приложить свои знанія, силы и время, время!.. Съ квартиры въ Бійянкурѣ, гдѣ все напоминало кратковременное пребываніе у него дочери, Акантовъ не съѣхалъ. Пока квартира была оплачена, было гдѣ ночевать. Кончится срокъ уплаты, ночевать придется, гдѣ попало... Съ удивительнымъ спокойствіемъ ломавшаго походы офицера, не разъ смотрѣвшаго въ глаза смерти, Акантовъ думалъ: наступитъ лѣто. Наступитъ тепло, ну, и... Можно ночевать подъ открытымъ небомъ... Подъ мостомъ, на набережной Сены, на скамейкѣ въ Булонскомъ лѣсу... «Ну, что же», — думалъ Акантовъ, — «вспомню боевые бивуаки... Пойду бродить по окрестностямъ, искать по фермамъ, не наклюнется ли тамъ какая-нибудь «работишка»...

Голода онъ не боялся. Успокаивалъ себя научными фельетонами, доказывавшими, что ѣсть человѣку нужно очень мало и что можно, и даже полезно, подолгу голодать. Ѣда, это — чепуха. Только перетерпѣть привычный часъ завтрака или обѣда, когда запротестуетъ неудовлетворенный желудокъ, а тамъ, и пройдетъ. И даже легче станетъ...

Но и голодать не пришлось. Оказалось, что есть Русскія благотворительныя столовыя, гдѣ кормятъ даромъ... Онъ пошелъ. Увидѣлъ свѣтлыя, привѣтливыя лица бѣдно одѣтыхъ дамъ. Дамы раздавали куски хлѣба, тарелки горячаго супа съ кускомъ мяса, стаканы чая; увидѣлъ кругомъ себя такихъ же обездоленныхъ, какъ и онъ самъ, «бывшихъ» людей: были тутъ и генералы, дрожащими руками принимающіе глиняную тарелку дымящихся щей, были и сенаторы со слезящимися отъ голода, волненія и стыда глазами, просящіе накормить; увидѣлъ и просто опустившихся, безпутныхъ людей, согрѣтыхъ христіанской любовью въ просторномъ баракѣ-столовой, подъ иконой Спасителя. Увидѣлъ, позналъ, что есть горе больше его, и успокоился: не пропадетъ!.. Не въ голодѣ было дѣло. Тоска была — во времени. Некуда было его дѣвать...

Скучно и муторно было отъ мыслей.

«Работишка» не наклевывалась.

Куда ни придетъ, вездѣ одинъ вопросъ:

— Вамъ сколько лѣтъ?

— Подъ шестьдесятъ...

— Сознайтесь, больше?!. Нѣтъ, не годитесь. Старыхъ не принимаемъ...

На мѣстахъ ночныхъ сторожей, хранителей буржуазныхъ замковъ, банковъ и виллъ крѣпко сидѣли такіе же старики, какъ онъ: прокуроры, генералы, профессора, и цѣпко держались за свои мѣста. Не спали по ночамъ, ползали снизу на пятый этажъ, бродили по пустымъ заламъ банковъ, мимо закрытыхъ кассъ, отмѣчали свои обходы по контрольнымъ часамъ. И какія горькія думы передумали они въ эти долгіе ночные часы странствій по пустому громадному храму золотого тельца, знаетъ одинъ только Господь Богъ!..

Тутъ говорили:

— Вы еще молоды для такого мѣста...

Точно издѣвались надъ нимъ...

Просить въ мэріи шомажное пособіе Акантовъ не пошелъ. Гордъ былъ онъ и противны были ему равнодушныя

лица французскихъ чиновниковъ. У нихъ просить, ему, георгіевскому кавалеру?!. Не нужно!..

Акантовъ съ утра уходилъ бродить по улицамъ. Смотрѣлъ на проносившіяся мимо него машины того завода, гдѣ онъ работалъ, и думалъ: «въ нихъ, тамъ, внутри, та шайба, которую я точилъ на заводѣ, въ нихъ частица меня»... Выходилъ на Елисейскія Поля и долго, долго стоялъ передъ громаднымъ зеркальнымъ окномъ автомобильнаго магазина.

На гладкомъ бетонномъ полу, какъ допотопныя чудовища, стояли машины чуть вкось... чуть вкось... И тутъ Акантовъ смотрѣлъ на нихъ, и точно видѣлъ внутри ту шайбу, которая вышла изъ его рукъ. Онъ глядѣлъ на нихъ, какъ мать смотритъ на ребенка, поступившаго въ школу и ставшаго въ ряды школьниковъ. «И я», — думаетъ мать, — «носила его когда-то подъ сердцемъ... И вотъ, стоитъ онъ, совсѣмъ чужой...».

Чужими и недоступными стояли машины, зелено-сѣрыя, черныя, свѣтло-коричневыя; маленькія, для поѣздокъ вдвоемъ, и большія, тяжелыя, для долгихъ путешествій, всѣ равно уродливыя, какъ апокалипсическіе звѣри... И во всѣхъ внутри точно билось то кольцо, что вышло изъ его рукъ, рукъ рабочаго Акантова... Отъ дверей магазина шелъ легкій душокъ свѣжей краски, политуры, каучука толстыхъ, змѣеподобныхъ огромныхъ шинъ, и чуть слышный трупный запахъ бензина...

Акантовъ отходилъ отъ магазина, и шелъ, поднимаясь по широкому троттуару подъ зеленѣющими деревьями. Передъ нимъ, въ голубомъ маревѣ небеснаго простора, розовая и воздушная, высилась громадная тріумфальная арка, яснѣе и яснѣе становились темные мѣдные барельефы на ней, и чаровала несказанная гармонія ея размѣровъ на громадной площади Этуаль.

Вокругъ площади покрывались пухомъ высокіе платаны бульваровъ и зеленѣли сады на Avenue de la Grande Armée. Лихорадочнымъ пульсомъ билась городская жизнь. Непрерывно, какъ заведенныя игрушки, все въ одномъ направленіи, крутились вокругъ арки черныя каретки такси, громадные

зеленые автобусы вырывались изъ будто заколдованнаго круга и катились внизъ по Елисейскимъ Полямъ, а на ихъ мѣсто вступали въ мечущійся кругъ другія такси и другіе автобусы, и страшна и загадочна была непрерывность этого суетливаго движенія.

Какъ, должно быть, неуютно въ этомъ постоянномъ шумѣ и суетѣ движенія лежать подъ вѣчно обновляемымъ покровомъ цвѣточныхъ вѣнковъ и букетовъ «Неизвѣстному солдату», тамъ погребенному. Мечется надъ могилой языческое пламя, точно душа солдата, сжигаемая огнемъ и не могущая улетѣть къ синему бездонному небу...

Проходя мимо арки и могилы, Акантовъ ежился отъ какого-то страннаго волненія. Будто чувствовалъ на себѣ укоряющій взглядъ чужого, неизвѣстнаго солдата, изъ могилы слѣдившій за нимъ...

XV.

Акантовъ медленно поднимался по Елисейскимъ Полямъ. Эти дни ему было жутко за будущее. Нищенская жизнь бродяги, хожденіе за даровымъ обѣдомъ, тяготили. Приближалось время уплаты за квартиру. О электричествѣ и газѣ рѣчи не было: Акантовъ ни тѣмъ, ни другимъ не пользовался.

По привычкѣ, остановился у окна магазина своего завода. Задумчиво и печально, голодными глазами смотрѣлъ онъ на надоѣвшія машины.

Вдругъ услышалъ, какъ знакомый голосъ доктора Баклагина его окликнулъ:

— Ваше превосходительство, Егоръ Ивановичъ. А я, батенька, къ вамъ собрался...

— Такъ что же, идемте вмѣстѣ. Ни на метро ѣхать, ни чаемъ васъ угостить не могу, ибо яко нагъ, яко благъ... Ни сантима!.. Нѣтъ даже тѣхъ пяти франковъ, которые полагается имѣть бродягѣ, чтобы не быть арестованнымъ за бродяжничество.

— Какъ же, батенька, слышалъ, какъ васъ въ два счета вычистили. Вотъ вамъ и соціальная справедливость и обезпеченіе рабочаго.

— Вездѣ ложь... Не для насъ оно... Мы ненужные, лишніе люди, гости, засидѣвшіеся дольше положеннаго времени. Обломки тяжелаго крушенія, щепки разбитаго корабля: ни на постройку, ни на костеръ не годные...

— Да, да, знаю все... и, какъ говорится: мѣры приняты. Кое-что, думаю, устрою...

— Кто?.. Вы?..

— Ну, я?.. Нѣтъ, у меня нѣтъ такихъ силъ и связей. Но кое-кому говорилъ о васъ... Вы Галганова знаете?

— Какъ будто, помню такую фамилію... Не то читалъ гдѣ-то, не то слышалъ...

— Онъ говоритъ, что васъ знаетъ. Онъ губернаторомъ былъ, вы — батальономъ командовали.

— А... Да... Важный такой. Монокль носилъ и въ бѣлыхъ брюкахъ ходилъ...

— Ну, теперь не до монокля... Въ очкахъ американскихъ. Въ силѣ человѣкъ. Умѣлъ устроиться...

— Вы мнѣ какъ-то совѣтовали отъ такихъ быть подальше... Предупреждали, что это за гуси...

— Да... Ну, тутъ другое. Тутъ и Дуся Королева стала за васъ. А Дуся, какъ ни посмотрю на нее, прелестное существо.

— Помните, на вечерѣ вы сказали мнѣ: жидовка...

— Еврейка... Н-нѣтъ... Теперь не думаю... Чисто Русская... Изъ-подъ Кіева, вѣроятно. Тамъ такой типъ, южный... И что не Могилевская, такъ я въ этомъ теперь увѣренъ...

— Очаровала васъ?

— Какъ не очаровать, милый Егоръ Ивановичъ... Вспомните, какъ она Февралевыхъ и вашу Лизаньку устроила-то! Чисто, въ два счета... И теперь постоянно справляется, что пишутъ намъ съ вами изъ Америки.

— Да ничего не пишутъ, — съ ѣдкой горечью сказалъ Акантовъ. — Написала Лиза восторженное письмо, какъ только пріѣхала въ Нью-Іоркъ. А потомъ пошли только рѣдкія открытки... Поступили-то онѣ къ евреямъ.

— Въ Нью-Іоркѣ безъ этого, говорятъ, нельзя. Тамъ все евреи. Такъ что же пишетъ?..

— Да, ничего. Некогда, видно, ей писать... Не знаю, но почему-то мнѣ кажется, что тяжело ей. А только гордая она у меня: не признается. Мятется ея душа...

— Вы писали ей объ увольненіи?

— Такъ, въ общихъ чертахъ... Да мнѣ писать теперь нечѣмъ, и не на чемъ, и на марку денегъ нѣтъ. Все такъ дорого теперь стало... Думалъ, сошьетъ меня жизнь съ дочерью крѣпкими нитками, скрасить мое стариковское одиночество... Анъ, глянь, а жизнь-то и распорола сметанное на живую нитку...

— Погодите, все образуется. Дуся взялась за васъ. Какъ узнала, что васъ уволили, такъ вся и вскипѣла. «Какъ это», — говоритъ, — «во святой часъ со молитовкой... нашего милаго генерала уволили... Да что они, французы-то, нехристи, что ли?...». Ахъ, Егоръ Ивановичъ, нужно слышать ея голосъ, ея милый Русскій говоръ! Не повѣришь, что она тоже, какъ и мы, который годъ въ эмиграціи. Говоритъ, какъ цѣлебнымъ бальзамомъ по сердцу мажетъ. «Нѣтъ», — говоритъ, — «мы этого не допустимъ. Кого-кого могутъ они увольнять, а не нашего милаго генерала Акантова»... Повѣрите, по всему Парижу бѣгаетъ, все мѣсто для васъ ищетъ... «Да», — говоритъ, — «нашему генералу нужно достойное мѣсто и спокойное»... Вотъ тутъ-то и взялась она за Галганова. А Галгановъ какое-то отношеніе къ банковскому міру имѣетъ...

— Да что они?.. Меня въ банкъ!.. Да я ничего въ этомъ дѣлѣ не смыслю!..

— Не боги горшки обжигаютъ, милый Егоръ Ивановичъ. Тутъ главное — честность и аккуратность. Не хитрая штука, научитесь. Такъ вотъ, теперь я къ вамъ не пойду, а ждите насъ и событій въ самомъ скоромъ времени... Да, Егоръ Ивановичъ, что за женщина, эта Дуся, что за бабецъ великолѣпный! Безъ возраста, и съ какою милой «Русскостью». До свиданія...

Они попрощались. Баклагинъ заспѣшилъ переходить черезъ улицу, а Акантовъ остановился и смотрѣлъ, какъ по

площади Этуаль, вокругъ арки, въ бѣшеномъ бѣгѣ, какъ заводныя игрушки, все бѣжали и бѣжали автомобили...

XVI.

И, точно, черезъ недѣлю, совсѣмъ по новому потекла жизнь Акантова. Галгановъ устроилъ его въ банкъ. Это былъ маленькій банкъ, помѣщавшійся скромно, но на отличномъ мѣстѣ: въ одной изъ тѣсныхъ улочекъ, выходящихъ на Avenue de l'Opera. Служащихъ было не много. Народъ былъ «интернаціональный». Французы, евреи, армяне, итальянцы, все люди молчаливые, не разговорчивые.

Акантова посадили за кассу. Работа была не хитрая и легкая. Послѣ унизительнаго обращенія на заводѣ, обысковъ при выходѣ, «тыканья» контромэтровъ, здѣсь было тихо и уютно. Его товарищи по банку не обращали на Акантова никакого вниманія. Они шептались въ углу; его это не касалось. Мальчикъ-шассеръ, въ расшитой золотомъ курткѣ, носилъ ему на соломенномъ подносикѣ подписанные квиточки чековъ, проштемпелеванные другимъ служащимъ, и дѣло Акантова было отсчитать кредитки, мусоля пальцы о клейкую губочку въ чашечкѣ и отмѣчать на длинномъ листѣ вѣдомости дневную выдачу.

Все это пустяками показалось Акантову, и онъ оправился и посытѣлъ. Явилось и свободное время, не то время, которое не знаешь, куда дѣвать, какъ то было во время безработицы, но время, которое хочешь употребить съ толкомъ и пользою. Задумалъ, было, ходить на Высшіе военные курсы, чтобы освѣжить свои познанія, хотѣлъ даже и себя предложить, какъ тонкаго знатока стрѣлковаго дѣла, но тутъ вдругъ и совсѣмъ неожиданно прикатили къ нему Дуся и докторъ Баклагинъ.

Они внесли тяжелый громоздкій картонъ, завернутый въ бумагу, а потомъ корзину съ бутылками вина и закусками:

— Вотъ, во святой часъ со молитовкой, — бойко говорила Дуся своимъ пріятнымъ Русскимъ языкомъ. Она была нарумяненная и набѣленная, совсѣмъ молодая. Ярко сверка-

ли бѣлые зубы изъ-подъ темно-пунцовыхъ губъ. — Надо, милый генералъ, намъ спрыснуть ваше новое назначеніе... И погода такая прекрасная, и у васъ тутъ, не какъ въ Парижѣ, воздухъ какой очаровательный...

Дуся подошла къ окну:

— Смотрите, докторъ, поля, поля!.. Ну, совсѣмъ наша Курская губернія... Поди, по ночамъ, милый генералъ, у васъ въ саду напротивъ соловьи свищутъ...

Тѣмъ временемъ, Баклагинъ освободилъ отъ бумаги и веревокъ тяжелый пакетъ и вынулъ оттуда блестящій лакированнымъ деревомъ аппаратъ радіо.

Дуся подвела къ нему Акантова:

— Это я вамъ, милый генералъ. Представьте, выиграла на-дняхъ въ лотерею вотъ этотъ аппаратъ. А у меня свой: двѣнадцать лампъ. Америку свободно слушаю, самыя короткія волны поймать могу... И вспомнила про васъ, какъ вамъ, должно быть, грустно и одиноко теперь, безъ вашей милой Лизаньки. Вотъ, и послушаете чего-нибудь хорошаго, во святой часъ со молитовкой...

— Что вы, Евдокія Помпеевна, да зачѣмъ же... мнѣ... — началъ, было, совсѣмъ смущенный Акантовъ, но Дуся полной, надушенной, теплой рукою прикрыла ему ротъ:

— Полноте, генералъ, я помню, какъ вы у насъ, въ Берлинѣ, слушали радіо... Мнѣ мужъ говорилъ: плакали оба надъ нимъ... Святыя то слезы. Вотъ, и поплачьте, когда, въ одиночествѣ, потоскуйте по милой, ненаглядной нашей Родинѣ...

Баклагинъ, съ видомъ знатока, устанавливалъ аппаратъ и говорилъ ворчливымъ баскомъ:

— Это такъ важно, гдѣ и какъ поставить радіо. Въ одномъ углу хорошо, а въ другомъ будетъ лучше... Гдѣ у васъ тутъ штепсель?..

Баклагинъ отыскалъ штепсель, полѣзъ на стулъ протягивать вдоль стѣны пружинистую антенну, и попробовалъ....

Подъ звуки концерта, передававшагося по Radio-Paris, вся компанія усѣлась за скромный маленькій столъ; были раскупорены бутылки; Дуся хозяйничала, и Акантовъ пер-

вый разъ почувствовалъ себя въ маленькой своей квартиркѣ, точно и правда, какъ дома.

Лизы недоставало...

— Вотъ такъ-то, во святой часъ со молитовкой, — говорила, разливая чай, Дуся, — и забудетесь вы иногда въ одиночествѣ своемъ, и перенесетесь въ иныя страны, усладитесь музыкой, рѣчи хорошія послушаете... Давайте, послушаемъ Москву...

Баклагинъ отыскалъ волну Коминтерна...

XVII.

Это былъ ядъ. Онъ медленно входилъ въ душу Акантова, капля по каплѣ разрушая ее. Онъ мѣнялъ его понятія, его представленія; онъ былъ, какъ вѣтеръ, дующій порывами на угасающій костеръ, раздувалъ пламя, оно вспыхивало такимъ жаркимъ огнемъ неутолимой тоски по Родинѣ, такимъ страстнымъ желаніемъ возврата домой, что Акантовъ чувствовалъ себя близкимъ къ самоубійству... Этотъ медленный ядъ разрушалъ все то, что выносилъ въ себѣ годами войны и изгнанія Акантовъ, и колебалъ его непримиримость къ большевикамъ.

Какъ только наступалъ вечеръ, Акантовъ закрывалъ окно, чтобы городскіе шумы не мѣшали ему, садился въ Лизино кресло подлѣ радіо-аппарата и ставилъ волну Коминтерна. Онъ не зажигалъ огня. Лѣтнія, мягкія вечернія сумерки лиловыми тѣнями стлались по комнатѣ. Ярко горѣла освѣщенная, разграфленная табличка съ желтыми и красными цифрами и надписями; отъ аппарата шло легкое, точно живое, тепло, слышался невнятный шумъ, гудѣніе и потрескиваніе. Нервы Акантова напрягались. Онъ весь обращался въ слухъ, и всякій разъ вздрагивалъ, когда слышалъ, какъ звучный, красивый, смѣлый голосъ увѣренно говорилъ:

— Товарищи, вниманіе!.. По волнѣ Коминтерна... черезъ двѣ минуты будемъ передавать выпускъ послѣднихъ Московскихъ извѣстій...

Два голоса, мужской и женскій, поочереди, говорили о томъ, что дѣлается въ совѣтскомъ союзѣ и во всемъ свѣтѣ.

«Это ложь», — шепталъ Акантовъ. — «Все это не такъ!.. Какъ, однако, они лгутъ...», — а самъ слушалъ, затаивъ дыханіе, стараясь не проронить ни одного слова.

Онъ слушалъ разсказы о подвигахъ пограничниковъ, ловящихъ шпіоновъ, переходящихъ границы совѣтскаго союза, и думалъ, кто были эти люди, кого теперь вели на разстрѣлъ?.. Онъ слушалъ о знаменитой летчицѣ, какой-то орденоноскѣ Пусѣ Подымалкиной, которая летѣла на самолетѣ изъ Москвы во Владивостокъ, и, не долетѣвъ, гдѣ-то сѣла въ лужу, въ болотѣ, и какъ ее искали и провозгласили героиней совѣтскаго союза, и сама Пуся, свѣжимъ, чистымъ, взволнованнымъ, бодрымъ дѣвическимъ голосомъ разсказывала въ радіо, какъ она, сидя въ лужѣ, ни минуты не сомнѣвалась, что товарищи ее спасутъ... Какъ она услышала въ небѣ шумъ пропеллера, и возблагодарила великаго и добраго, геніальнаго вождя народовъ, товарища Сталина, подумавшаго о ней, ничтожной Пусѣ Подымалкиной... Акантовъ слушалъ о достиженіяхъ на заводахъ, о стахановцамъ и стахановкахъ, которые чудеса дѣлаютъ на станкахъ. Онъ слушалъ исторію партіи Ленина - Сталина, біографіи героевъ гражданской войны, и все, прожитое имъ восемнадцать лѣтъ тому назадъ, вставало въ его памяти...

Европа шумѣла. Карта Европы перекраивалась по новому, смывались слѣды позорнаго Версальскаго мира, создавалось новое государство, сильное и мощное, изобрѣтались новыя основы морали жизни; тамъ, во «глубинѣ Россіи», была все та же вѣковая тишина. Тамъ дѣлали героиней дѣвицу, сѣвшую въ лужу, тамъ превозносили самыя обыкновенныя дѣла солдатъ, тамъ расхваливали рабочихъ, только добросовѣстно работавшихъ... Но за всѣмъ тѣмъ чувствовалъ Акантовъ, что тамъ была жизнь... Что тамъ работали, что тамъ люди не топтались по кругу, какъ лошади на толчкѣ съ завязанными глазами...

Онъ слушалъ, какъ страшный, кровавый Ежовъ говорилъ развязнымъ, веселымъ голосомъ:

— Вы не для того меня выбирали, товарищи... Не для моихъ, тамъ, какихъ-то прекрасныхъ глазъ, или великолѣпной шевелюры, но для того, чтобы я до тла выкорчевалъ заразу шпіоновъ и диверсантовъ...

Акантовъ слушалъ довольный и страшный ревъ толпы, дикіе крики грубаго восторга, и въ потемнѣвшей комнатѣ онъ видѣлъ эту большевицкую, чекистскую толпу...

Да, тамъ по иному, по новому шла жизнь... И тамъ были «шпіоны и диверсанты», значитъ, тамъ боролись. Въ эмиграціи жизни не было. Она застыла, остановилась, ушла въ прошлое. Въ эмиграціи были только тѣни прошлаго. Акантовъ закрывалъ радіо. Ему слышался твердый и печальный голосъ Лизы, какъ повѣдала та ему о разрушенномъ храмѣ Вѣры, Царя и Отечества...

Онъ вспоминалъ и такъ часто повторявшіяся Лизой слова: «entweder - oder»... Или - или?.. Или надо идти туда и жить съ ними, тамъ борясь, страдая и сгорая за Россію, или нужно найти силы и прогнать ихъ оттуда какою-угодно цѣной, и сѣсть на иихъ мѣсто, но не оставаться здѣсь, ничего не дѣлая, и только занимаясь поминками... И сколько еще лѣтъ ждать такъ, ничего не дѣлая?!.

Онъ снова поворачивалъ колесико аппарата, и слушалъ біеніе т о й жизни, откуда его такъ безжалостно выбросили.

— Товарищи, вниманіе!.. Вечерній выпускъ Московскихъ извѣстій оконченъ. Черезъ двѣ минуты слушайте передачу съ Красной площади въ Москвѣ...

Какъ годъ тому назадъ, въ Берлинѣ, въ груди поднималась волна, стѣсняла дыханіе, выбивала на глаза слезу.

Москва... Это тамъ, въ Москвѣ, несутся съ легкимъ рокотомъ автомобили, шумятъ шинами... Это въ Москвѣ раздаются гудки, и это тамъ въ теплой лѣтней ночи бьютъ часы. У нихъ, тамъ, полночь...

Реветъ и гудитъ «Интернаціоналъ»...

Опустивъ низко на грудь голову, Акантовъ слушалъ, какъ на иностранномъ языкѣ, то на нѣмецкомъ, то на англійскомъ, то на французскомъ, шла пропаганда. Онъ ничего не понималъ, но сознавалъ, что тамъ, въ Москвѣ, гдѣ когда-то

жилъ народъ-Богоносецъ, искавшій правду, свито громадное змѣиное гнѣздо лжи, и эта ложь захватываетъ весь міръ, отравляетъ его смертельнымъ ядомъ разрушенія. Акантовъ чувствовалъ, какъ послѣ каждаго такого сеанса ослаблялась его воля, какъ отчаяніе входило въ его душу и растворяла ее...

Акантовъ закрывалъ аппаратъ. Погасала пестрая линеечка. Въ комнатѣ былъ мракъ. Акантовъ ощупью пробирался къ своей походной койкѣ и ложился. Но спать не могъ.

Безсонница мучила его.

XVIII.

Въ эти дни болѣзненныхъ переживаній и сомнѣній Галгановъ неожиданно пришелъ къ Акантову.

Онъ глубоко усѣлся въ старое Лизино кресло, поставилъ палку съ золотымъ набалдашникомъ между ногъ и положилъ на нее морщинистыя бѣлыя руки.

— Спасибо, что навѣстили меня, — началъ онъ сытымъ, барскимъ, не бѣженскимъ, суетливымъ голосомъ...

Этотъ голосъ, покойная самоувѣренность, осанка въ креслѣ, полныя руки на золотомъ, тяжеломъ, рѣзномъ старинномъ набалдашникѣ, большія, круглыя очки въ черной оправѣ, гладко бритое лицо, отличный, новый, не смятый костюмъ, смущали Акантова и поднимали въ сердцѣ досадное волненіе.

— Помилуйте, Владиміръ Петровичъ. Мнѣ такъ хотѣлось лично поблагодарить васъ за ваши хлопоты. И мнѣ было досадно, что я не засталъ васъ дома...

— Меня, Егоръ Ивановичъ, трудно дома-то застать... Какъ говорится: волка ноги кормятъ... Я все въ разъѣздахъ...

— И встрѣтилъ бы васъ, такъ не узналъ бы, — сказалъ Акантовъ.

— Что? Такъ постарѣлъ?..

— О, нѣтъ!.. Что вы!.. Совсѣмъ даже напротивъ... Но... очки. Они всегда такъ мѣняютъ человѣка, — торопился возразить Акантовъ, и думалъ про себя: «Какъ я, однако, низко

палъ... Какъ принизила меня эта рабочая жизнь и тяжелая борьба за существованіе...». — И штатское платье такъ мѣняетъ человѣка... Я васъ въ золотомъ шитомъ кафтанѣ помню, губернаторскомъ...

— Камеръ-юнкерскомъ, — поправилъ Галгановъ. — А я васъ сразу призналъ. Отлично васъ помню. И супругу вашу, Ольгу Петровну, помню. Какое большое мѣховое дѣло было у родителей вашей супруги въ нашемъ городѣ... Культурная семья была... Знаете, такія образованныя и просвѣщенныя женщины только и бывали, что въ Россіи... Помню, какъ и дочка у васъ родилась передъ самой войной. Я даже... хэ-хэ!.. думалъ, позовете меня въ крестные отцы... Честь мнѣ окажете, покумитесь... Хэ-хэ-съ!...

Ежился подъ взглядомъ черныхъ глазъ Галганова Акантовъ, чувствовалъ себя маленькимъ армейскимъ батальоннымъ командиромъ передъ всемогущимъ губернаторомъ.

— Помню и наши торжества, за годъ до войны, какъ вы тогда, на юбилейномъ парадѣ, стрѣлками своими заворачивали! Восторгъ!.. Да и солдаты тогда были!.. Прелесть!.. Герои!.. Была Россія!..

Тяжело вздыхая, какъ эхо повторилъ Акантовъ:

— Была Россія!..

— А, вѣдь, я къ вамъ не только отдать, такъ сказать, визитъ, но и по дѣлу... По серьезному дѣлу. Хотѣлось бы съ вами поговорить о Россіи. По душамъ поговорить...

— Почему же, Владиміръ Петровичъ, со мною? Почему такая честь?..

— Потому, Егоръ Ивановичъ, что знаю... Слышалъ, говорили мнѣ, что вы не измѣнили Россіи, что вы крѣпко ее любите, страдаете за нее и готовы и пострадать за нее. Не такъ ли?..

Акантовъ густо, по юношески, покраснѣлъ, и тихо сказалъ:

— Да... Это такъ...

Очень не по себѣ ему было. Этотъ чужой и, скорѣе, непріятный человѣкъ смѣло и властно входилъ въ его душу, касался сокровенныхъ и больныхъ струнъ его сердца.

— Вѣдь, что же, Егоръ Ивановичъ, — продолжалъ Галгановъ, и протянулъ руку къ Акантову, — нельзя такъ все сиднемъ сидѣть и ничего не дѣлать...

Теплая рука Галганова коснулась руки Акантова. Галгановъ, нагнувшись, пронзительно смотрѣлъ черезъ очки старыми, темными, коричневыми глазами въ глаза Акантову... Волненіе нарастало въ сердцѣ Акантова. Онъ сердился на себя. «Ну, что такое для меня этотъ бывшій губернаторъ?», — быстро думалъ Акантовъ. — «На мѣсто устроилъ? Со дна поднялъ? Сытымъ сдѣлалъ? Благодѣтель?!,»,

Давно подмѣтилъ Акантовъ, что люди излучаютъ изъ себя нѣкоторые токи, флюиды, которые дѣйствуютъ на разстояніи, и одни утомляютъ и вредятъ человѣку, другіе, напротивъ, оживляютъ его. У доктора Баклагина, у покойнаго Чукарина флюиды были успокаивающіе, благотворные; Наталья Петровна Февралева, Дуся Королева смущали и тревожили душу однимъ своимъ присутствіемъ. И даже Лиза, какъ и мать ея, Ольга Петровна, смущали Акантова своей недосягаемостью, скрытностью и замкнутостью...

Отъ Галганова, несомнѣнно, исходили тяжелые, давящіе, подчиняющіе волю флюиды. Галгановъ молчалъ, а Акантовъ думалъ: «Вотъ, пришелъ этотъ чужой человѣкъ, и какая-то «подлинка» во мнѣ засѣла... Это еще не подлость, но, вотъ, почему-то смущаюсь, готовъ угодить ему, подчиниться ему за помощь, за ласку, за эти полныя довѣрія слова. Признаю его авторитетъ... Почему?.. Что онъ богаче меня, что онъ помогъ мнѣ?.. Нѣтъ, тутъ что-то другое, что-то внутреннее, непостижимое, и боюсь его, и услужить готовъ ему, и не нравится онъ мнѣ... А подлинка заставляетъ сидѣть съ нимъ, слушать его и поддакивать ему»...

— Такъ вотъ, — послѣ довольно долгаго молчанія, началъ Галгановъ, — слушайте. Семнадцать лѣтъ эмиграціи и... ни съ мѣста... Даже, пожалуй, и назадъ... Все ищемъ — вождя... Да развѣ вождей находятъ?.. Что они, какъ грибы, въ лѣсу растутъ?.. Ходи, да собирай въ кошелку... Вожди являются сами. Хочешь, не хочешь, а подчиняйся имъ... Хитлеръ, Муссолини, Хорти, Франко явились, а не были кѣмъ-то

отысканы и призваны... Они явились, помимо народа, вопреки народной воли, и сумѣли овладѣть народомъ... Кажется, просто, а попробуйте сдѣлать это?.. Въ томъ-то и дѣло, что самаго главнаго мы не учитываемъ: вожди явились д о м а, то-есть тамъ, гдѣ народъ, гдѣ с в о и, а не чужіе... На Родинѣ... Въ эмиграціи никакого вождя не можетъ быть... Въ эмиграціи только воля чужого народа. «Скачи, враже, якъ панъ каже»... Тутъ — интервенція, а не воля Русскаго вождя... Семнадцать лѣтъ эмиграціи это показали, но не отъучили искать вождя. Все намъ «барина» нужно... Итакъ, не въ вождяхъ дѣло. Откинемъ вождей... Вы согласны со мной, Егоръ Ивановичъ?..

— Вполнѣ-съ, — поспѣшилъ согласиться Акантовъ, и народившаяся въ немъ, помимо его воли, «подлинка», все вырастая, заставила прибавить такъ не свойственный его рѣчи «слово-ерсъ»...

— Потомъ эмигрантской мечтой стало единеніе. Знаете, смѣшно-съ... Разсѣялись по всему свѣту, испытали смѣшеніе языковъ, какъ вавилоняне при постройкѣ башни, и говоримъ по разному: въ Парижѣ у насъ «метро», въ Берлинѣ мы на «унтергрундѣ» ѣздимъ, а въ Нью-Іоркѣ оказывается есть такой «субвей»... Разбились при томъ на оріентаціи: одни — германофилы, на Хитлера молятся. Хитлеръ, де, насъ спасетъ ради нашихъ прекрасныхъ глазъ. Другіе — франкофилы; французы, де, у насъ въ долгу, и должны выручить насъ. А тамъ — англофилы, вотъ, говорятъ: смотрите, что еще лукавый Альбіонъ для насъ сдѣлаетъ, онъ намъ и Царя посадитъ!.. А кто увѣровалъ въ Ниппонъ, такъ у насъ теперь Японію стали величать... А кому и никого не надо, — попрежнему вѣрятъ въ разумъ Русскаго мужика: вотъ, мужикъ опамятуется, и барина править призоветъ: соскучились, молъ, по тебѣ, батюшка нашъ баринъ, возьми насъ въ свои бѣлыя рученьки!.. Такъ вотъ, при такомъ-то раздѣленіи, чорта съ два говорить о единеніи... Согласны со мною?..

— Ну, какъ же! Помилуйте!..

— Теперь еще новое изобрѣтеніе: нуженъ центръ... Совѣтъ авторитетнѣйшихъ мужей, возглавляемый Особой Им-

нераторской Фамиліи и подпертый Высшимъ Духовенствомъ. Да гдѣ въ эмиграціи они, эти-то авторитеты?.. Такъ говорить, значитъ не знать главнаго свойства эмиграціи: отрицать всякіе авторитеты... Если вообще Русскій народъ, по самому характеру своему, анархиченъ, то эмиграція анархична вдвое... Только появись у насъ авторитетъ, какъ всѣ наши противоположныя эмигрантскія партіи и группировки доканаютъ этотъ авторитетъ чѣмъ только можно, до доносовъ включительно, раскопаютъ всю подноготную, дознаютъ, что и когда онъ говорилъ, будучи гимназистомъ младшихъ классовъ, и представятъ авторитетъ въ такомъ видѣ, что отъ авторитета ничего не останется... И, кромѣ того, что это за центръ, разбросанный по всему свѣту?.. Вѣдь, это же абсурдъ!.. Это не центръ, а какое-то недоразумѣніе... Придумка отъ бездѣлья...

— Такъ что же дѣлать? — робко сказалъ Акантовъ, — вѣдь, по вашему, выходитъ, что ничего дѣлать нельзя...

— Да, такъ оно и выходитъ... Нужно понять, что произошло, и безтрепетно, смѣло, солдатскими глазами, взглянуть на происшедшее...

Галгановъ отставилъ палку, выпрямился въ креслѣ и вытянулъ короткія, толстыя ноги. Синева наступившей ночи — свѣтъ не былъ пущенъ, — отражалась въ большихъ круглыхъ очкахъ, и точно у Галганова, вмѣсто глазъ, были огромные синеватые провалы. Это дѣлало лицо его страшнымъ...

— Что же произошло?.. Кромѣ крушенія нашей великой Россіи, конечно, — спросилъ Акантовъ.

— Міръ раскололся на двѣ части, понимаете: весь міръ!.. Коммунизмъ и демократія, руководимые еврействомъ, стали по одну сторону барьера, по другую — фашизмъ и національ-соціализмъ, руководимые геніальными людьми. Борьба между ними неизбѣжна. И какая борьба!.. Всѣ ужасы Великой войны и нашей и Испанской гражданскихъ войнъ покажутся игрушками передъ нею. Вся жадная злоба еврейства, вся мстительность и жуткое равнодушіе къ чужимъ страданіямъ еврейскаго народа, воспитаннаго на Библіи и Талмудѣ, и вмѣстѣ съ ними дикій разгулъ народной толпы обру-

шатся на государства, чтобы смести ихъ, какъ смели и уничтожили Россію. И эта борьба вотъ-вотъ начнется, и Россія въ ней останется безучастной, ибо порабощенной и еще глубже провалится въ яму небытія. У насъ нѣтъ вождя для борьбы, а нами руководятъ евреи, и даже не демократы, а просто евреи...

— Это ужасно, то, что вы говорите, — сказалъ Акантовъ.

— Да, ужасно, — подтвердилъ и Галгановъ, — и было бы нестерпимо, если бы не было выхода изъ этого положенія...

— Гдѣ же онъ?.. Я не вижу выхода...

— Не видите, потому, что не хотите, не находите, потому, что не ищете. Мы должны найти такую силу, которая, дѣйствуя внѣ фашизма и въ союзѣ съ демократіями, могла бы сломить коммунизмъ...

— Гдѣ же такая сила?..

— Эта сила — масонство...

— Масонство! — въ сильномъ волненіи воскликнулъ Акантовъ, всталъ съ сомье и сталъ ходить по крошечной Лизиной комнатѣ. Онъ не видѣлъ Галганова, тотъ совсѣмъ слился съ кресломъ, и только два круглыхъ стекла, отражая синеву ночи, сверкали въ почти темной комнатѣ.

— Оставьте, Егоръ Ивановичъ, офицерское предубѣжденіе къ масонству. Большіе Русскіе полководцы, Императоры и короли были, и есть, масоны. Смотрите спокойно, безъ привкуса злобы и клеветы, которыми послѣднее время опутано масонство. Подумайте объ одномъ... Допустите, что, вотъ, скажемъ, завтра, путемъ переворота, коммунизмъ свергнутъ въ Россіи, тамъ наступило затишье, и вы приглашены идти туда строить, возстанавливать Россію... Какъ же вы пойдете туда, такіе разнообразные, безъ программы, безъ опредѣленной цѣли, безъ всякаго единства? Кто за монархію, кто за республику, у каждаго свои кандидаты, и, прежде всего, свое великолѣпное «я»... Вамъ нужны деньги, зай-

мы, вамъ нужны заграничныя связи, признанія державъ и помощь ихъ. И, прежде всего, вамъ будетъ нужно доброжелательное отношеніе заграницей. Наконецъ, вамъ нужна узда на народъ, нужны совѣтники. Куда вы кинетесь, кому довѣритесь?.. «Вожди» кинутся править, подсиживать станутъ другъ друга, будетъ общая свалка, склока, а у васъ нѣтъ никакой организаціи...

— Не у масоновъ же она...

— А почему нѣтъ?..

— Но масоны и евреи — одно и то же. Тайная міровая еврейская сила.

— Сила... Вы сказали, кажется, сила?..

— Да, сила.

— Вотъ это и есть именно то, что вамъ тогда нужно будетъ: вамъ будетъ нужна сила, и точно, міровая сила. Вотъ она — масонство. Еврейская, возможно, но, коль скоро вамъ нельзя быть съ фашистами, лучше, чтобы евреи были бы съ вами и за васъ, чѣмъ противъ васъ. Лучше имѣть ихъ помощниками, чѣмъ врагами.

— Н-не знаю. И какіе люди въ масонахъ...

— Какіе люди? Слушайте, вы знали покойнаго генерала Опанасенко?..

— Да, зналъ.

— Отличный человѣкъ. Благородный, честный, доброжелательный, великодушный, умный, высоко образованный, какъ былъ принятъ во французскихъ кругахъ, какъ умно и тонко велъ противобольшевицкую работу въ экономическомъ мірѣ... Давно — масонъ... Генералъ Соловковъ, — что можете сказать противъ него?.. Умнѣйшій человѣкъ, какая выдержка, — масонъ!.. Я открываю вамъ тайны людей. Вѣдь, это же величайшій секретъ...

— Зачѣмъ вы это дѣлаете? А если я прооолтаюсь...

— Не проболтаетесь... Я говорю вамъ: элита Русскаго общества въ масонскихъ ложахъ...

— Я не могу похвалиться своимъ православіемъ, но все-таки я православный и высоко почитаю свою церковь матерь...

— При чемъ тутъ церковь?.. Три года тому назадъ, здѣсь, въ Парижѣ, скончался князь Л., венерабль, мастеръ ложи, масонъ высокихъ градусовъ... Какъ хоронила его православная церковь!.. Нѣтъ, нѣтъ. Тутъ не бойтесь: никто васъ не будетъ стѣснять въ вашихъ вѣрованіяхъ и обрядахъ...

— Зачѣмъ вы мнѣ все это говорите?..

— Потому, что я предлагаю вамъ войти въ ложу.

— Что?!. — въ глубокомъ волненіи воскликнулъ Акантовъ: ему показалось, что онъ ослышался, — Я... въ масоны?.. Да, нѣтъ!.. Что вы?.. Помилуйте!..

— Я предлагаю вамъ войти въ элиту Русскаго общества и черезъ нее прикоснуться къ такой же элитѣ общества иностраннаго, войти въ тѣ круги, которые будутъ въ свое время править въ Россіи. Мы скоро, очень скоро, проведемъ васъ въ мастеры, въ венерабли, вы достигнете вершинъ, вы познаете тайны, и войдете въ круги, значеніе которыхъ мірового... Вотъ путь, и единственный, путь спасенія Россіи.. Иного пути нѣтъ... Россія стоитъ не только мессы, но и масонства...

— Нѣтъ, нѣтъ... Это невозможно, то, что вы говорите.... Тамъ, простите, вы сами масонъ, но тамъ эти обряды... Я читалъ: балаганъ какой-то... Я старый человѣкъ... Мнѣ трудно это...

— Чепуха... Гдѣ вы это читали, кто говорилъ вамъ это?.. Вздоръ! Теперь все упрощено, модернизировано. Это не такъ, какъ у Толстого въ романѣ «Война и миръ» описано, вовсе не такъ.

— Я романовъ не читаю...

— И отлично дѣлаете... Васъ наставятъ братья-наставники, вы увидите подлинный свѣтъ, тайна бытія откроется передъ вами...

Галгановъ поднялся съ кресла:

— Зажгите, пожалуйста, свѣтъ... О!.. Мнѣ пора! Завтра будьте послѣ банка дома. Я пріѣду къ вамъ съ наставниками Пижуринымъ и Маневичемъ, они васъ будутъ наставлять...

— Но, позвольте, Владиміръ Петровичъ... Я же не собираюсь вовсе становиться масономъ.

— Не собираетесь, и отлично. Другимъ человѣкомъ сдѣлаетесь... Для Россіи... Неужели для Россіи и этого не можете... Гдѣ же ваша жертвенная любовь къ Россіи? Я говорю вамъ, — съ силой сказалъ Галгановъ, — для Р о с с і и!..

— Да, для Россіи... Конечно, если правда, что тамъ спасеніе Россіи...

— А то какъ же?.. Если я вамъ это говорю, такъ оно и есть, для Россіи... Итакъ, до завтра... Пока...

Галгановъ протянулъ лѣвую руку Акантову и быстро вышелъ изъ комнаты, постукивая своею тростью.

XIX.

Пижуринъ сидѣлъ у Акантова въ Лизиномъ креслѣ. Передъ нимъ стояла привезенная имъ бутылка очень дорогого вина и стаканъ. У ногъ стояла корзина съ другими бутылками такого же вина. Акантовъ сидѣлъ подлѣ Пижурина на стулѣ и смотрѣлъ, съ ужасомъ и жалостью, на искривленное болѣзнями тѣло Пижурина. Онъ слышалъ, что про Пижурина повторяли извѣстный анекдотъ, что, когда одна маленькая дѣвочка увидѣла Пижурина, она въ ужасѣ сказала матери: «Мама, что это: человѣкъ, или нарочно?»...

Гостя привелъ, почти принесъ, по лѣстницѣ здоровый, рослый шоффферъ-французъ.

Пижуринъ и точно на человѣка не походилъ. Какое-то человѣкообразное чудовище изъ Уэллльсовскаго романа. Человѣкъ будущаго, сороковаго вѣка, мозглякъ, съ огромнымъ черепомъ, искривленный подагрою и ревматизмомъ, потерявшій зрѣніе, силу ногъ и рукъ, полупаралитикъ, сохранившій во всей остротѣ большой циничный умъ и всѣ влеченія тѣла.

Хриплымъ голосомъ, Пижуринъ говорилъ:

— Простите, что со своимъ виномъ. Не полагается, знаю, но не могу иначе. Что мнѣ осталось? Почти не вижу. Читаю съ трудомъ. Мнѣ читаютъ вслухъ, это — не то. Остались:

вино и женщины. Покупать любовь приходится. Знаю, что противенъ... отвратенъ. Да, къ счастью, не вижу выраженія лица женщины, лишь ощущаю ее... Такъ уже теперь безъ вина-то и объясниться не могу...

Пижуринъ налилъ стаканъ, медленно выпилъ его и продолжалъ:

— Галгановъ мнѣ говорилъ, что васъ смущаетъ масонство, какъ ученіе. Давайте, посмотримъ въ корень дѣла... Начнемъ съ легендъ. Въ легендахъ-то откроется вамъ и главное... У христіанъ — легенда — воскрешеніе Лазаря. На утрени въ Лазареву субботу у васъ, православныхъ, поется тропарь: «Общее воскресеніе прежде Твоея страсти увѣряя изъ мертвыхъ воздвиглъ еси Лазаря, Христе Боже»... Удивлены? Я всѣ службы наизусть знаю. Въ молодости едва въ монастырь не поступилъ, но, вмѣсто того, попалъ въ университетъ, на естественный факультетъ, и вся моя глубокая вѣра разлетѣлась, какъ табачный дымъ въ морской ураганъ, а память у меня огромная. Вотъ и помню все. А тамъ, послѣ университета, и пошло все кувыркомъ; наслѣдовалъ я отъ отца большое мучное дѣло на Волгѣ. Заграницу благодѣтельствовали Россійскимъ хлѣбцемъ; Канада и Аргентина работали вмѣстѣ съ нами, такъ понимаете, было на что пожить всласть, ни о чемъ не думая. Ну, и заграницей залѣжи капиталовъ остались, не съ протянутой рукой сюда пришелъ... Пейте, однако, вино; это капли того моря, что мною выпито...

Густое, темное, превосходное вино играло въ простомъ стаканѣ, облагородивъ рыночное стекло Лизинаго хозяйства...

Пижуринъ выпилъ, зажмурился, потеръ ладонью по лбу и сказалъ разсѣянно:

— Да, о чемъ я говорилъ-то?..

— О томъ, что въ университетѣ вы утратили вѣру.

— Ну, университетъ тутъ, можетъ быть, и не при чемъ... Думаю, что, когда вплотную познакомился я съ матеріализмомъ, закрался мнѣ въ душу страхъ смерти. Вы знаете это чувство?..

— Я человѣкъ военный. Мнѣ оно не къ лицу.

— Можетъ быть. Однако... Не вѣрю-съ... Можетъ быть. Былъ я молодъ, темперамента бурнаго, не скажу: красивъ, очки я и тогда носилъ, былъ близорукъ, но былъ я силенъ, и такая во мнѣ бурная жажда жизни была, что, вотъ, никакъ не могъ я примириться со смертью. Какъ это, м е н я не будетъ?.. Невозможно!.. «Общее воскресеніе прежде Твоею страсти увѣряя», все повторялъ я, и жадно листалъ Евангеліе, ища подтвержденія этого, ища разсказа о томъ, что будетъ послѣ смерти. И прочелъ я, какъ спросили фарисеи Христа, кому будетъ на томъ свѣтѣ принадлежать жена, которою на этомъ свѣтѣ владѣли семеро. И сказалъ Христосъ, что на томъ свѣтѣ ни жениться, ни разводиться не будутъ, но будутъ, какъ Ангелы, пребывать въ лицезрѣніи Бога... И все тогда возмутилось во мнѣ. Бурная, молодая кровь закричала: не хочу! не хочу!.. Никакихъ Ангеловъ мнѣ не надо... Мнѣ подайте, и тутъ и тамъ, женщину, прекрасную, умную, тонкую, образованную и... развратную до тла... Француженку, а еще лучше — свихнувшуюся пьяную Русскую бабу... Мнѣ подайте хмельной угаръ Русскаго кабака, гитарный звонъ и гнусавое цыганское пѣніе. Чтобы поплылъ передъ глазами сизый туманъ полубытія, и въ немъ чтобы гибкое знойное тѣло сидѣло на колѣняхъ, и жгучи и горячи были поцѣлуи купленной пьяной страсти... а потомъ дикая пляска, вскрики, запахъ восточныхъ духовъ и дѣвичьяго пота, топотъ ногъ, взвизги... и нирвана тяжелаго, пьянаго сна... А послѣ — Русская баня, съ вѣниками, съ полкомъ, съ пареніемъ, и опять-таки съ бабой... Вотъ мой рай... И я предался ему... Видите, что со мною сталось...

Пижуринъ наполнилъ стаканы и медленно, со вкусомъ, смакуя, осушилъ свой и налилъ его снова:

— Прекрасное вино, — сказалъ онъ. — Только во Франціи, за огромныя деньги, вы можете достать такое вино... И тогда я началъ искать чуда. Голосъ съ того свѣта хотѣлъ я услышать. Я увлекался спиритизмомъ, я ночи проводилъ надъ трупами, и... ничего, ничего!.. Я ѣздилъ въ дома съ нечистой славой, чтобы, ну хотя бы маленькое привидѣніе

явилось, чтобы сказало мнѣ, что тотъ свѣтъ — есть.. Хотя бы во хмелю увидѣть, ну, тамъ, малюсенькаго какого-нибудь зеленаго чортика, самаго тамъ захудалаго выходца изъ ада... Хотя бы таинственный стукъ раздался въ комнатѣ, щелкнуло что-нибудь непостижимымъ образомъ, засвѣтились въ углу чьи-то потусторонніе глаза и заставили ужасомъ забиться потревоженное сердце... Ничего!.. Ничего!.. Я сталъ матеріалистомъ. Но матеріализмъ меня не удовлетворилъ... Видите, я образованный человѣкъ. Я свободно читаю на четырехъ языкахъ, у меня здѣсь библіотека — пять тысячъ томовъ! — все о томъ же, о будущемъ, о потустороннемъ. И я сталъ искать. Тогда-то я и вступилъ въ масонскую ложу...

Пижуринъ снова пилъ, стаканъ за стаканомъ. Опоражнивалась вторая бутылка драгоцѣннаго, дорогого, стараго, выдержаннаго вина. Пижуринъ не хмелѣлъ. Да и вино было такое, что не дурманило, но проясняло умъ, точно открывало новые горизонты мышленія, дѣлало гибкимъ и точнымъ языкъ.

— Въ масонствѣ меня страшитъ, — сказалъ Акантовъ, — то, что оно подчинено таинственной власти, которую никто не видитъ и не знаетъ. Не знаютъ даже именъ того вѣнца пирамиды, которую изъ себя представляетъ масонство...

— Въ этомъ-то и есть величайшая мудрость масонства, — сказалъ Пижуринъ. — Мы имѣли Государя Императора. Всѣ видѣли, или могли видѣть его, всѣ знали о немъ. Знали и то, что нужно было знать, знали и то, чего знать было вовсе не нужно... И напрасно. Государь оказался человѣкомъ, не богомъ... И вотъ, поползли гадкіе слухи, разсказы: на солнцѣ отыскали пятна... И Государю измѣнили, и бросили его на растерзаніе толпѣ.. А, если бы Государя не знали, не видѣли, но лишь ощущали страшную силу и власть самодержавія?.. Тѣмъ и страшенъ Богъ, что Его не видимъ...

Пижуринъ откупорилъ четвертую бутылку. Онъ уже не дожидался, чтобы Акантовъ выпилъ свой стаканъ, но наливалъ и пилъ стаканъ за стаканомъ.

— На солнцѣ астрономы отыскали пятна. Представьте, Егоръ Ивановичъ, что солнца не видно. Но въ опредѣленный часъ вдругъ разливается по землѣ свѣтъ и тепло, и такъ же постепенно невидимо исчезаетъ. Никакіе астрономы не могутъ узнать, откуда свѣтъ, какова его субстанція, какъ и откуда зарождается онъ, и куда исчезаетъ?.. Пока не знали солнца съ астрономической точки зрѣнія — боготворили его. А теперь — плюютъ на него. На солнцѣ — пятна!..

Пижуринъ выпилъ подъ рядъ залпомъ три стакана вина и вскрикнулъ неожиданно громко:

— Не знали бы солнца, не было и пятенъ на немъ!..

Онъ замолчалъ. За телескопическими, прямоугольными, толстыми стеклами очковъ горѣли крошечные огоньки его глазъ.

Медленно потянулась рука къ новой бутылкѣ, привычнымъ жестомъ, механически, откупорила ее и налила стаканы гранатовою влагою:

— Пейте, — сказалъ Пижуринъ, и ровнымъ и спокойнымъ голосомъ продолжалъ: — Въ Евангеліи сказано, что Бога никто и никогда не видѣлъ, и видѣть Бога нельзя... Потому-то и силенъ Богъ... Если бы люди увидѣли Бога, они стали бы искать и на Богѣ пятна... И Бога ослушались бы... Такъ, если вѣрить Библіи, и было въ дни райской жизни Адама и Евы, когда первые люди видѣли и слышали Бога. Человѣкъ, по самому существу своему, дрянь. Онъ все критикуетъ, онъ во всемъ копается, онъ на солнцѣ ищетъ пятна, онъ вырубаетъ бревна изъ глаза ближняго. И масоны пошли впередъ въ этомъ направленіи. Конвентъ Великаго Востока въ 1913-мъ году постановилъ отойти совсѣмъ отъ Бога. Богъ для масоновъ пересталъ быть цѣлью жизни, устремленіемъ и помощью... Масонамъ указанъ иной идеалъ, и идеалъ этотъ — человѣчество. А коль скоро такъ, и масонство владѣетъ человѣчествомъ, естественно, что верхушка масонства должна быть скрыта отъ всѣхъ глазъ. Чтобы, понимаете вы, никакихъ пятенъ, никакой критики. И тогда же постановлено, что въ мірѣ есть только одна истина; это

та, которая исходитъ отъ масоновъ. Все, что исходитъ не отъ нихъ, — ложь... Жанъ Жоресъ... Вы слышали это имя?..

Акантовъ не отвѣтилъ. Отъ вина ли, или оттого, что, несомнѣнно, очень тяжелые, порабощающіе, флюиды исходили отъ Пижурина, мысль Акантова оказалась скованной, и тяжело воспринималъ онъ все, что говорилъ его странный гость.

— Жанъ Жоресъ на Конвентѣ Великаго Востока 1913-го года сказалъ: «Если бы идея Бога приняла вдругъ осязательную форму и самъ Богъ въ видимомъ образѣ появился надъ человѣческой толпой, первая обязанность человѣка — возмутиться противъ Бога, отказать Ему въ повиновеніи и отнестись къ Нему, какъ къ равному, вступить съ Нимъ въ переговоры»... Вы видите, что тутъ люди смѣлые, дерзновенные, и съ такими людьми быть заодно интересно и почетно... Мы меня поняли?..

Акантовъ опять промолчалъ. Точно раскаленные стальные тиски сжимали ему голову. Онъ глухо слышалъ рѣчь Пижурина и плохо усваивалъ ее.

— Намъ мѣшаютъ, — продолжалъ между тѣмъ Пижуринъ, — религія, нація, монархія и теперь еще фашизмъ и національ-соціализмъ. И мы будемъ бороться съ ними до конца... До побѣды... У насъ есть союзники, и это, прежде всего, демократія. Она своимъ анархизмомъ, невѣжествомъ и тупостью правителей, полученныхъ путемъ выбора, гдѣ мы можемъ всегда вліять, помогаетъ намъ удушать религію... Съ монархами мы справляемся удачно. Однихъ увлекаемъ къ себѣ и заставляемъ вступать въ ложи, другихъ устраняемъ физически. При нашей мощи, это уже пустяки. Съ фашизмомъ и національ-соціализмомъ придется таки повозиться, но тутъ съ нами міровое еврейство...

— Это-то меня и смущаетъ.

— Оставьте, пожалуйста... Свободные люди, великіе теперешняго міра, — всѣ евреи. Да, что далеко ходить... Кто является властителемъ душъ Русской эмиграціи, чьи газеты ежедневно вліяютъ на нее? Евреи, люди, женатые на еврейкахъ, люди, евреями окруженные... Назовите мнѣ Русскаго

писателя, журналиста, общественнаго дѣятеля, который не былъ бы связанъ съ евреями? Какъ паукъ липкой паутиной опутываетъ мухъ, такъ евреи оплели весь совѣтскій союзъ и всю эмиграцію. Газеты, издательства, благотворительность — все въ еврейскихъ рукахъ, и единственный путь освобожденія отъ нихъ, это — масонство. Черезъ масонство Русскіе люди получаютъ возможность направлять и управлять евреями. Вотъ почему намъ и нужны въ ложахъ сильные люди, Русскіе патріоты, чтобы при помощи ихъ спасти Россію...

— Скажите, Алексѣй Алексѣевичъ... Простите, что я такъ прямо задамъ вамъ этотъ вопросъ. Вы сами-то стремитесь въ Россію? Нужна она вамъ? Для чего она вамъ нужна?..

Вопросъ этотъ, какъ будто, разсердилъ Пижурина. Онъ повысилъ голосъ:

— Я, Егоръ Ивановичъ, я, прежде всего, — «Я»!..

Нагнувшись, Пижуринъ пальцемъ провелъ по полу полукругъ:

— Представьте, что я мѣломъ провелъ вокругъ себя черту. Это «Я», а за чертой весь міръ... Такъ вотъ, если вы хотите говорить обо мнѣ, то имѣйте въ виду, что для меня, кромѣ меня, ничего въ мірѣ не существуетъ. Ни-че-го!.. Я люблю пить хорошее вино, и я его пью. Я хочу имѣть красивыхъ и элегантныхъ женщинъ, хочу дефлорировать дѣвушекъ, и я дѣлаю это... Сколько разъ я былъ женатъ, я не помню даже... Были дѣвушки, которыя шли за меня не только изъ-за моего богатства, но и изъ-за моего ума... Одна умерла, другая покончила съ собой, третья ушла, съ четвертой я развелся по всѣмъ правиламъ закона, отъ пятой я откупился... Были Русская, полька, француженка, еврейка, испанка... Теперь мнѣ хочется въ Россію, къ Русской бабѣ, чтобы она меня, какъ ребенка, нянчила, купала въ банѣ и пестовала меня, и для этого мнѣ нужна теперешняя Россія. Тутъ все-таки законъ. Того нельзя, это не позволено. Это стѣсняетъ. Когда Россія освободится отъ большевиковъ, въ ней долго еще не будетъ закона, и тамъ можно будетъ прикоснуться къ такому Смердяковскому развратцу, какого тутъ и понять не могутъ...

— Г-м-ммъ, да, — промычалъ Акантовъ. Пижуринъ испытующе, съ усмѣшкой, смотрѣлъ на него:

— Что?.. Поражены?.. Ну, скажите мнѣ прямо въ лицо, скажите: м е р з а в е ц ъ !.. Не стѣсняйтесь. Не обижусь нисколько. Въ этомъ и вышина моя надъ вами. Для васъ, это — оскорбленіе. Для меня — ничего не значущее слово изъ восьми буквъ, слово для крестословицы. Поймите, что если у меня только мое «Я», а весь міръ — за мѣловой чертой, то для меня міра и такъ называемаго общественнаго мнѣнія нѣтъ... Грубо выражаясь: «плевать»!.. Впрочемъ, я грубыхъ словъ не люблю. Мнѣ все — все равно. У меня есть только одно, что мучитъ меня и не даетъ мнѣ покоя: это — страхъ смерти... Вотъ, чтобы вамъ этотъ-то мой страхъ былъ понятнымъ, я и вернусь къ легендѣ...

Черезъ закрытое окно было видно, какъ къ румяному закату спускалось золотое солнце. Длинныя тѣни упали отъ домовъ и деревьевъ сада, отъ гаражей и сараевъ. Умираніе дня тихою печалью входило въ Лизину комнату, гдѣ въ креслѣ глубоко и неподвижно сидѣлъ этотъ странный и страшный человѣкъ, масонъ...

— Говорятъ, что книжники и фарисеи, которые, какъ о томъ повѣствуетъ Евангеліе, все «приступали» ко Христу съ разными вопросами, искали убить Его, предали на казнь и были при распятіи, — были масонами... Не знаю... Они боролись съ Христомъ, какъ и теперь масонство противоположно христіанству и борется съ нимъ... Масонство очень древне. Оно идетъ отъ временъ царя Соломона, отъ строителя Соломонова храма, архитектора Адонирама. Вы слыхали?..

— Нѣтъ...

— Вотъ тутъ-то и лежитъ легенда, смутившая всю мою жизнь и лишившая меня покоя. Адонирамъ обладалъ божественной истиной. Онъ зналъ, что такое — гармонія. А въ архитектурѣ, да и въ одной ли архитектурѣ; собственно говоря, вездѣ; гармонія, это — все... Соломонъ назначилъ Адонирама строителемъ Іерусалимскаго храма, который дол-

женъ былъ быть совершеннѣйшей гармоніей. Сто тридцать тысячъ рабочихъ было согнано на постройку. Учениками, простыми кладчиками, руководилъ Іоакимъ, товарищами-подмастерьями — Воозъ, и мастерами — Іегова... Храмъ воздвигался поразительной красоты линій, ибо строитель его, Адонирамъ, обладалъ тайной гармоніи. Адонираму — поклоненіе, Адонираму — деньги, Адонираму — вниманіе и почетъ отъ премудраго царя Соломона... И встала между Адонирамомъ и мастерами зависть. Зависть — родная сестра ненависти. И было рѣшено, похитить тайну Адонирама... Безумцы!.. Развѣ можно похитить талантъ, украсть или отнять у генія его искусство? Можно отнять у Шаляпина его голосъ и геній его перевоплощенія? Можно похитить у Рафаэля четкость его рисунка и воздушность его красокъ? У Пушкина гармонію стиха и остроту мысли?.. Я много думалъ объ этой ужасной исторіи, и я вижу ее. Душная Іерусалимская лѣтняя ночь... Запахъ красной пыли, благоуханіе Саронскихъ розъ и лилій, вонь чеснока и пригорѣлаго бараньяго сала, вонь людской толпы рабочихъ, идущихъ съ работъ. Я вижу, какъ, закутавшись въ бѣлый плащъ, Адонирамъ медленно идетъ съ постройки, погруженный въ дальнѣйшіе разсчеты. За воротами его ожидаетъ нарядно посѣдланный оселъ. Дома ждетъ его пиршество и на немъ наложницы... У выхода, въ темнотѣ ночи, приступили къ нему мастера. «Адонирамъ, скажи намъ тайну гармоніи»!.. «Адонирамъ, передай намъ золотой треугольникъ съ таинственнымъ именемъ, которымъ ты безошибочно угадываешь пропорціи»!.. Передъ Адонирамомъ Воозъ, Іоакимъ, Іегова и съ ними толпа возбужденныхъ распропагандированныхъ «товарищей». Адонирамъ молчитъ, онъ ускоряетъ шаги, наконецъ, онъ бѣжитъ къ колодцу, чтобы бросить туда свой золотой магическій треугольникъ. Товарищи ударяютъ Адонирама молоткомъ по головѣ. Обливаясь кровью, Адонирамъ поворачиваетъ и спѣшитъ къ сѣвернымъ воротамъ храма. Но и тамъ засада товарищей. Адонирама ранятъ киркой. Онъ падаетъ и ползетъ вдоль стѣны, товарищи бѣгутъ за нимъ, но не смѣютъ схватить его. Адонирамъ у колодца... Онъ вы-

хватываетъ изъ-подъ плаща треугольникъ. Въ темнотѣ ночи блеститъ на мгновеніе золото и безшумно скрывается въ колодцѣ безъ дна... «А-а-аахъ!», — раздается въ толпѣ. Адонирамъ бѣжитъ изъ послѣднихъ силъ къ восточнымъ воротамъ храма: тамъ спасеніе. Но у воротъ осмѣлѣвшіе товарищи схватываютъ Адонирама и циркулемъ поражаютъ его на смерть...

Пижуринъ выпилъ вино, тяжело вздохнулъ и надушеннымъ платкомъ стеръ со лба проступившій потъ:

— Легенда, — сказалъ онъ, — а вотъ вижу все, какъ это было, вижу своими незрячими глазами, какъ кошмарный сонъ, преслѣдуетъ она меня и ночью во снѣ, и наяву днемъ. Какая страшная, невыразимая словами тишина настала послѣ убійства Адонирама... Поздняя, ущербная луна показалась надъ холмами Іерусалима и выплыла на черное небо. Сильнѣе сталъ запахъ розъ и лилій, слышнѣе рокотъ водъ, несущихся съ горъ потоковъ. Въ толпѣ товарищей тишина. Молча копаютъ землю, хоронятъ Адонирама. Никто не долженъ знать, что случилось... Присыпали и притоптали землю... Разошлись... Гармонія ушла съ земли. Настало утро. Закопошились рабочіе на постройкѣ. Подъ опахалами изъ страусовыхъ перьевъ, въ пурпуровой мантіи, несомый рослыми черными рабами, подаркомъ Царицы Юга, явился на постройку Соломонъ. «Гдѣ Адонирамъ?». — Никто не отвѣчаетъ. Молчаніе кругомъ. Усердно мѣряютъ «локти», отсчитываютъ кирпичи, стучатъ лопатки съ известкой. «Гдѣ Адонирамъ?». — Никто не знаетъ... И такъ проходятъ дни... Адонирама нѣтъ. Утеряно магическое слово, источникъ гармоніи. Работа не клеится, некому направить ее. Соломонъ прозрѣваетъ истину. Онъ идетъ искать Адонирама. Въ рукахъ у Царя сухая вѣтка мимозы. За Соломономъ идутъ товарищи. Тихо кругомъ. Условились, что первое слово, которое кѣмъ-нибудь будетъ произнесено, когда найдутъ Адонирама, замѣнитъ магическое слово «іегова». Знойный день. Солнце нестерпимо печетъ. Раскалена красная почва. Соломонъ останавливается у восточныхъ воротъ. Здѣсь земля почему-то рыхлая, не слежавшаяся. Соломонъ втыкаетъ шер-

шавую, сѣрую вѣтку мимозы. Всѣ съ ужасомъ видятъ, какъ сѣрые комочки листьевъ шевелятся, распускаются, и вѣтка мимозы оживаетъ и зеленѣетъ. Молча, знакомъ, показываетъ Соломонъ, чтобы тутъ копали. Съ тихимъ шорохомъ сыпется земля. Въ знойный воздухъ ползетъ изъ нея отвратительный, одуряющій запахъ трупа. Изъ-подъ земли показывается бѣлый плащъ и мертвая рука. Одинъ изъ мастеровъ схватываетъ за руку, чтобы вытащить изъ земли Адонирама... Мясо сползаетъ съ костей. Въ ужасѣ, кричитъ кто-то:

— М а к ъ - б е н а х ъ ! . .

— Тѣло сходитъ съ кости!..

XX.

— Макъ-бенахъ, — медлительно и тихо повторилъ Пижуринъ. — Вы понимаете, въ этомъ весь ужасъ смерти. Разложеніе тѣла. Моего тѣла, которое мнѣ дороже всего, уничтоженіе моего огромнаго «Я»...

— Но вы не будете же это чувствовать.

— Вы знаете это?.. Почему вы знаете?.. Теперь сжигаютъ. Что хуже, не знаю. Поймите меня: все умерло, стало нечувствительнымъ, а мозгъ еще не умеръ. Онъ только на время уснулъ, и вотъ, проснулся. Онъ слышитъ, какъ надъ головою стучатъ по гробовой доскѣ комья земли, все глуше и глуше, и наступаетъ тишина. Страшная, послѣдняя, г р о б о в а я тишина. Тишина могилы. И вотъ, мозгъ начинаетъ передавать ощущеніе гніенія вашего тѣла. Сползаютъ съ пальцевъ ногти, мясо мокнетъ, вязнетъ, распадается, кости расходятся. А мозгъ живетъ, чувствуетъ, думаетъ, ждетъ!.. Или... Это ожиданіе въ гробу. Кончились рѣчи пріятелей, медленно и плавно опустился гробъ въ провалъ. Вы въ гробу, вы ждете очереди. И вотъ, загрохотала подъ вами металлическая телѣжка, и повезла гробъ съ тѣломъ въ печь. Теперь не сжигаютъ огнемъ. Теперь вы попадаете въ пространство, гдѣ такая страшная температура, что все испаряется...

— Ну, тогда испарится и вашъ мозгъ...

— Да, и мозгъ. Но этотъ моментъ... Ужасно... Да, что-то есть въ смерти непостижимо страшное, непереносимое... Одна богатая американка, — я понимаю ее, хотя ее и считали полоумной, — завѣщала громадныя деньги, чтобы ее не хоронили въ могилѣ и не сжигали, но устроили прекрасный склепъ, какъ жилую комнату, съ водой и освѣщеніемъ, богато обставленный, для жилья одного человѣка, и тамъ положили ее въ хрустальномъ гробу. Американка оставила особую сумму денегъ, чтобы нанять человѣка, который долженъ былъ жить въ этомъ склепѣ, вмѣстѣ съ нею. Ему должны были приносить пищу и все необходимое, но онъ долженъ былъ оставаться одинъ съ нею, или, вѣрнѣе, съ ея трупомъ. И... такого человѣка не нашли...

— Обратились бы къ Русскимъ безработнымъ, навѣрно, нашелся бы такой отчаянный человѣкъ, — сказалъ Акантовъ.

— Да, были... Но, представьте себѣ, больше одной ночи не выдерживали.

— Но это, значитъ, противорѣчитъ тому, что вы сказали. Значитъ, есть что-то за гробомъ.

— Напротивъ, именно ничего нѣтъ, и страшна была эта неподвижно лежащая въ гробу покойница, въ которой тихо совершался процессъ разрушенія.

— Это напоминаетъ мнѣ повѣсть «Вій», которую я въ дѣтствѣ, когда еще читалъ такія вещи, прочиталъ...

— Да... Но тамъ все-таки было менѣе страшно. Тамъ была нечистая сила, тамъ былъ «Вій», а тутъ... Макъ-бенахъ!..

Только теперь Пижуринъ замѣтилъ, что темнѣетъ и ночь надвигается. Онъ забезпокоился:

— Что это? — въ тревогѣ сказалъ онъ. — Ночь?.. Темнѣетъ!.. Позовите моего шоффера.

Но, едва Акантовъ всталъ, Пижуринъ испуганно закричалъ:

— Нѣтъ!.. Нѣтъ!.. Я боюсь быть одинъ въ темной комнатѣ. Я же почти ничего не вижу. Это, какъ въ гробу... Проводите меня внизъ и зажгите огонь. Помогите мнѣ встать...

Акантовъ вывелъ Пижурина изъ квартиры. Рослый шоферъ усадилъ хозяина въ машину.

Странное дѣло: не убѣжденія всегда краснорѣчиваго Галганова, не мягкая, деликатная, философская рѣчь Маневича, но именно холодный, бездушный матеріализмъ Пижурина, сломили Акантова. Всѣ три приходили къ Акантову почти ежедневно, то по одиночкѣ, то вдвоемъ, то всѣ три вмѣстѣ. У Акантова постепенно сложилось убѣжденіе, что, и правда, съ большевиками нужно бороться ихъ же оружіемъ, оружіемъ силы и разсчетливой работы. Матеріализму коммунизма противопоставить матеріализмъ масонства. И, можетъ быть, «мерзавцы», какъ самъ себя аттестовалъ Пижуринъ, именно и будутъ полезны въ такой борьбѣ. Воля Акантова была сломлена.

Макъ-бенахъ!..

Плоть разрушается, а что касается души, то ея просто нѣтъ. Довольно иллюзій, мистицизма, слѣпой вѣры въ Божіе милосердіе, молитвъ и земныхъ поклоновъ; нужно просто стать на борьбу, приняться за холодную и разсчетливую работу разрушенія коммунизма. И работать, отбросивъ брезгливость, съ масонами.

Спустя двѣ недѣли послѣ перваго разговора съ Пижуринымъ, Акантовъ, наставляемый Галгановымъ, Маневичемъ и Пижуринымъ, и за ихъ поручительствомъ, вошелъ въ ближайшую масонскую ложу...

XXI.

Знойное, душное и сырое, тропическое лѣто въ Нью-Іоркѣ смѣнила прекрасная осень. Океанъ заголубѣлъ, сизой дымкой покрылись широкія, мощныя рѣки, по утрамъ золотыми казались башни небоскребовъ, Центральный паркъ Манхаттана убрался въ пестрыя краски осени. Стало легче дышать въ городскихъ шумныхъ улицахъ. А потомъ стали налетать ледяные вихри, закрутили въ воздухѣ сухія листья, понесли ихъ рѣзвыми бабочками по глубокому ущелью Пятаго Авеню, засыпали троттуары... Почернѣлъ и оголился

паркъ. Только вѣчно-зеленые лавры и мирты, можжевельники и кипарисы, да стройныя голубыя ели, красивыми пятнами легли на сѣромъ кружевѣ кустовъ и деревьевъ.

Лиза встала утромъ, заглянула въ окно. Все было бѣло. Крупныя снѣжинки крутились въ сиреневомъ небѣ, а въ глубинѣ улицы лежалъ мягкій покровъ бѣлаго снѣжнаго полога. За ночь стала зима. Безшумно по снѣгу катили автомобили, оставляя за собою темный, ѣдко-вонючій слѣдъ гари...

Наталья Петровна и Татуша пошли своей дорожкой. Противъ жизни не попрешь. Онѣ мало работали въ мастерской, и часто не ночевали дома. Наталья Петровна не въ шутку собиралась выходить замужъ за богатаго мулата, владѣльца плантацій. Это было по-американски. Татуша, подсмѣиваясь надъ матерью, говорила ей стихами Вертинскаго:

— Иль, можетъ быть, въ притонахъ Санъ-Франциско
Лиловый негръ вамъ подаетъ манто?..

— Мамуленька, милая, ничего, вѣдь, не попишешь! Такъ складывается наша судьба... Что-жъ, надо принять жизнь такою, какою она дается. Таковъ вѣкъ, и такова наша участь...

Татуша мѣняла любовниковъ чуть не каждый мѣсяцъ, и говорила, смѣясь:

— Какъ перчатки!.. Джемсъ — американскій хамъ!.. Что можетъ быть хуже! Я его не переношу. Я выгнала его въ два счета. Сволочь, а не мужчина. У меня теперь, Лиза, прелестный полу-еврей... Херувимчикъ. Іосифъ Прекрасный... И глаза!.. Такіе глаза бываютъ только на картинахъ... И — богатъ!.. Свой автомобиль, своя дача; малютку пріятно пощипать...

Цѣлыми недѣлями Татуша не жила дома, разъѣзжая по Америкѣ со своимъ любовникомъ.

Въ такія одинокія ночи Лиза тщательно запиралась и пустыми кроватями заставляла двери. Она боялась спать одной. Она знала: она обречена на то же. И долго лежала она, не смыкая глазъ, прислушиваясь къ пѣснѣ города, къ гулу подземныхъ машинъ, къ шуму лифтовъ, къ шагамъ въ корридорѣ. Она думала о Февралевыхъ. Какъ легко мать и дочь

приняли жизнь такою, какою она сложилась. Мать пережила Великую и гражданскую войны; казалось бы, закалилась въ борьбѣ, перенесла потерю мужа, и тутъ такъ скоро позабыла о всемъ. Татуша не знала настоящей любви, такой, какая горѣла въ Лизѣ, и, можетъ быть, потому такъ просто приняла совершившееся...

— Гадость, — говорила Татуша въ тѣ ночи, когда она бывала дома, присаживаясь на постель Лизы, — конечно, Лиза, гадость, но, вѣдь, это Америка!.. Тутъ такъ надо. Тутъ деньги все. Царство доллара. Но, посмотри, какія у меня платья, какія кольца и украшенія!.. Вчера въ театрѣ фильмовый актеръ заглядѣлся на меня, и я слышала, какъ онъ сказалъ: «Какая славная дѣвочка... Какія линіи! Съ такимъ тѣломъ можно обнаженной играть».. Лиза, представляешь: я... на экранѣ!.. обнаженная!.. Ты представляешь только это! Портниха Февралева, — какая мерзость!.. Татьяна Февръ — знаменитая старъ; чувствуешь, Лиза, музыку словъ!.. Да еще, если бы у меня былъ такой голосъ, какъ у тебя... Весь міръ любовался бы моимъ тѣломъ и слушалъ, затаивъ дыханіе, мое пѣніе... Нѣтъ, Лиза... Не зря попали мы въ Америку. Мы завоюемъ себѣ положеніе... Мужчины... Всѣ они такіе... Имъ ничего другого и не надо. Я, Лиза, научилась отъ жизни... Я жестокая, нахальная, грубая... Имъ это и надо. Я умѣю мужчину на колѣни поставить... Ты думаешь: любовь?.. Какъ же!.. Держи карманъ шире!.. Какая тамъ у нихъ любовь... Распустятъ сопли и млѣютъ... Лизочка, душка, ты еще невинненькая, ты этого не понимаешь... Я развратная... Я Русская, съ Волги... Я знаю, какъ съ ними нужно быть... У меня, гляди!...

Татуша доставала дорогую сумочку и, раскрывъ ее, пересыпала на красивой бѣлой рукѣ, между пальцами съ кроваво-красными крашеными ногтями, золотые доллары. Было что-то страшное въ блескѣ золота на прекрасной рукѣ...

— Я бумажекъ не беру. Плати золотомъ, сопливый чортъ! Хочешь, Лиза, я подарю тебѣ?.. Мнѣ не жаль...

Лиза отказывалась отъ денегъ.

Она не понимала такой жизни. Все ея невинное, чистое тѣло возмущалось этимъ... Обреченная!.. Нѣтъ, она не сдастся такъ. Она будетъ бороться. Ее не посмѣютъ такъ продать. Она чувствовала, что и Сарра понимала ея состояніе. Лизу не трогали. Ее цѣнили, какъ мастерицу. Она работала въ мастерской, гдѣ съ ея Русскимъ, болѣе тонкимъ, чѣмъ французскій, вкусомъ, съ ея Парижскими сноровками, она была цѣннымъ пріобрѣтеніемъ для мастерской, и ее облюбовали заказчицы дома Брухманъ.

Она жила изо дня въ день. По вечерамъ, оставшись одна, она много читала, писала письма отцу, составляла пространное письмо-дневникъ Курту. На ея письма отцу не было отвѣтовъ. Письмо Курту она пошлетъ послѣ. Куртъ не знаетъ ея Нью-Іоркскаго адреса. Никто изъ ея Берлинскихъ друзей не знаетъ, что она въ Америкѣ, она не писала объ этомъ и тетѣ Машѣ. Куртъ не отвѣтилъ Лизѣ на ея письмо изъ Парижа... Лиза гордая, пусть напишетъ ей въ Парижъ, отецъ перешлетъ письмо, а тамъ будетъ видно, пошлетъ ли она свой дневникъ, гдѣ все полно нѣжной любви къ любимому...

XXII.

Въ мастерской работали до поздней ночи. Заканчивали платье для какой-то очень важной особы. Примѣрку дѣлали на Лизѣ. Она и повезетъ платье сейчасъ же, ночью. Заказчица два раза звонила по телефону. Ей нужно ѣхать на балъ.

— Готовы, что ли? — сказала Сарра. — Вы, Лиза, приберитесь хорошенько, вамъ тамъ придется раздѣться, снять пальто и примѣрять платье. Захватите съ собою булавки и нитки съ иголками, можетъ быть, подшить что-нибудь придется...

— Гдѣ ужъ мнѣ еще тамъ шить?.. Одинадцатый часъ! Я съ ногъ валюсь отъ усталости, — недовольнымъ голосомъ сказала Лиза.

— Ш-шшшь!.. Такой заказъ! Вы сами, Лиза, почувствуете, какой это заказъ. Вотъ, возьмите немного денегъ: туда — берите такси, назадъ вернетесь въ субвеѣ...

Блистающій огнями, то потухающими, то разгорающимися, пестрыми и точно живыми, Нью-Іоркъ былъ сказочно красивъ. Лиза любовалась имъ черезъ окно каретки, мчавшей ее по незнакомымъ улицамъ. Высокіе, ярко освѣщенные вывѣсками и рекламами, небоскребы точно таяли розовыми вершинами въ темномъ небѣ.

Бѣжали, мчались по мягкому снѣгу автомобили, и ихъ черная суета по улицамъ волновала Лизу:

«Куда, зачѣмъ они мчались?.. Кто сидитъ въ нихъ?.. Куда ѣдетъ?.. Что совершается во всѣхъ этихъ домахъ?..».

Духъ захватывало отъ сознанія бьющейся кругомъ жизни милліоновъ людскихъ существъ.

Times-street, улица театровъ, кинематографовъ, кабаковъ и баровъ, дорогихъ ресторановъ; такси промчалось по ней и свернуло въ темную, тѣсную уличку. Карета остановилась. Шоффферъ привычнымъ жестомъ потянулся назадъ, открылъ дверцу.

По лифту, Лиза поднялась на сороковой этажъ. Попрежнему замирало сердце и захватывало дыханіе у нея отъ быстраго полета машины. Лиза вошла въ ярко-освѣщенный коридоръ и отыскала указанный номеръ.

Толстый, пузатый, съ короткими ногами американецъ, тотъ самый, еврей Самуилъ, котораго видѣла Лиза сидящимъ на рабочемъ столѣ въ мастерской у миссъ Эдитъ, когда ее посылали въ первый день ея работы у Сарры Бекманъ, открылъ двери.

— Мистриссъ Кодрингамъ?.. — испуганно, съ сильно бьющимся сердцемъ, спросила Лиза.

Самуилъ осклабился.

— Мистриссъ Кодрингамъ, — отвѣтилъ онъ, пропустилъ Лизу въ прихожую и тщательно заперъ двери.

Лиза, съ картонкой въ рукахъ, прошла въ маленькій салонъ:

— Мистриссъ Кодрингамъ? — еще разъ, уже настойчивѣе, сказала Лиза.

— О, да, — сказалъ пузатый человѣкъ, — пожалуйте сюда... Васъ ожидаютъ...

Лиза пошла дальше. Спальня, и не женская спальня. Небрежно постланная широкая постель, круглый столъ и на немъ бутылки, графины, холодное мясо, апельсины, бананы, ананасъ...

Самуилъ принялъ изъ рукъ Лизы картонку съ платьемъ.

— Я давно васъ ожидаю, миссъ, — сказалъ онъ, пристально глядя черезъ очки строгими и жадными глазами. — Садитесь, снимайте ваше пальто... Да и платье лучше бы снять... Давайте, выпьемъ для начала, что-нибудь... Вы умѣете составлять коктэйли?..

— О! Нѣтъ!.. Нѣтъ, что вы!?.

— Это цѣлое искуство. И такая дѣвочка, какъ вы, должна умѣть это дѣлать... Мужчины это любятъ... Я вамъ дамъ урокъ... И безплатно...

— Я вижу, что я ошиблась адресомъ, — сказала Лиза, и взяла картонку.

Самуилъ перегородилъ Лизѣ дорогу къ двери:

— А, нѣтъ, милая дѣвочка, — сказалъ онъ съ холодной жестокостью, — ничуть вы не ошиблись. Сарра Брухманъ васъ именно ко мнѣ и послала. Я купилъ васъ, милая дѣвочка, и на сегодня вы — моя, а тамъ дальше это уже будетъ отъ васъ зависѣть, какъ пойдетъ у насъ дѣло...

Глаза Лизы налились ужасомъ. Она выронили картонку изъ рукъ:

— Ка-акъ!?. — душнымъ крикомъ вырвалось изъ ея горла.

Самуилъ стоялъ противъ нея и говорилъ спокойно:

— Будемъ благоразумны, милая дѣвочка. Оцѣнимъ положеніе. Что вы можете предпринять, вы, Русская бѣженка?.. Безъ правъ, безъ Родины, безъ паспорта?.. Идите жаловаться: васъ въ двадцать четыре секунды посадятъ въ тюрьму за безпаспортность... Поднимете шумъ. Вы не знаете силу Брухманъ и Нью-Іоркскаго еврейства. Совѣтую вамъ быть просто благоразумной. Я вамъ не нравлюсь; очень можетъ быть. Вѣрю и этому. Но фактъ есть фактъ. Тутъ есть нѣсколько бутылокъ, а у меня найдется и кокаинъ, а подъ нимъ и самъ дьяволъ покажется вамъ ангеломъ...

— Пустите меня, — прохрипѣла Лиза, и подалась къ двери.

Самуилъ схватилъ Лизу за руки:

— Оставьте вашъ характеръ, — говорилъ онъ, крѣпко держа Лизины руки. — Я повторяю вамъ: я васъ купилъ. За васъ заплачено Саррѣ. Я и вамъ что-нибудь подарю. То платье, что вы принесли, — ваше... Мы поѣдемъ потомъ танцовать... Ваша игра кончена, вамъ остается смириться, сѣсть со мною за столъ и пировать: ночь наша...

Лиза плечомъ навалилась на насильника и старалась оттѣснить его отъ двери. Самуилъ былъ сильнѣе Лизы, но Лиза была ловче и гибче американца, и между ними началась безмолвная борьба.

Тяжелое, отвратительное, вонючее дыханіе отравляло Лизу; у нея темнѣло въ глазахъ. Лиза видѣла, какъ сквозь стекла очковъ загорались страстью глаза Самуила, и поняла, что пропала. Силы оставили ее. Самуилъ воспользовался этимъ и повлекъ ее къ постели. Но Лиза сейчасъ же овладѣла собою. Берлинскіе уроки спорта помогли ей. Она подставила подножку Самуилу, и оба они тяжело рухнули на полъ...

Самуилъ лежалъ на Лизѣ и, крѣпко сжимая ея руки и прижимая ихъ къ полу, слюнявымъ ртомъ покрывалъ Лизины щеки жадными, страстными поцѣлуями. Лиза теряла сознаніе. Ея сопротивленіе слабѣло, и этимъ воспользовался Самуилъ и на мгновеніе отпустилъ руку Лизы. Какъ стальная пружина, ощутивъ въ себѣ внезапный притокъ силъ, Лиза выскользнула изъ-подъ Самуила, вскочила на ноги, впилась зубами въ руку насильника и заставила освободить себя. Она кинулась къ двери.

Самуилъ настигъ Лизу въ прихожей, и съ силой ударилъ по лицу. Кровь потекла изъ виска; Лиза, взмахнувъ рукой, сбила очки съ Самуила, и, пока тотъ растерянно заморгалъ глазами, она открыла дверь и выскочила въ корридоръ.

Лифтъ только-что промчался внизъ. Нечего было и думать ожидать слѣдующаго. Лиза побѣжала къ лѣстницѣ. Ея башмаки отбивали яростную «чечетку» по ступенямъ. Она

пробѣжала пять этажей и остановилась. Она слышала, какъ надъ нею лифтъ принялъ Самуила. Съ замираніемъ сердца, Лиза ждала, что будетъ дальше. Лифтъ промчался внизъ. Лиза думала: Самуилъ будетъ ожидать ее внизу, не дождется и вернется. Она медленно стала спускаться съ лѣстницы.

Когда она достигла нижняго этажа, ея ноги ныли отъ боли и колѣни дрожали отъ усталости. На улицѣ было темно. Лиза несмѣло и осторожно вышла съ крыльца.

— Вотъ она!.. Лови ее, держи! — раздался крикъ совсѣмъ подлѣ.

Самуилъ успѣлъ за это время найти нѣсколькихъ негровъ и съ ними бросился къ Лизѣ.

Лиза помчалась, что было духа, по скользкой мостовой. Самуилъ и негры побѣжали за ней.

XXIII.

Маленькая уличка была точно узкое ущелье между высокихъ горъ. Впереди сіяла огнями большая, ярко освѣщенная улица. Въ пестрой огневой игрѣ вспыхивали и погасали вывѣски, крутились колеса изъ огней, медленно разворачивались цѣлыя огневыя картины. Тамъ былъ уже негритянскій кварталъ. Не отдавая себѣ отчета въ томъ, куда бѣжитъ она, какъ бабочка летитъ на огонь, Лиза бѣжала на эту горящую огнями большую улицу.

Былъ тотъ ночной часъ, когда полнымъ ходомъ идутъ представленія въ театрахъ, кинематографахъ и варьетэ, и когда бары полны до отказа. Морозъ загналъ гулякъ въ кабаки и театры.

Лиза бѣжала, и чувствовала, что негры ее настигаютъ.

— Helf!.. Helf!.. *), — кричала она въ отчаяніи.

Дверь въ одномъ изъ баровъ была открыта настежъ. Паръ клубился въ ея отверстіи. Оттуда было слышно, какъ играло піанино и сладкій теноръ пѣлъ:

— This must be love for I don't feel so well,
These sobs — these sorrows — these sighs!

*) Спасите!.. Спасите!..

Такъ хорошо знала Лиза эту пѣсенку, и такъ не отвѣчала она тому, что происходило теперь съ нею. Она пріостановилась и заглянула въ баръ. Гуляки сидѣли, кто на высокихъ стульяхъ подлѣ стойки, кто за столиками, Много было негровъ, и до тошноты сладкій теноръ мягко выговаривалъ слова куплета:

— This must be love. Here comes that dizzy spell...
My head is in the skies... *)

Это пѣніе показалось Лизѣ ужаснымъ. Тутъ не могло быть спасенія.

Лизу увидѣли. Кто-то высунулся изъ двери, посмотрѣлъ на растерянную дѣвушку, на негровъ, настигавшихъ ее, и захлопнулъ двери.

Обыкновенная здѣсь ночная сцена. Стоитъ ли обращать вниманіе на пьяную, вѣроятно, сдурѣвшую отъ хмеля, женщину, со сбитой съ головы шляпкой и распущенными волосами.

Лиза снова бросилась бѣжать. Но ея остановка была роковой для нея. Негръ схватилъ Лизу за край ея кофточки, но она успѣла быстро растегнуть пуговицы: кофта осталась въ рукахъ у негра, а Лиза, въ полуразорванномъ платьѣ, бѣжала дальше. Послѣднія силы ее покидали. И снова была открытая дверь. Оттуда неслись громкіе, смѣлые, увѣренные голоса. Лиза, все позабывъ, не отдавая себѣ отчета, почему она такъ дѣлаетъ, закричала по-Русски:

— Спасите!.. Спа-а-асите!.. — и грохнулась на панель въ изнеможеніи. Сквозь охватившее ее полусознаніе, она услышала топотъ ногъ, крики, ругань: по-Русски и по-англійски. На улицѣ шла свалка. Здоровые, рослые люди въ высокихъ сапогахъ, и, точно, будто Русскіе, навалились на негровъ.

Лиза приподнялась съ панели и сѣла. Все показалось ей чудомъ. Все было невѣроятно. Пронзительно визжа, пробѣ-

---

*) Это, должно быть, любовь, потому что я себя чувствую не такъ хорошо. Это рыданіе, эта печаль, эти вздохи! Это, должно быть, любовь. Тутъ находитъ это ошемляющее очарованіе. Голова моя въ небесахъ.

жалъ мимо Лизы Самуилъ. Негры, тѣснимые людьми въ высокихъ сапогахъ, отходили. Свалка прекратилась, и на улицѣ стало тихо. Открывшіяся, было, двери сосѣднихъ баровъ закрылись. Обычная въ здѣшнемъ кварталѣ, исторія окончилась побѣдой одной стороны и пораженіемъ другой: такъ всегда бываетъ. Хорошо, что все обошлось безъ полиціи.

Лиза встала. Она дрожала отъ страха, волненія и холода. Въ изорванномъ платьѣ, съ залитымъ кровью лицомъ, стояла она, прижавшись къ холодной и сырой стѣнѣ дома. Къ ней подходили тѣ люди, кто спасъ ее.

Тыльной стороной ладони, Лиза протерла глаза.

— Одинъ изъ нихъ подошелъ къ Лизѣ и накинулъ на ея плечи тяжелое и теплое драповое пальто:

— Вы Русская? — спросилъ онъ.

— Да.

— Что случилось, сударыня?..

Вопросомъ отвѣтила Лиза на вопросъ:

— Кто вы такіе?..

— Мы — казаки.

— Казаки?.. Въ Америкѣ!.. — Лизѣ показалось, что она ослышалась. — Какіе казаки?..

— Донскіе.

— Донскіе казаки въ Нью-Іоркѣ?.. Невѣроятно...

— Невѣроятно, но, какъ говорится, фактъ...

Другой, молодой, худощавый, очень красивый, съ тонкими, породистыми чертами лица, сказалъ:

— Мы казаки Жаровскаго хора. Можетъ быть, когда-нибудь вы слышали насъ...

— Жаровскаго хора?.. Да, я слышала васъ въ позапрошломъ году, осенью, въ Берлинѣ...

— Ну, вотъ что, — вмѣшался въ разговоръ сѣдой, полный, крѣпкій человѣкъ съ добрыми сѣрыми глазами. — Разговаривать здѣсь не приходится. Позвольте, мы доставимъ васъ домой.

— Домой... — растерянно сказала Лиза. — Домой? — повторила она. — Да, конечно... Домъ... Нѣтъ... Мнѣ нельзя домой. Мнѣ страшно вернуться туда... Тамъ опасность...

— Пойдемте, сударыня, возьмемъ такси, — сказалъ тотъ, кто далъ Лизѣ свое пальто. — Дорогой вы намъ объясните ваше положеніе и мы что-нибудь придумаемъ...

— Конечно, — сказалъ сѣдой человѣкъ. — Ты, Иванъ Митрофановичъ, да вотъ Гавріилъ Семеновичъ, проводите барышню.

Толпою пошли къ площади. Лиза постепенно оправлялась отъ испуга. Она поняла, что ее врядъ ли принимаютъ за приличную дѣвушку, и она поспѣшила представиться:

— Я дочь генерала Акантова. Я здѣсь работаю... Но домой мнѣ ѣхать страшно. Я боюсь, что тотъ человѣкъ, который меня преслѣдовалъ, позвонитъ по телефону моей хозяйкѣ, и она снова заберетъ меня и отдастъ ему. У хозяйки и паспортъ мой, и деньги...

Лиза остановилась. Человѣкъ десять провожало ее. Она повернулась къ нимъ. Все Русскіе люди, и первый разъ поняла Лиза, что Русскіе — такъ это же ея родные, и имъ можно все сказать!.. И она сказала прерывающимся отъ волненія голосомъ:

— Мнѣ, господа, бѣжать нужно. Вовсе бѣжать изъ Нью-Іорка нужно. Какъ я могу тутъ оставаться?.. Вы уйдете, и кто за меня тогда заступится?..

Тотъ, кто подалъ ей пальто, заговорилъ съ Лизой тихо и серьезно:

— Вы говорите, сударыня, что слушали насъ въ Берлинѣ. Вы жили въ Германіи?..

— Да.

— У васъ тамъ, можетъ быть, есть родные, знакомые? Вы говорите по-нѣмецки?

— О, да. Я выросла и училась въ Германіи, въ Берлинѣ.

— Вы говорите: бѣжать вамъ отсюда надо. Хозяйка васъ притѣсняетъ?..

— Вы понимаете, я шила тамъ... — Лиза не хотѣла сказать, что она — портниха. Ей казалось, что это не отвѣчаетъ тому, что она дочь генерала... — Я шила... И хозяйка — еврейка... Оказалось, что она... она... насъ, мастерицъ... продавала... Она хотѣла и меня продать...

— Еврейка... Дѣло обыкновенное.

— Н-да-а... Ис-с-сторія!..

— Бѣжать?.. Ну, куда я побѣгу?.. И паспортъ, и деньги у хозяйки. Она мнѣ, вотъ, и всего-то денегъ дала, что на субвей...

Казаки обступили Лизу кругомъ. Раздались голоса:

— Помочь барышнѣ надо...

— Видно, что правду говоритъ.

— По всему обличію видно, что не такая она...

— И правда, что генеральская дочь...

— Бѣженская исторія. И безъ паспорта. Какъ же быть-то?

— Это уладить можно. Очень даже просто, что уладимъ.. Сергію Алексѣевичу сказать. Онъ капитана уломаетъ...

— Всѣмъ хоромъ пойдемъ, попросимъ. Капитанъ всегда намъ всякое уваженіе дѣлаетъ. Который годъ на ихъ пароходѣ ходимъ...

— Всѣхъ насъ знаетъ.

— Поручимся за нее.

— Бѣдная. И личико въ крови. И смѣлая, видно...

— Можно и этого, матроса, попросить...

— Славный парнишка...

— Онъ не матросъ, а вродѣ боцмана.

— Контромэтръ...

— И тоже изъ Берлина...

На улицѣ, на казачьемъ кругу, рѣшалась судьба Лизы. Лиза повѣрила кругу, и довѣрилась этимъ людямъ, смѣло взявшимся за нее.

— Такъ вотъ, сударыня: Иванъ Митрофановичъ и Гавріилъ Семеновичъ, люди они здоровые и сильные, въ обиду васъ никакъ не дадутъ, они отвезутъ васъ домой, вы заберете ваши манатки, перебудете до утра, они васъ и покараулятъ, чтобы чего съ вами не случилось, а утречкомъ привезутъ васъ къ намъ на пароходъ. Послѣзавтра пароходъ идетъ въ Германію. На пароходѣ, это уже будетъ нѣмецкая территорія, и васъ тамъ никто тронуть не посмѣетъ.

— А деньги?..

— Дѣло простое. Соберемъ вамъ, что нужно. Поможемъ. А тамъ, разъ вы жили въ Германіи и учились тамъ, устроимъ...

Въ этомъ казачьемъ, Русскомъ, кругу отогрѣвалось сердце Лизы отъ холода Парижской и Нью-Іоркской жизни... Тутъ впервые почувствовала она, что, можетъ быть, она и ошиблась, и что у нея не только есть Родина, но есть и Отечество...

Лизу усадили въ каретку, двое сѣли съ нею, и она поѣхала на свою квартиру.

Когда поднялись по лифту къ комнатѣ Февралевыхъ, Лиза остановилась. Какъ быть съ провожавшими ее казаками?

— Мнѣ, господа, переодѣться надо, — сказала Лиза, показывая свое разорванное платье. — И страшно. Если хозяйка уже знаетъ, она придетъ. Она тутъ же, въ этомъ этажѣ живетъ...

— А вы не безпокойтесь. Мы васъ тутъ, въ корридорѣ, покараулимъ.

— Ну, какъ же?.. Тутъ и нѣтъ ничего.

— А полъ есть?.. Народъ мы военный и кочевой, и не то еще видали. Ляжемъ на полу, такъ посидимъ, а къ вамъ никого не пустимъ.

— Боже мой... Спасибо!.. Я сейчасъ буду готова...

— А для чего вамъ торопиться? Ночь еще долгая. Отдохните спокойно. Раньше утра на пароходъ все-равно нельзя. А тамъ, тѣмъ временемъ, наши все вамъ и устроютъ...

Лиза пожала руки своимъ спасителямъ, и вошла въ комнату Февралевыхъ.

XXIV.

Какъ то и знала Лиза, Натальи Петровны и Татуши не было дома. Лиза смыла съ лица кровь, отмыла поцарапанныя руки. Все — пустяки: легкія ссадины. Припудрить лицо, и ничего видно не будетъ... Лиза сразу надѣла свое простое дорожное платье, и стала укладывать въ чемоданы пожитки, башмаки, бѣлье, тѣ бѣдныя мелочи, которыя привез-

ла изъ Германіи... Она достала и бережно положила на дно чемодана «Пасхальнаго Баварскаго зайца», давнишній подарокъ еще юноши Курта... Уложила, бережно, точно живой былъ заяцъ, накрыла его своими рубашками, и, какъ сидѣла на колѣняхъ надъ чемоданомъ, задумалась:

«Вотъ и конченъ еще этапъ жизни... И какъ неудачно!.. Это и есть жизнь?.. Въ Германію?.. Нѣтъ... Въ Германію она не поѣдетъ... Тамъ — Куртъ. Тотъ Куртъ, который не отвѣтилъ на ея письмо изъ Парижа... Она не хочетъ быть тамъ, гдѣ Куртъ... Зачѣмъ? Очевидно, что все кончено. Она гордая. Ее просто доставятъ въ Европу, и она поѣдетъ къ отцу. Она разсчитается съ ними за ихъ издержки. Можно снова и паспортъ устроить... Но не въ Германію... Къ тетѣ Машѣ нельзя. Тетя Маша? Это смѣшно, но она ревнуетъ меня... Нѣтъ... Нѣтъ... Не въ Германію...».

Лиза поднялась съ колѣнъ, окончила укладку, закрыла чемоданы. Хоть сейчасъ и ѣхать... Она прилегла на постель, какъ была, одѣтая, но заснуть не могла. Ее смущало, что за дверью изъ-за нея не спятъ эти чужіе добрые люди. И волновало, какъ выйдетъ она завтра, а вдругъ Брухманъ уже все знаетъ, ей позвонили по телефону, и вотъ-вотъ она явится сюда съ полиціей... А вся полиція въ рукахъ евреевъ...

Страшилъ наступающій день.

Иногда Лиза закроетъ глаза. Шумитъ въ ушахъ отъ пережитого волненія, отъ усталости, и будто со стороны слышитъ милую пѣсню:

— Märkische Heide, märkischer Sand
Sind des Märkers Freude,
Sind sein Heimatland... *)

Точно видитъ сквозь закрытые глаза: лѣса Груневальда, зеленоватую синеву озеръ и Гавеля, кудрявые дубы и липы садовъ, сбѣгающіе съ крутыхъ зеленыхъ холмовъ въ изум-

*) Рощи и поле, ровный песокъ,
Меркера радость,
Родной его кусокъ...
Переводъ А. фонъ Шлиппе.

рудную раму молодыхъ камышей надъ озеромъ... Тамъ — Родина...

Вдругъ очнется и долго въ ужасѣ смотритъ широко раскрытыми глазами на ярко освѣщенные лампой стѣну и потолокъ. О, какъ страшно станетъ!.. Казаки ушли. Она одна. Вѣдь, все это могли быть одни слова. За кого ее приняли? За уличную дѣвку-скандалистку!..

И тогда прислушивалась съ сильно бьющимся сердцемъ.

За дверью въ полголоса переговариваются казаки... Родные!.. Ро-дные!!. Что будетъ завтра?..

Такъ незамѣтно наступило, пришло — завтра. Желтые солнечные лучи скользили по верхамъ небоскребовъ. Мутный свѣтъ входилъ въ комнату Лизы, и ненужнымъ становился свѣтъ электрической лампы...

Въ Берлинскомъ леопардовомъ пальто и въ такой же шапочкѣ, Лиза вышла въ корридоръ.

— Вотъ и отлично, — сказалъ одинъ изъ казаковъ. — У моей жены точно такое же пальто... Васъ и на пароходѣ сразу признаютъ за Берлинскую жительницу...

Казаки забрали вещи Лизы, и всѣ поѣхали на пристань.

Какъ все показалось Лизѣ тамъ манящимъ и милымъ, а все было буднично и обыкновенно. Покрытые снѣгомъ пакгаузы, запахъ снѣга, мороза, каменнаго угля, и океана въ утреннемъ свѣтѣ, все было просто и скучно, но манило, манило, манило Лизу въ путь-дорогу... На Родину!..

Казаки ожидали Лизу на пароходѣ. Съ ними былъ... Игорь...

Онъ былъ великолѣпенъ, въ синей курткѣ съ золотыми пуговицами, въ матросской бѣлой шапкѣ. Онъ выросъ и возмужалъ. И чѣмъ-то напомнилъ онъ Лизѣ Курта. Шириной плечъ, морскимъ загаромъ привѣтливаго лица. Только у Курта были волосы свѣтлые, у Игоря темныя кудри завитками выбивались изъ-подъ околыша шапки. И Куртъ былъ «шляпа», Игорь былъ полонъ предпріимчивости и силы.

Еще не зная, кто такая эта странная дѣвушка, которая назвалась дочерью генерала Акантова, Игорь и казаки Жарова все устроили для нея. Они поручились за нее. Они уже

звонили по телефону Германскому консулу, и Лизѣ были обѣщаны нужныя бумаги...

Смущенная, пораженная, — вѣдь, это нужно было вѣрить въ чудо, — Лиза протянула обѣ руки Игорю:

— Какъ все это необыкновенно, Игорь...

— Вся наша жизнь необыкновенна... Почему ты не писала никому изъ насъ, что ты въ Америкѣ?.. Я столько разъ за это время былъ въ Нью-Іоркѣ... И ничего съ тобою не было бы. О! какая ты Лиза гордая!.. И злая!.. И что случилось?.. Мнѣ казаки разсказывали нѣчто ужасное...

— Не брани меня, Игорь. Могло быть ужасное, но ничего не было. Да, я не хорошо съ вами поступила, что не писала вамъ, но ты же знаешь всю мою исторію... И мнѣ трудно было выбиться на дорогу, безъ Родины.. безъ права...

— Пойдемъ въ каюту... Разскажи мнѣ все... Обсудимъ вмѣстѣ, что будемъ дальше дѣлать?..

— Богъ спасъ меня... Богъ послалъ мнѣ казаковъ, и тебя, Игорь... И, мнѣ кажется, что и точно Богъ есть...

Лиза подошла къ стоявшимъ въ сторонѣ казакамъ. Она протянула имъ обѣ руки и сказала взволнованно:

— Спасибо вамъ, родные!.. Если бы не вы, можетъ быть, я и живою вчера не ушла бы изъ этого сумасшедшаго дома.

И, чего никогда раньше не бывало съ гордой Лизой, слезы показались на ея огромныхъ прекрасныхъ глазахъ... Она застыдилась ихъ, и, быстро обернувшись къ Игорю, сказала:

— Ну, идемъ, Игорь, я все, все тебѣ разскажу...

XXV.

Лиза кончила длинную повѣсть о томъ, какъ она жила послѣ отъѣзда изъ Германіи. Она допила залпомъ, не отрываясь, поданный ей и уже простывшій кофе, и сказала тихимъ, печальнымъ голосомъ:

— Вотъ это и все, милый Игорь... Написать, пойти съ жалобами — никто и не повѣритъ... Какъ это можно такъ, въ двадцатомъ вѣкѣ, въ Парижѣ, въ Нью-Іоркѣ, продать въ

рабство дѣвушку?.. Дикари?.. Нѣтъ, здѣсь, Игорь, хуже всякихъ дикарей... Тутъ — жиды, и имъ дѣвушка-христіанка — все равно, что собака... Ты самъ видишь, оставаться здѣсь, искать права защиты, мнѣ, безправной?.. Гдѣ искать это право?.. На сторонѣ Сарры Бекманъ — ложь. Такая ложь, какой мы себѣ и представить не можемъ, но ложь, которой всѣ повѣрятъ; у нея всюду свои люди, она и до самого президента дойдетъ, ее пустятъ. Она — американка... Больше того: она — еврейка!.. Я была въ синагогѣ случайно, дождь загналъ, такъ я знаю ихъ силу... У меня жуткая правда, которой имъ невыгодно вѣрить, и они не повѣрятъ мнѣ, а повѣрятъ ей, я же окажусь и виноватой. Тутъ — нравственность... О!.. Въ Америкѣ-то!.. Такое лицемѣріе, какъ нигдѣ въ мірѣ... Такъ, вотъ, что же ты, мудрый Русскій Игорь, присовѣтуешь мнѣ дѣлать?..

— Alles ist erledigt!.. *). Я переговорилъ съ капитаномъ парохода. Казаки подтвердили мои показанія и поручились за тебя. Капитанъ беретъ тебя; консулу звонили, и онъ, въ виду твоего особаго положенія, пришлетъ сюда человѣка, чтобы составить тебѣ временный документъ. А въ Германіи у тебя столько друзей, что тебя тамъ примутъ съ распростертыми объятіями и устроютъ твою жизнь... Не думай объ этомъ. Мы поѣдемъ прямо въ Берлинъ...

— Нѣтъ, — тихо сказала Лиза, рукою касаясь руки Игоря. — Нѣтъ, Игорь, я не могу ѣхать въ Берлинъ... Я не хочу туда ѣхать. Ты понимаешь. Очень это мнѣ будетъ мучительно...

Густой румянецъ залилъ лицо Лизы. Темныя рѣсницы закрыли глаза.

Игорь отвѣтилъ, и такъ несказанно тепелъ и волнующъ былъ его голосъ, что Лиза постепенно поднимала на него глаза и смотрѣла, какъ, волнуясь, но въ то же время осторожно и нѣжно, коснулся Игорь самаго больного мѣста ея души... И Лиза поняла: это говоритъ не соперникъ, не давно влюбленный въ нее человѣкъ, но другъ. Не лжетъ

*) Все устроено.

Игорь. Знаетъ Лиза, что Игорь никогда не лгалъ, не умѣетъ онъ лгать.

— Лиза, ты думаешь о Куртѣ?.. Забудь его.. Курта нѣтъ...

— Онъ умеръ?.. Съ нимъ что-нибудь случилось?.. Онъ женился, онъ полюбилъ другую?.. О, говори скорѣе, Игорь, не мучь меня.

— Нѣтъ, Лиза, Куртъ живъ и здоровъ. Онъ не женился и, кажется, и не собирается жениться. Болѣе того: я думаю, что онъ вѣренъ своей юношеской любви, то-есть вѣренъ тебѣ, но онъ никогда на тебѣ не женится. Ты не узнаешь Курта. Онъ сталъ убѣжденнѣйшимъ расистомъ. Онъ работаетъ теперь на аэропланномъ заводѣ, гдѣ дѣлаютъ самыя секретныя части новыхъ аппаратовъ. Ты знаешь Курта, и знаешь, что для него Третій Рейхъ... Передъ послѣднимъ рейсомъ, мы видѣлись съ нимъ и говорили о тебѣ..

— Обо мнѣ!..

— Онъ говорилъ о тебѣ съ большой, искренней любовью. Съ обожаніемъ... И онъ сказалъ мнѣ: «ты понимаешь, Игорь, что нужна жертва, и я готовъ на жертву. Я провѣрилъ себя: я люблю Лизхенъ, но я не могу на ней жениться, и я, вѣроятно, вообще никогда не женюсь. И, если я женюсь, то на нѣмкѣ. Этого требуетъ чистота расы. Я больше всего, и только, люблю Германію и партію. И я долженъ для нихъ пожертвовать своимъ личнымъ чувствомъ»... Такъ, вотъ... мы считали Курта «шляпой», а онъ оказался сильнѣе насъ всѣхъ...

Наступило молчаніе. Игорь сидѣлъ у открытаго иллюминатора и смотрѣлъ на воду. Холодный воздухъ шелъ отъ рѣки. Чуть слышно плескали волны о высокіе борта парохода... Игорь понималъ, что нанесъ любимой дѣвушкѣ смертельный ударъ. Но это было нужно: рѣшалась ея судьба, и, можетъ быть, и его судьба рѣшалась въ эти скорбныя минуты.

Едва слышно сказала Лиза:

— Я поѣду во Францію. У меня есть долгъ передъ моимъ престарѣлымъ отцомъ. Я должна ему помогать.

— Но, развѣ, Лиза, ты не знаешь?.. Ты не слыхала?.. Не читала?.. Твой отецъ...

Въ дверь постучали. Отъ консула пріѣхалъ чиновникъ, и Лизу требовали наверхъ, чтобы допросить ее и чтобы она заполнила особый опросный листъ.

Выходя изъ каюты, Лиза обернулась къ Игорю и сказала съ тревогой:

— Такъ что же мой отецъ?..

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I.

Началось это у Акантова съ Пасхи.

Подъ Свѣтлый Праздникъ Акантовъ пошелъ къ Заутренѣ въ церковь. Пошелъ больше по привычкѣ. У него не было влеченія молиться. За годы войны и смуты, за страшные эмигрантскіе рабочіе годы незамѣтно отошелъ онъ отъ церкви. То некогда было, то чувствовалъ себя усталымъ, то не хотѣлось быть на людяхъ. Церковь изъ потребности вѣры перешла понемногу въ бытъ. Ходилъ, чтобы вспомнить прошлое, чтобы крѣпче почувствовать праздники.

Была прохладная ночь. Когда Акантовъ подходилъ къ церкви, вся она, и наверху, и внизу, всѣми узкими многостекольными окнами, блистала огнями, и толпы народа наполняли ея дворъ и стояли на узкой улицѣ у церковной ограды...

Деревья подлѣ церкви на дворѣ набухли почками, и отъ нихъ и отъ земли шелъ сладкій ароматъ: весною пахло.

У входа и у воротъ торговали свѣчами. Акантовъ не сталъ пытаться войти въ храмъ и остался въ притворѣ, въ людской толчеѣ. Черезъ головы людей, ему было видно, какъ освѣтился храмъ блистающими огоньками, какъ эти огоньки вдругъ разлили теплый розоватый свѣтъ на лица молящихся, какъ стали загораться свѣчки и по всему двору въ рукахъ у тѣхъ, кто остался тамъ, и какъ зашевелилась толпа.

До него донесся возгласъ священника, потомъ чтеніе, потомъ мѣрное, торжественное пѣніе; толпа колыхнулась, раздалась на обѣ стороны, и крестный ходъ, блистая золотомъ священническихъ облаченій и митръ, колышась хоругвями и сверкая иконами, сталъ выходить на дворъ.

Онъ обошелъ дворъ, и... вотъ оно! Сначала издалека ликующее, радостью налитое, торжествующее самую блестящую и великую побѣду: побѣду надъ смертью и дьяволомъ, дарующую вѣчную жизнь, — раздалось пѣніе прекраснаго хора.

— Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію смерть поправъ, и сущимъ во гробѣхъ животъ даровавъ...

Истомленныя жизнью, усталыя отъ работы, истосковавшіяся отъ безконечнаго ожиданія Родины, больныя отъ недоѣданія, отъ непосильнаго, не по возрасту и привычкамъ, труда, лица свѣтлѣли. Потухшіе глаза загорались радостными огнями и счастье вѣры излучалось изъ нихъ.

Неслось съ амвона, чаруя душу, восхищая и умиляя сердце звуками совершившейся побѣды:

— Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его!.. Яко исчезаетъ дымъ, да исчезнутъ!.. Яко таетъ воскъ отъ лица огня...

И, на всякое слово побѣды надъ адомъ, гремѣлъ, гудѣлъ, вливался въ душу и умилялъ ее ангельскими голосами ликующій хоръ:

— Христосъ воскресе изъ мертвыхъ...

Сколько себя помнилъ Акантовъ, съ самыхъ раннихъ лѣтъ въ эти мгновенія на него точно изливалась съ самаго неба благодать, сползало бремя лѣтъ и житейскихъ заботъ, и радостно, весело и легко становилось на сердцѣ. Въ эти пасхальныя ночи никогда не чувствовалъ онъ усталости, и подъ звуки этого пѣнія всегда, и раньше, въ Россіи, и потомъ здѣсь, въ Парижѣ, увлажненными, добрыми глазами смотрѣлъ онъ на окружающихъ, отыскивалъ знакомыхъ и старыхъ сослуживцевъ, и съ радостью подходилъ къ доктору Баклагину, къ Чукарину, къ Мишѣ Безхлѣбнову, генералу Атаренко, и съ убѣжденною вѣрою говорилъ: «Христосъ воскресе!»...

Теперь — ничего этого не было. Мимо него, не касаясь его легкими, ангельскими крылами, шла пасхальная заутреня. Точно не слышалъ онъ прекраснаго пѣнія, и не сливался, какъ раньше, съ радостнымъ волненіемъ молящейся толпы.

Только усталость была въ тѣлѣ. Неудобно было стоять въ толпѣ. Горящія вокругъ свѣчи раздражали. А когда наступилъ перерывъ въ службѣ, и толпа зашевелилась, закопошилась, какъ раки въ берестяной кошелкѣ, люди задвигались и раздались радостные голоса:

— Христосъ воскресе!

— Воистину воскресе!

Сочные поцѣлуи закрѣпляли великое значеніе сказаннаго, — Акантовъ съ тоской сталъ оглядываться. Онъ боялся увидѣть кого-нибудь изъ знакомыхъ, боялся, что къ нему подойдетъ кто-нибудь, и нужно будетъ христосоваться. Ему стыдно стало этой общей радости, ликованія глубокой, искренней вѣры. Онъ боязливо оглянулся и осторожно сталъ спускаться съ крутой каменной лѣстницы.

На дворѣ къ нему подошелъ сіяющій генералъ Атаренко:

— Христосъ воскресе!.. — и, не дожидаясь отвѣта Акантова, Атаренко, со щеки на щеку, расцѣловался.

— Впроч-чемъ, — вдругъ нахмурясь, сказалъ не громко, но значительно и строго, Атаренко, — можетъ быть, вы, Егоръ Ивановичъ, не христосуетесь?.. Я слыхалъ... Вы масо-номъ стали!.. Никакъ не хочу этому вѣрить...

II.

Вотъ съ этого и началось.

Раньше Акантовъ, усталый за день, наслушавшись совѣтскаго радіо, рано ложился въ постель, немного читалъ газету или книгу, и сейчасъ же засыпалъ, и спалъ крѣпкимъ, солдатскимъ сномъ.

Со Свѣтлаго Воскресенья на Понедѣльникъ онъ легъ, прочиталъ два пасхальныхъ разсказа въ газетѣ, выругалъ, по привычкѣ, авторовъ, что пишутъ всякую ерунду, плотно закутался въ одѣяло, и, какъ всегда, сейчасъ же заснулъ.

Сколько времени онъ спалъ, Акантовъ не зналъ. Но, должно быть, не долго. За бѣлой занавѣсью глухая стояла ночь. Не угомонившійся Парижъ шумѣлъ въ отдаленіи. Значитъ, было около полуночи. Акантовъ услышалъ сначала тихій и, вмѣстѣ съ тѣмъ, пронзительный свистъ: «Сссъ!». И сейчасъ же кто-то въ ухо сказалъ не громко: «Макъ-бенахъ!»... Сказалъ гортаннымъ, не четкимъ голосомъ, какъ говорятъ евреи.

Акантовъ лежалъ на спинѣ, вытянувшись по діагонали на короткой койкѣ. Глаза его были закрыты, и, какъ это и бываетъ во снѣ, онъ не ощущалъ ни своихъ рукъ, ни ногъ, ни вообще тѣла: тѣло его спало... Не спалъ только мозгъ.

Онъ лежалъ на спинѣ, и передъ нимъ былъ, значитъ, потолокъ, и глаза его были закрыты, а Акантовъ, между тѣмъ, видѣлъ совершенно отчетливо спрятанные и тщательно завернутые въ тонкую бѣлую бумагу, лежащіе въ углу комнаты, въ ивовой корзинѣ, еще изъ Россіи привезенной: бѣлый полукруглый кожаный фартукъ, украшенный золотой масонской звѣздой, серебряную, неполированную лопаточку, молотокъ и пару бѣлыхъ мужскихъ рукавицъ...

Эти знаки масонскаго достоинства, и не малаго градуса, въ который Акантовъ былъ возведенъ передъ Пасхой, точно излучали таинственный свѣтъ и были видимы незрячими глазами, черезъ стѣны корзины и бумагу.

Акантовъ боялся пошевельнуться и открыть глаза.

Онъ лежалъ, и вся его жизнь развертывалась передъ нимъ, какъ лента кинематографа.

Онъ лежалъ, не шевелясь, тихо, тихо, застывъ въ смертельномъ испугѣ. Онъ не только видѣлъ, но и обонялъ, свои знаки масонства. Отъ нихъ шелъ сладковатый, прѣсный, удушающій трупный запахъ.

Онъ вспоминалъ честное лицо генерала Атаренко, который его хорошо зналъ, и кого такъ всегда уважалъ Акантовъ, и какъ сказалъ тотъ на заутрени: «вы масономъ стали, никакъ не могу этому повѣрить»...

Въ эти ночные часы годы дѣтства и юности проносились передъ нимъ. Корпусъ и училище. Ни одного взысканія, ни одного часа, проведеннаго въ карцерѣ. Лихой кадетъ, бравый, «отчетливый» юнкеръ Акантовъ. Служба, сначала въ Туркестанѣ, потомъ на Волгѣ. Скромно, бѣдно, порою скучновато, иногда и тоскливо и тяжело, но какъ ч е с т н о служилъ офицеръ Акантовъ. Съ достоинствомъ относился онъ къ своимъ обязанностямъ. Умѣлъ внушить разноплеменнымъ, разноязычнымъ, со всей Россіи пришедшимъ въ полкъ, солдатамъ любовь къ Отечеству, почитаніе Царя и вѣру Христову. Приходили дикіе, дремучіе мужики, разбитные пропойцы рабочіе, городской пролетаріатъ, запуганные, растерянные туземцы; уходили лихіе стрѣлки, запасные солдаты...

Онъ пожалъ плоды своихъ трудовъ въ первые годы войны. Безъ неудачъ, безъ пораженій дрался его стрѣлковый полкъ, и слава и честь были съ нимъ.

Это отошло, отодвинулось, измѣнилось въ тотъ день, когда Государь отрекся, и не стало Царя на Руси, не стало и царя въ головѣ Русскаго. Все зашаталось тогда, и, вмѣсто общаго, духовнаго, стало искать только своего, земного: « Д а й ! . . Д а е ш ь ! . . » .

Онъ вспоминалъ и годы «бѣлой» борьбы, когда шагалъ онъ, съ винтовкой на плечѣ, рядовымъ, а ротой командовалъ прапорщикъ. Вспоминалъ, какъ создавалъ наново свой полкъ, отнимая для солдатъ бѣлье, шапки и сапоги отъ населенія... Вспомнилъ и страшные дни ихъ отступленія, когда гибли храбрые, спасая трусовъ. Вспомнилъ и то, какъ пьяная казачья конница рубила дѣтей его двѣнадцатой роты, какъ застрѣлился его ротный командиръ, и какъ кавказскій офицеръ въ пьяномъ разгулѣ срубилъ голову безоружному жидочку, заподозрѣнному въ коммунизмѣ, и какъ появилась на его жизненномъ пути пѣвица Могилевская, и какъ убитъ былъ доблестный командиръ батареи Бѣлоцерковскій... Все вспомнилъ: и свадьбы на двѣ недѣли, и вдовъ, не знающихъ, куда дѣвать свое молодое вдовство, и лютую удаль людей, которымъ нечего было терять, ибо все было уже потеряно. Война вышла изъ законныхъ нормъ. Честь и благородство

отошли; требовалась только храбрость... И пришла тогда жестокость: «какъ они, такъ будемъ и мы». Новая «правда» пришла въ жизнь, и начались безсудные разстрѣлы плѣнныхъ, казни коммунистовъ, грабежъ населенія. И стала эта «правда» похожей на ложь...

Разрознены семьи. Родина брошена. Ушли на чужбину, въ небытіе...

Да... Пожалуй, Лиза наканунѣ отъѣзда сказала ему горькую правду, и не онъ училъ дочь, но дочь научила его. Все ушло. Ушла и Лиза... Ничего у него не осталось, и пришло вмѣсто всего этого — масонство. Обманъ... Ложь... Что же дальше, дальше-то что будетъ?

— Макъ-бенахъ!..

Какъ нестерпимо жутко было ощущать свое спящее тѣло и бодрствующій, тревожно думающій, вспоминающій мозгъ...

Пижуринъ сказалъ... Да, такъ оно и будетъ: тѣло будетъ гнить, а мозгъ будетъ отмѣчать распаденіе каждой частички тѣла...

Съ трепетомъ осозналъ пришедшую къ нему старость и ея безсиліе... Не отъ нея ли пошелъ въ масоны, ища правду?.. И нашелъ — л о ж ь ! . .

III.

Каждую ночь — тихій, вкрадчивый, ѣдкій свистъ: «Сссъ!» — и повелительный голосъ:

— Макъ-бенахъ!..

Тѣло неподвижно, тѣло спитъ. Мозгъ бодрствуетъ. Черезъ закрытые глаза отчетливо видны масонскіе знаки въ корзинѣ. Это совѣсть напоминаетъ о подчиненіи нѣкой таинственной силѣ. Совѣсть не знаетъ лжи и не хочетъ ложь признать за правду. Въ полусознаніи одуряетъ запахъ мертвечины, трупа, идущій отъ бѣлой кожи передника и рукавицъ. И кажется, что это уже его собственное тѣло начало гнить.

Совсѣмъ недавно было большое масонское собраніе. Были собраны братья разныхъ ложъ, были допущены и «профаны». Одинъ изъ руководителей Великой Ложи Франціи читалъ докладъ объ угнетеніи свободы духа.

Акантовъ слушалъ пламенную, захватывающую, сильную рѣчь, произнесенную по всѣмъ правиламъ ораторскаго искусства. Ораторъ нарисовалъ яркую картину насилія духа, кровавыхъ преступленій, совершонныхъ послѣ войны въ Западной Европѣ.

Маститый Венерабль вспомнилъ всѣхъ тѣхъ, кто былъ угнетенъ. Сытое лицо его лоснилось отъ возмущенія, на круглый животъ спускался бѣлый кожаный овальный передникъ, и золотая звѣзда на немъ, знакъ разума и знанія, излучала свѣтъ.

Эти «разумъ и знаніе» говорили братьямъ масонамъ о казняхъ въ Испаніи «палача» Примо де Ривера... Но умалчивали о томъ, что во время начавшейся тогда гражданской войны тысячами истребляли самымъ жестокимъ образомъ монахинь и священниковъ, епископовъ и вѣрующихъ мірянъ... Они не говорили о разоренныхъ и сожженныхъ храмахъ и монастыряхъ.

«Разумъ и знаніе» съ масонской звѣзды упрекали Клемансо за то, что тотъ, во время войны, предалъ суду Кайо и Мальви: «какое удушеніе духа и свободы слова!»...

«Разумъ и знаніе» возмущались фашистами Муссолини за то, что тѣ вливали касторовое масло въ глотку своимъ лѣвымъ противникамъ...

Венерабль громилъ всѣхъ тѣхъ, кто возставалъ противъ демократіи и коммунизма. Онъ называлъ людей порядка, закона и справедливости «жестокими ретроградами»...

На этомъ собраніи былъ Русскій «братъ», «профанъ»... Онъ послалъ венераблю записку съ рядомъ вопросовъ. Онъ, какъ то должно было сдѣлать Русскому, спросилъ венерабля, почему тотъ, громя фашистовъ и Примо де Ривера, громя правительства, добивающіяся порядка и возможности для каждаго честнаго труда, ни слова не сказалъ о томъ, что дѣлается въ Россіи?.. Почему не упомянулъ о тысячахъ епи-

скоповъ, священниковъ и монаховъ, замученныхъ только за свободное исповѣданіе своей вѣры въ Бога, о милліонахъ солдатъ, офицеровъ, крестьянъ и рабочихъ, разстрѣлянныхъ, умученныхъ голодомъ и непосильными работами въ концентраціонныхъ лагеряхъ на крайнемъ сѣверѣ? Почему не помянулъ онъ именъ Ленина и Сталина, неистовствующихъ въ Россіи, имя Бела Куна, поработителя Венгріи, залившаго ее кровью невинныхъ жертвъ?.. Вопросъ былъ острый и простой. Въ эти дни страшная сущность большевизма была раскрыта во всемъ ея безобразіи, и не было тайны въ томъ, что творилось коммунистами во всемъ свѣтѣ.

Венерабль прочиталъ записку, и, сойдя съ подіума, блистая масонскимъ передникомъ, со звѣздою на кругломъ животѣ, направился къ Русскому брату-профану:

— Et bien, mon ami *), — сказалъ венерабль, покровительственно кладя руку на плечо профана. Венерабль былъ выше ростомъ профана, толще, надутѣе и важнѣе. Онъ всѣмъ своимъ видомъ показывалъ свое превосходство надъ профаномъ. Его голосъ былъ важенъ и не допускалъ ни критики, ни возраженій. — Ame slave! Въ васъ говоритъ ваша âme slave, славянская душа, полная туманнаго мистицизма. Это все воображеніе, вѣра въ преувеличенные слухи, никакъ и ничѣмъ не провѣренные и не подтвержденные оффиціально. Вѣдь, во всемъ томъ, что вы мнѣ написали, нужны доказательства. Циркуль и треугольникъ масонскаго изслѣдованія должны раньше все это измѣрить и изслѣдовать. Да... Мнѣ и другіе Русскіе братья говорили объ этомъ явленіи... Но... Гдѣ же доказательства?.. Гдѣ документы?.. Развѣ есть о томъ оффиціальныя донесенія пословъ и консуловъ, развѣ были запросы о томъ въ Палатѣ депутатовъ или Англійскомъ парламентѣ?.. Этого ничего не было, и то, о чемъ вы мнѣ написали, такъ трудно провѣрить!..

Акантовъ стоялъ тогда подлѣ брата-профана. Его голова горѣла отъ стыда. «Что же это», — думалъ онъ, — «я пошелъ въ масоны, чтобы спасти Россію отъ большевиковъ, а,

*) Итакъ, братъ мой.

оказывается, что сами масоны заодно съ большевиками, они покрываютъ ихъ преступленія и жестокости»...

Безсонный мозгъ работалъ. Все оказывается ложь. Все та же наглая жидовская ложь!

Да какъ же онъ самъ-то не понималъ этого? Гдѣ истина? Истина въ Евангеліи, истина въ Христѣ. А масонство противъ Христа и противъ Бога. И надо уйти изъ масонства... Уйти!..

Но, какъ уйти?.. На обнаженномъ мечѣ и Библіи клялся онъ. Если измѣнить этой клятвѣ, душа предается вѣчному проклятію, а тѣло — смерти...

Душа предается вѣчному проклятію... Но, вѣдь, это ложь... Ложь!.. Души же нѣтъ! Есть только тѣло, а тѣло?..

— Макъ-бенахъ!..

IV.

Эти безсонныя ночи истомили и изсушили Акантова. Это была тяжелая болѣзнь духа. Акантовъ сказалъ доктору Баклагину о безсонницѣ, но утаилъ о ея причинахъ.

— Гуляйте больше... Принимайте бромъ... Ваши годы... Прошлое недоѣданіе и переутомленіе сказываются. Что вамъ? За шестьдесятъ?..

— Нѣтъ, еще нѣтъ шестидесяти.

— Да, конечно, что и говорить: не жизнь, а житіе... Старѣемъ поэтому рано... Ходите изъ банка пѣшкомъ. Теперь весна. Такъ хорошо въ Парижѣ...

Акантовъ шелъ изъ банка пѣшкомъ. На площади Іены густо распушились деревья. Сена голубѣла на солнцѣ и текла въ зеленой рамѣ ивъ. Парижскія дали стыдливо прикрылись сизой дымкой тумана. Веселъ былъ шумъ автомобилей. Пѣхотнымъ, стрѣлковымъ шагомъ, маршировалъ Акантовъ вдоль рѣки, приходилъ домой въ пріятной усталости, ставилъ чайникъ на газъ, заваривалъ чай и пилъ его, согласно съ указаніями Баклагина, жиденькимъ и съ лимономъ, потомъ садился въ кресло подлѣ радіо...

Москва..

Москва жила. Ясный, пріятный голосъ толково разсказывалъ о музыкантѣ Григѣ, о значеніи его произведеній, о силѣ его таланта, объ обаяніи его музыки, о томъ, что нѣтъ концерта, гдѣ не исполняли бы романсовъ Грига... Какъ бы вскользь, но значительно, спикеръ отмѣтилъ «демократичность» Грига. Композиторъ, дескать, возставалъ противъ процесса Бейлиса, и отказался написать кантату для коронаціи...

«Ложь», — думалъ Акантовъ. Какое могло быть дѣло Григу до Бейлиса, и кто и какую коронаціонную кантату могъ ему поручить?.. Все — ложь.. Это были большевики...

Женскій голосъ, подъ аккомпанементъ фортепіано, пѣлъ пѣсню Сольвейгъ. Оркестръ сыгралъ отрывки изъ «Пера Гинта». Танецъ Анитры и «Смерть Азы». Это была Москва.

Въ ней уживались какъ-то большевицкая ложь съ Русской правдой.

Тамъ разстрѣливали, убивали и пытали людей, и тамъ же смѣялись, танцовали, слушали доклады о музыкѣ, и наслаждались произведніями великихъ композиторовъ.

Акантовъ досиживалъ до того времени, когда звонили въ радіо Кремлевскіе колокола и неясно и глухо бурчалъ мрачный «Интернаціоналъ».

Тогда онъ ложился спать, усталый отъ далекой прогулки, отъ впечатлѣній услышаннаго по радіо, отъ волненій, мыслей, и засыпалъ.

И снова: «Сссъ!», и тихій, настойчивый голосъ: «Макъбенахъ!»..

Въ раскаленномъ мозгу повторялись слова масонской клятвы:

«Клянусь, во имя Верховнаго Строителя всѣхъ міровъ, никогда и никому не открывать безъ приказанія отъ ордена тайны знаковъ, прикосновеній, словъ, доктрины и обычаевъ франкъ-масонства и хранить о нихъ вѣчное молчаніе. Обѣщаю и клянусь ни въ чемъ не измѣнять ему ни перомъ, ни знакомъ, ни словомъ, ни тѣлодвиженіемъ, а также никому не передавать о немъ ни для разсказа, ни для письма, ни для печати, или всякаго другого изображенія, и никогда не разглашать того, что мнѣ теперь уже извѣстно и что мо-

жетъ быть ввѣрено впослѣдствіи. Если я не сдержу этой клятвы, то обязываюсь подвергнуться слѣдующему наказанію: да сожгутъ и испепелятъ мнѣ уста раскаленнымъ желѣзомъ, да отсѣкутъ мнѣ руку, да вырвутъ у меня изо рта языкъ, да перерѣжутъ мнѣ горло, да будетъ повѣшенъ мой трупъ посреди ложи при посвященіи новаго брата, какъ предметъ проклятія и ужаса, до сожгутъ его потомъ и развѣютъ пепелъ по воздуху, чтобы на землѣ не осталось ни слѣда, ни памяти объ измѣнникѣ»...

Думалъ Акантовъ:

«Мы присягали Государю... Гдѣ наша присяга?.. Государь о насъ всѣхъ сказалъ въ страшные февральскіе дни 1917-го года: «вездѣ измѣна, подлость и предательство»... Господь справедливъ, и все то, что испытываетъ тамъ Русскій народъ, и что тутъ испытываемъ мы, въ томленіи нашего изгнанія, — все это кара за нашу измѣну, за нашу подлость и предательство... И сколько лѣтъ еще мы должны нести эту Божію кару?.. Нѣтъ, надо смѣло уйти изъ ложи... Пусть казнятъ; это — лучше мученій совѣсти...».

Въ ночныхъ мысляхъ писалъ письмо отказа, отвозилъ масонскіе знаки и эмблемы Галганову, но, наступало утро, и Акантовъ молча, угрюмо собирался на службу, и шелъ, ничего не рѣшивъ, ничего не придумавъ, и ощущая въ себѣ холодную, липкую трусость, какой никогда не было въ немъ въ часы самыхъ кровопролитнѣйшихъ боевъ...

V.

Такъ прошло лѣто и наступила осень.

Акантовъ ожидалъ къ себѣ наставниковъ.

Осенній день былъ пасмурный и хмурый. Было тепло, пахло дождемъ. Платаны бульваровъ покрылись розовато-бѣлыми пятнами облѣзлой коры. Ихъ листва порозовѣла. Дубы, липы и тополи стояли еще густые, нарядные, зеленые и мощные. Надъ Сеной клубились туманы. Городъ шумѣлъ надъ рѣкой, а на водѣ было притаенно тихо. Природа ждала осенняго разгрома.

Акантову было томительно скучно, и, какъ всегда въ такіе часы раздумья и тоски, вспоминалъ Лизу, и жалѣлъ, что тогда, поддавшись впечатлѣнію безысходности своей бѣдности, согласился отпустить ее съ Февралевыми въ Америку.

Въ шестомъ часу вечера къ Акантову пришли Галгановъ и Пижуринъ. Оба были особенно торжественны. Недоставало только передниковъ на животахъ. Галгановъ и шоферъ внесли Пижурина въ комнату Акантова и усадили въ кресло... Молча обмѣнялись рукопожатіями лѣвыхъ рукъ.

Пижуринъ блеснулъ стеклами своихъ телескопическихъ очковъ и сказалъ Галганову:

— Дорогой братъ, прошу доложить о нашемъ постановленіи относительно брата Акантова.

Галгановъ, сидѣвшій на сомье, нагнулся къ Акантову и заговорилъ быстрымъ свистящимъ шопотомъ и такъ невнятно и тихо, что Акантовъ не все могъ разобрать:

— Настало время вашей работы. Во главѣ Русскаго Обще-Воинскаго Союза должны стать новые, болѣе молодые и гибкіе люди. Генералъ Миллеръ старъ. Онъ впадаетъ въ дряхлость. Его энергія и подвижность обманчивы...

— Это неправда, — сказалъ Акантовъ.

Галгановъ точно не слышалъ. Онъ продолжалъ:

— У насъ готова смѣна. Мы выдвигаемъ молодежь... Нашъ кандидатъ...

— Это ничтожество.

— А какъ вы сами его вчера чествовали!.. Слышали, какія были рѣчи!.. Суворову равный!.. Ничтожества?.. Но развѣ мы вамъ не объясняли, что это и есть наша задача: повсюду ставить ничтожества на отвѣтственные посты... Когда наверху продажная тряпка, нами возвеличенная и раздутая, тогда правимъ мы, масоны!..

— А не большевики ли?..

— Братъ Акантовъ, не говорите глупости, — строго прохрипѣлъ съ своего мѣста Пижуринъ. — Вамъ говорятъ о дѣлѣ...

Снова жужжалъ въ ухо Акантову, какъ надоѣдливый комаръ, Галгановъ:

— У васъ, Егоръ Ивановичъ, большой авторитетъ... Незапятнанное имя. Какъ вы скажете, такъ оно и будетъ.. Офицеры васъ послушаются...

— Но... Онъ — пьяница...

— Рубаха-парень... Отличный товарищъ.. Такіе намъ и нужны: добрые малые, предсѣдатели офицерскихъ пирушекъ. Помните, что «Руси веселіе есть пити»... Вы проведете это и вы скажете, что...

Чуть разбиралъ, что шепталъ ему на ухо, Акантовъ. Нѣчто ужасное отъ него требовалось.

— Это ложь! — воскликнулъ онъ въ негодованіи.

— Это не ложь, это условная правда .. Вы будете говорить о растратѣ денегъ... Объ отсутствіи работы, вы будете говорить о недовольствѣ правонастроенныхъ круговъ, о вспышкѣ неудержимаго гнѣва.. Вы будете...

— Лгать... Договаривайте, Владиміръ Петровичъ. Договаривайте... Нѣтъ, достоуважаемый братъ, лгать, клеветать и подличать я не буду... Довольно...

— А... Такъ!.. — прохрипѣлъ, съ трудомъ приподнимаясь съ кресла, Пижуринъ. — А! . Такъ!.. Вы забыли, что вы п р и с я г а л и... Вы знаете, что вы о б я з а н ы исполнить приказаніе старшаго брата... Надѣюсь, что вы знаете, въ какомъ градусѣ я и въ какомъ вы...

— Знаю, — запальчиво крикнулъ Акантовъ. Имъ овладѣло холодное бѣшенство. Онъ понялъ: настала пора все порвать, и тутъ же, сразу. За эти мѣсяцы безсонныхъ ночей онъ многое узналъ и оцѣнилъ. Онъ служилъ въ банкѣ. Послѣднее время онъ внимательно просматривалъ чеки, которые посылали ему къ оплатѣ. Рѣдки были Русскія имена, но, когда такія попадались, Акантовъ не слыхалъ про нихъ въ эмиграціи. Это были люди внѣ эмиграціи. Кто же Русскій могъ быть здѣсь внѣ эмиграціи?.. Только большевики. Онъ работалъ съ большевиками, онъ работалъ для большевиковъ!.. Его устроилъ Галгановъ; Галгановъ же провелъ его въ масонскую ложу... Выводы напрашивались сами собой.

Точно вдругъ прорвались на сѣромъ небѣ тяжелыя тучи и яркіе лучи солнца лились на Акантова. Былъ слѣпъ, и

сталъ прозрѣвать. Былъ глухъ, и услышалъ; былъ парализованъ, и всѣмъ тѣломъ ощутилъ всю гущизну облѣпившей его большевицкой лжи... Да, вѣдь, и точно, всѣ руководители большевиковъ были масонами, и высокаго градуса. Литвиновъ-Финкельштейнъ, Ленинъ-Ульяновъ, Бронштейнъ-Троцкій, все это были масоны! Вотъ, что вдругъ открылось ему, когда понялъ всю гнусность предложенія, сдѣланнаго ему Галгановымъ.

Изъ подавленнаго, пришибленнаго, бѣженскаго «я» вдругъ всталъ генералъ Акантовъ, тотъ, кто водилъ свой сборный полкъ въ атаки на большевиковъ и никогда не боялся смерти. Поднялся старый Царскій полковникъ Акантовъ, стрѣльбы полка котораго такъ боялись австрійцы и нѣмцы. Тѣ Акантовы были прямы и честны, и тѣмъ никто никогда не посмѣлъ бы сдѣлать такія предложенія...

— Я лгать не буду... Устраивать «дворцовые» перевороты не въ моемъ характерѣ.. То, что вы хотите сдѣлать, — вздоръ... Никогда никакая офицерская организація не убивала своихъ начальниковъ. Это дѣлали большевики...

— А генералъ Романовскій? — ядовито улыбаясь, сказалъ Пижуринъ.

— Сколько мнѣ извѣстно, генералъ Романовскій былъ масономъ, и кто и почему его убилъ, осталось неизвѣстнымъ.

— Такъ и вы будете убиты, — строго сказалъ Пижуринъ. Онъ былъ страшенъ въ этотъ мигъ. Перекошенный, искривленный, съ незрячими глазами, блистающими сквозь толстыя стекла очковъ, онъ не походилъ на человѣка.

«Такіе палачи бываютъ», — мелькнуло въ головѣ Акантова..

— Я вамъ приказываю исполнить все то, что вамъ сказалъ братъ Галгановъ! Поняли меня?..

— Я вашего приказанія не исполню... И не только отказываюсь исполнить его, но и ухожу изъ вашего проклятаго братства!..

Порывистымъ движеніемъ Акантовъ отбросилъ изъ угла комнаты старую корзину, открылъ ея замокъ и сталъ выкидывать на полъ масонскіе передникъ, рукавицы, молотокъ...

— Оставьте это... Онъ съума сошелъ!. — въ ужасѣ крикнулъ Пижуринъ, и поднялся съ кресла. Его подхватилъ за плечи Галгановъ и повелъ изъ комнаты...

Акантовъ остался одинъ. Сумерки печальнаго осенняго дня входили черезъ закрытое окно. Мелкій дождь забилъ по стекламъ и слезами потекъ внизъ.

На старомъ пестро-малиновомъ Марокканскомъ коврѣ валялись бѣлый передникъ и рукавицы, молотокъ и циркуль... Золотая звѣзда казалась тусклой и ничтожной. Точно все это было живое, и вотъ, умерло...

Но... главное осталось. Нужно было спѣшить, предупредить о заговорѣ, о страшномъ преступленіи, которое готовилось, и въ которое его посвятили...

VI.

Онъ зналъ, что Предсѣдатель Русскаго Обще-Воинскаго Союза Генералъ-Лейтенантъ Миллеръ бываетъ ежедневно въ канцеляріи Союза, на rue de Colisée, съ утра и часовъ до пяти-шести.

Покончивъ съ банкомъ, и, отказавшись служить въ немъ дальше, сдавъ счета, Акантовъ направился въ канцелярію.

Въ темной передней, довольно просторной, гдѣ стояла скамья для ожидающихъ пріема, служитель сказалъ Акантову, что генерала Миллера нѣтъ сейчасъ въ канцеляріи.

— Какая досада! А когда я могу его застать здѣсь сегодня? Вѣдь, генералъ всегда въ эти часы бывалъ здѣсь?.

— Видите, какое дѣло. Генералъ утромъ былъ въ канцеляріи, а въ двѣнадцатомъ часу заторопился уѣхать. Дѣловое, что ли, какое свиданіе у него было назначено. Обѣщалъ вернуться къ тремъ часамъ, а, вотъ, уже и пятый часъ, а его все нѣтъ...

— Да-аа...

Акантовъ стоялъ въ нерѣшительности, не зная, что же ему дѣлать. Каждая минута казалась ему дорогой.

— А вы, вотъ что, ваше превосходительство. Сегодня здѣсь, въ восемь часовъ, назначено засѣданіе Общества Сѣ-

верянъ. Генералъ Миллеръ всегда бываетъ на такихъ засѣданіяхъ, вотъ, вы и приходите къ этому времени, тогда и доложите, что вамъ надо. .

Буря продолжала бушевать въ душѣ Акантова: здѣсь, въ канцеляріи, было тихо, спокойно и скучно. Текла ежедневная работа. Чуть теплилась тутъ жизнь, состоявшая въ сохраненіи товарищеской дружбы и взаимной поддержкѣ сотрудниковъ....

Акантовъ, по подземной дорогѣ, вернулся къ себѣ, собралъ валявшіеся на полу знаки масонскаго достоинства, завернулъ ихъ въ бумагу, написалъ оффиціальную записку Галганову о томъ, что: «Убѣдившись во лжи масонства и разочаровавшись въ его ученіи, онъ проситъ уволить его изъ ложи и снять съ него всѣ его высокія званія», и отправился къ Галганову.

Какъ это и предвидѣлъ Акантовъ, Галганова не было дома. Онъ передалъ пакетъ и записку наглому лакею, и, чувствуя облегченіе, пѣшкомъ пошелъ на rue de Colisée.

Былъ девятый часъ вечера. Въ канцеляріи Акантовъ засталъ нѣсколькихъ незнакомыхъ ему офицеровъ-Сѣверянъ и узналъ отъ нихъ, что генерала Миллера нѣтъ въ канцеляріи.

Уже не было здѣсь дневного спокойствія. Появились тревога и сомнѣніе Генералъ Миллеръ былъ всегда точенъ и аккуратенъ. Кто-то звонилъ по телефону на квартиру генерала, и оттуда, и тоже съ нѣкоторою тревогою, отвѣтили, что генералъ, какъ ушелъ рано утромъ, такъ и не возвращался.

Тогда вспомнили о томъ, что уходя, въ двѣнадцатомъ часу дня, генералъ Миллеръ передалъ своему начальнику канцеляріи, генералу Кусонскому, запечатанное письмо.

Офицеръ, онъ былъ здѣшній, канцелярскій, волнуясь, разсказывалъ въ прихожей:

— Генералъ заторопился тогда... Бросилъ портфель съ бумагами на столъ и сказалъ: «Опаздываю на свиданіе... На-

до ѣхать. Бумаги подпишу потомъ, когда вернусь, часа въ три, или въ четыре. Скажите пріѣхавшему сюда изъ Бельгіи генералу Г., что я приму его завтра»... Генералъ былъ при этомъ, какъ всегда на службѣ, замкнутъ и спокоенъ. Только очень торопился. Былъ онъ пунктуаленъ въ назначенномъ часѣ, а тутъ видѣлъ, что опаздываетъ. Онъ передалъ генералу Кусонскому запечатанное письмо и сказалъ: «Сохраните это... Вы подумаете, можетъ быть, что я сошелъ съ ума, но, если что-нибудь случится, вскройте это письмо»... Вотъ и все.. Кусонскій спросилъ: «Что же можетъ случиться?»... Генералъ Миллеръ отмахнулся и, со своей милой, благожелательной улыбкой, сказалъ безпечно: «Это такъ... На всякій случай»...

— Что же, сейчасъ же и вскрыли пакетъ? — спросилъ Акантовъ.

— Вотъ, кажется, теперь вскрываютъ, — сказалъ разсказчикъ, показывая на запертую дверь кабинета.

— Почему же не вскрыли тогда же, какъ только ушелъ генералъ?

— Какъ же можно... Не было приказано-съ.. Да, вѣдь, ваше превосходительство, это не въ первый разъ, что генералъ Миллеръ уходилъ на свиданія, о которыхъ никому не говорилъ. Въ нашемъ дѣлѣ болтать и разспрашивать не приходится. Вѣдь, мы окружены врагами и предателями...

Акантовъ, чувствуя, что онъ въ нарастающей въ канцеляріи тревогѣ лишній, вышелъ изъ прихожей и пошелъ къ Елисейскимъ Полямъ.

Онъ шагалъ вверхъ по широкой панели, подъ деревьями съ порѣдѣвшей желтой листвой, дошелъ до площади Этуали и остановился.

Какъ отлитая изъ прозрачнаго розоваго хрусталя, съ сизымъ золотомъ, стояла громада Тріумфальной арки, снизу ярко освѣщенная рефлекторами. Ея вершина тонула въ лиловомъ туманѣ. Маленькими за нею казались дома бульваровъ и проспектовъ и густые сады avenue de la Grande Armée. Какъ и всегда, но въ этотъ часъ нѣсколько рѣже,

крутились вокругъ арки, какъ заводныя игрушки, каретки автомобилей

Ихъ суетливый бѣгъ усиливалъ поднявшуюся въ душѣ Акантова тревогу. Сопоставляя то, что вчера говорилъ ему Галгановъ, сознавъ, что Галгановъ и Пижуринъ были агентами большевиковъ, Акантовъ по иному соображалъ то, что произошло на rue de Colisée.

Акантовъ шелъ и думалъ: «Суворовъ училъ: «мѣстный въ его близости по обстоятельствамъ лучше судитъ, нежели отдаленный: онъ проникаетъ въ ежечасныя перемѣны, ихъ теченія, и направляетъ свои поступки по правиламъ воинскимъ: «я вправо, должно влѣво — меня не слушать... Я велѣлъ впередъ, ты видишь — не иди впередъ»... Но есть двѣ точки зрѣнія: строевая и штабная. Если я получаю такой пакетъ на позиціи, и мнѣ говорятъ: «Вы вскроете тогда, когда что-нибудь случится», я вскрываю сейчасъ. Поздно будетъ предпринимать мѣры противодѣйствія, когда уже случилось что-то. Дай-ка я посмотрю, что тамъ, и заранѣе отдамъ распоряженія... И есть точка зрѣнія штабная. Сказано: «Вы вскроете пакетъ, если что-нибудь случится, а если ничего не случится, вы вернете мнѣ пакетъ» .. Значитъ, если ничего не случилось, а я вскрылъ пакетъ, — я отвѣчаю. Ужасно мы боимся отвѣтственности. Ну, пожурилъ бы генералъ Миллеръ за несвоевременное вскрытіе пакета, такъ что за бѣда!.. Но пакета не вскрыли и въ три часа, когда генералъ Миллеръ не пріѣхалъ, и, значитъ, что-то уже случилось... «Да что же можетъ случиться?», — спросилъ генералъ Кусонскій... Дѣйствительно — Парижъ... Сколько вездѣ «ажановъ»-городовыхъ. Центръ города .. Вездѣ толпа народа. А, вотъ, Кутепова похитили... Петлюру, Рамишвили и Навашина убили. Мнѣ грозятъ «масоны»... Нѣтъ, я вскрылъ бы пакетъ. И не изъ пустого любопытства. Въ этомъ міровомъ городѣ идетъ безпощадная кровавая война. На этихъ ярко освѣщенныхъ улицахъ столкнулись два враждебныхъ міра... Тутъ война, тутъ — позиція, и нужно было вскрыть И я вскрылъ бы. Тамъ — не вскрыли. Тамъ пошли обѣдать. Забыли, пожалуй, о запискѣ. Вотъ и Кутеповскій — и какой! — громъ

грянулъ, а мы... все не крестимся... Теперь тамъ вскрываютъ... А, можетъ быть, вся моя тревога напрасная.. Генералъ Миллеръ пріѣхалъ и все обстоитъ благополучно...».

Не любопытство, но все нарастающая тревога, заставила Акантова торопливыми шагами направиться снова къ канцеляріи, чтобы узнать, что написано было въ запискѣ и нашли ли генерала Миллера.

Акантовъ засталъ въ канцеляріи замѣстителя генерала Миллера, адмирала Кедрова, и доктора Баклагина. Тотъ уже зналъ о происшествіи, и пришелъ потому, что боялся, что, можетъ быть, понадобится врачебная помощь, если что-нибудь случилось.

— Записку вскрыли, — сказалъ онъ, — генералъ Миллеръ пишетъ: «У меня сегодня, въ 12 часовъ 30 минутъ, свиданіе съ генераломъ Скоблинымъ на углу улицы Жасменъ и Раффе. Онъ долженъ отвезти меня на свиданіе съ германскимъ офицеромъ, военнымъ атташе въ Балканскихъ странахъ, Штроманомъ, и съ Вернеромъ, чиновникомъ здѣшняго посольства. Оба хорошо говорятъ по-Русски Свиданіе устраивается по иниціативѣ Скоблина. Возможно, что это ловушка, а потому, на всякій случай, оставляю эту записку. 22-го сентября 1937-го года. Ген.-Лейт. Миллеръ»... Понимаете, Егоръ Ивановичъ, что произошло?

— Послали, по крайней мѣрѣ, за Скоблинымъ? — взволнованно сказалъ Акантовъ.

— Да, послали. Онъ тутъ, совсѣмъ недалеко, въ отелѣ «Pax», со своей женой, Плевицкой.

— Скоблинъ.. — хватаясь за голову, сказалъ Акантовъ. О, Боже мой!.. Скоблинъ можетъ предать генерала Миллера... Онъ долженъ предать его большевикамъ...

— Ну, что вы, Егоръ Ивановичъ... Эва, куда вы хватили!. Да я же Скоблина знаю насквозь... Рубаха-парень... Смѣльчага... Командиръ Корниловцевъ, при томъ же... Знаете, такъ сказать, какъ вы сейчасъ сказали!.. Подумавши надо... Такъ вы и про меня скажете, что я могу предать..

— Да я же знаю... Я убѣжденъ въ этомъ! У меня есть доказательства...

По грязной, съ избитыми ступенями, лѣстницѣ они спустились и остановились подъ воротами. Дворъ окружали высокія стѣны грязнаго дома. Почти всѣ окна были темными, только ярко горѣли окна канцеляріи, да то загорались, то погасали окна лѣстницы, ведшей въ канцелярію. Они казались Акантову жуткими и страшными. За ними была неразгаданная тайна.

Мягкій басокъ Баклагина журчалъ ему въ ухо успокоительно, но не успокаивалъ, а раздражалъ:

— Егоръ Ивановичъ, опомнитесь. Три дня тому назадъ, всего три дня, вы помните, какъ торжественно справляли мы двадцатилѣтіе бѣлаго движенія и юбилей Корниловскаго полка. Съ первыхъ дней основанія полка Скоблинъ въ немъ — образецъ мужества, храбрости и благородства... Помните, какія рѣчи говорились на банкетѣ, и какъ отвѣчалъ Скоблинъ. Онъ говорилъ, вы помните, о мостѣ надъ большевиками въ Россію, о старой, умиравшей арміи, передавшей свою душу молодому Корниловскому полку, основоположнику національной Русской арміи...

— А, что вы говорите! — съ досадой сказалъ Акантовъ. — Все ложь, прикрытая звонкими и хлесткими словами банкетныхъ пустомелей... Что говорите!. Старая Императорская армія не была національной?.. Да, я помню, отлично помню, эту рѣчь молодчика, продавшагося большевикамъ. Сказалъ... Сказалъ: «тысяча боевыхъ дней, это могло быть боевымъ стажемъ полка, насчитывающаго столѣтіе со дня основанія»... Поняли?.. И никто не остановилъ тогда этого зарвавшагося совѣтскаго бахвала.. Совѣтская система: хулить нашу старую армію и возвеличивать все новое...

— Но, вѣдь, и вы не остановили...

— А что я?.. Я не зналъ тогда ничего... И этотъ гипнозъ застольныхъ рѣчей...

— Полноте, Егоръ Ивановичъ Скоблинъ сказалъ правду. Какъ сталъ онъ оглашать на банкетѣ имена первыхъ чиновъ полка, все погибшихъ... Морозъ по кожѣ! Вѣдь, вся

Русская армія влилась въ Корниловскій его полкъ. Какая тишина стояла тогда на банкетѣ... Будто круговая клятва надъ могилой Русской арміи произносилась... Героическая минута...

— Ложь!.

— Полноте... Этотъ человѣкъ — предатель?.. Доказать надо...

— И докажу!..

— Оставьте, пожалуйства... Хулителей доблести развелось много, и въ каждомъ сильномъ человѣкѣ видимъ мы теперь предателя.. Да, вотъ, и самъ Скоблинъ!.. Что?.. Смотрите... Развѣ такъ идетъ преступникъ?.. Предатель?..

VII.

Скоблинъ, съ легкимъ чернымъ пальто на рукѣ, безъ шляпы, сопровождаемый высокимъ человѣкомъ въ штатскомъ платьѣ, спокойно вошелъ въ ворота. Онъ былъ увѣренъ въ себѣ. Для него не было ничего удивительнаго въ томъ, что именно его позвали ночью, когда, вѣроятно, уже узнали объ исчезновеніи генерала Миллера. Онъ — правая рука генерала, его возможный замѣститель, его другъ.. Съ кѣмъ же, какъ не съ нимъ, и говорить помощнику генерала Миллера, адмиралу Кедрову?..

Скоблинъ въ умѣ провѣрялъ весь своей день. Да, весь день онъ былъ при свидѣтеляхъ, хотя бы при женѣ своей, пѣвицѣ Плевицкой. Онъ шелъ, и въ умѣ своемъ готовилъ спокойные, полные достоинства отвѣты на всѣ возможные вопросы. Въ его ушахъ еще звучали хвалебныя рѣчи банкета Корниловскаго полка, передъ нимъ были и впечатлѣнія сегодняшняго дня. Онъ дѣлалъ визиты, благодарилъ тѣхъ, кто почтилъ юбилей полка.. Вездѣ были льстивыя, прекрасныя слова, вездѣ было уваженіе и преклоненіе передъ нимъ... Все это прикрывало тотъ короткій разговоръ, который былъ у него съ генераломъ Миллеромъ, когда онъ передавалъ своего начальника чекистамъ. Это былъ совсѣмъ легкій осадокъ на томъ мѣстѣ, гдѣ у людей обитаетъ совѣсть. Но Скоблинъ былъ новый человѣкъ, закаленный въ стальныхъ тискахъ гражданской войны, и совѣсть для него

была буржуазнымъ предразсудкомъ. Такъ было нужно. Расправлялись и съ другими людьми. Такъ же спокойно, въ свое время, онъ сдалъ и Кутепова, своего прямого начальника и боевого товарища. Путь къ возвышенію не лежитъ по розамъ, да и розы имѣютъ шипы. Тогда все прошло гладко, шито-крыто, никто и не подумалъ заподозрѣть его. Сзади него могучимъ тѣлохранителемъ стоитъ его жена: она его никогда не выдастъ... Чѣмъ сильнѣе преступленіе, тѣмъ меньше вѣроятности, что оно будетъ раскрыто.

Не спѣша, Скоблинъ поднялся по лѣстницѣ, и все такъ же спокойно и увѣренно вошелъ въ кабинетъ адмирала Кедрова. Только въ прихожей, замѣтивъ, что она полна народомъ, что въ ней была жена адмирала и другія лица, Скоблинъ немного нахмурился. Слишкомъ много шума уже было поднято. Не обезкуражило Скоблина и то, что Кедровъ, не подавая ему руки, прямо обратился съ вопросомъ:

— По нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, вы — послѣдній, съ кѣмъ видѣлся генералъ Миллеръ...

Скоблинъ твердо и спокойно отвѣтилъ:

— Это не вѣрно. Я видѣлъ генерала Миллера вчера.

Рѣзко, чеканя слова, весь напряженный, дрожащій внутренней дрожью негодованія, вѣрящій и не вѣрящій въ такое ужасное предательство, адмиралъ сказалъ:

— У меня имѣется доказательство, что у васъ было назначено свиданіе съ генераломъ Миллеромъ.

Скоблинъ поблѣднѣлъ, подобрался, вытянулся, и все такъ же спокойно, не теряя самообладанія, глядя прямо въ глаза Кедрову, тихо и твердо спросилъ:

— Какое?..

Кедровъ, молча, подалъ Скоблину записку генерала Миллера. Скоблинъ быстро пробѣжалъ строки, написанныя хорошо знакомымъ ему почеркомъ Миллера

— Нѣтъ... Нѣтъ... — быстро проговорилъ онъ, и почувствовалъ, что самообладаніе покидаетъ его. Онъ ожидалъ, что, вотъ, его сейчасъ же схватятъ, свяжутъ, потащутъ куда-то... Но это продолжалось только одно мгновеніе. Его никто не схватилъ, никто не ударилъ, и онъ оправился:

— Все это невѣрно, — тихо сказалъ онъ. — Я даже и улицъ такихъ не знаю..

И все такъ же спокойно, «по джентльмэнски», по европейски, по культурному, какъ съ равнымъ, какъ съ генераломъ, а не какъ съ преступникомъ, говорилъ Кедровъ, и это придавало силы Скоблину:

— Подумайте хорошенько... Быть можетъ, вы все-таки намъ что-нибудь сообщите...

Голосъ Кедрова былъ ледяной, оскорбительно вѣжливый, но на Скоблина онъ не подѣйствовалъ. Вопросъ давалъ время обдумать положеніе.

— Увѣряю васъ, я ничего не знаю...

— Въ такомъ случаѣ, намъ всѣмъ нужно пойти въ полицію..

— Извольте.

Съ тѣми осмотрительностью и спокойствіемъ, какія отличали Скоблина въ многочисленныхъ бояхъ гражданской войны, Скоблинъ вышелъ изъ кабинета вмѣстѣ съ Кедровымъ и Кусонскимъ. Онъ уже понялъ: дѣло его проиграно и нужно бѣжать...

Въ тѣсной передней замѣшкались, надѣвали пальто. Кто-то открылъ дверь на лѣстницу и придавилъ кнопку освѣщенія. Скоблинъ стоялъ у двери. Кедровъ съ Кусонскимъ вошли въ комнату рядомъ съ передней, за своими портфелями. Въ этотъ мигъ электричество на лѣстницѣ погасло. Скоблинъ рѣшительно шагнулъ за дверь и помчался по темной лѣстницѣ. Кто-то бросился за нимъ. Пустили опять свѣтъ.. Скоблина уже не было.

Акантовъ и Баклагинъ видѣли, какъ въ ворота проскочилъ Скоблинъ; онъ былъ въ пальто и попрежнему безъ шляпы...

— Это Скоблинъ, — сказалъ Акантовъ. — Онъ бѣжалъ. Надо ловить его...

— Полноте, Егоръ Ивановичъ... Отъ чего будетъ бѣжать столь доблестный офицеръ?..

Акантовъ бросился на улицу

Было темно въ узкой улочкѣ. Нѣсколько частныхъ автомобилей стояло вдоль панели. Акантову показалось, что Скоблинъ, пробѣгая вдоль машинъ, пробуетъ ручки дверецъ. И сейчасъ же Скоблинъ исчезъ, растворился въ сумракѣ сентябрьской ночи. Сзади Акантова раздавались тревожные голоса. Кедровъ, Кусонскій и еще кто-то изъ офицеровъ вышли на улицу.

— Гдѣ же Скоблинъ?..

— Онъ бѣжалъ.

— Бѣжалъ?.. Ну, значитъ!!.

Низко опустивъ голову, глядя на сырыя плиты панели, медленно шелъ по улицѣ къ Елисейскимъ Полямъ Акантовъ. Онъ чувствовалъ себя, какъ бы соучастникомъ этого страшнаго преступленія. Онъ шелъ и обдумывалъ завтрашній день и тѣ показанія, которыя онъ дастъ по поводу всей этой исторіи.

VIII.

Акантовъ совсѣмъ не помнилъ, какъ добрался онъ до своего дома. Ѣхалъ ли онъ на поѣздѣ подземной дороги, или всю дорогу шелъ пѣшкомъ... Онъ открылъ входную дверь, поднялся къ себѣ, вошелъ въ тускло освѣщенную отраженіями далекихъ огней комнату, раздѣлся и легъ на койку. Онъ сейчасъ же и заснулъ тѣмъ крѣпкимъ сномъ, какимъ спитъ человѣкъ, измученный тѣлесно и душевно. Будильникъ звонилъ — Акантовъ не проснулся. Онъ всталъ въ десятомъ часу, медленно одѣлся и сѣлъ у окна, подперевъ ладонями голову.

Вѣтеръ гулялъ по пустырямъ, качалъ чертополохами, несъ сухія листья, пригиналъ къ землѣ траву, крутилъ пыль на дворѣ угольнаго склада. По насыпи проносились веселые, красные поѣзда электрической дороги, сверкали окнами вагоновъ. Хлопали доски, бросаемыя на грузовикъ. Глухо гудѣлъ по близости громадный городъ. Парижъ жилъ обычной, будничной жизнью, и не было ему никакого дѣла до того, что пропали генералы Миллеръ и Скоблинъ, что въ маленькой квартирѣ мучается генералъ Акантовъ..

«Что же мнѣ теперь дѣлать?.. Что предпринять?.. Куда пойти съ моими сообщеніями о масонахъ, близкихъ къ большевикамъ, о предложеніяхъ, какія мнѣ дѣлались?.. Нужно сказать все. Сказать, что пошелъ въ масоны, что работалъ съ ними... Пропало мое доброе имя... Онъ пошелъ работать противъ большевиковъ, а оказалось, что работалъ для нихъ Большевики управляются жидами, и масоны управляются жидами... Исполнительный комитетъ партіи большевиковъ состоялъ изъ Моисея Урицкаго, Лейбы Троцкаго-Бронштейна, Янкеля Свердлова, убійцы Государя, Григорія Радомысльскаго, Феермана и другихъ.. А знаю я, изъ кого состоитъ верхушка масонской пирамиды?.. Можетъ быть, изъ такихъ же жидовъ?.. Къ кому я пойду теперь, самъ кругомъ замаранный?..».

Тонкой, ядовитой струйкой забила, засквозила подъ самымъ сердцемъ мысль о самоубійствѣ.. Впереди — масонское возмездіе за измѣну, за уходъ изъ ложи... Кинжалъ подъ сердце... Такъ не лучше ли самому?..

У Акантова не было револьвера. Вѣшаться показалось противнымъ. Оставалось топиться...

Акантовъ сидѣлъ въ глубокой задумчивости, забывъ обо всемъ... Онъ не сразу всталъ, когда въ дверь къ нему постучали, и поднялся отъ окна только тогда, когда медовый голосъ Дуси Королевой раздался за тонкими досками:

— Генералъ, вы дома?..

Высокая, надушенная, завитая, въ красивой шляпѣ, прикрывавшей блескъ темныхъ глазъ, въ комнату вошла Дуся:

— Была въ банкѣ... Сказали, что вы больше не служите... Догадалась, что должны быть дома... Какой ужасъ совершается на нашихъ глазахъ... Вы, навѣрно, уже прочли газеты... Опять такое ужасное похищеніе, и опять все останется безнаказаннымъ... Я помчалась къ вамъ и за вами.

— Что же я могу тутъ сдѣлать? — какъ-то безвольно и безпомощно сказалъ Акантовъ.

— Какъ, что, милый генералъ!.. Да надо же во святой часъ со молитовкой спасать нашего генерала... Ну, что они тамъ сдѣлаютъ?.. Въ полицію обратились... Да развѣ поли-

ція можетъ что-нибудь сдѣлать... Вѣдь, полиція съ ними, съ большевиками!.. Развѣ нашла полиція генерала Кутепова?.. А, вотъ, когда въ Ревелѣ Булахъ-Булаховичъ, тоже молодецъ на свой образецъ, похитилъ генерала Юденича, развѣ въ полицію пошли?.. Къ Теннисону, къ самому президенту, помчались тогда, его съ утра подняли на ноги. И въ то же утро нашли и спасли генерала!.. Такъ нужно и теперь... Къ президенту, во святой часъ со молитовкой!.. Генералъ, у меня же есть связи, я имѣю туда вѣрные ходы. Тутъ есть депутатъ одинъ, пасторъ Сулье... Сенаторъ Лемери; такъ, вѣдь, все это друзья Россіи!.. Къ нимъ поѣдемъ, все имъ разскажемъ, и отъ нихъ, прямо отъ нихъ, и съ ними, къ Президенту!

— Я-то при чемъ? — вяло промолвилъ Акантовъ.

— Милый генералъ, да какъ же я, женщина-то, одна къ нимъ поѣду?.. Кто я? — артистка... А тамъ спросятъ, кто такой генералъ Миллеръ, да почему онъ такъ нуженъ большевикамъ? Ну, что я отвѣчу? Тамъ его біографію спросятъ, а что я знаю? Вотъ тутъ-то вы все и доложите... Вотъ ваши пальто и шляпа... Господи, какъ у васъ все бѣдно!.. Тутъ бы нужно величіе чернаго сюртука, или безупречную визитку, орденъ какой-нибудь французскій... Почетнаго Легіона... Это они любятъ... Ну, да все равно, какъ-нибудь обойдемся и такъ... Ѣдемъ во святой часъ со молитовкой...

Дуся почти насильно вывела Акантова и изъ его квартиры, и изъ его равнодушія и безразличія...

На узкой, маленькой уличкѣ ихъ ожидалъ автомобиль. Это не была каретка такси, какъ обыкновенно ѣздила Дуся, не имѣвшая собственной машины, но большая, неуклюжая, старомодная карета. На шоффёрскомъ мѣстѣ, положивъ руки за руль, сидѣлъ широкоплечій, мордастый, скуластый мужчина въ черномъ, плотной матеріи, пальто и суконной сѣрой рабочей каскеткѣ... Онъ не шелохнулся съ мѣста при приближеніи Дуси, только узкіе, сонные, ко всему безразличные, глаза скосилъ на подходившихъ.

Акантовъ опередилъ Дусю, и хотѣлъ открыть дверцы.

— Генералъ, — мило улыбаясь, сказала Дуся, — надо обойти карету. Съ этой стороны дверца испорчена и не от-

воряется. Такую ужъ старую калошу дали мнѣ въ гаражѣ. Ну, да мнѣ не до того было, чтобы выбирать, я же такъ торопилась... Садитесь первый, я привыкла ѣздить съ правой стороны.

Акантовъ послушно сѣлъ у неоткрывающейся дверцы, за нимъ легко вскочила Дуся и наполнила карету запахомъ духовъ. Она захлопнула дверцу, и карета покатила.

Акантовъ сидѣлъ молча. Онъ обдумывалъ французскія фразы, какъ и что будетъ онъ говорить тѣмъ французамъ, къ кому его везла Дуся.

XI.

«Старая калоша» обладала сильнымъ моторомъ... Она легко и быстро неслась по улицамъ предмѣстья, обѣжала place de la Défense, и выбралась на Сену. Шоферъ избѣгалъ широкихъ и людныхъ проспектовъ.

Дуся непрерывно что-то говорила ласковымъ, медовымъ голосомъ, положивъ крупную руку въ черной перчаткѣ на руку Акантова, и тому, сквозь свои мысли, почему-то вспомнилось, что такъ ласково и непрерывно говорятъ хорошія, добрыя сестры милосердія, когда готовятъ больного на операцію съ почти неизбѣжнымъ смертельнымъ исходомъ...

«Ну, что же, все-равно», — подумалъ Акантовъ, и сбоку посмотрѣлъ на Дусю.

Они сидѣли близко другъ къ другу.

«Какъ она, однако, стара». — Акантовъ видѣлъ дряблыя щеки, у шеи подъ челюстью были замѣтны слѣды швовъ послѣ операціи омолаживанія. Крупная, жирная пудра, наложенная на нихъ, еще усиливала безобразіе толстой шеи. Сухія, ярко-красныя, точно у манекена, губы играли надъ ровнымъ рядомъ вставныхъ зубовъ.

«Она вся ложь», — думалъ Акантовъ. — «Она создана искусствомъ. Ея нѣтъ... Это манекенъ, живой манекенъ, мастерство современной хирургіи и химической краски»...

Карета круто повернула съ узкой улицы на широкій бульваръ, противъ мѣста, гдѣ раньше были укрѣпленія Па-

рижа, а теперь стояли безобразные, громадные доходные дома...

«Это Магдалина Могилевская, а не Дуся Королева... Это та «красная матушка», предательница и убійца!», — мелькнуло въ головѣ Акантова, и онъ почувствовалъ, какъ обмякло его тѣло. Холодная испарина покрыла кожу; ноги и руки стали безсильными. Глухой шумъ загудѣлъ въ ушахъ. Въ глазахъ потемнѣло.

Изъ-подъ широкихъ полей модной шляпки сама смерть улыбалась Акантову мертвымъ черепомъ. Большіе глаза Дуси казались огромными темными впадинами мертвой головы, ярко блестѣли бѣлые зубы между темно-накрашенныхъ губъ.

Стало безумно страшно.

Чуть качнулась карета, круто поворачивая въ открытыя желѣзныя ворота. Акантовъ собрался съ силами и сдѣлалъ движеніе, чтобы открыть дверцу и выскочить изъ машины. Но ручка не подалась на нажимъ. Сухо и зло засмѣялась Дуся...

Черезъ стекло былъ виденъ пустынный и грязный дворъ, мощеный крупными камнями. За нимъ темное зданіе казарменнаго вида, высокая кирпичная стѣна со вбитыми по верху гвоздями окружала дворъ... Тюрьма...

Карета рѣзко остановилась. Къ ней подбѣжали рослые люди, открыли дверь; Дуся выскочила изъ машины. Четыре волосатыя руки протянулись въ карету, цѣпко схватили Акантова за руки и за ноги, выволокли вонъ, поставили на ноги и повлекли, держа подмышки. Мягкая шляпа отъ толчковъ упала на лобъ и мѣшала видѣть. Ноги не успѣвали передвигаться и ушибались о камни. Акантовъ чувствовалъ, какъ его протиснули въ узкую дверь, за нею была крутая лѣстница. Акантовъ споткнулся о ступени, въ кровь ссадилъ колѣно, и въ полузабытьѣ, теряя сознаніе, поднимался куда-то, толкаемый сильными руками. Его ударили по шеѣ такъ, что онъ упалъ. Шляпа свалилась съ него. Акантовъ услышалъ стукъ задвигаемой двери, желѣзный скрежетъ засова, и наступила тишина.

Акантовъ осмотрѣлся. Онъ былъ въ крошечной каменной камерѣ безъ оконъ. Стѣны были сырыя, въ высокомъ потолкѣ устало горѣла электрическая груша. Въ камерѣ, кромѣ стѣнъ, пола и потолка, не было ничего. Толстая, тяжелая дверь была наглухо заперта. Чуть доносился невнятный, неумолкающій шумъ города...

X.

Лиза прибыла въ Берлинъ и устроилась жить у Верховцевыхъ. Это было естественно. Соня вышла замужъ за Фреда Ленсфельда, и тамъ уже ожидалось радостное событіе: прибавленіе семейства. Игорь почти всегда былъ въ плаваніи. Комнаты ихъ были свободны. Аглая Васильевна Верховцева, одинокая вдова, не захотѣла сдавать комнаты жильцамъ. Игорь за время плаванія проявилъ такъ много чуткаго вниманія къ Лизѣ; въ Гамбургѣ Лизу ожидала милая телеграмма отъ Аглаи Васильевны, и Лизѣ нельзя было отказаться отъ приглашенія.

Да и куда было ей дѣваться? Отецъ безъ вѣсти пропалъ въ Парижѣ. Газеты написали объ этомъ вскользь и забыли о старомъ, никому не нужномъ генералѣ. Тетя Маша уѣхала изъ Берлина въ Вѣну, и Лиза слышала, что у тети Маши квартира была не большая. Значитъ, опять сталъ вопросъ: «entweder - oder»: или у Аглаи Васильевны, или... да гдѣ же?.. Нигдѣ!..

Квартира Аглаи Васильевны совсѣмъ не походила на квартиру Нѳринговъ, какъ и сама Аглая Васильевна, вдова полковника гвардіи, не походила на тетю Машу, жену богатаго нѣмецкаго коммерсанта.

Верховцева жила въ глухой улицѣ, затерявшейся въ лабиринтѣ стараго Вильмерсдорфа, во дворѣ, на пятомъ этажѣ, безъ лифта, въ квартирѣ съ маленькими, уютными комнатами, удобно связанными узкимъ корридоромъ.

У Нѳринга была богатая, тяжелая Берлинская роскошь высокихъ, просторныхъ комнатъ, съ лѣпными потолками, была монументальная мебель. У Верховцевой все было просто

и бѣдно. У Нôринговъ — картины, большіе часы съ башеннымъ, торжественнымъ звономъ; у Верховцевой во всѣхъ комнатахъ по угламъ иконы. Въ спальнѣ и столовой — съ постоянно затепленными лампадками. Въ столовой висѣли трогательно-простые портреты Государя и Царской Семьи въ черныхъ рамахъ, перевитыхъ траурными лентами, портретъ мужа Аглаи Васильевны, съ прибитымъ къ рамѣ георгіевскимъ крестомъ; стояла простая мебель. Такая же была и сервировка... И... Тишина...

У Нôринговъ была Германія и нѣмцы. У Верховцевой — точно и не было вокругъ Германіи, точно и не шумѣлъ и не жилъ тутъ же, за стѣнами, громадный Берлинъ. Будто и не въ Вильмерсдорфѣ жила еще не старая полковницкая вдова, но въ Петербургѣ, гдѣ-нибудь въ тихихъ линіяхъ Васильевскаго острова.

У Нôринговъ говорили по-нѣмецки, и не было вопроса о вѣрѣ въ Бога. Это у нихъ и въ школѣ потеряла вѣру Лиза. У Верховцевой говорили по-Русски, и вѣра, со всѣми ея обрядами, привезенными изъ Россіи, соблюдалась свято.

Все въ томъ же леопардовомъ пальто, въ которомъ Лиза выѣхала изъ Нью-Іорка, вошла она въ маленькую комнатку, бывшую спальню Сони. Дѣвичья постель чисто постлана тонкимъ одѣяломъ, въ углу образъ — Святая Елизавета, и, передъ нимъ, недвижный язычокъ пламени лампады. На стѣнѣ портретъ Государя и кругомъ «открытки»: виды Петербурга, Москвы, виды Россіи, цѣлая стѣна ими занята. Пониже — старая карта Россійской Имперіи. Въ другомъ углу — этажерка съ книгами: Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Тургеневъ, Толстой, Гончаровъ, Чеховъ, Шмелевъ, Бунинъ, все Русскіе писатели, и все о Россіи. Подъ этажеркой, на отдѣльной полочкѣ, — Евангеліе и молитвенникъ.

Лиза усмѣхнулась. Вѣра, Царь и Отечество!..

Но былого жесткаго и сухого скептицизма не было въ ея усмѣшкѣ. Были горечь, тоска, сознаніе своего одиночества, сиротливости и, сквозь нихъ, пожалуй, и любопытство: что же, въ самомъ-то дѣлѣ, такое вѣра, Царь и Отечество?

— Вотъ, Лиза, — ласково говорила Аглая Васильевна, — это комната моей Сонечки. Только икону я смѣнила. Такъ удачно мнѣ досталась твоя хранительница, Святая Елизавета... И книги я взяла назадъ Сонечкины. Тебѣ тутъ хорошо будетъ отдохнуть и оправиться. Вотъ и почитаешь понемножку. Не мудрящая библіотека у меня, а все почитать что найдется. Подумаешь о прочтенномъ. Я и сама все, нѣтъ-нѣтъ, да и перечитаю книжки эти. Вспомню... Ты, не видавшая Россіи, вообразишь себѣ ее, представишь и поймешь... А какъ станетъ тебѣ ужъ очень тяжело и одиноко, вотъ тутъ, возьми и помолись Богу передъ иконой. Я черезъ какое горе прошла, когда мужа замучили и убили большевики, казалось, не выживу; молитва вѣры исцѣлила мое горе. Спасла меня..

— Danke *), — сказала Лиза, и устало сѣла въ кресло подъ иконой.

Аглая Васильевна ушла и тихо притворила за собою дверь. Лиза осталась одна.

XI.

Утро... Въ открытое окно Лизиной комнаты густыми парами входитъ морозный воздухъ. Глухой гомонъ города доносится въ окно. Лиза прибрала комнату, стоитъ у окна, дышетъ морознымъ воздухомъ, слушаетъ шумы города, и тѣснитъ ея грудь больными воспоминаніями. Плакать хочется... Слезъ нѣтъ...

— Лиза, ты готова?..

— Да, Аглая Васильевна...

— Пойдемъ, Лиза, въ церковь. Богу вмѣстѣ помолимся...

Церковь совсѣмъ не далеко. Лиза вошла въ нее за Аглаей Васильевной, робко, неувѣренно крестясь. Но уже не было почему-то прежняго, самоувѣреннаго, все презирающаго, надо всѣмъ смѣющагося и все осуждающаго скептицизма. Уроки профессора Ротшпана остались гдѣ-то позади.

Это не былъ богатый еврейскій темпль, куда зашла Лиза спасаться отъ грозы и дождя, и гдѣ познала она весь ужасъ

*) Благодарю.

человѣческой злобы и ненависти, но очень бѣдная церковь. Большая комната съ прямой аркой, свѣтлый иконостасъ, простыя иконы и... пусто. Будній день, всѣ на работѣ. У стѣны, на темныхъ лавкахъ, старухи въ черномъ, бѣдномъ платьѣ, хромой старикъ въ углу. У четыреугольной колонны, съ большой, въ ростъ, иконой Спасителя, женщина въ траурѣ съ дѣвочкой.

Съ клироса несется звонкій женскій голосъ. Молодая, черноглазая послушница въ черномъ платочкѣ истово, съ глубокой, убѣжденной вѣрой читаетъ псалмы и молитвы.

Лиза не понимаетъ славянскаго языка. Она ловитъ отдѣльныя слова, старается запомнить, смотритъ на румяное, молодое, съ дѣтскими въ черныхъ рѣсницахъ глазами, лицо, смотритъ, какъ широко крестится послушница, какъ тщательно и низко она кланяется, и слѣдитъ, какъ летитъ къ алтарю ея звонкій, какъ журчаніе горнаго ручья, пріятный, четкій голосъ.

— Окропиши мя ѵссопомъ и очищуся; омыеши мя и паче снѣга убѣлюся... Слуху моему даси радость и веселіе: возрадуются кости смиренныя... *).

Изъ Царскихъ вратъ раздался возгласъ:

— Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ...

Три голоса: звонкій, ведущій, чистый, послушницы; хриповатый басокъ стараго дьякона, и мягкій баритонъ полнаго человѣка въ сѣромъ пиджакѣ, отвѣтили дружно:

— Аминь.

Литургія началась...

Лиза отстояла службу, искоса поглядывая на Аглаю Васильевну, крестясь, когда та крестилась, становясь вмѣстѣ съ нею на колѣни. Сначала все это было неловко; казалось, что на нее смотрятъ, обращаютъ вниманіе; съ непривычки стоять, уставали ноги; но вышла на улицу, на морозный воздухъ, подъ блѣдно-голубое небо, на снѣгъ, уже побурѣвшій отъ автомобильнаго движенія, и вдругъ почувствовала себя

*) Псаломъ 50.

такъ легко, какъ еще никогда себя не ощущала. Точно стала она внутри себя чистой и прозрачной, и отлетѣла съ души жуткая тоска сиротливаго одиночества.

XII.

Лиза заговорила съ Аглаей Васильевной о томъ, что ей нужно хлопотать о работѣ, о службѣ, о заработкѣ.

— И, полно, Лиза, — сказала Аглая Васильевна. — Тебѣ нужно раньше себя самое обрѣсти, а тогда и о работѣ подумаемъ...

Лиза не поняла слова «обрѣсти», и смущенно спросила о томъ Аглаю Васильевну.

— Обрѣсти, значитъ, найти, — ласково улыбаясь, сказала Аглая Васильевна. — Вотъ, мнѣ поможешь въ Русской дѣтской столовой бѣдныхъ дѣтокъ кормить, прибирать за ними, вотъ, и сочтемся...

Такъ, тихо и мирно, и совсѣмъ по новому, началась Берлинская жизнь Лизы, и не тянуло Лизу къ ея прежнимъ подругамъ и друзьямъ, гдѣ могла она встрѣтить или услышать о Куртѣ.

Аглая Васильевна часто ходила съ Лизой въ церковь, сначала въ будни, когда тамъ почти не было молящихся и чинно и благостно служилъ молодой священникъ съ блѣднымъ красивымъ лицомъ аскета, потомъ пошли въ субботу ко всенощной и въ воскресенье къ литургіи.

Маленькая церковь была биткомъ набита прихожанами, прекрасно пѣлъ хоръ пѣвчихъ, и Лиза все сильнѣе ощущала, какъ дрожатъ и трепещутъ въ ея теперешней внутренней прозрачности души новыя струны, будятъ нѣчто далекое, что нельзя назвать даже воспоминаніемъ, оно точно выходитъ за предѣлы прошлой жизни Лизы, за грани ея дѣтства. По Ротшпановки, Лиза пробовала опредѣлить это чувство: «подсознаніе говоритъ мнѣ о чемъ-то, бывшемъ давно и давно позабытомъ, о раннемъ моемъ православномъ дѣтствѣ... Нѣтъ, это было раньше дѣтства. Тогда какое же это могло быть подсознаніе? А что, если...». Шибко забилось Лизино сердце... «Неужели, это д у ш а ?»..

Подъ весну Аглая Васильевна съ Лизой говѣли.

Когда Лиза вошла въ маленькую узкую комнату подлѣ алтаря и стала у аналоя съ крестомъ и Евангеліемъ, гдѣ уже былъ священникъ, она въ смущеніи опустила глаза и не знала, что же ей говорить.

Тихій раздался голосъ:

— Здѣсь Христосъ невидимо присутствуетъ и стоитъ между нами. Онъ все слышитъ и все знаетъ. Каждое біеніе сердца вашего Ему извѣстно и ни одна мысль ваша не утаится отъ Него... Вѣруете ли вы въ Бога и Господа нашего Іисуса Христа?

Едва слышно проговорила Лиза:

— Я стараюсь вѣрить.

— Однажды къ Іисусу Христу привели бѣсноватаго, и отецъ его просилъ: «Если, что можешь, сжалься надъ нами и помоги намъ». Іисусъ сказалъ ему: «Если сколько-нибудь можешь вѣровать, все возможно вѣрующему». И тотчасъ отецъ отрока воскликнулъ со слезами: «Вѣрую, Господи, помоги моему невѣрію»... *). Захватитъ васъ сомнѣніе, тяжко станетъ вамъ въ мірѣ, а молитва не будетъ приходить на умъ, скажите съ вѣрою: «Вѣрую, Господи, помоги моему невѣрію»... Вы Евангеліе читаете?..

— Да, читаю.

Вотъ и все. Кончена исповѣдь. Такъ не долго, такъ просто, а почему-то еще чище стала прозрачная ясность внутри, гдѣ не гадкія, отвратительныя внутренности съ мерзкими химическими процессами, но гдѣ... Неужели, и точно?.. Душа?..

Со страхомъ и трепетомъ Лиза подходила къ Чашѣ со Святыми Дарами, благоговѣйно пріобщалась, и, когда вдругъ громко, такъ, что она вздрогнула, пѣвчіе изъ угла церкви возгласили:

— Видѣхомъ свѣтъ истинный, пріяхомъ Духа Небеснаго, обрѣтохомъ вѣру истинную, нераздѣльной Троицѣ поклоняемся: Та бо насъ спасла есть...

---

*) Евангеліе отъ Марка, гл. 9, ст. 20-25.

Каждое слово поняла Лиза. «Обрѣтохомъ», то-есть нашли, получили вѣру»...

Опустивъ голову, шла она домой и думала: «неужели и правда: нашла вѣру?.. Такъ вотъ, что такое вѣра?.. Какая это сладкая радость, какая блаженная истома и... тишина на сердцѣ...»:

«Вѣрую, Господи, помоги моему невѣрію».

XIII.

Въ эти дни своего просвѣтлѣнія, Лиза написала Курту. Писала она коротко, не много, даже и сухо. Сообщила о своемъ возвращеніи въ Германію, въ Берлинъ; написала, что живетъ она у Верховцевой, и была бы рада получить отвѣтъ отъ стараго друга.

Отвѣтъ пришелъ скоро. Это было короткое письмо на оффиціальномъ бланкѣ инженера доктора Бургермейстера... Куртъ писалъ Лизѣ, что онъ очень радъ, что она въ Германіи, гдѣ такъ хорошо и спокойно, а не во Франціи, гдѣ могутъ совершаться такія ужасныя преступленія. Онъ желалъ Лизѣ скорѣе вернуться въ Отечество: «Теперь у васъ тамъ скоро не будетъ большевиковъ и вамъ тамъ будетъ хорошо». Онъ очень коротко сообщалъ о себѣ, что онъ на отвѣтственномъ посту, счастливъ быть полезнымъ Родинѣ и партіи, что онъ очень занятъ, и наврядъ ли сможетъ пріѣхать въ Берлинъ навѣстить Лизу. «Да и нужно ли это?», — заканчивалъ онъ свое письмо.

Странно: оно не разстроило, не раздражило, даже не слишкомъ опечалило Лизу.

Да, такъ и должно было быть. Игорь правъ: «шляпой» оказался не Куртъ, но сама Лиза.

Все-таки было грустно. Старыя воспоминанія всколыхнулись. Защемило сердце, но вдругъ точно услышала ликующій возгласъ хора: «Обрѣтохомъ вѣру истинную»...

Въ хрустальномъ, неизвѣстномъ и невѣдомомъ никакимъ философамъ и физіологамъ, нутрѣ что-то поднялось и залило сердце радостнымъ тепломъ. Лиза вздохнула и прошептала, разрывая на мелкія части письмо Курта:

— Вѣрую, Господи, помоги моему невѣрію...

И тихо, тихо стало внутри... И... прошло... Все проходитъ. Образъ Курта умчался, исчезъ, испарился безъ боли, безъ страданій. Душа отвергла его, тѣло позабыло.

А тутъ пріѣхалъ, окончивъ плаваніе, Игорь. Онъ получилъ отпускъ на все лѣто, для подготовки къ экзамену въ высшую школу. Онъ готовился стать корабельнымъ инженеромъ:

— Это будетъ такъ нужно для Россіи.

И Лиза, раньше такъ равнодушная къ подобнымъ словамъ, повѣрила Игорю.

XIV.

Если сказать, что можетъ быть такое состояніе человѣка, когда онъ не знаетъ: день или ночь, какой день, какого мѣсяца, какое число, и гдѣ находится онъ самъ, въ какомъ городѣ, какой страны, и это не во снѣ, не въ бредовомъ кошмарѣ, но въ полномъ здравіи, — кто этому повѣритъ?..

Если сказать, что можно человѣка бросить въ каменный мѣшокъ, не кормить и не поить, можно связать и обращаться съ нимъ, какъ съ бездушной вещью, и это не въ какой-нибудь Центральной Африкѣ, или Полинезіи, среди дикарей людоѣдовъ, или въ самыя темныя времена средневѣковья, но въ самой культурной и просвѣщенной странѣ, во Франціи, въ міровой столицѣ, въ Парижѣ, — кто согласится, что это правда?..

Если сказать, что въ двадцатомъ вѣкѣ и во второй его четверти, можетъ существовать Государство, которое не только у себя, но и въ дружественныхъ ему странахъ, устраиваетъ организованныя убійства невинныхъ людей, похищаетъ ихъ, мучаетъ, моритъ голодомъ, и имѣетъ для этого спеціальный и мощный аппаратъ, недоступный для того государства, гдѣ онъ работаетъ, — кто скажетъ, что это правда?..

Акантовъ, сквозь муки голода, боли и усталости, продумывалъ все это и пожималъ плечами. Какъ легко онъ по-

пался. «Въ добрый часъ со молитовкой»... Какъ легко попались генералы Кутеповъ и Миллеръ, и многіе другіе... Они не могли не попасться... Развѣ можно было не повѣрить тому обману, на который ихъ ловили: слишкомъ чудовищна была ложь...

Посольство — и въ немъ застѣнки; въ немъ камеры для пытокъ, лабораторіи для безслѣднаго исчезновенія труповъ. Посланникъ во фракѣ или въ смокингѣ, изящные, припомаженные секретари — и съ ними грубые палачи, истязатели и убійцы. Дипломатическая неприкосновенность зданій, принадлежащихъ посольству, и тамъ каменные, сырые мѣшки для людей.

Теоретически — невозможно. На дѣлѣ — очень просто.

Акантовъ не думалъ, что будетъ дальше... Ясно — смерть.

Сначала онъ все стоялъ на ногахъ. Противно было садиться или ложиться на грязный, загаженный, вонючій полъ, но усталость взяла свое; Акантовъ подстелилъ пальто, сѣлъ въ уголъ, привалился къ сырой стѣнѣ, закрылъ глаза и заснулъ тяжелымъ сномъ.

Когда онъ проснулся, все такъ же горѣла усталымъ огнемъ лампочка, и раздражала ея кровавая проволочка въ потемнѣвшей пыльной стеклянной грушѣ. Сколько ушло времени, Акантовъ не зналъ. У него не было часовъ. Онъ снова закрылъ глаза.

Недавно — радіо изъ Москвы. Концертъ... Пѣли Украинскія пѣсни. Потомъ пѣвица Баратова подъ рояль пѣла: «Онъ такъ меня любилъ»... Чайковскаго... У этихъ палачей пѣли и слушали Чайковскаго... Публика неистово апплодировала и звонкіе женскіе голоса долго кричали: «Бисъ!... Бисъ!. Бисъ!..».

Каменный мѣшокъ — и восторги отъ романса Чайковскаго... Какъ это совмѣстить?..

«Онъ такъ меня любилъ»... Какъ любилъ Акантовъ Москву!.. Какъ хотѣлъ онъ тогда попасть въ Москву, въ эту толпу восторженной молодежи...

«А вдругъ меня повезутъ въ Москву?.. Я предстану передъ трибуналомъ. Но, вѣдь, я ничего противъ Россіи не

дѣлалъ... Тамъ теперь нѣтъ знающихъ генераловъ. Меня призовутъ на службу... Говорятъ, что Кутеповъ тамъ заворачиваетъ корпусомъ. Миллера вывезли, чтобы онъ тамъ работалъ... Вотъ, и меня повезутъ для того же... Это только испытаніе, какъ у масоновъ. Я поѣду въ Россію. Буду вдыхать запахъ Русской осени. Тутъ осень такъ не пахнетъ. Увижу золотыя березы. Изумрудную, по черному бархату чернозема, озимь, а потомъ нашъ, Русскій снѣгъ, глубокій, ровный и бѣлый. Настанетъ Русская зима и... горячая Русская баня съ полкомъ, съ вѣниками... Теплые дома, съ шумящими пламенемъ печами... Все это было. Не могло же все это такъ и исчезнуть?.. Россія жива... Гдѣ-нибудь живетъ Нежданова, или та пѣвица Баратова, которая пѣла: «Онъ такъ меня любилъ»... У нихъ, вѣроятно, есть теплыя Московскія квартиры. Это имъ блистаніе Русскихъ молодыхъ глазъ, и это имъ кричатъ такъ звонко и радостно: «Бисъ!.. Бисъ!.. Бисъ!».

Ну, да, меня испытаютъ... А потомъ привычная служба. Офицеры, солдаты, казарма, пулеметы, винтовки...

Акантовъ твердо зналъ, что ничего этого не будетъ, что впереди мученія и смерть, но думать о смерти не хотѣлъ. Все думалъ о жизни, о службѣ, о Россіи, о Русскихъ солдатахъ, о добромъ Русскомъ народѣ, о всемъ томъ, что слышалъ все это время по радіо...

Потомъ онъ задремалъ, изнеможенный голодомъ, усталостью, нелѣпыми мечтами...

Громкій топотъ по корридору и грубые голоса совсѣмъ подлѣ двери заставили Акантова вскочить на ноги. Онъ прозябъ, надѣлъ провонявшее на полу пальто, и дрожалъ лихорадочной дрожью.

Дверь распахнулась. Какъ на какого-то страшнаго, хищнаго звѣря, набросились на Акантова рослые, сильные, озлобленные люди, опутали его тѣло крѣпкой веревкой, сдѣлали изъ него пакетъ, воткнули въ ротъ тряпку и понесли по корридору.

Холодъ и сырость осенней ночи, черный автомобиль съ погашенными фонарями. Акантова втащили въ него. Подлѣ помѣстились два человѣка въ черныхъ пальто. Засвѣтились

огни, автомобиль сдѣлалъ полукругъ по двору и покатилъ по улицамъ Парижа...

Задыхаясь отъ платка во рту, который все никакъ не могъ выпихнуть языкомъ, Акантовъ думалъ: «Тоже, вѣроятно, дипломатическая, неприкосновенная машина, которую ни полиція, ни таможня не смѣютъ осматривать... Какими дураками нужно быть, чтобы давать дипломатическую неприкосновенность людямъ, для кого нѣтъ преступленія, которое они не совершили бы и которые сотканы изъ сплошной лжи.

Потомъ наступило забытье-нирвана... Сквозь нее, какъ сквозь сонъ, Акантовъ услышалъ, какъ кто-то изъ его спутниковъ сказалъ:

— Гляди, братокъ, не задохнулся бы.

И другой отвѣтилъ:

— А хуть бы и задохнулся. Тебѣ какая забота...

— Все не ладно какъ-то...

У Акантова вынули изо рта платокъ, ослабили веревки. Но Акантовъ не очнулся, и все продолжалъ пребывать въ полуобморочномъ состояніи...

Очнулся отъ свѣжаго воздуха, отъ чувства покоя, истомы. Веревки были сняты. Акантовъ лежалъ на росистой травѣ на краю дороги. Черный автомобиль стоялъ подлѣ. На откосѣ шоссе сидѣли шоффер и два человѣка въ черныхъ курткахъ. Они, громко чавкая, ѣли булки съ колбасой. Запахъ разжеванной колбасы доносился до Акантова, будилъ чувство голода; тревожно и мучительно засосало подъ ложечкой. Въ сухомъ рту появилась слюна. До ужаса захотѣлось ѣсть. Акантовъ широко открылъ глаза, потянулся и расправилъ руки и ноги.

Утро. Свѣтло, но солнца еще нѣтъ. Черное полотно широкой дороги, прямое и ровное, уходитъ въ даль. По обѣимъ сторонамъ его — высокій лѣсъ. Онъ задумчиво, тихо, по утреннему, дремотно шумитъ пестрой осенней листвой. Терпко пахнетъ мохомъ, сухимъ листомъ, травами, грибомъ. Небо сѣрое, и вдали, смыкая линію горизонта, поперекъ чернаго шоссе протянулась оранжевая полоса восхода.

Такъ все это показалось прекраснымъ. Такъ хороша жизнь. Земля, воздухъ, — Акантовъ глубоко вздохнулъ, — лѣсъ; робко и вяло, по осеннему, перекликающіяся въ густой листвѣ птицы. Жить... Все-равно, какъ, только жить!..

Къ ногамъ Акантова летитъ недоѣденный кусокъ булки съ прилипшей къ нему обкусанной колбасой. Это ему человѣкъ въ кожаной куртке бросилъ, чекистъ... Какъ собакѣ...

Акантовъ жадно кусаетъ булку, жуетъ, испытывая странную радость...

Бѣгутъ мысли...

«Это жидовское воспитаніе народа. Смотрѣть на ближняго, какъ на низшее существо, какъ на животное...».

— Оправься, братокъ, — сурово говоритъ чекистъ, — да и айда дальше.

«Да, конечно, животное... Все человѣческое условно... Приличіе, красота, стыдъ — все брошено. Нѣтъ души — нѣтъ и духовнаго, нѣтъ и стыда. Въ этомъ весь коммунизмъ, въ оскотиненіи человѣка... И все это отъ жидовъ...».

— Ну, кончилъ, что-ль?.. Садись. Ѣхать пора. Солнце восходитъ.

Ослѣпительные лучи тянутся навстрѣчу вдоль шоссе. Голубыя тѣни ложатся, золотомъ покрывается листва, рубиновыми огнями горятъ плети придорожной ежевики.

Прекрасенъ міръ... И не все ли равно, какъ жить, только жить... Дышать...

Съ землисто-сѣрымъ лицомъ, съ тусклыми глазами, сидѣлъ Акантовъ въ сумракѣ кареты и то дремалъ, то уходилъ въ полусознаніе...

Ночь... Какой-то городокъ, или предмѣстье большого города. Маленькіе, убогіе, грязные дома тѣсно стоятъ другъ подлѣ друга. Улица съ рѣдкими фонарями, запахъ нищеты, отбросовъ, помоевъ. Ночная, глухая тишина. Автомобиль стоитъ у дома. Одинъ изъ чекистовъ стучитъ въ двери. Все въ домѣ спитъ. Спущены ставни, наглухо закрыты двери.

Огонь засвѣтился внутри. Золотыми полосками побѣжалъ по узкимъ щелямъ ставенъ. Двери открылись. Полоса свѣта пролилась на грязныя плиты панели, на темный гудронъ до-

роги. Въ полосѣ свѣта — люди. Грубые голоса... По-Русски:

— Живой, что ли?..

— Пока что, не сдохъ...

— Принимайте.

Изъ дома выносятъ длинный ящикъ. Акантова опять связываютъ и кладутъ въ него. Крышка съ широкими щелями закрыла ящикъ, и ящикъ положили въ карету... Уже и не животное, а вещь...

Отъ духоты, отъ усталости, отъ неудобнаго положенія, Акантовъ забылся, и очнулся только тогда, когда его развязали и втолкнули въ узкое темное помѣщеніе. Акантовъ ощупалъ стѣны. Желѣзные борты, кромка шва шпангоута, шляпки заклепокъ, запахъ каменнаго угля, машиннаго масла и большой воды. Слышно, какъ мягко и прозрачно плещетъ за бортомъ морская волна...

Пароходъ... Его куда-то везутъ... Въ Россію?..

Въ затуманенной, усталой головѣ пошли, потекли мутныя, неясныя мысли. Его везутъ въ Россію. Онъ увидитъ Россію, Москву; тамъ, возможно, будетъ и чудо воскресенія... И, сквозь туманъ мыслей, женскій голосъ все звучалъ и звучалъ призывно:

— «Онъ такъ тебя любилъ!..»...

Въ плаваніи Акантова кормили. Утромъ давали кружку горячей воды и кусокъ хлѣба. Днемъ и вечеромъ въ глиняномъ горшкѣ приносили горячую бурду, гдѣ плавали куски разваренной картошки, листы капусты и какая-то крупа неопредѣленнаго вкуса. Отъ бурды пахло несвѣжей рыбой...

Качало. Морская болѣзнь томила и выворачивала на изнанку внутренности. Акантовъ лежалъ на полу, на подостланномъ пальто, поджималъ ноги къ животу и былъ въ полузабытьи. Теплая тошнота подходила къ горлу и, не облегчивъ желудка, отливала обратно. Кровь стучала въ виски... Тупо болѣла голова.

Смерть не была страшна. Акантовъ призывалъ ее. Время тянулось, и Акантовъ уже потерялъ счетъ днямъ. Онъ думалъ, что, вѣроятно, собака, которую везутъ въ ящикѣ, имѣетъ больше ощущеній, чѣмъ было у него...

Однажды онъ очнулся отъ чувства покоя и тишины. Качки не было. Пароходъ, ровно и не спѣша, шелъ по тихимъ водамъ. Былъ слышенъ шелестъ раздвигаемой килемъ волны и ровный стукъ машины. Потомъ и машина перестала стучать. Движеніе парохода замирало. Тяжело шлепнулся и заплескалъ по водѣ канатъ. Пароходъ грубо ударился о боканцы пристани; Акантовъ, стоявшій въ трюмѣ, упалъ отъ толчка. Куда-то причаливали...

За Акантовымъ пришли и вывели его на воздухъ...

Россія... Акантовъ сразу узналъ широкій просторъ Невы, Николаевскій мостъ надъ нею и за нимъ дивно-прекрасную перспективу Англійской набережной и Васильевскаго острова... Шпиль Петропавловскаго Собора блисталъ въ отдаленіи надъ низкими, темными стѣнами крѣпости. Непривычно пустынна была Нева.

Здѣсь не таились и не скрывали Акантова. Здѣсь были у себя, дома: въ коммунистическомъ государствѣ, гдѣ ведомымъ преступникомъ никого не удивишь. Обыкновенное явленіе...

На набережной было нѣсколько человѣкъ. Они были плохо и бѣдно, не по осеннему, холодному, вѣтряному дню, одѣты. Они смотрѣли на Акантова безразлично, пожалуй, даже и враждебно.

Какой-то совѣтскій паренекъ, въ рваныхъ штанахъ и каскеткѣ, годной, развѣ, только для огороднаго чучела, сказалъ, показывая пальцемъ на Акантова:

— Гля... Какого дикобраза заморскаго привезли... Ажъ смотрѣть гнусно: живой мертвякъ...

Женщина съ краснымъ обвѣтреннымъ лицомъ лихо сплюнула съ губъ шелуху подсолнуховъ и сказала:

— Поди, какой шпіенъ... Сколько ихъ ловятъ!..

И первый добавилъ злобно:

— Попался, братокъ...

Черный автомобиль ожидалъ Акантова. Въ немъ были солдаты-красноармейцы. Они походили и нѣтъ на прежнихъ солдатъ, кого такъ хорошо зналъ и любилъ когда-то Акантовъ. И Акантовъ спросилъ одного изъ конвойныхъ:

— Не знаешь, братецъ, куда меня везутъ?..

Акантовъ испугался своего голоса. Онъ такъ давно не говорилъ, что слова вышли глухо и неясно. Отвѣта онъ не ждалъ. Тѣ, кто везли его по Франціи, и тѣ, кто на пароходѣ выводилъ его и подавалъ пищу, не разговаривали.

Солдатъ въ небрежно надѣтой, топорщащейся шинели отвѣтилъ равнодушно:

— А, должно, что въ Москву: на Октябрьскую дорогу доставить приказано.

XV.

Въ Москвѣ Акантова побрили, причесали, и служитель почистилъ его платье:

— Эхъ, братокъ, — сказалъ служитель, — какъ же ты безъ вещей-то попалъ? Нѣтъ, что ли, тутъ у тебя кого, чтобы передачу устроить тебѣ. А то, ить, рубаха твоя совсѣмъ истлѣла, ее и стирать нельзя. Поди, и вши заведутся, загрызутъ тебя совсѣмъ. Непорядокъ. Тебѣ къ слѣдователю идти на допросъ. Непорядокъ такъ то...

И опять — эти надежды. Ну, къ чему онѣ? А въ головѣ шли мысли: «Я въ Москвѣ, гдѣ я учился столько лѣтъ; въ Россіи, на Родинѣ... У меня такія же права жить здѣсь, какъ у всякаго, даже и большія... Вѣдь, не можетъ быть, чтобы этого не поняли здѣсь. Вѣдь, все-таки, это Русскіе, такіе же, какъ и я... Все должно объясниться и выясниться. Я на Родинѣ!.. Все этимъ сказано...».

Полный надеждъ, увѣренный, что ему дадутъ возможность высказаться и все объяснить, Акантовъ вошелъ въ комнату слѣдователя.

За письменнымъ столомъ сидѣлъ человѣкъ лѣтъ тридцати, въ широкой сѣрой рубашкѣ, подпоясанной черномъ ремнемъ. Темные, жесткіе, непокорные волосы торчкомъ стояли у него на макушкѣ. Холодные, злые глаза были узко поставлены и раздѣлялись тонкимъ длиннымъ носомъ. Узкія губы были сжаты. Что-то упорное, сектантское, упрямое, несокрушимое было во всемъ обликѣ этого человѣка... Не-

брежнымъ жестомъ протянулъ онъ Акантову серебряный въ монограммахъ портсигаръ и сказалъ:

— Курите... Прошу. Садитесь.

Акантовъ съ наслажденіемъ затянулся папиросой. Слѣдователь внимательно наблюдалъ его. Онъ досталъ со стола большую папку, перелисталъ лежавшія въ ней бумаги и обратился къ Акантову:

— Гражданинъ Акантовъ... Пятидесяти шести лѣтъ... Егоръ Ивановичъ. Бывшій генералъ... Послѣднее время предсѣдатель Общества бывшихъ стрѣлковъ Императорской арміи... Такъ?..

— Такъ точно, — глухо отвѣтилъ Акантовъ.

Теплый, тихій кабинетъ, дѣловой, внимательный тонъ допроса взволновали Акантова. Вины за собой онъ не зналъ никакой. Цѣли у большевиковъ могли быть самыя различныя. Все вспоминались эмигрантскіе, ни на чемъ не основанные, слухи, что Кутеповъ живъ и занимаетъ большое мѣсто въ красной арміи; все вспоминались тѣ эмигранты, которые доказывали, что большевики эволюціонируютъ, что они вовсе не такіе, какими ихъ рисуетъ эмигрантская печать. Самый воздухъ Россіи, папироса съ табакомъ, Русскимъ и не плохимъ, проясняла мозги, и Акантовъ подобрался и готовился на ясные и правдивые отвѣты.

— Гражданинъ Акантовъ, какъ видите, наша совѣтская власть всемогуща. Партія большевиковъ, партія Ленина — Сталина, не есть нѣчто замкнутое въ предѣлахъ совѣтскаго союза; это сила, объемлющая весь міръ, при томъ же, сила, которой все доступно... Чтобы не быть голословнымъ, я прочитаю вамъ маленькій списокъ тѣхъ крупныхъ людей, которыхъ партія Ленина — Сталина нашла нужнымъ изъять заграницей, какъ враговъ совѣтскаго союза...

Слѣдователь развернулъ тетрадку и сталъ читать по ней:

— Командующій Кавказской арміей Вооруженныхъ силъ Юга Россіи, Генералъ-Лейтенантъ Викторъ Леонидовичъ П о к р о в с к і й, звѣрски, я вамъ говорю — звѣрски — убитъ по нашему приказанію въ Софіи 9-го ноября 1922-го года.

Иванъ Михайловичъ Калинниковъ, редакторъ газеты «Русь» въ Софіи. Ярый врагъ народной власти совѣтовъ. Убитъ въ Софіи 24-го іюля 1924-го года.

Каркъ, эстонскій министръ путей сообщенія во время попытки коммунистическаго переворота въ Эстоніи, разстрѣлянъ по приказу нашего главнаго политическаго управленія, такъ называемаго ГПУ, 1-го декабря 1924-го года.

Коста Георгіевъ, болгарскій генералъ, убитъ на людной улицѣ въ Софіи 14-го апрѣля 1925-го года.

Мы взорвали, ибо сочли это нужнымъ, кафедральный соборъ въ Софіи, гдѣ было 210 офицеровъ и горожанъ убито и 600 ранено. Устроилъ это 16-го апрѣля 1926-го года нашъ тогдашній агентъ въ Болгаріи Димитровъ, теперь предсѣдатель главнаго бюро 3-го коммунистическаго интернаціонала.

Украинскій дѣятель Петлюра убитъ въ Парижѣ нашимъ агентомъ Шалемомъ Шварцбартомъ 25-го мая 1926-го года. Шварцбартъ свободно возвратился въ союзъ...

Іосифъ Трайковскій, польскій гражданинъ, убитъ нами въ Варшавскомъ совѣтскомъ посольствѣ 2-го сентября 1927-го года.

Полковникъ Китицоровъ, бывшій начальникъ штаба генерала Сахарова, схваченъ въ Сѣверной Китаѣ, доставленъ въ совѣтское консульство, оттуда въ Хабаровскъ, и тамъ, 28-го марта 1928-го года, послѣ жесточайшихъ пытокъ, разстрѣлянъ.

Петръ Врангель, генералъ, послѣдній Главнокомандующій Русскихъ армій, 25-го мая 1928-го года умеръ въ Брюсселѣ... Мы беремъ и его смерть на свой учетъ, потому что она намъ была нужна.

Генералъ Кутеповъ, похищенъ нашими агентами въ Парижѣ 26-го января 1930-го года, доставленъ въ нашъ союзъ и здѣсь убитъ.

Рамишвили, грузинскій министръ внутреннихъ дѣлъ, 7-го декабря 1930-го года убитъ въ предмѣстьѣ Парижа.

Іоаннъ П о м м е р ъ, архіепископъ Рижскій и Лифляндскій, убитъ ночью 12-го октября 1934-го года въ своемъ домѣ въ Лифляндіи нашими агентами. Домъ его сожженъ.

Димитрій Н а в а ш и н ъ, бывшій нашъ завѣдующій торговыми дѣлами, измѣнившій намъ, 25-го января 1937-го года убитъ въ Парижѣ, въ Булонскомъ лѣсу, на глазахъ у прохожихъ.

Троцкистъ Н и н ъ арестованъ нашими агентами въ Барселонѣ, доставленъ въ Валенсію и потомъ въ Мадридъ и въ Алкала де Хенаресѣ, въ августѣ 1937-го года, убитъ.

Игнатій Р е й с ъ, бывшій нашъ агентъ, отказавшійся вернуться въ союзъ, и бѣжавшій сначала въ Голландію, а потомъ въ Швейцарію, убитъ недавно въ Лозаннѣ. Устроившая это убійство, наша служащая, Лидія Грозовская, находится въ полной безопасности въ Парижѣ, въ совѣтскомъ посольствѣ.

Наконецъ, генералъ Евгеній Карловичъ М и л л е р ъ, похищенъ нами въ Парижѣ, 22-го сентября этого года...

— Какъ видите, списокъ не маленькій. Я называю вамъ только болѣе видныхъ людей, нами устраненныхъ... Тѣ демократическія государства, гдѣ мы расправлялись со своими врагами: Болгарія, Латвія, Польша, Китай, Бельгія, Испанская республика, Швейцарія и Франція, молчатъ. Никто не арестованъ. Мы нигдѣ не имѣли ни малѣйшей непріятности, нигдѣ не вызывали нашихъ полпредовъ для кислыхъ разговоровъ въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, нигдѣ насъ не заставляли заплатить хотя бы небольшую денежную пеню въ пользу вдовъ или родственниковъ нами уничтоженныхъ людей. Мы давимъ враговъ нашей партіи Ленина — Сталина, шпіоновъ, интервентовъ и диверсантовъ въ чужихъ странахъ такъ же спокойно, какъ давитъ окопный солдатъ вшей, въѣвшихся въ швы его мундира... Мы дѣлаетъ это легко и просто. Я говорю вамъ это, гражданинъ Акантовъ, чтобы показать вамъ, что отказъ вашъ отвѣтить намъ всю правду, ни къ чему не поведетъ и никого не спасетъ. Я говорю съ вами по душамъ, какъ человѣкъ съ человѣкомъ, и я совѣтую вамъ во всемъ признаться и все мнѣ разсказать.

— Мнѣ не въ чемъ признаться.

— Подождите, гражданинъ Акантовъ... Ваше полное признаніе дастъ вамъ, если и не сразу свободу, то, во всякомъ случаѣ, смягченіе наказанія, возможность впослѣдствіи загладить вашу вину, даже, можетъ быть, возможность служить великому дѣлу освобожденія народовъ отъ гнета капиталистовъ и укрѣпленія партіи большевиковъ, партіи Ленина — Сталина...

— Я не знаю и не чувствую за собой никакой вины передъ Родиной.

— Вы лжете, гражданинъ Акантовъ, вы ненавидѣли совѣтскій союзъ и въ своихъ рѣчахъ на банкетахъ и праздникахъ вы проповѣдывали непримиримую вражду къ партіи большевиковъ. Что же? Не было этого?..

Акантовъ молчалъ. Наконецъ, онъ тихо сказалъ:

— Моя Родина — Россія. Не совѣтскій союзъ.

— Прекрасно-съ. Это вопросъ идеологическій. Но, согласитесь, гражданинъ Акантовъ, что уже одной этой вашей, такъ открыто высказанной, ненависти и непримиримости, вполнѣ достаточно для вашего осужденія.

— Да, мы были врагами...

— Совѣтская власть уничтожаетъ своихъ враговъ, гдѣ бы они ни находились. Она не мягкотѣла и не сентиментальна. Мы родились въ крови революціи и гражданской войны, и мы выковали въ себѣ желѣзную волю и рѣшимость. Итакъ, вы признали, что вы были нашимъ врагомъ. Намъ нужно не только ваше признаніе, но и ваше полное раскаяніе. Вы должны намъ назвать тѣхъ нашихъ враговъ, кто, подло забравшись къ намъ, готовилъ намъ крушеніе.

— Я таковыхъ не знаю.

— Извольте, я подскажу вамъ. Не мечтали вы, и даже вслухъ о томъ говорили, что вамъ желательно пораженіе нашей красной арміи въ возможной войнѣ съ внѣшнимъ врагомъ, не готовили исподволь, пользуясь гостепріимствомъ иностранныхъ державъ, своей «бѣлой» арміи? Не собирали бы своихъ стрѣлковъ и не говорили имъ, что война не кончена, что вы должны побѣдить большевиковъ и изгнать ихъ

изъ Россіи? Не проповѣдывали вы мірового еврейскаго погрома, не мечтали вы, путемъ интервенціи, уничтожить счастье совѣтскихъ народовъ, раскрѣпощенныхъ и нашедшихъ настоящую свободу и счастливую жизнь подъ мудрымъ управленіемъ нашего великаго, геніальнаго вождя народовъ Сталина?.. Вы молчите... Вы думали, что, укрывшись за спину иностранной полиціи, вы можете все позволить себѣ. Вы должны же понять, что все то, что я вамъ перечислилъ, уже само по себѣ заключаетъ тягчайшую вину передъ союзомъ трудящихся. Васъ ожидаетъ высшая мѣра наказанія, но, какъ человѣкъ, прежде чѣмъ коммунистъ, я вамъ сов̀ѣтую облегчить это наказаніе чистосердечнымъ признаніемъ и откровенными отвѣтами на вопросы, которые я вамъ поставлю. Вы пріѣзжали осенью 1935-го года въ Берлинъ?

— Да, пріѣзжалъ.

— Зачѣмъ вы туда ѣздили?

— Я ѣздилъ, чтобы взять мою дочь и отвезти ее въ Парижъ, гдѣ хотѣлъ устроить ее на работу.

— Это былъ поводъ. Вы отлично знали, что ваша дочь взрослая и хорошо образованная гражданка, и что она могла просто выѣхать къ вамъ по вашему письму. Тратить для этого ваши деньги и время, которыхъ у васъ было болѣе чѣмъ недостаточно, было не нужно.

— Вы правы. Я какъ-то не подумалъ объ этомъ. Мнѣ такъ хотѣлось увидѣть мою дочь.

— Вы очень ее любите?

Акантовъ пожалъ плечами:

— Странный вопросъ. Я вдовецъ. Она единственная моя дочь...

— Ну, такъ имѣйте въ виду, что ваша дочь з д ѣ с ь. И отъ васъ будетъ зависѣть избавить ее отъ самыхъ лютыхъ мученій.

— Но... Этого не можетъ быть!.. Моя дочь... Въ Америкѣ!..

— А что, гражданинъ, вы думаете, что Америка не въ нашей власти?..

Лампа на столѣ у слѣдователя нестерпимо рѣзала глаза Акантову. Кровь стучала въ виски. Покраснѣвшій, было, при словахъ слѣдователя, Акантовъ сталъ опять смертельно блѣднымъ. Онъ былъ близокъ къ обмороку, и съ трудомъ понималъ то, что совершенно спокойно говорилъ ему слѣдователь:

— Да, точно... Поводомъ вашей поѣздки было желаніе повидать вашу дочь и увезти ее во Францію, но цѣль поѣздки была иная. Вы ѣхали въ Берлинъ по порученію генерала Миллера...

— Да ничего подобнаго! — глухимъ голосомъ сказалъ Акантовъ. — Я больше года до поѣздки въ Берлинъ не видѣлъ генерала Миллера.

Слѣдователь настойчиво продолжалъ:

— Вы пріѣхали въ Берлинъ по порученію генерала Миллера, чтобы повидаться съ товарищемъ Тухачевскимъ и сговориться съ нимъ о совмѣстныхъ дѣйствіяхъ противъ совѣтскаго союза...

— Неправда!.. Этого не было, — крикнулъ Акантовъ.

Слѣдователь продолжалъ, не повышая голоса:

— Вы видѣлись съ товарищемъ Тухачевскимъ въ гостиницѣ Кайзергофъ и тамъ...

— Но я не знаю такой гостиницы!.. Я никогда въ ней не былъ!..

— Въ гостиницѣ Кайзергофъ вы сказали товарищу Тухачевскому, что перешлете черезъ Германію триста офицеровъ для пропаганды и разложенія красной арміи...

— Да, если бы это было возможно!..

— Затѣмъ вы поѣхали съ нимъ къ однимъ нѣмцамъ, фамиліи ихъ вамъ не назвали, и тамъ вы говорили, что 180-ти тысячная армія можетъ быть создана изъ Русской эмиграціи и двинута на помощь Германской интервенціонной арміи...

— Да ничего этого не было!.. Арабскія сказки какія-то, — пробормоталъ Акантовъ. Онъ уже прозрѣвалъ истину. Его оговорили, онъ былъ нуженъ для какого-то показанія противъ Тухачевскаго.

— Такъ вотъ, гдѣ именно видѣлись вы съ нѣмцами, и не можете ли вы все-таки указать намъ ихъ примѣты? Кого изъ Русскихъ генераловъ предназначали вы на командные посты въ этой арміи?

— Клянусь вамъ, что ничего такого не было.

— Клянетесь?.. Напрасно... Ваши дѣйствія въ Берлинѣ намъ извѣстны съ часа на часъ. Вы пробыли въ Берлинѣ четыре дня. Что вы тамъ дѣлали?..

— Извольте. Сколько смогу вспомнить... Вѣдь, это было два года тому назадъ...

— Такія дѣла никогда не забываются.

— Пріѣхалъ я ночью. Я не говорю по-нѣмецки, и совсѣмъ не знаю города. Меня встрѣтила дочь и отвезла меня въ пансіонъ на Байеришеръ-плацъ, гдѣ для меня была снята комната.

— Почему вы не остановились тамъ, гдѣ жила ваша дочь, у родственниковъ покойной вашей жены?.. Это было бы проще и дешевле...

— Я не хотѣлъ ихъ стѣснить...

— Гм... Допустимъ, что и такъ. Хотя?.. богатые люди... Нѣмцы... Дальше...

— На другой день я былъ у сестры моей покойной жены и провелъ весь день въ семьѣ. Вечеромъ мы были съ дочерью на концертѣ хора Жарова.

— Вы еще днемъ были въ Зоологическомъ саду и въ Акваріумѣ. Говорите все. Вы сами видите, что намъ все извѣстно...

— На концертѣ я случайно встрѣтился съ однимъ капитаномъ... съ однимъ человѣкомъ...

— Не стѣсняйтесь, пожалуйста, говорите прямо: съ капитаномъ Лапинымъ. Онъ уже нами арестованъ...

— Да... Развѣ?.. Этотъ человѣкъ уговорилъ меня придти къ нему на слѣдующій день послушать Московское радіо... По непонятной мнѣ слабости, я согласился, и весь вечеръ, до поздней ночи, провелъ у этого человѣка, но гдѣ это было, я, по незнанію улицъ Берлина, не могу вамъ сказать...

— Это было на Розенгеймеръ-штрассе, въ двухъ шагахъ отъ вашего пансіона...

— Да, въ двухъ шагахъ...

— О чемъ вы говорили съ капитаномъ Лапинымъ?

— Я не помню... Кажется, о Москвѣ... О прошлой жизни, вспоминали Добровольческую армію...

— Говорите все.

— Я больше ничего не помню.

— Хорошо, я вамъ напомню. Жена Лапина декламировала вамъ стихи, потомъ вы говорили о вашей цѣли, о свиданіи съ Тухачевскимъ и условились на слѣдующій день поѣхать въ Кайзергофъ.

— Нѣтъ, этого не было. Да, помнится мнѣ, этотъ человѣкъ мнѣ говорилъ что-то о Тухачевскомъ, но я не поддержалъ этого разговора.

— Тѣмъ не менѣе, именно на слѣдующій день вы поѣхали въ Кайзергофъ, гдѣ и имѣли свиданіе съ товарищемъ Тухачевскимъ.

— Нѣтъ. Этого не было. Я отлично помню, что этого не было. На третій день моя дочь пріѣхала за мною утромъ и мы поѣхали сдѣлать кое-какія покупки... Моя дочь покупала себѣ платье и, кажется, еще шляпку осеннюю...

— Вы такой тонкій спеціалистъ по дамскимъ нарядамъ? Позвольте вамъ тутъ не повѣрить и уличить васъ. Если вашей дочери было нужно что-нибудь по части туалетовъ, развѣ не лучше ей было все это купить въ Парижѣ, куда она ѣхала? Кромѣ того, такія вещи она купила бы, естественно, или съ теткой своей, или съ кѣмъ-нибудь изъ подругъ, но не съ вами. Она разставалась со своими Берлинскими друзьями и ѣхала къ вамъ; естественно, что и время ей нужно было проводить съ ними, а не съ вами... Вы неудачно сочиняете, и ваши показанія не сходятся съ тѣмъ, что показала ваша дочь... и капитанъ Лапинъ.

Слѣдователь прекратилъ допросъ, и быстро писалъ на бумагѣ.

— Вотъ, — сказалъ онъ, протягивая написанное Акантову, — подпишите это заявленіе, и я попытаюсь ходатайствовать передъ судомъ о смягченіи вашей участи.

Акантовъ читалъ и глазамъ своимъ не вѣрилъ. Такая ложь была написана слѣдователемъ. На листѣ стояло:

«Я, гражданинъ Акантовъ, 56 лѣтъ, бывшій Царскій генералъ, признаю себя виновнымъ въ томъ, что поступалъ по отношенію къ совѣтскому союзу, моей Родинѣ и къ моему народу, какъ злѣйшій врагъ, интервентъ и диверсантъ, что въ мой пріѣздъ въ Берлинъ, осенью 1935-го года, я видѣлся тамъ съ товарищемъ Тухачевскимъ и сговаривался съ нимъ и неизвѣстными мнѣ нѣмцами о созданіи Германской интервенціи для сокрушенія мощи партіи большевиковъ, партіи Ленина — Сталина. Я дѣйствовалъ такъ потому, что былъ введенъ въ заблужденіе и не понималъ ни мощи совѣтскаго союза, ни тѣхъ благъ, которыя оказаны великимъ и геніальнымъ вождемъ народовъ и защитникомъ угнетенныхъ моей Родины товарищемъ Сталинымъ. Раскаиваясь въ совершонномъ мною шпіонажѣ и вредительствѣ, я обѣщаюсь весь остатокъ моей жизни посвятить на служеніе партіи Ленина — Сталина, освободившей совѣтскій народъ и создавшей ему счастливое и свободное существованіе...».

Акантовъ дочиталъ до конца. Бумага выпала изъ его рукъ и упала на столъ. Онъ въ изнеможеніи откинулся на спинку стула:

— Это пока, — сказалъ слѣдователь. — Потомъ мы составимъ для васъ письмо-обращеніе къ Русскимъ эмигрантамъ, офицерамъ и членамъ вашего объединенія, и вы подпишете его. Этимъ вы можете избѣгнуть высшей мѣры наказанія. Этимъ вы спасете и вашу дочь. Заявленіе это вы сдѣлаете на судѣ, на показательномъ процессѣ всѣхъ измѣнниковъ, шпіоновъ и диверсантовъ...

Акантовъ всталъ. Внезапно онъ почувствовалъ былую силу. Громкимъ голосомъ, глубоко возмущенный, онъ сказалъ:

— Ничего подобнаго я не подпишу и не напишу. Разстрѣливайте меня. Казните... Пытайте мою дочь, но вашей лжи я не подпишу. Тутъ ни слова правды...

— Какъ вамъ будетъ угодно-съ, гражданинъ Акантовъ... Именно, какъ вамъ угодно-съ... Зачѣмъ намъ васъ сейчасъ и разстрѣливать? Раньше вы исполните все то, что мы отъ васъ требуемъ. Разстрѣлять васъ всегда успѣемъ... Не безпокойтесь. Аппаратъ налаженъ...

Слѣдователь надавилъ кнопку электрическаго звонка, въ двери появился чекистъ. Слѣдователь, съ восторгомъ власти, грозно сказалъ:

— Въ «стоячую»!... До востребованія!..

XVI.

По ярко освѣщенному корридору Акантова сопровождали два человѣка. Одинъ — чекистъ, высокій, плотный солдатъ, съ грубымъ, мордастымъ лицомъ, одѣтый въ длинную шинель. Онъ былъ при шашкѣ и револьверѣ. Онъ былъ молодъ и крѣпокъ, самоувѣренность и самодовольство отражались на его лоснящемся, свѣже побритомъ лицѣ. Другой — старый человѣкъ, съ сѣдою щетиной давно не бритой бороды, былъ худощавъ. Его коричневато-желтое лицо, изрытое глубокими морщинами, было хмуро и недовольно. На немъ была рубашка чернаго грубаго сукна, подпоясанная ремнемъ съ револьверной кобурой. Въ рукѣ онъ несъ большую связку ключей, и шелъ впереди, чекистъ шелъ рядомъ съ Акантовымъ.

Въ пустомъ, ярко, до боли въ глазахъ, освѣщенномъ корридорѣ гулко раздавались тяжелые рѣдкіе шаги чекиста и частые, семенящіе шаги сторожа. Звенѣли шпоры, бряцали ключи на желѣзномъ кольцѣ.

У одной изъ темныхъ дверей, противъ которой стояла деревянная скамья-диванъ, остановились, и сторожъ сказалъ Акантову:

— Тебѣ, гражданинъ, раздѣться надо-ть.

— А?.. Что?.. Зачѣмъ?.. Какъ?..

— До бѣлья раздѣться надо и ботинки сними. А то не вынесешь, задохнешься. И босому ловчѣе стоять. Наши тамъ, почитай, всѣ въ однихъ трусикахъ, по-совѣтски...

Безвольно, вялыми, нерѣшительными движеніями, Акантовъ снялъ пиджакъ, жилетку, штаны, ботинки и носки...

— Снимай и рубашку, — сказалъ сторожъ, и помогъ Акантову стянуть черезъ голову рубашку. Было неудобно и зябко стоять босыми ногами на каменномъ полу корридора. Кожа на груди покрылась пупырышками и рѣдкіе сѣдые волосы приподнялись на ней.

Сторожъ открылъ дверь. На Акантова пахнуло жаркою, удушливою человѣческою вонью. При свѣтѣ, шедшемъ изъ корридора, Акантовъ увидалъ массу обнаженныхъ людей. Бѣлые и смуглые торсы, грязные подштанники и трусики, сѣдыя, черныя, русыя и лысыя головы показались страшнымъ зрѣлищемъ людского стада. Надъ ними и совсѣмъ близко, — такъ была мала комната, гдѣ они стояли, — стало видно окно, забитое досками со щелями... Такъ много было людей и такъ плотно они стояли, что Акантову показалось, что они что-то вмѣстѣ дѣлаютъ, тянутъ что-то общими усиліями. Но люди стояли неподвижно. У дверей, загораживая входъ, стояло двое: одинъ спиною, другой лицомъ въ корридоръ. Тусклый, безконечно печальный взглядъ этого человѣка, казалось, не видѣлъ корридора.

— Входи! — приказалъ чекистъ.

Въ Парижѣ, въ вечерніе часы, Акантову приходилось иногда вотъ такъ же втискиваться въ живое тѣсто людей, заполнявшее входъ въ вагонъ подземной дороги, но тамъ были какія-то пустоты, куда какъ-то бокомъ можно было протиснуться, тамъ толпа шевелилась, осаживала, давая мѣсто. Здѣсь никто не шелохнулся.

— Входи!.. Чего еще тамъ, — повелительно крикнулъ чекистъ.

— Некуда... Некуда... — раздались изъ камеры глухіе, точно не человѣческіе голоса.

— Куда тамъ входить?..

— Что вы, товарищи, дѣлаете!.. Не видите, что ли!..

— Задыхаемся. Который человѣкъ помираетъ...

— Новичокъ... Граждане, новичокъ!..

— Новости намъ разскажетъ, что на бѣломъ свѣтѣ дѣлается...

— Пустить надо...

— Да что тамъ... Все одно поставятъ, насъ не спросятъ, угодно намъ, или нѣтъ...

— Да куда ставить-то? Что болтаешь зря. Иголку, и ту не пропихнешь...

Въ толпѣ произошло движеніе. Чекистъ толкнулъ Акантова въ спину и притиснулъ его къ горячимъ голымъ тѣламъ. Было отвратительно прикосновеніе къ смрадной человѣчинѣ.

— Входи! — зарычалъ чекистъ въ ухо Акантову.

— Куда же? — сказалъ Акантовъ, чувствуя, что некуда ступить ногѣ.

— Тебѣ говорятъ, сукинъ сынъ, входи!

Чекистъ наперъ дверью на Акантова.

Живая масса подалась. Подъ ногами былъ горячій мокрый полъ. Вонь одуряла. Было больно ушибленному колѣну, упершемуся въ чье-то чужое костлявое колѣно. Чьи-то руки охватили Акантова за бока, сдавили ребра, что-то хрустнуло, кто-то вскрикнулъ и застоналъ. Акантовъ наступилъ на костлявую голую ступню, та отдернулась отъ него. Акантовъ навалился всѣмъ тѣломъ на большой мокрый животъ и вмѣстѣ съ нимъ подался вглубь вдругъ потемнѣвшей камеры. Дверь затворилась. Глухо щелкнулъ на два поворота ключъ.

Темно... Смрадъ, духота и жара такія, что у Акантова закружилась голова и потемнѣло въ глазахъ.

— Вѣдь, что дѣлаютъ, — вынимая ключъ изъ двери, сказалъ старый сторожъ. — Никогда того раньше не было. Чисто какъ со скотиной обращаются съ людьми. Я при царяхъ служилъ, такъ развѣ когда такое было?

— Чего, братокъ, скулишь? — сурово сказалъ чекистъ. — Ай, самъ туда же захотѣлъ?.. Долгое ли дѣло. Говоришь безъ разсудка. Совѣцкая власть тебѣ не прежній ряжимъ...

— Помрутъ, вѣдь, люди-то тамъ.

— А тебѣ забота... Не ты помрешь, а они... Что тебѣ?.. Али жалко ихъ стало?..

— Жалко не жалко, а все какъ-то неловко такъ поступать... Счастливая жизня!..

— Такъ это же, братокъ, враги народа... Старикъ, что привели, ну, чистая контра. И примѣтилъ, аль нѣтъ, крестъ на емъ виситъ... Самъ понимашь, какая это гадина...

— Кто знаетъ, — вздыхая, сказалъ сторожъ, — гдѣ она, правда то?..

— Чего, старина, забузилъ. Сполняй, что прикажутъ, не твой приказъ, не твой и отвѣтъ.

Старикъ вздохнулъ, и пошелъ по корридору. Чекистъ шелъ рядомъ съ нимъ.

— Твое дѣло молодое, — сказалъ старикъ, — а мнѣ?.. Глаза мои не видѣли бы того. Передъ Богомъ отвѣчать, вѣдь, придется...

— Э... Заскулилъ, братокъ... И съ чего?.. Ну, хорошо: я — есть я. Я, можетъ, и смолчу про твои неподобныя рѣчи, а ну другой кто услышитъ?.. Партіецъ?.. Нынче и нашего брата, коммуниста, почемъ зря хватаютъ. Пощады никому не даютъ... Я видалъ, братокъ, какъ маршала Тухачевскаго разстрѣливали. Ирой гражданской войны! Заграницу ѣздилъ!.. Маршалъ совѣцкаго союза и орденоносецъ, а тоже, приставили къ стѣнкѣ, тюкнули въ затылокъ, и нѣтъ тебѣ ничего, ни маршала, ни какихъ прошлыхъ заслугъ его передъ народомъ...

Старый надзиратель шелъ молча. Двоили его шаги съ мѣрнымъ и рѣдкимъ шагомъ чекиста, звенѣли въ рукѣ ключи. У входа въ караульное помѣщеніе старикъ пріостановился и, тихо, точно для себя одного, сказалъ:

— Ну, чисто — скотина!..

XVII.

— Гдѣ я? — спросилъ Акантовъ.

Потъ лилъ съ него градомъ, и въ этомъ было его спасеніе. Дыханія не хватало, и было отвратительно вдыхать густой и жаркій, нестерпимо вонючій воздухъ.

Въ темнотѣ черными силуэтами намѣчались головы стоящихъ людей, слышались тяжелые вздохи, сопѣніе и шопотъ.

— Вы тамъ, о чемъ сказано: «К т о н е б ы л ъ, — т о т ъ б у д е т ъ, а к т о б у д е т ъ, — т о т ъ н е з а б у д е т ъ». Слыхали когда-нибудь это?..

— Нѣтъ, никогда не слышалъ.

— Откуда тогда вы, что не знаете того, что на стѣнахъ совѣтскихъ тюремъ арестантами начертано... Здѣсь это и малыя дѣти знаютъ.

— Я изъ-за границы. Изъ Франціи.

— Эмигрантъ, эмигрантъ, — гуломъ понеслось по камерѣ. — Послушаемъ, что онъ разскажетъ.

— Какъ же вы сюда-то попали. Возвращенецъ, что ли?

— Меня обманомъ затащили въ западню и увезли...

— Такъ... такъ... Вѣдь, мы, гражданинъ, кто вы такой, не знаемъ, про заграницу ничего, окромя всякаго вздора, не слышали. Намъ говорятъ, что тамъ люди съ голода дохнутъ, что тамъ людей хватаютъ и уничтожаютъ. Намъ и въ газетахъ, и по радіо, твердятъ, что только у насъ довольство и сытость, и счастливая жизнь свободнаго народа, не знающаго эксплоатаціи...

— Какая у насъ свобода, сами видите теперь!

— Самое большое достиженіе большевицкой власти, это — обращеніе людей въ убойный скотъ.

— Убойный скотъ? — послышался голосъ изъ угла. — Да развѣ какой хозяинъ набьетъ такой убойный скотъ?.. Убойный скотъ кормили, чтобы онъ въ вѣсѣ не потерялъ, а насъ...

— Постойте, гражданинъ, послушаемъ, что намъ разскажутъ про заграницу.

Въ полномъ мракѣ, не было видно, кто говоритъ. Въ душномъ, спертомъ воздухѣ голоса были глухи, говорили не громко.

Акантовъ коротко разсказалъ всю свою исторію, какъ работалъ онъ на заводѣ, какъ бѣдствовалъ, какъ попалъ въ банкъ, какъ обманомъ увезли его въ какой-то совѣтскій

домъ въ Парижѣ, и съ того времени онъ потерялъ счетъ днямъ.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, что у насъ теперь? — спросилъ кто-то.

— Кто же тутъ упомнитъ...

— Астапова спросите. Онъ недавно здѣсь... Иванъ Лукичъ, когда вы къ намъ попали?

— Да, помнится, 1-го октября, три дня тому назадъ...

— А меня увезли 23-го сентября; видите, сколько времени я пространствовалъ.

— Да какъ тутъ и угадать-то время, — сказалъ кто-то изъ угла, судя по говору, изъ простыхъ, — три раза днемъ оправляться выводятъ, да разъ супъ совѣтскій подаютъ, вотъ и все наше счисленіе времени. А такъ все одно: днемъ ли, ночью ли, все мракъ одинъ кромѣшный...

— Вотъ, вы, гражданинъ, — раздался голосъ совсѣмъ подлѣ Акантова, — вы, все-таки, были по нашимъ-то, совѣтскимъ понятіямъ, контръ-революціонеръ, слуга стараго режима, значитъ, по нашему, врагъ народа...

— Ну, какой они врагъ народа, — перебилъ кто-то изъ угла, — человѣкъ на заводѣ простымъ рабочимъ работалъ. Уже чего же проще...

— Для нихъ все одно, кто старый человѣкъ, кто служилъ при царяхъ, онъ — врагъ народа... А я!.. Я стараго ничего даже и не помню. Я совсѣмъ еще маленькимъ былъ, какъ случилась революція и палъ царизмъ. Ничего стараго, прежняго, я даже и не знаю, не слыхалъ и не видалъ. Я выросъ при новомъ, стопроцентный коммунистъ, и при томъ же и летчикъ. Мнѣ и при большевикахъ жизнь улыбалась. Природа надѣлила меня силою и красотою. Женщины меня любили. И я любилъ ихъ, а больше того любилъ я свое летное дѣло. Бывало, взлетишь въ небесную синеву: кругомъ необъятное небо, внизу земля, какъ разостланная карта, не видно людей. И кто я тогда... Говорятъ, что тамъ былъ какой-то Богъ, былъ царь, — я самъ тогда и Царь, и Богъ... Служилъ я не за страхъ, а за совѣсть. Ну, и меня отличали... Мнѣ совѣтская власть дачу подъ Москвой подарила, автомобиль

свой у меня былъ. Счастливая жизнь была!.. Казнили тутъ одного виднаго коммуниста. Оболгали его. Я тогда на судѣ сказалъ, что я думаю, сказалъ, что, если такихъ людей казнить будутъ, такъ никто и служить больше не станетъ. Сказалъ, что хорошихъ слугъ совѣтскаго союза надо беречь и холить. Меня арестовали на другой же день. Чекистскій слѣдователь вздумалъ хамить со мною. Человѣкъ я горячій, схватилъ чернильницу и разбилъ ею голову слѣдователю. Ну, все-таки большой я былъ человѣкъ, и въ нашемъ военномъ воздушномъ флотѣ такихъ знатоковъ, какъ я, одинъ-два и обчелся. Голыми руками меня не возьмешь... Заступились за меня, освободили. Только не надолго. Нами править, вѣдь, не партія, не товарищъ Сталинъ, а Чека... Вдругъ, слышу: Туполева арестовали. Понимаете, Туполева!.. Гордость нашу. А я всегда на его аппаратахъ леталъ, «АНТ», любилъ я его крѣпко. И вдругъ — его арестовали... А тамъ и пошли аресты и разстрѣлы моихъ начальниковъ, героевъ моихъ: Тухачевскаго, Якира, героя гражданской войны, на его подвигахъ насъ воспитывали, Уборевича, Корка, Путну, Примакова, наконецъ, и моего начальника, руководителя Осоавіохима, Эйдемана, Фельдмана... А тамъ Гамарникъ застрѣлился... Всю головку красной арміи сняли... Человѣкъ я горячій, выпить, при томъ же, въ хорошей компаніи люблю... Высказался... Въ чистую, что на сердцѣ залегло, все такъ и выложилъ передъ друзями-пріятелями... Ну... Донесли, конечно... Вотъ тутъ-то и добралась Чека до меня. И сразу сюда, въ стоячую камеру... На пытку... Вторую недѣлю стою...

— Что же это за стоячая такая камера? — спросилъ Акантовъ.

— А вотъ это и есть, гдѣ вы теперь находитесь, — сказалъ летчикъ.

Сбоку Акантова, отъ стѣны, кто-то, должно быть, старый человѣкъ, сказалъ, шепелявя беззубымъ ртомъ:

— Вы слышали про средневѣдовыя пытки, про дыбу, про выворачиваніе суставовъ, про истязанія плетьми, про желѣзную женщину съ гвоздями; можетъ быть, когда приходилось вамъ и въ музеяхъ эти самые снаряды видѣть?.. А то, мо-

жетъ быть, читали романъ Октава Мирбо «Садъ пытокъ»?.. Читали?..

— Нѣтъ, я романовъ никогда не читаю.

— А жаль... жаль... Тамъ такія страшныя китайскія пытки описаны, читать жутко... Такъ тутъ много ужаснѣе. Тутъ цѣлая комиссія чекистовъ съ евреями-врачами работала, изобрѣтала такія пытки, чтобы совершенно поработить человѣка, сдѣлать его просто орудіемъ своей власти. Вотъ, между прочимъ, и изобрѣли эту пытку стояніемъ... Видите, какъ насъ тутъ набили сюда, что и сѣсть никакъ нельзя... Жара... Воздухъ ужасный. Ноги болятъ и пухнутъ. И такъ, вотъ, и стоимъ: кто двѣ, кто три недѣли; вонъ, профессоръ четвертую недѣлю стоитъ, совсѣмъ плохъ сталъ. И никто ничего не знаетъ, почему, за что, что кого ожидаетъ, кому какое дѣло пришьютъ...

— Что ожидаетъ-то? Конечно, смерть... Кто отсюда выходилъ?..

— Ну, ничего еще неизвѣстно...

— А потомъ, значитъ, къ допросу. Значитъ, скажи, что имъ нужно: выдай своихъ близкихъ, друзей, товарищей, или опять сюда... Видите: научно поставлено...

Должно быть, свѣтать начинало. Стали просвѣчивать щели между досокъ, закрывавшихъ окна, и въ мутномъ этомъ свѣтѣ Акантовъ увидѣлъ, что въ малой камерѣ, со стѣнами, по которымъ текла вода, стояло человѣкъ около шестидесяти.

— Граждане, — сказалъ кто-то изъ середины. — Профессору опять дурно. Подвинь1есь немного, мы его къ окну переставимъ...

Акантовъ увидѣлъ, какъ, съ неимовѣрными усиліями, люди, какъ вещь, передвинули полуголаго истощеннаго старика съ сѣдыми волосами и сѣдой отросшей бородой, и приставили его къ стѣнѣ подъ окномъ. У старика голова была опущена, глаза закрыты. Лицо его было такъ блѣдно, что можно было думать, что онъ уже умеръ.

— Все вѣтеркомъ обвѣетъ, можетъ быть, и еще разъ отойдетъ...

Старикъ вздохнулъ и пріоткрылъ свѣтлые глаза. Равнодушнымъ, ко всему безучастнымъ, взглядомъ онъ осмотрѣлся и снова закрылъ глаза.

— Видите, какъ... — шепнулъ Акантову тотъ, кто разсказывалъ про «Садъ пытокъ» Мирбо.

Дверь въ корридоръ растворилась, въ просвѣтѣ стоялъ молодецъ въ черной рубахѣ, ражій, толстомордый, круглолицый, румяный, съ наглыми котовьими глазами:

— Гражданчики, пожалуйте, опростаться кому нужно...

XVIII.

Акантовъ съ изумленіемъ и ужасомъ наблюдалъ, до какого оскотиненія можно довести людей. Молчавшая толпа вдругъ загомонила довольными голосами. Послышались смѣшки, неприличныя шутки. Всѣ задвигались и стали выходить въ корридоръ. Человѣкъ десять чекистовъ, съ револьверами въ рукахъ, ихъ ожидали. Напрасная предосторожность. Эти изможенные, измученные люди и не думали о побѣгѣ или сопротивленіи. Съ довольными лицами, они торопились выходить изъ камеры. Они размахивали руками, расправляя суставы; одни шли какимъ-то пѣтушинымъ шагомъ, высоко поднимая ногу въ колѣнѣ, другіе переступали часто ногами, будто танцуя, каждый торопился сдѣлать на протяженіи тѣхъ ста шаговъ, что отдѣляли камеру отъ уборной, возможно больше движеній.

Въ камерѣ остался только старый профессоръ: онъ продолжалъ стоять, прислонившись къ стѣнѣ подъ окномъ, потомъ, лишившись опоры въ сосѣдяхъ, заскользилъ ногами и упалъ на грязный, мокрый полъ, покрытый нечистотами... Длинное худое тѣло глухо ударилось о камни. Пришедшій съ метлой сторожъ потрогалъ старика, и побѣжалъ за людьми, чтобы прибрать умершаго.

Въ уборной мыться не полагалось. Да и времени на то не было. Но можно было посидѣть нѣсколько минутъ. Акантовъ, простоявшій всего только полъ ночи, еще не зналъ

въ полной мѣрѣ радости дать отекшимъ, распушимъ ногамъ съ надутыми синими жилами возможность отдохнуть. Но онъ видѣлъ наслажденіе на лицахъ сидящихъ людей.

Все на свѣтѣ относительно: и, послѣ нѣсколькихъ недѣль стоянія въ тѣснотѣ, эти нѣсколько минутъ сидѣнія въ свѣтломъ помѣщеніи давали радость.

Это была жидовская школа Ленина — Сталина. Она была тѣмъ ужасна, что, доводя человѣка до нестерпимыхъ лишеній и физическихъ страданій, заставляла радоваться такимъ пустякамъ, какъ возможность посидѣть нѣсколько минутъ... Легко было такимъ людямъ устраивать веселую и счастливую жизнь.

И особенно наслаждался летчикъ. Теперь, въ свѣтлой, обширной уборной, Акантовъ разглядѣлъ его.

Красавецъ мужчина!.. Двѣ недѣли пытки не сломили его. Румянецъ сползъ съ его щекъ, но все еще были онѣ полны, и радость жизни сверкала въ большихъ черныхъ глазахъ. Тѣло было бѣлое. Упруги были сильныя, красивыя ноги. Какъ тяжело, вѣроятно, было летчику сносить эту пытку, грязь, лишенія и не чистыя прикосновенія. Какъ тосковалъ онъ по волѣ!.. Сидя, протянувъ длинныя стройныя ноги, онъ любовался ими, и довольная усмѣшка была на его красивомъ, поросшемъ темными усами и бородой лицѣ.

— Ну, гражданчики, — прервалъ отдыхъ сторожъ, — время кончать, вставать пора... Сейчасъ вамъ подамъ и кипяточку попить, желудки пополоскать...

Когда подходили къ своей камерѣ, встрѣтили двухъ сторожей, выносившихъ тѣло профессора. Шедшій рядомъ съ Акантовымъ, арестантъ сказалъ:

— Почти каждый день кто-нибудь кончится такъ. Трудно выдерживать такую пытку, да еще и старому человѣку...

Другой сказалъ:

— Я тридцать пятый день стою. Ничего, крѣплюсь...

Акантовъ посмотрѣлъ на говорившаго. У того было бѣлое съ зеленоватымъ оттѣнкомъ лицо трупа, обвисшія, дряблыя щеки, неровно поросшія желтой щетиной, въ крупныхъ

сѣрыхъ морщинахъ, глубоко запавшіе въ глазницы, глаза горѣли мрачнымъ непогасающимъ огнемъ желѣзной воли.

— За что васъ такъ долго держатъ? — спросилъ Акантовъ.

— Ихъ спросить надо.

И, помолчавъ, тихо добавилъ:

— Въ Бѣлой арміи когда-то противъ нихъ сражался. Дознались. Донесли, сволочи... Теперь пытаютъ, кто еще здѣсь со мною былъ изъ бѣлогвардейцевъ...

Круглолицый, веселый сторожъ роздалъ каждому по куску сахара и по полфунта плохо выпеченнаго чернаго ржаного хлѣба, потомъ далъ по кружкѣ тепловатой воды.

Полутемная камера наполнилась звуками жеванія и вздохами.

Люди дышали въ лицо Акантову смраднымъ, нечистымъ дыханіемъ. Иные жадно глотали, другіе жевали медленно, переворачивая липкіе комки хлѣба отъ одной щеки къ другой, запивали хлѣбъ глотками сладковатой воды и мычали отъ удовольствія.

«Да, подлинно, скотъ», — думалъ Акантовъ, и самъ себя ловилъ на томъ, что наслаждается жвачкой скверная хлѣба, гдѣ то и дѣло на зубы попадала то соломина, то камешекъ, то клочокъ тряпки.

Послѣ ѣды, долго, часами стояли молча, въ полудремотѣ, тѣсно касаясь одинъ другого, и все гуще и тяжелѣе становился воздухъ... Иные дремали съ полузакрытыми глазами, другіе что-то шептали, и жалкое, безсмысленное выраженіе было на ихъ лицахъ, слабо освѣщенныхъ дневнымъ свѣтомъ сквозь щели между досокъ.

Такъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока не услышатъ стука сапогъ за дверью, не отворится дверь, не появится красная рожа и не крикнетъ весело, ободряюще, съ московскимъ говоркомъ, человѣкъ съ круглыми котовьими глазами:

— Гражданички, пожалуйте, опростаться кому нужно...

Послѣ полудня и подъ вечеръ въ глиняныхъ чашкахъ роздали жижу съ капустой и отрубями и, какъ будто, съ кру-

пой. Отъ жижи несло помоями. На ночь дали горячей воды и выводили въ уборную.

— Вродѣ, какъ собакъ, насъ водятъ, — сказалъ весь заросшій бородой крестьянинъ.

XIX.

Дни шли за днями. Акантовъ потерялъ имъ счетъ. Онъ чувствовалъ, какъ переставала думать, вспоминать, мечтать его голова, какъ наступало опрощеніе, оскотиненіе. Уже не было противно прикосновеніе къ чужимъ грязнымъ тѣламъ, не было стыднымъ, когда чужія ноги напирали на него, или, какъ, вдругъ, гдѣ-нибудь въ толпѣ, журчала струя и теплая влага заливала босыя ноги. Никто ничего не скажетъ. Только кто-нибудь вздохнетъ тяжело... тяжело...

Акантовъ видѣлъ, какъ каждый день утромъ выносили кого-нибудь задохнувшагося въ жаркой вони. Свободнѣе отъ этого не становилось. На мѣсто вынесеннаго, являлись новые кандидаты, новые пытаемые. Новичковъ разспрашивали, что новаго дѣлается въ Москвѣ. Но новаго ничего не было, а если что и было, такъ о томъ никто не зналъ. Передадутъ какую-нибудь остроту насчетъ совѣтской власти, но и острота не произведетъ впечатлѣнія. Тутъ люди научились ничего не ждать и ни на что не надѣяться.

Иногда, — больше изъ новыхъ, — попытаются пѣть, но пѣсня сорвется въ рыданіе, и тогда, послѣ, надолго замолчитъ стиснутое между каменныхъ стѣнъ людское стадо.

Еще однажды увидалъ Акантовъ, какъ вдругъ, когда выводили утромъ въ уборную, летчикъ кинулся на колѣни передъ чекистомъ, обнималъ его ноги, цѣловалъ руки, и, рыдая, кричалъ:

— Отпустите меня... Я партіецъ... Я коммунистъ... Я все сдѣлаю, что вы мнѣ прикажете. Я ни слова ни противъ кого не скажу...

Его оттащили силой. Черезъ два дня его увели, и больше онъ не возвращался. Между пытаемыхъ прошелъ страшный слухъ: «летчика разстрѣляли»...

Такъ, по приблизительному подсчету Акантова, онъ простоялъ двѣ съ половиной недѣли.

Однажды, послѣ вечерняго кипятка, его вызвали:

— Гражданинъ Акантовъ, на допросъ...

Ему дали одѣться, и тюремный парикмахеръ побрилъ его. Ко всему этому, какъ и къ самому допросу, Акантовъ отнесся равнодушно. Мозгъ былъ усыпленъ, голова не работала.

Акантова вели по длиннымъ, ярко освѣщеннымъ, чистымъ, даже нарядным корридорамъ, и странными казались ему свѣтъ, чистота и легкость прохладнаго осенняго воздуха, шедшаго черезъ открытыя форточки, послѣ темноты, грязи и удушливой вони въ ихъ стоячей камерѣ, но Акантовъ даже не радовался этому, онъ отупѣлъ и былъ пришибленъ.

Вдругъ въ корридорѣ, изъ-за не плотно притворенной двери, раздались стоны, и женскій голосъ съ отчаяніемъ воскликнулъ:

— Папа!.. Папочка!.. Сознайтя во всемъ... Скажи все, что отъ тебя требуютъ... Меня здѣсь мучаютъ изъ-за тебя...

Акантовъ кинулся къ двери, но сопровождавшій его чекистъ грубо схватилъ его руку и съ силой втолкнулъ въ дверь сосѣдней камеры....

Та же комната, гдѣ снимали съ него первый допросъ. Тотъ же слѣдователь, со слащавой улыбкой на лицѣ, за столомъ. Точно ничего не было, никакихъ пытокъ, и только вчера былъ самый допросъ.

— Садитесь, пожалуйста, вы, должно быть, такъ устали стоять...

Голосъ слѣдователя тихъ и вѣжливъ. Онъ полонъ будто даже и сочувствія къ Акантову.

Странно и невыразимо пріятно ощущеніе сидѣть на стулѣ, опираясь на спинку. Въ кабинетѣ ровная теплая температура и слегка пріятно пахнетъ табачнымъ дымомъ. Акантовъ собиралъ свои мысли, чувствовалъ, что ему нужно сказать нѣчто очень важное, и не могъ вспомнить, что именно нужно ему сказать. Наконецъ, въ головѣ прояснѣло, и Акантовъ сказалъ срывающимся хриплымъ голосомъ:

— Зачѣмъ вы мучаете мою дочь?.. Это моя дочь тамъ кричала?..

— А, вы слышали? — спокойно сказалъ слѣдователь, и протянулъ Акантову портсигаръ. — Возьмите, курите, пожалуйста... Какъ вы измѣнились за это время... Родная мать не узнала бы васъ...

— Раньше — моя дочь, — прохрипѣлъ Акантовъ, отстраняя портсигаръ слѣдователя.

— Ваша дочь вполнѣ въ нашей власти. И курите, пожалуйста, не стѣсняйтесь...

Акантовъ взялъ папиросу, слѣдователь поднесъ ему спичку. Акантовъ закурилъ, и вдругъ мысли о дочери исчезли, растворились, и было только одно наслажденіе: курить и курить...

— Такъ въ чемъ же дѣло? Что мнѣ нужно вамъ показать? — между затяжками папиросой, говорилъ Акантовъ. — Я вижу, что вы добрый слѣдователь. Я хочу даже думать, что вы желаете мнѣ добра. Что же я долженъ сказать вамъ?

— Только и всего, что откровенно и подробно разсказать, съ кѣмъ вы видѣлись и что говорили въ бытность вашу въ Берлинѣ?..

Будто желѣзные обручи туго стянули лобъ Акантова... Будто ихъ скручивали стальными винтами: еще одинъ поворотъ, и лопнетъ черепъ...

— Я ничего не помню... Ничего не знаю... По чистой совѣсти, я ничего не могу вамъ сообщить...

— По чистой совѣсти?.. Допускаю, что вы ослабѣли и могли многое позабыть. Мы помнимъ все за васъ. Извольте подписать то, что я вамъ набросалъ, и все будетъ ладно...

— Какъ я могу подписать то, что не соотвѣтствуетъ дѣйствительности? Зачѣмъ я буду брать на себя показывать...

— Я понимаю... Вы устали... Это и правда, что такъ трудно стоять цѣлыми недѣлями... Я вамъ продиктую, что нужно. Вы подпишете диктовку, и этого будетъ достаточно. Мы пошлемъ ваше показаніе, куда надо..

— Хорошо, — съ угрозой въ голосѣ, сказалъ Акантовъ.

— Давайте мнѣ бумагу. Я напишу все, что я видѣлъ, что я слышалъ здѣсь, и все, что я пережилъ за эти дни. Я опишу всю вашу систему пытокъ, всю вашу дьявольскую ложь, все ваше чисто-еврейское издѣвательство надъ человѣкомъ. И тогда — ха-ха-ха!.. — Фотографируйте, посылайте!.. Ха-ха-ха!.. Напишу и про то, что вы похитили мою дочь... Пусть прочитаютъ про правду заграницей. Тамъ тоже не мало вашей лжи пущено... Ха-ха-ха!..

Акантовъ дико смѣялся. Онъ никогда въ жизни такъ не смѣялся. Ему самому страшно было своего смѣха.

— Напрасно смѣетесь, — строго сказалъ слѣдователь. — Смѣяться будете послѣ. Не думайте, что все такъ и кончено для васъ. У васъ, оказывается, нервы крѣпче, чѣмъ мы думали... Ну, да и то — офицеръ.... ц а р с к о й арміи, — съ издѣвательствомъ сказалъ слѣдователь. — Войну повидали, такъ что вамъ!.. Можемъ вамъ и больше показать, чѣмъ то, что вы повидали...

Слѣдователь досталъ изъ стола фотографіи и, протягивая ихъ Акантову, сказалъ:

— Бросьте вашъ отвратный, идіотскій, бѣлогвардейскій смѣхъ и посмотрите на то, что мы можемъ и для васъ примѣнить...

На фотографіи, не очень, впрочемъ, отчетливо снятой, не разобрать было: съ натуры снята она или съ рисунка, былъ голый человѣкъ. Лицо въ несказанной мукѣ, полуопущенные глаза налиты нечеловѣческимъ страданіемъ, руки скрючены, пальцы точно въ судорогахъ. Человѣкъ стоитъ въ небольшомъ помѣщеніи, полномъ огромныхъ и, какъ видно, голодныхъ крысъ. Онѣ впились въ человѣка, онѣ висятъ на груди и на ногахъ, и кровь течетъ изъ-подъ ихъ острыхъ зубовъ. Онѣ, какъ черная грубая сѣть, накинутая на человѣка. Вездѣ слѣды раненій, прогрызенная кожа, кровавые потоки. Полъ забросанъ трупами крысъ. Видно, что человѣкъ боролся съ ними, душилъ ихъ, перегрызалъ имъ горла: его ротъ въ крови, но крысъ было такъ много, что онъ изне-

могъ въ борьбѣ и отдался имъ. Крысы овладѣли человѣкомъ. Мелкіе зубы, маленькіе и острые когти прогрызали и процарапывали кожу, добирались до мяса, до внутренностей. Въ животѣ сквозила черная дыра и крысиный задъ и длинный, прямо висящій хвостъ торчали изъ нея...

— Видали?.. Поняли?.. Усвоили?.. И это намъ вполнѣ доступно... И никакая сила міра не можетъ намъ помѣшать все это съ вами продѣлать... Пожалуйте обратно карточку... Этой пытки еще никто не выдерживалъ...

Странная вещь: Акантовъ смотрѣлъ вполнѣ равнодушно на карточку, такъ невѣроятной казалась она ему, такъ невозможной, такъ все тѣлесное въ немъ было притуплено, что онъ, какъ будто, даже и не понялъ того, что ему было показано.

— Что? Не страшно?..

Акантовъ молчалъ. Тупая усмѣшка была на его лицѣ.

— Тогда посмотрите вотъ на это.

На карточкѣ, поданной слѣдователемъ, была видна только голова человѣка, стоящаго въ водѣ. Глаза были выпучены, ужасъ застылъ въ нихъ. Сверху, упадая подлѣ головы, лилась тонкая струя воды.

— Вамъ не понятно, почему человѣкъ такъ ужасенъ; извольте, я поясню вамъ: это — профессорская, научная выдумка. Помѣщеніе закрыто. На фотографіи это не видно. И вотъ, въ помѣщеніе медленной струей, непрерывно и ровно, льется вода. Она покрыла ноги, поднялась до колѣнъ, выше и выше, залила грудь, подошла къ головѣ. Помѣщеніе наглухо закрыто. Воздуха становится все меньше и меньше, вода вытѣсняетъ воздухъ и льется, льется... Вы понимаете, человѣкъ задохнется раньше, чѣмъ захлебнется водой... Не глупо придумано?.. Психіатры работали... Смерть приближается медленно и неизбѣжно... тонкой струей... и человѣкъ видитъ, какъ подходитъ къ нему конецъ. Психіатры говорили, что это страшнѣе электрическаго стула американскаго, ну да намъ данъ заказъ отъ партіи: догнать и перегнать Америку! Эта ванна построена на точномъ изученіи нервной системы и мозга человѣка... Такъ вотъ-съ, предупреждаю васъ: если

вы не покажете всего того, что я вамъ сказалъ, васъ постигнетъ одна изъ этихъ пытокъ, а, можетъ быть, и обѣ вмѣстѣ: сначала одна, потомъ другая...

— А вы знаете, — тихо сказалъ Акантовъ, и слѣдователю страшно стало его тихаго и ровнаго голоса. — Вы знаете: все это — пустяки... Понимаете... передъ вѣчностью-то... пустяки!.. Пытайте меня, а я въ Бога увѣрую по настоящему... По настоящему...

— Э!.. вотъ, что, — недовольнымъ голосомъ сказалъ слѣдователь, — вотъ, куда поѣхало... Ну, тогда...

Онъ вызвалъ чекистовъ и, глядя въ глаза Акантову своими холодными свѣтлыми глазами, безстрастно сказалъ:

— Отправьте гражданина въ семнадцатый номеръ!..

XX.

Въ семнадцатомъ номерѣ было слишкомъ много свѣта и было нестерпимо жарко. Бѣлыя стѣны были мокры отъ пара, изъ невидимыхъ отверстій проступавшаго въ камеру... Яркій, рѣзкій свѣтъ сильныхъ лампъ съ рефлекторами лился отовсюду. Некуда было отъ него укрыться. Акантовъ былъ одинъ въ камерѣ. Было такъ жарко, что Акантовъ поспѣшилъ раздѣться до нага.

Свѣтъ, тепло, сырость, одиночество первую минуту показались даже пріятными послѣ стоячей камеры. И воздухъ, парной и душный, былъ все-таки чистый. Тѣло Акантова покрылось испариной, какъ на банномъ полкѣ, грязь сходила съ него. Вши выпаривались... Но это пріятное ощущеніе продолжалось очень не долго. Свѣтъ сталъ утомлять, раздражать. Хотѣлось крикнуть: «Погасите свѣтъ!»... А свѣтъ заливалъ Акантова со всѣхъ сторонъ. Акантовъ схватилъ пиджакъ и накинулъ его на голову. Сейчасъ же дверь отворилась, вошелъ чекистъ и отобралъ отъ Акантова все его платье и бѣлье... Акантовъ ложился на полъ, корчился подъ свѣтомъ, и чувствовалъ, что свѣтъ прожигаетъ его затылокъ, давитъ на мозгъ. Акантовъ садился въ уголъ. Отраженный отъ мокрыхъ стѣнъ, свѣтъ не давалъ покоя. Онъ былъ вездѣ.

Свѣтъ и тишина.. Мертвая, ни единымъ шорохомъ не пробужденная тишина...

Время шло. Акантова выводили въ уборную, приносили ему теплую воду въ кружкѣ, похлебку, воняющую помоями, черствый хлѣбъ. Его какъ-то питали. И, послѣ этихъ короткихъ мгновеній, все тотъ же свѣтъ, тишина и одиночество..

Дни и ночи; сна не было; невозможно было спать при этомъ свѣтѣ. Одолѣвала бездумная дремота. Акантовъ примащивался на голомъ полу, чтобы заснуть по настоящему, — невидимая рука направляла источникъ свѣта ему въ глаза, и Акантовъ вставалъ въ неописуемой мукѣ томленія...

И вдругъ, по истеченіи нѣкотораго времени, а сколько ушло времени, Акантовъ не могъ дать себѣ отчета, свѣтъ исчезъ, и такая же полная, абсолютная темнота, какъ былъ полный, абсолютный свѣтъ, окружила Акантова. И казалось, что, вмѣстѣ съ свѣтомъ, исчезла и тишина. Шорохи, шопоты, стоны стали слышаться въ кромѣшномъ мракѣ наглухо закрытой камеры, и стало страшно до потери сознанія. И отъ страха было уже не до сна. И опять такъ прошло не мало времени.

Вдругъ наверху показался зеленый свѣтъ. Точно кто-то огромный, наполнявшій всю камеру, заглянулъ въ нее единственнымъ зеленымъ глазомъ и подмигнулъ съ лукавой усмѣшкой.

Акантовъ сидѣлъ въ углу и не могъ оторвать глазъ отъ зеленаго огонька. Онъ разглядѣлъ, и понялъ, что это зеленая электрическая лампочка, устроенная у потолка, но внутренними глазами видѣлъ другое, и это другое было ужасно. Онъ видѣлъ глазъ дьявола, мысленно дорисовывалъ себѣ очертанія того громаднаго, кто смотрѣлъ на него зеленымъ глазомъ.

Оно было черное и косматое. Оно глядѣло на Акантова, и Акантовъ чувствовалъ себя въ его власти.

И такъ прошло еще время. Можетъ быть, нѣсколько минутъ, можетъ быть, часы. И вдругъ, отъ мѣста, гдѣ былъ зеленый глазъ, раздался мѣрный голосъ. Кто-то отчетливо, безстрастно, тономъ спикера радіо, говорилъ:

— Я признаю себя виновнымъ въ томъ, что, осенью 1935-го года, я пріѣхалъ изъ Парижа въ Берлинъ со спеціальной цѣлью свидѣться съ товарищемъ Тухачевскимъ и договориться съ нимъ и нѣмецкими генералами, фамилій которыхъ я не помню, объ интервенціи въ Союзъ совѣтскихъ соціалистическихъ республикъ. Мы видѣлись три раза въ гостиницѣ Кайзергофъ, и я обѣщалъ, отъ имени генерала Миллера, что Русская эмиграція выставитъ 180-ти тысячную армію. Я признаюсь въ томъ, что я дѣйствовалъ, какъ самый злѣйшій врагъ моего народа, какъ шпіонъ, интервентъ и диверсантъ, предающій капиталистамъ интересы трудового пролетаріата... Я знаю, что мнѣ нѣтъ снисхожденія, и я требую себѣ высшую мѣру наказанія, и почту смерть лишь справедливымъ возмездіемъ за все, мною содѣянное...

Потомъ мгновеніе молчанія, полнаго шороховъ, шелеста, стоновъ и шопотовъ, и снова тотъ же ровный голосъ, съ такой же настойчивостью, четко выговаривая каждое слово, начиналъ:

— Я признаю себя виновнымъ въ томъ, что осенью 1935-го года, я пріѣхалъ въ Берлинъ...

Такъ продолжалось десятки, сотни разъ. Проговоритъ признаніе, помолчитъ съ молъ минуты, и снова начнетъ... Будто тамъ была заведена наговоренная грамофонная пластинка.

Зеленый глазъ подмигиваетъ, черное чудовище ухмыляется изъ кромѣшной тьмы, качаетъ головою и точно приговариваетъ:

— Что, братъ, попался... Признаешь теперь свою вину?..

Глазъ исчезъ... Было темно и теперь совершенно тихо. Жара стала меньше. Акантовъ растянулся въ полномъ изнеможеніи и закрылъ глаза. Засыпая, онъ, точно въ дѣтствѣ затверживалъ урокъ, все повторялъ: «Я признаю себя виновнымъ въ томъ, что...», онъ договаривалъ все до конца, боясь забыть, пропустить какое-нибудь слово или сбиться...

Такъ бывало съ нимъ тогда, когда ему приходилось говорить рѣчи въ собраніи. Придумаетъ рѣчь, и потомъ на

ночь, и, когда ѣхалъ по подземной дорогѣ, на собраніе, все повторялъ въ умѣ первыя фразы доклада или рѣчи.

И съ этимъ «я признаю себя виновнымъ», онъ, наконецъ, заснулъ глубокимъ, тяжелымъ сномъ.

Проснулся Акантовъ отъ того, что его грубо растолкали и оторвали отъ сна. Сердце часто билось и такъ его щемило, что Акантовъ схватился за него.

Чекистъ бросилъ Акантову его бѣлье и платье, и крикнулъ:

— Одѣвайся!..

Черезъ дверь мутный свѣтъ зимняго дня вливался въ камеру. Въ корридорѣ стоялъ нарядъ чекистовъ въ шинеляхъ и шапкахъ.

Акантовъ ничего не соображалъ, ни о чемъ не думалъ, но въ умѣ непрерывно, точно тамъ разматывалась безконечная лента съ написанными на ней словами, повторялъ:

— Я признаю себя виновнымъ въ томъ, что, осенью 1935-го года...

Онъ договаривалъ въ умѣ все длинное признаніе и тогда, когда шелъ по свѣтлому и чистому корридору, и красная полоска, проведенная вдоль карниза, дрожала и прыгала передъ его глазами и тогда, когда влѣзалъ въ большой черный автомобиль, и когда ѣхалъ въ немъ, и когда выходилъ изъ него, и передъ нимъ на мгновеніе мелькнула улица Москвы, толпа народа и большое, высокое красивое зданіе. Онъ не узналъ его. Онъ слишкомъ былъ занятъ затверживаніемъ своего признанія...

XXI.

Десять человѣкъ «интервентовъ и диверсантовъ, предателей пролетаріата», судили публичнымъ народнымъ судомъ въ нарядномъ залѣ Московскаго Дворянскаго собранія.

Густая черная толпа наполняла большой залъ.

Акантова посадили рядомъ съ неизвѣстными ему людьми, кого онъ увидалъ въ первый разъ въ жизни.

Акантовъ смотрѣлъ на бѣлыя стройныя колонны, покрытыя пылью, на ступени возвышенія, на мраморъ и позолоту, на красныя полотнища, на портреты «вождей» пролетаріата, висѣвшіе на мѣстѣ Императорскихъ портретовъ, на широкій, длинный столъ, покрытый краснымъ сукномъ, и ничего не вспоминалъ, ничего не понималъ. Все это было для него лишь продолженіемъ того страшнаго, кошмарнаго сна, когда являлось ему косматое чудовище, подмигивало зеленымъ глазомъ, и когда слышался ровный, мѣрный голосъ, и въ томъ, что говорилъ ему голосъ, и было самое главное. Ему нужно было проговорить это, и тогда онъ освободится отъ дьявольскаго навожденія сна и проснется.

Онъ видѣлъ за краснымъ столомъ небольшого человѣка, съ корявымъ лицомъ, съ рѣдкими рыжими волосами, съ трясущимся на толстомъ, мясистомъ носу пенснэ, все время злобно поглядывавшаго то на одного, то на другого изъ сидѣвшихъ противъ него людей, разнообразно одѣтыхъ, робко пожимавшихся на скамьяхъ. Акантовъ прислушивался къ крикливому, непріятному его голосу. Этотъ голосъ уже второй разъ повторилъ его имя:

— Гражданинъ Акантовъ... Гражданинъ Акантовъ, я васъ спрашиваю! Признаете себя виновнымъ?..

Акантовъ всталъ. Наружно это былъ и точно бывшій генералъ Егоръ Ивановичъ Акантовъ, исхудавшій, постарѣвшій, съ опухшимъ, болѣзненно бѣлымъ лицомъ, давно не бритый, съ отросшими бѣлыми волосами. Но внутри ничего не было отъ того Акантова. Ничего живого въ немъ не было. Мозгъ его спалъ. Онъ не смогъ бы отвѣтить на самый простой вопросъ.

— Я признаю себя виновнымъ въ томъ, что, осенью 1935-го года, я пріѣхалъ изъ Парижа въ Берлинъ со спеціальной цѣлью свидѣться съ товарищемъ Тухачевскимъ и договориться съ нимъ и нѣмецкими генералами, фамилій которыхъ я не помню, объ интервенціи въ Союзъ совѣтскихъ соціалистическихъ республикъ...

Зеленый глазъ поощряюще подмигивалъ ему изъ-за колонны. Съ каждымъ произнесеннымъ безстрастнымъ голо-

сомъ словомъ признанія Акантовъ чувствовалъ, какъ какая-то тяжесть спадала съ него. Онъ самъ не слышалъ своего голоса, и не понималъ, что онъ говоритъ, да это было и не существенно: вѣдь, все это было во снѣ!..

— Мы видѣлись, — продолжалъ Акантовъ, — три раза въ гостиницѣ Кайзергофъ, и я обѣщалъ, отъ имени генерала Миллера, что Русская эмиграція выставитъ 180-ти тысячную армію. Я признаюсь въ томъ, что я дѣйствовалъ, какъ самый злостный врагъ моего народа, какъ шпіонъ, интервентъ и диверсантъ, продающій капиталистамъ интересы трудового пролетаріата. Я знаю, что мнѣ нѣтъ снисхожденія. Я требую себѣ высшую мѣру наказанія, и почту смерть лишь справедливымъ возмездіемъ за все, мною содѣянное...

Неистовые, злобые крики и вопли потрясли весь залъ:

— Предатели!.. Троцкисты!.. Продажныя шкуры!.. Шпіоны!.. Смерть имъ!!.

— Такимъ псамъ мало смерти...

— Ихъ замучивать надо-ть....

— Народъ требуетъ казни!..

Читали постановленія артистовъ, писателей, профессоровъ и ученыхъ: всѣ требовали безпощаднаго суда и истребленія народныхъ враговъ.

Чтеніе каждаго постановленія сопровождалось криками, какихъ никогда еще не слышалъ Акантовъ, и какіе могли быть только во снѣ... Акантовъ слышалъ эти крики, видѣлъ поднятые кулаки, протянутые къ нему, искаженныя злобой лица со сверкающими глазами, и ему не было страшно... Онъ не сознавалъ, что это же была е г о Москва, куда онъ такъ хотѣлъ попасть, гдѣ такъ раздумчиво-печально звонили въ полночь колокола на Спасской башнѣ, гдѣ игралъ прекрасный симфоническій оркестръ подъ управленіемъ Голованова, гдѣ пѣла пѣвица Нежданова, гдѣ родился когда-то самъ Акантовъ, и гдѣ онъ учился... Онъ, какъ во снѣ, не понималъ, гдѣ это происходитъ, что ему угрожаетъ... Во снѣ не страшна угроза...

Подъ этими криками, подъ бурей гнѣва и возмущенія, стоялъ точно не живой бывшій генералъ Акантовъ, но какой-то безжизненный манекенъ, покорный чужой волѣ.

«Народъ требуетъ казни!..». «Да когда же это такъ случилось, чтобы боголюбивый и добрый народъ Русскій такъ полюбилъ кровь и казни?..».

Акантовъ слушалъ крики, смотрѣлъ на волнующееся море публики, на злобныя лица, и ничего не понималъ. Но, вѣдь, это былъ сонъ, только сонъ!.. И, какъ во снѣ, былъ и перерывъ, когда Акантова отвели въ отдѣльное помѣщеніе, и тамъ, на листѣ плохой бумаги, дурнымъ перомъ и скверными чернилами, онъ, подъ диктовку, писалъ, ничего не соображая, обращеніе къ Русскимъ эмигрантамъ, «бѣлымъ офицерамъ и солдатамъ». Своимъ мелкимъ, бисернымъ, такъ хорошо всѣмъ знавшимъ его, знакомымъ почеркомъ, выводилъ онъ буква за буквой, не понимая ихъ значенія. Онъ писалъ объ огромномъ строительствѣ совѣтскаго союза, о свободѣ гражданъ, какой нигдѣ въ мірѣ нѣтъ, о мощной поступи страны по пути прогресса и науки, о долгѣ всякаго, въ комъ бьется Русское сердце, идти и работать во славу коммунизма. Онъ писалъ о великомъ вождѣ народовъ, мудромъ и всѣми любимомъ Сталинѣ, геніальномъ творцѣ коммунизма...

Онъ не слышалъ и не понималъ словъ, которыя ему диктовали, но механически воспринималъ ихъ, сводя буквы и рисуя эти буквы привычнымъ движеніемъ руки... Отъ усердія и напряженія, какъ то бывало съ нимъ въ дѣтствѣ, онъ пріоткрылъ ротъ и высунулъ кончикъ языка. Онъ замѣтилъ это и не смутился: вѣдь, все это было во снѣ, а мало ли что бываетъ во снѣ?!. Онъ аккуратно и ясно подписалъ написанное имъ и подалъ тому, кто диктовалъ.

Его мучилъ голодъ и томила жажда, но и это было не реально, это тоже было во снѣ...

Его снова ввели въ большой залъ. Въ полусознаніи, онъ слушалъ длинную рѣчь рыжаго человѣка, снова слышалъ грозные крики толпы, угрозы и вопли. И опять, въ туманѣ,

въ какомъ все происходило, онъ услышалъ свои имя и насторожился.

— Къ высшей мѣрѣ наказанія!..

Акантовъ не понялъ значенія этихъ словъ.

— Его вывели изъ зала. Былъ тихій зимній вечеръ. На мгновеніе Акантовъ ощутилъ освѣжающій холодъ. Мелькнула даже мысль: «Вотъ, теперь я и проснусь... Сейчасъ... сейчасъ... сейчасъ...».

Хрустальное небо клочкомъ показалось надъ домами. Рѣдкій, крупный снѣгъ сыпалъ. Фонари зажглись внезапно, всѣ вдругъ... Снѣжинки сверкали и крутились въ ихъ свѣтѣ серебряными бабочками. Было что-то несказанно прекрасное въ ихъ игрѣ въ свѣтѣ огней. Хотѣлось еще и еще разъ вздохнуть полной грудью, и тогда уже совсѣмъ проснуться...

Акантова грубо взяли подъ руки и втолкнули въ большую черную карету автомобиля. Мракъ, жесткая скамья, толчки на дурной мостовой, воняло бензиномъ и еще чѣмъ-то противнымъ и затхлымъ. И снова — вѣроятно, снился — длинный свѣтлый корридоръ, стукъ сапогъ со звонкими шпорами по каменному полу, добродушное, пьяное, румяное лицо человѣка въ черной кожаной курткѣ. У него былъ револьверъ въ рукѣ. Человѣкъ этотъ нагнулся къ Акантову и, дыша виннымъ перегаромъ, сказалъ:

— Вотъ, братокъ, сейчасъ все и окончится. Это даже очень просто и вовсе не больно. Толканетъ маненько, ну, ровно тебя кто палкой ударитъ, и вся недолга...

«Вотъ толканетъ...», — думалъ Акантовъ, — «толканетъ, и проснусь я отъ этого отвратительнаго сна... Это меня будить собираются, толкануть...».

Открылась узкая черная дверь, за нею крутыя, скользкія ступени. Въ лицо пахнуло мертвечиной, сыростью и холодомъ могилы.

«Вотъ и проснусь, а туда не пойду, тамъ страшно», — подумалъ Акантовъ, и хотѣлъ закричать, но, какъ это и бываетъ во снѣ, крикъ не вышелъ изъ горла.

Что-то рѣзко толкнуло его въ затылокъ, невидимая сила повлекла внизъ по склизкимъ ступенямъ...

«Просыпаюсь», — мелькнула мысль и погасла.

Акантовъ не проснулся. Только еще глубже сталъ его сонъ, теперь уже безъ сновидѣній...

XXII.

1-го мая по всему міру — рабочій праздникъ. Праздникъ весны, цвѣтовъ, пробуждающейся природы, окончанія зимнихъ рабочихъ трудовъ, весенней пахоты въ поляхъ, выгонъ скота на попасъ, начало ожиданія урожая травъ, овощей, плодовъ и хлѣба...

Съ утра, весь Берлинъ — красный отъ длинныхъ полотнищъ флаговъ, свѣшивающихся съ «выстрѣловъ», выдвинутыхъ съ балконовъ и изъ оконъ, рѣющихъ надъ крышами домовъ, надъ каретами трамвая, надъ автобусами. Бѣлые круги съ черной «свастикой» смягчаютъ рѣзкость краснаго цвѣта полотнищъ.

Вездѣ — цвѣты. Въ садахъ зацвѣтаетъ бѣлый и розовый боярышникъ, висятъ на голыхъ вѣтвяхъ большіе лиловые колокольчики японской магноліи. У памятниковъ на площадяхъ, въ тѣнистыхъ, укромныхъ уголкахъ Тиргартена — нѣжная бѣлая паутина цвѣтущихъ кустовъ рододендрона.

Погода — праздничная. По синему небу, играючи, плывутъ бѣлыя облака, какъ яхты по озеру Ваннзее.

Съ утра прохладно. По улицамъ идутъ длинныя колонны свѣтло-коричневыхъ «наци», однообразно одѣтыхъ, въ шапочкахъ «пирожкомъ», въ курткахъ, заправленныхъ въ шаравары, въ высокихъ сапогахъ. У нихъ военная выправка, бодрая подтянутость, даже у пожилыхъ, съ большими, смѣшными животами. Они идутъ широкимъ, вымаханнымъ шагомъ, съ серьезными, важными лицами: въ нихъ сознаніе собственнаго достоинства и одержанной побѣды. Все это — рабочіе. Берлинскій пролетаріатъ, ощутившій и осознавшій счастье и гордость быть нѣмцами и воспринявшій радость обрѣтенія Отечества.

Проходятъ войска. Гремитъ музыка оркестровъ, отражается отъ стѣнъ домовъ, двоитъ, троитъ, уносится къ небу,

гонится за бѣлыми облаками. Тяжелъ, вычуренъ и медленен шагъ затянутыхъ въ фельдъ-грау, отлично выправленныхъ солдатъ въ низкихъ сѣро-зеленыхъ каскахъ. Ихъ ряды плотны и тѣсны. Молодыя лица солдатъ напряженны и осмысленны. Громадный тамбуръ-мажоръ играетъ впереди барабанщиковъ золотымъ витымъ жезломъ. Глухо бьютъ барабаны.

На панеляхъ толпы народа.

Въ вагонахъ подземной дороги полно дѣвочекъ въ рыжихъ курткахъ и черныхъ короткихъ юбочкахъ, съ голыми колѣнками, въ чулкахъ и башмакахъ. Чулки грубые, башмаки простые, у многихъ стоптанные; это — дѣти рабочихъ, дѣти пролетаріата, это та «Hitler-Jugend», изъ которой вырастаетъ Великая Германія, — Третій Рейхъ.

Дѣвочки ѣдутъ на Стадіонъ... Тамъ — собраніе молодежи, ея парадъ. Привѣтствовать ее пріѣдетъ Вождь Германіи, Адольфъ Хитлеръ.

Сейчасъ за Берлиномъ, на его окраинѣ, за станціей «Рейхсъ-спортъ-фельдъ», — Берлинскій Стадіонъ...

На холмѣ, среди песчаныхъ пустырей, сосновыхъ рощъ, на фонѣ голубого неба, высится овальное зданіе древне-римскаго стиля. Оно не кажется огромнымъ, такъ пропорціональны его размѣры, такъ соображенъ овалъ плана съ вышиною фасада. Сѣрыя, бетонныя арки, высокія галлереи ярусовъ, величественные, циклопическіе барельефы обнаженныхъ гимнастовъ, — все это страннымъ казалось на краю современнаго города: точно возстала Римская старина въ Берлинѣ двадцатаго вѣка. И вездѣ — люди. Они кажутся крошечными точками, какъ мухи, облѣпившія каравай хлѣба, — на крышѣ и на галлереяхъ стадіона.

На Стадіонѣ, на безчисленныхъ мѣстахъ, — простая публика. Бѣдно одѣтые люди, рабочіе фабрикъ, мелкіе служащіе, ихъ жены. Чистыя, скромныя платья, потертые, поношенные пиджаки, сѣдыя головы, загорѣлыя лица въ морщинахъ. Отцы и матери тѣхъ, кто недвижными густыми батальонными колоннами стоитъ на зеленомъ лугу арены между широкихъ, малиновымъ пескомъ усыпанныхъ дорогъ, и тѣхъ, кто на противоположной сторонѣ Стадіона сидитъ тѣс-

ными, тѣсными рядами, одна дѣвочка плотно къ другой. Русыя и рыжія головки, косички за спиною, рыжеватыя кофточки и черныя юбочки. Отъ юныхъ лицъ нѣжнымъ волненіемъ дрожитъ надъ скамьями Стадіона легкій, прозрачный розовый свѣтъ.

Юность!..

60.000 Берлинскихъ дѣвочекъ тѣсно сидятъ на скамьяхъ Стадіона.

Надъ ними, на самыхъ верхнихъ галлереяхъ, какъ черная рама, — малыши въ черныхъ курткахъ и короткихъ штанишкахъ: самая юная молодежь, еще не вошедшая въ «Hitler-Jugend».

У восточныхъ воротъ Стадіона — точно бѣлое полотно протянуто. Матросскія бѣлыя шапки и темносинія голландки мальчиковъ, будущихъ матросовъ Германскаго флота, обрамляютъ ворота.

18 батальоновъ одинаково одѣтыхъ юношей стоитъ на аренѣ въ красотѣ молодой военной выправки. Они безъ шапокъ, и золотомъ отливаютъ ихъ русые волосы, тщательно приглаженные для парада. Всѣ въ коричневыхъ курткахъ, заправленныхъ въ шаравары, въ высокихъ сапогахъ. У нихъ гордая осанка, ихъ ряды стройны, равненіе и ранжиръ безупречны... Хоть сейчасъ въ походъ...

— И... тишина...

Четверть милліона молодежи и ея отцовъ и матерей на Стадіонѣ, и нѣтъ гомона толпы, потому что нѣтъ «толпы»...

Тишина и неподвижность...

— Achtung!.. Снять кофточки!..

Рыжая стѣна дѣвочекъ всколыхнулась, задвигалась, заволновалась, какъ колышимое вѣтромъ ржаное поле. Она стала бѣлѣть, точно падалъ на нее снѣгъ большими бѣлыми хлопьями, и вотъ, тамъ стало совсѣмъ бѣло отъ чистенькихъ блузокъ, и по бѣлому полю золотымъ и розовымъ узоромъ легли русыя головки и дѣвичьи лица, и еще нѣжнѣе сталъ прозрачный свѣтъ отъ ясныхъ, горящихъ восторгомъ глазъ.

У западнаго входа, у Марафонскихъ воротъ, во всю ширину Стадіона, стали знамена отрядовъ. Ихъ сотни. Они заколыхались, какъ яркіе цвѣты на полѣ: алыя, черныя съ бѣлымъ, бѣлыя съ алымъ, черныя съ синимъ, съ зеленымъ...

— Achtung!..

Батальоны юношей встрепенулись и стали смирно. Грянулъ оркестръ и сто двадцать тысячъ голосовъ дружно запѣли:

«Выше поднимемъ наши знамена!..».

Девять мальчиковъ-знаменщиковъ спускаются изъ сонма знаменъ и мѣрнымъ, неторопливымъ шагомъ несутъ знамена по отрядамъ, стоящимъ на аренѣ.

Весь народъ стоитъ вдоль своихъ мѣстъ съ протянутыми впередъ правыми руками и дружно поетъ вмѣстѣ съ юношами:

«Выше поднимемъ наши знамена!..».

Изъ середины Стадіона, сверху, отражаясь о громкоговорители, раздается твердый, увѣренный голосъ. Говоритъ руководитель Хитлеровской молодежи, Бальдуръ фонъ Ширахъ.

— Мы, вѣрующая, храбрая, готовая на трудъ, молодежь, хотимъ... и будемъ... Трудиться съ полнымъ усердіемъ для нашего Вождя...

Голосъ черезъ громкоговоритель звучитъ рѣзко. Четко разносятся слова по всему громадному Стадіону:

— Мы вѣримъ, что сможемъ всегда и вездѣ постоять за нашъ народъ и за Вѣчнаго Бога...

Послѣ Бальдура фонъ Ширахъ, говоритъ министръ Геббельсъ. Онъ напоминаетъ молодежи о 1-мъ мая 1933-го года... Онъ говоритъ о томъ, какъ престарѣлый Президентъ Рейха, генералъ-фельдмаршалъ Гинденбургъ, въ первый разъ говорилъ въ Лустъ-Гартенѣ передъ собранной нѣмецкой молодежью:

— Фельдмаршалъ передалъ намъ завѣтъ: кто хочетъ командовать, долженъ учиться повиноваться... Фельдмаршалъ

училъ насъ прилежанію, дисциплинѣ, труду и творчеству... Наши прилежаніе, дисциплина, трудъ, нѣмецкій нашъ геній, дали возможность нашему Вождю Адольфу Хитлеру спасти Германію и сдѣлать ее снова великимъ Государствомъ... Хейль Адольфу Хитлеру!..

Тихо, будто поднимаясь изъ глубочайшихъ нѣдръ дѣтскихъ душъ, медленно и протяжно, а потомъ все нарастая, перекатываясь волнами и уже гремя, какъ океанъ во время урагана раздалось:

— Хейль!.. Хейль!!. ХЕЙЛЬ!!! ХЕЙЛЬ!...

Оркестръ заигралъ Баденвейлерскій маршъ, и всѣ запѣли его слова :

«Наша жизнь принадлежитъ свободѣ!..».

И снова напряженная, волнующая тишина. И вдругъ — громко сказанныя слова:

— Achtung!.. Фюреръ ѣдетъ!..

XXIII.

Чуть колышатся на легкомъ утреннемъ вѣтру пестрыя знамена. Изъ-подъ высокой темной арки Марафонскихъ воротъ медленно показывается громадный черный открытый автомобиль.

Рядомъ съ шоффером, стоитъ Вождь Германскаго народа, Адольфъ Хитлеръ. Онъ въ своемъ простомъ костюмѣ: въ желтоватомъ мундирѣ «наци», открытомъ на груди, въ черномъ галстухѣ, въ фуражкѣ. На груди военный орденъ Желѣзнаго креста, на рукавѣ алая повязка съ бѣлымъ кругомъ и черной «свастикой». Онъ самъ создалъ себѣ этотъ свой, традиціонный костюмъ, и въ немъ все величіе и вся простота Третьяго Рейха... Онъ первый между равными. Правая рука съ раскрытою ладонью протянута впередъ, онъ смѣло, ясно и привѣтливо смотритъ въ глаза привѣтствующей его молодежи.

Сзади него сидятъ генералы въ формѣ, въ тяжело расшитыхъ золотомъ фуражкахъ, съ плетеными золотыми жгутами на плечахъ, съ пестрыми колодками многихъ орденовъ.

За автомобилемъ Вождя чиннымъ строемъ, по два въ рядъ, двумя колоннами, каждая по четыре автомобиля, медленно и плавно двигаются автомобили «Schütz-Corps». Высокіе, стройные молодцы въ черныхъ суконныхъ мундирахъ и черныхъ фуражкахъ съ бѣлыми кантами сидятъ въ нихъ.

Четверть милліона рукъ протянуты навстрѣчу Хитлеру и дрожатъ прозрачною розовою сѣтью надъ толпою публики, надъ бѣлыми дѣвочками, надъ стройными рядами юношей... Весь Стадіонъ гремитъ все нарастающими криками привѣта:

— Хейль!.. Хейль!!. ХЕЙЛЬ!!! ХЕЙЛЬ!...

Хитлеръ по крутой лѣстницѣ поднялся на половину высоты Стадіона, и тамъ, на площадкѣ, выслушалъ привѣтствія фонъ Шираха, роздалъ награды работницамъ и рабочимъ, и подошелъ къ громкоговорителю.

Онъ стоитъ надъ толпою, весь открытый, всѣмъ ясно видный. Черная прядь волосъ свѣсилась на лобъ, голова высоко поднята:

— Хейль Югендъ!..

Десятки тысячъ молодыхъ грудей колыхнулись. Дружный прозвучалъ отвѣтъ:

— Хейль, мейнъ Фюреръ!..

— Стоять вольно!..

Минуты волнующаго напряженія прошли. Ихъ смѣнило восторженное вниманіе. Всѣ глаза устремлены на Хитлера. Каждое его слово ловится, запоминается, запечатлѣвается навсегда...

Мертвая тишина на Стадіонѣ. Да, кажется, что въ эти минуты по всей Германіи стоитъ напряженная тишина. Вся Хитлеровская молодежь въ эти часы собрана у радіо-аппаратовъ и слушаетъ своего Вождя...

Аглая Васильевна, Лиза и Игорь были на Стадіонѣ, куда досталъ имъ входные билеты Игорь. Они сидѣли на одной высотѣ съ трибуной Хитлера. Пониже ихъ, почти касаясь

русыми косичками колѣнъ Аглаи Васильевны и Лизы, сидѣли дѣвочки изъ Хитлеровской молодежи. Онѣ не поспѣли пробраться къ своимъ, на ту сторону арены, и сѣли здѣсь, среди публики. Онѣ повернули головы въ сторону Хитлера. Голубые глаза, не моргая, смотрѣли вверхъ и вправо; онѣ чуткими дѣтскими сердцами воспринимали каждое слово Вождя. Онѣ слушали слова:

— Наши юноши должны быть м у ж е с т в е н н ы, и детъ строиться на своей молодежи...

Лиза видитъ, какъ расплываются въ самодовольной улыбкѣ лица дѣвочекъ. Еще внимательнѣе слушаютъ онѣ слова:

— Вы, молодежь, — самое большое наше сокровище... Въ васъ основаніе вѣры въ будущее, въ васъ надежда нашего народа...

Буря апплодисментовъ покрываетъ эти слова. Розовый трепетъ маленькихъ рукъ надъ бѣлымъ просторомъ дѣвичьихъ рядовъ — точно стая маленькихъ бабочекъ.

— Наше Государство построено молодежью и дальше бунаши дѣвушки — ж е н с т в е н н ы ! . .

И опять трепещутъ розовыя бабочки надъ бѣлыми рядами и громъ апплодисментовъ долго не смолкаетъ.

— Воскликнемъ всѣ вмѣстѣ «Heil», да здравствуетъ наше движеніе! Sieg Heil!.. Нашъ Народъ!.. Sieg Heil!..

Колонны юношей дрогнули и стали «смирно». Дѣвушки бѣлою стѣною поднялись во всю ширину и вышину Стадіона. Вытянуты впередъ правыя руки и воплемъ восторга исторгнуто изъ десяткомъ тысячъ грудей громовое «Хейль!»... Грянулъ старый нѣмецкій гимнъ. Четверть милліонная толпа запѣла. Къ небу понеслись, переливаясь, торжественные, за душу хватающіе, звуки:

— Deutschland, Deutschland über Alles, über Alles in der Welt!.. *).

---

*) Германія, Германія надъ всѣмъ, надъ всѣмъ на свѣтѣ...

XXIV.

— Ein Volk, ein Reich, ein Führer, — вздыхая говоритъ Аглая Васильевна.

Она, Лиза и Игорь сидятъ на дерномъ покрытыхъ скамьяхъ на откосѣ зеленаго спортивнаго поля. Все поле въ рыжевато-черныхъ пятнахъ завтракающей молодежи. Hitler-Jugend быстро, въ полномъ порядкѣ, разбилась по звеньямъ, усѣлась и улеглась на травѣ. На телѣжкахъ подвезли жестяные бидоны съ молокомъ, хлѣбъ, масло и сыръ. Старшія дѣвочки отъ каждаго звена получили свою долю и понесли ее къ мирно ожидающимъ дѣтямъ.

Въ сторонѣ глухо бьетъ барабанъ: тамъ... тамъ... тамъ.. Мальчикъ въ черномъ, съ огромнымъ средневѣковымъ чернымъ, съ бѣлыми кантами, барабаномъ идетъ впереди маленькаго отряда малышей. Старательно шагаютъ подъ барабанъ мальчуганы, направляясь на станцію подземной дороги. А кругомъ, по всему откосу поля, разсѣлись родители. Къ нимъ то и дѣло подбѣгаютъ дѣвочки, чтобы подѣлиться впечатлѣніями дня:

— Ты слышала, мами, что сказалъ нашъ Фюреръ?.. Мы будемъ трудиться... Мы всѣ будемъ трудиться, чтобы быть достойными Германіи...

Надъ полемъ, на высокомъ песчаномъ холмѣ, обширный ресторанъ. Алые флаги полощутъ на посвѣжѣвшемъ вѣтру. Балконъ и всѣ столики наружу, на скатѣ холма, подъ большими пестрыми зонтами полны гостей. Гудитъ, шумитъ голосами зеленое поле и холмъ. Тамъ около милліона Берлинцевъ... Звонко кричатъ продавцы газетъ: «Бецетъ амъ Миттагъ»!.. «Берлинеръ Иллюстрирте»!..

Внизу повозка, на повозкѣ шатеръ. Кругомъ толпа. Пахнетъ свинымъ саломъ, капустой. Тутъ торгуютъ горячими сосисками.

Сверху синее небо, рѣдкія бѣлыя облака, какъ корабли подъ парусами, плывутъ на востокъ...

— Ein Volk, ein Reich, ein Führer... *), — повторяетъ

*) Одинъ народъ, одно государство, Одинъ вождь...

Аглая Васильевна. — Какъ орлица, собрала Германія подъ свои мощныя, крѣпкія крылья всѣхъ своихъ сыновей. Собрала націю воедино. Не много осталось, и то довершитъ. Счастлива Германія, что Богъ послалъ ей такого вождя, счастлива тѣмъ, что она едина...

— Мама, — Говоритъ Игорь. — Скажи, какъ ты думаешь, какъ будетъ съ Россіей? Возможно то же самое въ Россіи?..

— Нѣтъ, т а к ъ въ Россіи быть не можетъ... Нужно знать подлинную, не искаженную исторію Россіи. Народъ, поселившійся на грани Европы и Азіи, замкнулъ ворота изъ Азіи въ Европу. Русскіе охранили Западную Европу отъ нашествія монгольскихъ племенъ. На ихъ долю выпало двухвѣковое татарское иго. Въ постоянныхъ войнахъ, крѣпъ и мужалъ Русскій народъ, и въ XVI вѣку, собравшись съ силами, самъ двинулся покорять тѣ народы, которые ему угрожали. Тяжелыя войны съ татарами, поляками, потомъ со шведами и турками... Пошли по рѣкамъ, овладѣли Волгою, съ ея татарскими городами и царствами. Пошли за Уральскія горы, въ Сибирь, къ Великому океану... Впереди шелъ казакъ, за нимъ монахъ и воинъ-дружинникъ, съ воеводою царскимъ, а послѣ — купецъ и земледѣлецъ... Россія сдѣлалась колоніальной страной... Въ чужихъ земляхъ строили крѣпости-городки, ставили монастыри, проповѣдывали Слово Божіе въ самыхъ глухихъ дебряхъ Азіи, проникали до Китайскаго Пекина... Почти три сотни лѣтъ сражались съ татарами на юго-востокѣ; полвѣка ушло на заселеніе Сибири; почти вѣкъ покоряли Кавказъ; столько же ушло на занятіе и заселеніе Средней Азіи... Какіе только народы, какія религіи, какіе обычаи, какіе нравы ни вошли въ Великое Россійское Государство!?. Всѣ стали р у с с к и м и... Сами прибавляли къ своимъ именамъ окончаніе на «овъ», чтобы полнѣе слиться съ нами, изучали Русскій языкъ и г о р д и л и с ь быть Русскими. Такъ и создалась Русскимъ геніемъ, добротою Русскаго нрава великая Россійская Имперія, объединенная Царемъ... Это была не нація, не единый н а р о д ъ, какъ это мы видимъ здѣсь, но сотни національностей, сотни на-

родовъ, и могла быть такою Русь только со своимъ Царемъ, являвшимся непререкаемымъ авторитетомъ для всѣхъ. Царь былъ существомъ Россіи, и безъ Царя не могла быть и Россія...

— Но... Аглая Васильевна... Насъ учили, намъ говорили... Въ Россіи Царя ненавидѣли. Въ Россіи невыносимъ былъ гнетъ Царскаго режима, въ Россіи до послѣдняго времени былъ феодализмъ, высасывавшій всѣ соки изъ крестьянъ, въ Россіи народился такой капитализмъ, какого не знала Западная Европа. Въ Россіи былъ уничтоженъ пролетаріатъ. Россія была отсталая страна, все въ ней было продажно, всякій прогрессъ былъ задушенъ, молодежь была деморализована, народныя массы пребывали въ нищетѣ... Революція въ Россіи была не только неизбѣжна, но и необходима...

Аглая Васильевна терпѣливо выслушала горячія слова Лизы. Она была готова къ нимъ. Она слышала такія же рѣчи и отъ сына, когда тотъ учился въ нѣмецкой школѣ, она знала, что въ Славянскомъ институтѣ въ Берлинѣ профессора говорили неправду про Россію, повторяя безсмысленный вздоръ Русскихъ псевдо-ученыхъ, подтасовывавшихъ исторію Россіи подъ свои лѣвыя убѣжденія. Не одинъ разъ приходилось Аглаѣ Васильевнѣ въ нѣмецкомъ обществѣ разбивать по пунктамъ нелѣпыя представленія о Россіи, созданныя евреями и еврейской прессой.

— Царя ненавидѣли?.. Царя обожали!.. Царя боготворили!.. На Царя молились... «Царь-батюшка», иного имени не было въ Русскомъ народѣ для Государя...

— Аглая Васильевна, вы видали Государя?..

— Много разъ... И мой отецъ, и мой покойный мужъ служили въ Гвардіи...

— Когда вы видѣли послѣдній разъ Государя?..

— Передъ самой войной, въ 1913-мъ году, когда были «Романовскія» торжества. Праздновали трехсотлѣтіе со дня избранія на царство Михаила Ѳеодоорвича Романова. Я была на нихъ. Государь былъ въ Костромѣ, потомъ проѣхалъ по Волгѣ... Что это были за дни!.. Умирать буду, не забуду... Повсюду громадныя толпы народа... Крестьяне стекались из-

далека, чтобы поклониться своему Государю... Государь только съ трудомъ могъ проходить черезъ народныя толпы.. Полиція едва могла расчистить для него проходъ... Крестьянки выносили дѣтей, крестьяне становились на колѣни... Когда пароходъ, на которомъ былъ Государь, шелъ по Волгѣ, жители прибрежныхъ деревень входили въ воду и стояли по грудь въ водѣ, чтобы ближе видѣть Государя..

— Можетъ быть, Аглая Васильевна, ихъ сгоняли..

— Нѣтъ, Лиза. Это былъ искренній и неподдѣльный восторгъ... Такой восторгъ нельзя создать искусственно. Это былъ совершенно такой восторгъ, какой ты видишь теперь при проѣздѣ Хитлера. Тутъ — одинъ народъ, одно государство, одинъ Вождь... Тамъ были Царь и Народъ, и они вдвоемъ и создавали Государство, Россійскую Имперію. Они были неотдѣлимы, и, когда не стало Царя, народъ распался и началась непрерывная борьба, и она будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока снова не скрѣпитъ разноплеменную Россію единый православный царь.. . Ты сказала: «гнетъ Царскаго режима»... Россія была самой свободной страной въ мірѣ... потому-то въ ней и могли такъ пышно расцвѣсти самыя крайнія теоріи и ученія, что не было въ ней никакого стѣсненія совѣсти... Феодализмъ кончился семьдесятъ семь лѣтъ тому назадъ, и крестьяне, послѣднее время, выселялись на отруба и, заселяя Сибирскіе и Азіатскіе просторы, богатѣли... Россія кормила своимъ хлѣбомъ Западную Европу.. Къ началу войны Россія была самая передовая страна въ мірѣ. Въ ней процвѣтали науки и искусства. Въ ней былъ самый совершенный судъ. Вступивъ въ войну, Россія на своихъ плечахъ вынесла первые два самыхъ тяжелыхъ года, и дала возможность союзникамъ собраться и побѣдить... Да, что говорить, Лиза!.. Оборванная, обобранная, униженная, нищая явилась Россія, изгнанная изъ Отечества заграницу, и... не пропала...

— Аглая Васильевна, но, какъ же могла тогда быть революція, если все было такъ хорошо?..

— Лиза... Давно все было пущено для того, чтобы вытравить изъ Русскаго сердца Царя. Была создана такая несосвѣтимая ложь, какой еще не бывало на свѣтѣ. Еврейская

страшная ложь!.. Ложь, Лиза, необъятна... Нѣтъ предѣловъ для лжи. Правда основана на фактѣ, на томъ, что было; для лжи факта не нужно. Ложь сама изобрѣтаетъ факты, и на нихъ строитъ свое зданіе... Ложь создала изъ благостнаго и добраго Государя тирана... Ложь перелицевала исторію и заставила ее служить для разрушенія Россіи. Лжи все доступно. Ложь — родная сестра зависти, и вмѣстѣ онѣ создаютъ ту ненависть, которая разрушаетъ любовь между людьми, любовь, заповѣданную намъ Господомъ Іисусомъ Христомъ...

— Кто же занимается этой ложью?

Лиза, спрашивая, знала, какой будетъ отвѣтъ. Тѣ два часа, что провела она въ Нью-Іоркской синагогѣ, показали ей подлинное лицо сѣятелей міровой ненависти и лжи.

— Жиды, — спокойно и твердо сказала Аглая Васильевна. — Третьяго дня мы читали съ тобой Евангеліе отъ Іоанна, помнишь: «... тогда сказалъ Іисусъ къ Іудеямъ: «вашъ отецъ — діаволъ, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; онъ былъ человѣкоубійца отъ начала, и не устоялъ въ истинѣ, ибо нѣтъ въ немъ истины; когда говоритъ онъ ложь, говоритъ свое, ибо онъ лжецъ и отецъ лжи...».

— Но, мама, — пожимая плечами, сказалъ Игорь, — развѣ дьяволъ реально существуетъ?..

— А, вотъ, погоди, узнаешь, — сердито сказала Аглая Васильевна. — Ты понимаешь, Лиза, съ самыхъ древнихъ временъ ложь была присуща еврейскому народу. Евреи развращали христіанъ своимъ скептицизмомъ, критикою и крайнимъ матеріализмомъ. Самыя жуткія философскія ученія вышли изъ подъ перьевъ евреевъ. Еврей Марксъ создалъ нелѣпѣйшее экономическое ученіе, создалъ коммунизмъ... Еврей Гейне училъ нѣмцевъ презрѣнію и насмѣшкѣ надъ Родиной... Для еврея нѣтъ ничего святого... Съ какимъ дикимъ восторгомъ бросились евреи на Русскій народъ, истомленный войною... Евреи овладѣли умами нашей безпечной интеллигенціи, и самый дьявольскій планъ разрушенія величайшей Имперіи удался вслѣдствіе страшной лжи — евреямъ. Врали

всѣ: профессора, журналисты, писатели, артисты... Врали неистово, вдохновенно, мерзко...

Лиза опустила голову. Не повторяла ли она ту ложь, что говорилъ ей еврей Ротшпанъ?..

— Та страна, — продолжала говорить Аглая Васильевна, — то государство, которое сумѣетъ освободиться отъ евреевъ, отъ ихъ все разрушающей лжи, будетъ жить здоровою, крѣпкою жизнью. Германія избрала этотъ путь оздоровленія своего народа... Россія гибнетъ потому, что она в с я в о в л а с т и е в р е е в ъ...

Аглая Васильевна встала. Она была внѣ себя отъ охватившаго ее глубокаго волненія:

— Царь, — сказала она, — Нашъ великій Государь-Мученикъ Николай II. Онъ могъ уѣхать. Ему предлагали отправить єго въ Англію. Онъ отказался... Онъ вѣрилъ своему народу. Онъ не хотѣлъ признать, что ложь уже разложила Русскій народъ... Его хотѣли спасти и увезти изъ тюрьмы... Онъ считалъ недостойнымъ бѣжать изъ своего Отечества... Его и его Семью безчеловѣчно, звѣрски убили въ Екатеринбургѣ... О! Какая гнуснѣйшая мерзость, какой ужасъ и подлость, какихъ не знала еще исторія, это убійство въ Ипатьевскомъ домѣ въ Екатеринбургѣ!.. Убили жиды и обманутые ими Русскіе... Ужасъ!.. Кровь этой Царской Семьи и до сего дня на насъ!..

Стучитъ, несется подъ землею переполненный вагонъ подземной дороги. И съ нимъ несутся мысли Лизы, разбуженныя горячими словами Аглаи Васильевны.

Никогда раньше она объ этомъ не думала, но почему-то, когда Аглая Васильевна пѣла и играла на піанино Русскій гимнъ, странно щемило Лизино сердце.

«Царь... Царь...», — думала Лиза, и вспоминала книги, которыя она читала теперь.

Она шла къ дому по пустынной улицѣ, впереди Аглаи Васильевны, рядомъ съ Игоремъ. Она взяла Игоря подъ руку.

— Игорь, — тихо сказала она, — ты знаешь, недавно, въ скромной церкви, я обрѣла Бога... Теперь, мнѣ кажется, что я обрѣла и Царя...

Кругомъ шумѣлъ, кипѣлъ, волновался праздничной жизнью первомайскій Берлинъ. Алыя полотнища полоскались въ синемъ небѣ. У подъѣздовъ домовъ были привязаны березки съ маленькими клейкими зелеными листочками, вдоль балконовъ стояли горшки съ цвѣтами.

Въ глухой улицѣ было тихо, и шумъ, доносившійся изъ города, сливался въ мощную гармонію.

— Мнѣ кажется, — снова сказала Лиза. — Мнѣ кажется, что мнѣ остается только обрѣсти... Отечество... гдѣ же оно?..

Шумъ несущихся по городу машинъ, говоръ толпы, звонки трамваевъ, обрывки далекой музыки свивались въ величественный гимнъ. Лизѣ казалось, что незримый громадный хоръ гдѣ-то далеко, далеко торжественно поетъ: «Боже Царя храни»...

Лиза прижала локоть Игоря къ своему локтю и тихо сказала:

— Игорь, ты мнѣ дашь это Отечество...

Конецъ

Берлинъ, 18 іюля 1938 г. — 27 марта 1939 г.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

I.

НА РУССКОМЪ ЯЗЫКѢ:

1. **Отъ Двуглаваго Орла къ красному знамени.** Романъ въ четырехъ томахъ. Изданіе третье. Имѣется на: англійскомъ, болгарскомъ, голландскомъ, датскомъ, испанскомъ, итальянскомъ, нѣмецкомъ, финскомъ, французскомъ, хорватскомъ, чешскомъ (иллюстрированное изданіе) и шведскомъ языкахъ.
2. **Опавшіе листья.** Романъ. Имѣется на нѣмецкомъ и польскомъ языкахъ.
3. **Понять — простить.** Романъ. Имѣется на англійскомъ, итальянскомъ, нѣмецкомъ, французскомъ и чешскомъ языкахъ.
4. **Единая - Недѣлимая.** Романъ. Имѣется на нѣмецкомъ языкѣ.
5. **Бѣлая Свитка.** Романъ. Имѣется на англійскомъ, голландскомъ, нѣмецкомъ и чешскомъ языкахъ.
6. **Largo.** Романъ. Имѣется на англійскомъ, итальянскомъ, нѣмецкомъ и чешскомъ языкахъ.
7. **Выпашь.** Романъ.
8. **Подвигъ.** Романъ.
9. **Ненависть.** Романъ. Имѣется на итальянскомъ и нѣмецкомъ языкахъ.
10. **Домой.** Романъ. Имѣется на нѣмецкомъ языкѣ.

11. **Амазонка пустыни.** Романъ. Имѣется на англійскомъ, итальянскомъ, нѣмецкомъ, норвежскомъ, польскомъ, словенскомъ, французскомъ, хорватскомъ, чешскомъ и шведскомъ языкахъ.

12. **За чертополохомъ.** Фантастическій романъ. Второе изданіе. Имѣется на нѣмецкомъ языкѣ.

13. **Все проходитъ.** Историческая повѣсть. Въ 2-хъ частяхъ. Имѣется на англійскомъ, итальянскомъ и нѣмецкомъ языкахъ.

14. **Цесаревна.** Историческій романъ. Имѣется на нѣмецкомъ яз.

15. **Екатерина Великая.** Историческій романъ. Имѣется на нѣмецкомъ языкѣ (иллюстрированное изданіе).

16. **Съ нами Богъ.** Историческій романъ. Въ двухъ частяхъ. Имѣется на англійскомъ, нѣмецкомъ и чешскомъ языкахъ (иллюстрированное изданіе).

17. **Цареубійцы.** Историческій романъ. Имѣется на нѣмецкомъ яз.

18. **Съ Ермакомъ на Сибирь.** Повѣсть для юношества. Иллюстрированное изданіе. Имѣется на англійскомъ языкѣ (иллюстрированное изданіе).

19. **Мантыкъ, охотникъ на львовъ.** Повѣсть для юношества. Иллюстрированное изданіе. Имѣется на итальянскомъ и французскомъ языкахъ; оба иллюстрированы.

20. **Терунешь** (Любовь Абиссинки) и другіе разсказы.

21. **Поѣздка на Ай-Петри** и друг. разсказы.

22. **Степь. Восьмидесятый.** Разсказы. Имѣется на нѣмецкомъ яз.

23. **Наканунѣ войны.** (Воспоминанія).

24. **На рубежѣ Китая.** (Воспоминанія).

25. **Душа Арміи.** Психологическій опытъ. Имѣется на нѣмецкомъ языкѣ.

26. **Тихіе подвижники.**

27. **Казачья самостійность.**

II.

НА ИНОСТРАННЫХЪ ЯЗЫКАХЪ:

НА АНГЛІЙСКОМЪ ЯЗЫКѢ:

From Double Eagle to Red Flag. 4-ое изданіе.
The Unforgiven. (Понять — простить).
The White Coat.
The Black Mass (съ иллюстраціями).
Napoleon and the cossacks.
Kostja the Cossak. (Все проходитъ).
«Largo».
The Amazon of the Desert.
Yermak the Conqueror (съ иллюстраціями).

НА БОЛГАРСКОМЪ ЯЗЫКѢ:

Душата на армията.
Отъ Двуглавия орелъ къмъ червеното знаме («Слово»).

НА ГОЛЛАНДСКОМЪ ЯЗЫКѢ:

Van den Dubbelen Adelaar naar het Roode Vaandel.
De Wreker. (Bjelaja switka).

НА ИТАЛЬЯНСКОМЪ ЯЗЫКѢ:

Dall'Aquila Imperiale alla bandiera rossa.
Comprendere è perdonare.
L'Amazzone del Deserto.
Tutto passa.
Mantyk cacciatore di leoni (со многими иллюстраціями).

L'Odio.

Il «Largo» di Haendel.

НА НѢМЕЦКОМЪ ЯЗЫКѢ:

Vom Zarenadler zum roten Fahne. 4-ое изданіе, иллюстрированное фотографіями.

Fallende Blätter.

Verstehen heisst vergeben.

Einig-Unteilbar.

Der weisse Kittel.

Eroïca. (Съ нами Богъ).

Kostia der Kosak. (Все проходитъ).

Die Amazone der Wildnis.
Jenseits der Disteln.

In der Mandschurischen Einöde. (Русскаго изданія нѣтъ).

Der Achtzigste. Die Steppe.

Katherina die Grosse.

Die Zesarevna.

Largo.

Die Zarenmörder.

Nach Hause.

НА ПОЛЬСКОМЪ ЯЗЫКѢ:

Opadle liscie.

Amazonka Azji.

НА СЛОВЕНСКОМЪ ЯЗЫКѢ:

Pri podnozju Bozjega prestola. (Амазонка пустыни).

НА ФИНСКОМЪ ЯЗЫКѢ:

Kaksoikotkasta Punalippuun.

НА ФРАНЦУЗСКОМЪ ЯЗЫКѢ:

De l'Aigle Impérial au drapeau rouge.
Comprendre c'est pardonner.
L'Amazone du désert.

НА ХОРВАТСКОМЪ ЯЗЫКѢ:

Od dvoglava orla do crvena barjaka.
Amazonka pustinje.
Terunes.

НА ЧЕШСКОМЪ ЯЗЫКѢ:

Od Carského orla k rudému praporu. (2-ое иллюстрированное изданіе).
Napoleon a kozaci (Buh je s nàmi) (иллюстрированное изданіе).
Bila Hafena.
U stupne Boziho trunu. (Amazonka pustiny).

НА ШВЕДСКОМЪ ЯЗЫКѢ:

Fran Dubbelornen till roda Fanan.
Oknes Amazon.

Imprimerie S.N.I.E., 32, rue de Ménilmontant, Paris (20e)

Librairie E. de Sialsky
2, rue Pierre-le-Grand
Paris (8e)